14

90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 6 — 1989

Криста ВОЛЬФ. Образы детства. Роман

Камил ИКРАМОВ. История моего отца. Окончание

Варлам ШАЛАМОВ. Рассказы

Стихи

Д. САМОЙЛОВА, А. ЦВЕТКОВА, О. ПОСТНИКОВОЙ

Публицистика

Джордж СОРОС. Концепция М. Горбачева

Евгений ПРИМАКОВ. Перестройка — взгляд изнутри и извне

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Вяч. ИВАНОВ. Записки об Анне Ахматовой

ISSN 0130-1616. Знамя. 1989. № 5. 1—240

ЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1989

Май



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

5
МАЙ
1989

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Критика

В мире журналов и книг

Из почты «Знамени»

Игорь Шкляревский

ИЗ КНИГИ «ГЛАЗА ВОДЫ»

Белорусская Библия

Солнце мое не заходит,
небо мое не чернеет,
вечно в окне вечереет.
Люди сидят во дворе,
смотрят на тихий закат,
птицы, в реке отражаясь, летят.
Что-то под вербами ищет
мой нестареющий брат,
мой нестареющий друг
вечно в развалинах свищет.
Вечно лежит на столе,
не засыхает мой хлеб,
и молоко не скисает.
Вечно газету читает отец,
что-то прозрачно мерцает,
это голодная мать
вечно стирает на кухне
единственную рубаху отца,
единственную мою одежду,
чтобы к утру просохли.
Вечно пылает в печи
сырое березовое полено,
светится дольше Чернобыля.
Под сень зеленого тополя
навеки пришла Елена...

●

По скошенному лугу, по тоненькому льду,
по убранному полю я босиком иду.
Ботинки за спиною... Свист камыша.
В крови босые ноги. В крови душа.
Один в осеннем поле я привыкаю к боли,
я опускаю руки под черные плоты.
Осенние закаты. Костлявые кусты.
Кровавые рябины. Черные стога.
Сваи. Клочья тины. Осины. Облака.
Я проклинаю ноги! Я ненавижу руки!
Я не готов на пытки, на подвиги, на муки...

1965—1988

●

Над колхозом «Рассвет» догорает закат.
Шестьдесят второй год. Недород. Листопад.
День и ночь гонят скот на мясной комбинат.
На столбах и березах вороны кричат.

Гонят скот, гонят скот мимо черных стогов,
мимо красных плакатов и мокрых домов,
мимо голых, нелепо торчащих жердей
и затекших водой кукурузных полей.
Страшно кони хрипят, накреняя паром,
и людей обдают на прощанье теплом...
— Это дождь виноват, это дождь виноват, —
на стене комбината вороны кричат,
над костями от карканья воздух дрожит,
и обрывок газеты с призывной статьей
над пустыми полями, над всей кутерьмой
одинокою белой вороной кружит...

1962

●

Мчатся тучи...

Пыльный ветер дует в лоб,
рябь гоняет по реке,
и пустой нарядный гроб
прыгает в грузовике.

Вот запрыгал гроб ко мне,
вздрогнул я и отстранился
неумело, как во сне,

и еще сильней влюбился
в эти пыльные кусты,
облака, поля, цветы!

Кулаками по кабине
колочу: — Водитель, стой! —
Страшен гроб с тяжелым телом,
но еще страшней пустой.

Этот гроб еще не мой!
Эй, гуляки и зеваки,
не грызитесь, как собаки,
проезжает гроб пустой.

1970—1988

●

О золотом славянском веке
молчат истлевшие калеки.
Они о наших временах,
сгнивая заживо, мечтали,
а мы наивные печали
таим о прошлых временах.
Там, озаряя дни и ночи,
Васильковы восходят очи
из окровавленных глазниц.
От Мономаха до Ивана
полно кровавого тумана
и на полях темно от птиц.

Воспоминания о свежести

Такая свежесть и тоска!
В огромных окнах облака
летят над мрачными лесами,
как будто русская земля
уже плывет под парусами.
Качает! Накренился пол.
Царь с маху расплескал рассол.
Умом голодным, взглядом жадным
кроит и мерит синеву,
утробным хохотом державным
пугает сытую Москву.
Идет, вдыхая воздух чистый.
Вокруг него купцы, князья,
литейщики, авантюристы,
плебеи, выскочки, друзья.
Всех породнили ум и дело.
Все, кто нужны немой стране,
глядят в глаза и молвят смело,
и носят шпаги в серебре.
Цветет сирень, как будто пушки
палят на берегах Невы,
а в золотых прудах Москвы
молчат пророчицы-лягушки...

1976

●

В мои глаза глядели очи
непостижимой белой ночи,
и я подумал — неземной.
В оцепененье непонятном
на камне я сидел прохладном,
и только отблеск золотой
по озеру скользил уныло,
а солнце все не заходило.
И над лесами Аввакум
прозрачный двигался по небу,
и севера застывшее отчаянье
сквозило у него в глазах...

●

Глухой — кричи у водопада!
Сквозь грохот падающих струй
не дозовешься друга, брата...
С богами спорь и протестуй,
как в неоглядном поле —
колос,
как в море трав —
одна трава,
потонет несогласный голос
и станет гулом торжества...

1975

После рыбалки

По всем, кто еще не родился,
по всем, кто живет на земле,
по всем, кто землею накрылся,
плачет ветер осенний в дупле.

Двенадцатилетний, счастливый,
стрекоз и козявок палач,
стою у кладбищенской ивы
и весело слушаю плач...

●

Читаю Гоголя. Дрожу.
По кругу страшному хожу.
Луна стекает по ножу,
и папоротник каплет кровью.
Читаю ужасы — к здоровью!
По небу с ведьмами лечу.
Куда-то падаю. Кричу...
Открыв глаза в навозной луже,
свинью усами щекочу,
Подсолнухи, шинки, обозы,
галушки, груши, кисели,
грибы, арбузы, уши, рожи...
Читаю. Плачу. Хохочу.
От счастья вытираю слезы.
На Украине жить хочу!

Облака

(Из Бодлера)

Что ты видишь, поэт,
караван облаков провожая?
Мать счастливую, отблески рая?
— Там их нет.

Свищет ветер, как школьный товарищ
из веселого дня.
Ты далеких друзей вспоминаешь?
— Их нет у меня.

Ты, безумец, мечтаешь о славе
и жениться задумал на ней,
как старик на смазливой шалаве?
— Мне пустыня родней!

Пред тобою любые земные желанья.
Что ж ты любишь, поэт?

— Я люблю облака,
ненадежные их очертанья,
оболочки дыханья...
У них даже имени нет.

1976

Василий Гроссман

РАССКАЗЫ И ЭССЕ

Жилица

Старушка Анна Борисовна, получившая жилую площадь по ордеру Дзержинского райсовета, насмешила жильцов квартиры тем, что у нее при въезде не оказалось ни мебели, ни кухонной посуды, ни платьев, ни даже постельного белья. Прожила она в своей комнате недолго. На восьмой день после получения ордера, идя по коридору, она вдруг вскрикнула, упала на пол.

Соседка вызвала по телефону неотложку. Докторша сделала старухе укол, сказала, что все будет в порядке, и уехала. Но Анне Борисовне к ночи стало совсем плохо, и соседи, посовещавшись, позвонили в «скорую помощь». Машина из института Склифосовского приехала быстро, через шесть минут после вызова, но старая женщина к ее приезду уже умерла. Врач посмотрел зрачки у новой покойницы, вздохнул для приличия и уехал.

За те несколько дней, что Анна Борисовна Ломова прожила на московском Юго-Западе в своей комнате, жильцы кое-что узнали о ней. Молодой женщиной она, видимо, участвовала в гражданской войне, была будто бы комиссаром бронепоезда, потом она жила в Персии, в Тегеране, потом работала в Москве на какой-то ответственной работе, чуть ли не в Кремле; в разговоре со школьницей Светланой Колотыркиной о преподавании русской советской литературы она сказала: «Я когда-то дружила с Фурмановым и с Маяковским». А матери Светланы, контролеру ОТК на автомобильном заводе малолитражных машин, она рассказала, что в 1936 году ее арестовали и она провела девятнадцать лет в тюрьмах и лагерях. Совсем недавно Верховный суд ее реабилитировал, признал совершенно невиновной. Ее прописали в Москве и дали площадь.

Видимо, во время лагерных скитаний она растеряла родственников и друзей, не успела в Москве связаться с каким-либо коллективом — никто не пришел в крематорий, когда сжигали ее тело. Сразу же после смерти Ломовой комнату ее занял водитель троллейбуса Жучков, очень нервный человек, с женой и ребенком.

Все жильцы удивительно быстро забыли о том, что несколько дней в их квартире жила реабилитированная старуха.

Как-то в воскресенье утром, когда обитатели квартиры, позавтракав, коллективно играли на кухне в подкидного дурака, почтальонша принесла воскресную почту: газеты «Московская правда», «Советская Россия», «Ленинский путь», журналы «Советская женщина» и «Здоровье», программу радио и телевидения и письмо, адресованное гражданке Ломовой Анне Борисовне.

— Нет у нас такой,— на разные голоса сказали жильцы и жилицы.

А водитель Жучков, тесня к двери почтальоншу, сказал:

— Нет такой и не было.

И тогда Светлана Колотыркина неожиданно сказала ему:

— Как же ее не было, когда вы в ее комнате живете.

Рукописи рассказов В. С. Гроссмана сберегла в составе архива писателя скончавшаяся в июне 1988 года его жена Ольга Михайловна Губер.

И все вдруг вспомнили Анну Борисовну Ломову и удивились, как начисто забыли о ней.

Посоветовавшись, жильцы вскрыли конверт и прочли вслух отпечатанную на пишущей машинке бумагу.

«...В связи со вновь открывшимися обстоятельствами решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 8/5 1960 года Ваш муж, Ардашелия Терентий Георгиевич, умерший в заключении 6/7 1937 года, посмертно реабилитирован, а приговор, вынесенный Военной коллегией Верховного суда от 3/9 1936 года, отменен, и дело за отсутствием состава преступления прекращено».

— Куда теперь эту бумагу?

— А куда ее, никуда. Обратно отослать.

— Я считаю, мы обязаны ее в домоуправление сдать, поскольку эта женщина имела здесь постоянную прописку.

— Вот это правильно. Но сегодня у них в домоуправлении выходной.

— А куда особенно спешить.

— Давайте ее мне. Я зайду насчет неисправности кранов и заодно ее передам.

Потом все некоторое время молчали, а затем мужской голос произнес:

— Чего же это мы сидим. Кому сдавать?

— Кто остался, тому и сдавать.

1960 г. октябрь

Мама

1

В детдоме с утра волновались. Заведующий поспорил с врачом, кричал на завхоза; было приказано натереть полы, срочно выдать для отделения грудных новые простынки и пеленки. Нянек нарядили в накрахмаленные докторские халаты. Заведующий вызвал к себе в кабинет врача и старшую медицинскую сестру. Потом втроем они пошли в отделение и осматривали детей.

Вскоре после дневного кормления грудных младенцев в детдом приехал на автомобиле полнотелый пожилой человек в военной форме, в сопровождении двух молодых военных. Пожилой рассеянно оглядел встретившее его детдомовское начальство и прошел в кабинет заведующего, сел, отдышался и спросил у докторши разрешения курить. Она закивала, бросилась искать пепельницу.

Он курил, стряхивал пепел в блюдечко и слушал рассказ о жизни младенцев, чьи родители оказались врагами народа и были репрессированы. Рассказ был о почесухах, о крикунах и сонях, о младенцах обжорах и о младенцах, равнодушных к молочной бутылочке, о предпочтении мальчикам и о предпочтении девочкам. А молодые военные, надев халаты, шагали по коридорам детского дома, заглядывали в дежурки, кладовые, и из-под коротких халатов видны были их синие диагоналевые брюки. У нянек сердца холодели от глаз этих парней и от их настырных вопросов: «Та дверь куда ведет?», «Где ключ от чердака?»

Молодые люди, сняв халаты, зашли в кабинет заведующего, и один из них сказал:

— Товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга, разрешите доложить?

Начальник кивнул...

Потом, накинув на плечи халат, он пошел в сопровождении заведующего и врача в отделение грудных младенцев.

— Вот эта,— сказал заведующий и указал на кроватку, стоявшую в простенке между окнами.

Докторша заговорила с торопливостью, с какой предлагала пепельницу.

— Да, да, я уверена в этой девочке, совершенно нормальный, правильно развивающийся ребенок. Норма, норма, во всех отношениях норма.

Потом сестры и няньки, прильнув к окнам, видели, как полнотелый комиссар государственной безопасности уехал. Молодые военные остались в детдоме, занялись чтением газет.

А в замоскворецком переулке, где находился детдом, ребята в зимних шапках и галошах-ботиках вразумительно говорили прохожим: «Давайте пройдем по мостовой». Прохожие поспешно сходили с тротуара, прилегающего к детскому дому.

В шесть часов вечера, когда настали ноябрьские сумерки, у детского дома остановился автомобиль. Маленький человек в осеннем пальто и женщина прошли к подъезду. Заведующий сам открыл им дверь.

Маленький человек вдохнул кисловатый молочный запах, покашливая, сказал женщине:

— Пожалуй, не стоит тут курить,— и потер озябшие ладони.

Женщина виновато улыбнулась, спрятала папиросу в сумочку. Лицо у нее было милое, с несколько большим носом, усталое и чуть поблекшее.

Заведующий подвел посетителей к кроватке, стоявшей в простенке между окнами, и отошел в сторону. Было тихо, младенцы спали после вечернего кормления. Заведующий жестом приказал няне выйти за дверь.

Маленький человек в москвошвеевском пиджаке и женщина всматривались в лицо спящей девочки. Должно быть, чувствуя их взгляды, девочка улыбнулась, не открывая глаз, потом нахмурила лоб, словно вспомнив что-то печальное.

Ее пятимесячная память не могла удержать на своей поверхности того, как гудели в тумане автомобили, как на платформе лондонского вокзала мама держала ее на руках, а женщина в шляпке грустно говорила: «Кто же нам теперь будет петь на посольских семейных вечерах». Но втайне от нее самой в ее головке затаились и этот вокзал, и лондонский туман, и плеск волны в Ла-Манше, и крик чаек, и лица отца и матери в купе мягкого вагона, склонившиеся над ней при приближении скорого поезда к станции Негорелое... А когда-нибудь ей, седой старухе, непонятно представятся рыжие осенние осины, тепло материнских рук, тонкие пальцы, розовые, без маникюра ноготки, два серых глаза, широко глядящих на родные поля.

Девочка открыла глаза, поцокала язычком и тут же снова заснула.

Маленький, казавшийся робким человек оглянулся на женщину. Она утерла платочком слезу, сказала:

— Решила, решила... странно, удивительно, знаешь, у нее твои глаза.

Вскоре они вышли из дверей детского дома. Няня несла за ними ребенка в одеяльце. Маленький человек, усаживаясь рядом с шофером, негромко проговорил:

— Домой.

Женщина неумело взяла в руки ребенка, сказала няне:

— Спасибо, товарищ,— и пожаловалась: — Я боюсь не только держать ее, но и смотреть на нее, все кажется, не так.

А через минуту ушел большой черный автомобиль, куда-то исчез-

ли военные, читавшие газеты у внутренних дверей, испарились, растворились ребята в зимних шапках и ботиках, караулившие на улице.

В Спасских воротах затрещали звонки, загорелись сигнальные лампочки, и огромная черная машина генерального комиссара государственной безопасности, верного соратника великого Сталина Николая Ивановича Ежова вихрем, не снижая скорости, пронеслась мимо охраны, въехала в Кремль.

А по замоскворецким улочкам пошел слух, что в закрытом детском доме был объявлен карантин,— произошла вспышка чумы не то сибирской язвы.

2

Она жила в просторной и светлой комнате. Если у нее расстраивался желудок или болело горло, в помощь к няне, Марфе Дементьевне, приезжала дежурить сестра из кремлевки, а врач приходил дважды в день.

А когда она простудилась, ее выслушивали дедушка с теплыми добрыми, дрожащими руками и две докторши.

Маму она видела ежедневно, но мама подолгу не оставалась около нее; когда Наде давали утреннюю кашу, мама говорила:

— Кушай, кушай, деточка, а я поеду в редакцию.

По вечерам к маме приезжали подруги. Иногда бывали папины гости. Тогда няня надевала накрахмаленную косынку, из столовой слышались голоса, стук вилок, медленный папин голос: «Ну что ж, придется выпить».

Случалось, кто-нибудь из гостей заходил посмотреть на нее. Иногда она, лежа в кроватке, притворялась спящей, но мама знала, что Надюша не спит, смеющимся голосом говорила: «Тише». А папин гость смотрел на Надюшу, и она ощущала запах вина. Мама говорила: «Спи, доченька, спи»,— целовала ее в лоб, и девочка снова ощущала легкий запах вина.

Марфа Дементьевна была выше ростом всех папиных гостей. Папа рядом с ней казался совсем маленьким. Ее все боялись, и гость, и папа, и мама, особенно папа; он поэтому старался пореже бывать дома.

Надя не боялась няни. Иногда Марфа Дементьевна брала Надю на руки, нараспев говорила:

— Бедная ты моя девочка, несчастная ты моя.

Если бы Надя и знала значение этих слов, она бы все равно не поняла, почему няня считает ее несчастной и бедной,— у нее было много игрушек, она жила в солнечной комнате, мама ее возила кататься, люди в красивых красно-синих фуражках выскакивали из будок, распахивали перед их автомобилем дачные ворота.

Но от тихого, ласкового голоса няни у девочки щемило сердце, хотелось плакать сладко, сладко, хотелось спрятаться мышкой в больших няниных руках.

Она знала главных маминых подруг и главных папиных гостей; знала, что, когда приезжали папины гости, никогда не бывало маминых подруг.

Была рыжая, она называлась подруга детства, с ней мама сидела возле Надиной кроватки и говорила: «Безумие, безумие». Был лысый, в очках, с улыбкой, от которой Надя всегда улыбалась, и Надя не знала, кто он — подруга или гость. Похож он был на гостя, но приезжал он к маме и ее подругам. Когда он входил, мама улыбалась его улыбке, говорила: «Бабель к нам приехал».

Как-то Надя коснулась ладошкой его лысого, лобастого черепа. Он был теплый, добрый, как нянина или мамина щека.

Были папины гости — посмеивающийся, с нюхающим носом и гортанным голосом, был дышащий вином, плечистый и громкоголосый, был худенький, черноглазый, приезжавший с портфелем обычно до ужина и уезжавший до ужина, был черный с брюшком, с красными влажными губами, он как-то взял Надю на руки и спел ей маленькую песенку.

Раз она видела седеющего, румяного гостя, одетого в военную форму. Он выпил вина и пел. Раз она видела гостя, перед которым робела мама, с маленькими стеклышками на глазах, большелобого, с заикающимся голосом. Он не был ни во френче, ни в кителе, ни в гимнастерке, а носил пиджак и галстук. Он ласково сказал Наде, что и у него есть маленькая дочка.

Марфа Дементьевна путала, кто Бетал Калмыков, кто Берия, кто приезжавший докладывать худенький Маленков... Кагановича, Молотова, Ворошилова она знала по портретам.

Надя никого из гостей не знала по имени. Но она знала слова: «мама, няня, папа».

Но вот как-то пришел новый гость. Надя отличила его не потому, что все волновались перед его приходом, и не потому, что няня перекрестилась, когда сам папа пошел открывать ему дверь, и не потому, что гость шел так бесшумно, как никто из людей не умел ходить, только зеленоглазый черный кот на даче, и не потому, что у него было рябое, умное лицо, темные с проседью усы и мягкие, плавные движения...

Люди, которых знала Надя, имели схожее выражение глаз. Это выражение было общим и для маминых карих глаз, и для серо-зеленых папиных глаз, и для желтых глаз кухарки, и для глаз всех папиных гостей, и для глаз тех, кто открывал ворота на даче, и для глаз старого доктора.

А новые глаза, несколько секунд без любопытства, медленно смотревшие на Надю, были совсем спокойными, в них не было безумия, тревоги, напряжения, одно только медленное спокойствие.

У одной лишь Марфы Дементьевны были спокойные глаза в доме Ежова.

Многое она видела и многое замечала.

Вот уже не шумит в доме Николая Ивановича широкоплечий, веселый Бетал Калмыков. Хозяйка ходит ночами по комнатам, постоит над спящей Надей, пошепчет, зазвенит в темноте лекарственными скляночками, зажжет весь хрустальный свет, снова подойдет к Наде, шепчет, шепчет. То ли она молится, то ли стихи читает. Утром приезжает серый, осунувшийся Николай Иванович. Снимая пальто, он тут же в передней закуривает, раздраженно говорит: «Не буду завтракать и чаю не хочу». Хозяйка спрашивает Николая Ивановича о чем-то и вдруг испуганно вскрикивает — и уж не приходит больше рыжая подруга детства, и уж не звонит ей хозяйка по телефону.

Однажды Николай Иванович подошел к Наде и улыбнулся, а она посмотрела ему в глаза и закричала.

— Нездорова? — спросил он.

— Испугалась,— сказала Марфа Дементьевна.

— Чего?

— Мало ли чего, дитя ведь.

Когда няня с Надюшей возвращались с прогулки, охранник вглядывался в нее, в Надино личико, и Марфа Дементьевна старалась, чтобы девочка не видела этого взгляда, острого, как окровавленный, грязный коготь коршуна.

Возможно, что во всем свете она одна жалела Николая Ивановича, даже жена теперь боялась его. Марфа Дементьевна замечала ее страх, когда слышался шум машины и Николай Иванович, серолицый и

бледный, в сопровождении двух-трех serолицых и бледных людей, проходил к себе в кабинет.

А Марфа Дементьевна вспоминала главного хозяина, спокойного рябого товарища Сталина, и жалела Николая Ивановича, глаза его казались ей жалобными, растерянными.

Она словно не знала, что взор Ежова заморозил ужасом всю великую Россию.

День и ночь шли допросы во Внутренней, Лефортовской, в Бутырской тюрьмах, шли день и ночь эшелоны в Коми, на Колыму, в Норильск, в Магадан, в бухту Ногаево. На рассвете крытые грузовики вывозили тела расстрелянных в тюремных подвалах.

Догадывалась ли Марфа Дементьевна, что страшная судьба молодого референта из Лондонского посольства и его миловидной жены, так и не докормившей грудью своей маленькой дочери, так и не закончившей консерватории по классу пения, была решена подписью, что сделал на длинном списке фамилий ее хозяин, питерский рабочий Николай Иванович. А он все подписывал, десятками, эти огромные списки врагов народа, и черный дым пер из труб московского крематория.

3

Однажды Марфа Дементьевна слышала, как кухарка, закуривая папироску, шепотом сказала вслед хозяйке:

— Вот и ты отцарствовала.

Видимо, кухарка уже знала о том, чего не знала няня.

В эти последние дни Марфе Дементьевне запомнилась пришедшая в дом тишина. Не звонил телефон. Не приезжали гости. Не вызывал утром хозяин своих заместителей, секретарей, помощников, адъютантов, порученцев. Хозяйка не ездила на работу, лежала в халате на диване, читала, зевая, книгу, задумывалась, усмехалась, ходила в ночных бесшумных туфлях по комнатам.

Одна Надюша была слышна в доме: плакала, смеялась, гремела игрушками.

Однажды утром к хозяйке приехала гостья — старушка. В комнате было тихо, словно хозяйка и гостья сидели молча.

Кухарка подошла к двери и прислушалась.

Потом хозяйка со старушкой зашли к Наде. Старушка была штопанная, перештопанная и уж такая робкая, что, казалось, не только говорить, но и смотреть боялась.

— Марфа Дементьевна, познакомьтесь, моя мама,— сказала хозяйка.

А через три дня хозяйка сказала Марфе Дементьевне, что ложится на операцию в Кремлевскую больницу. Говорила она быстро, громко, каким-то фанерным голосом. Надюшу она, прощаясь, оглядела рассеянно, поцеловала коротким поцелуем. В дверях она посмотрела в сторону кухни, обняла Марфу Дементьевну и шепнула ей на ухо:

— Нянечка, помните, если со мной что случится, вы одна у нее, никого, никого на всем свете у нее нет.

Девочка, точно понимая, что речь идет о ней, сидела на стульчике тихо, смотрела серыми глазами.

В больницу хозяйку муж не провожал, приехали за ней порученец — полнотелый генерал с букетом красных роз — и личный охранник Николая Ивановича.

А Николай Иванович вернулся с работы домой лишь утром, не зашел к Наде, писал, курил в кабинете, вызвал машину и снова уехал.

После этого дня событий, потрясших, а затем разрушивших жизнь дома, стало очень много, и они спутались в памяти Марфы Дементьевны.

Скоропостижно умерла в больнице Надюшина мама, супруга Николая Ивановича Ежова. Она была неплохая женщина, не злая, и девочку жалела, но все же она была странная.

Николай Иванович в этот день приехал домой очень рано.

Он попросил Марфу Дементьевну привести в кабинет к нему Надю. Отец с дочерью поили чаем пластмассового поросенка, укладывали спать куклу и медведя. Потом до утра Ежов ходил по кабинету.

А вскоре не вернулся домой маленький человек с желто-зелеными глазами, Николай Иванович Ежов.

Кухарка сидела на постели покойной хозяйки, потом долго разговаривала по телефону из кабинета хозяина, курила его папиросы.

Приехали гражданские люди и люди в форме, ходили по комнатам в шинелях и пальто, грязными сапогами и галошами ступали по коврам, по светлой дорожке, ведущей к сиротской Надиной кроватке.

Ночью Марфа Дементьевна сидела возле спящей девочки, неотступно смотрела на нее. Она решила увезти Надю в деревню и все представляла себе, как от Ельца они будут добираться на попутной подводе домой, как встретит их брат и как Надя будет вскрикивать, радоваться, когда увидит гусят, теленка, петуха.

— Прокормлю, выучу,— думала Марфа Дементьевна, и материнское чувство наполняло светом ее девичью душу.

Всю ночь шумели военные люди, вытаскивали из шкафов книги, белье, посуду — шел обыск.

И у новых пришельцев глаза были напряженные, сумасшедшие, к каким привыкла Марфа Дементьевна за последнее время.

Лишь Надюша, проснувшись и справив малые дела, умиротворенно позевывала, да Сталин без всякого любопытства, спокойно прищурясь, глядел с портрета на то, что должно было совершиться и совершалось.

А с утра приехал краснолицый и толстый, как кубарь, которого кухарка называла «майор». Он прошел прямо в детскую, где Надя в накрахмаленном фартушке с вышитым красным петухом важно и неторопливо ела овсяную кашу, и приказал:

— Оденьте девочку потеплей, соберите ее вещи.

Марфа Дементьевна, превозмогая волнение, медленно спросила:

— Это же куда, зачем?

— Ребенка поместим в детдом. А вы приготовьтесь, получите причитающуюся вам зарплату, билет и отправитесь к себе на родину, в деревню.

— А где моя мама? — вдруг спросила Надя и перестала есть, отодвинула тарелочку с синей каемочкой.

Но ей никто не ответил, ни Марфа Дементьевна, ни майор.

4

В общежитии работниц государственного радиозавода, в комнатах, в местах общего пользования соблюдалась образцовая чистота, постели девушек были застелены накрахмаленными одеялами, на подушках лежали накидки, а на окнах висели кружевные, в складчину купленные занавески.

У многих кроватей на тумбочках стояли вазочки с красивыми искусственными цветами — розами, тюльпанами и маками.

По вечерам работницы читали журналы и книжки в красном уголке, участвовали в танцевальных и хоровых кружках, во Дворце культуры смотрели кинокартины и самодеятельные спектакли. Некоторые девушки занимались на вечерних курсах кройки и шитья либо на курсах подготовки в вуз, некоторые учились на вечернем отделении электромеханического техникума.

Очередной профотпуск работницы редко проводили в городе — завком давал отличившимся в работе бесплатные путевки в профсоюзные дома отдыха, многие на время отпуска уезжали в деревню к родным.

Говорили, что в домах отдыха некоторые девушки позволяют себе лишнее, гуляют по ночам, теряют в весе, а в мужских комнатах народ пьянствует, не соблюдает мертвый час, режется в карты.

Рассказывали, что отдыхающие ребята с механического завода ночью забрались в ларек и вытащили ящик пива, шесть пол-литров, и все это распили в музыкальной комнате, покрыли матом главврача, прибежавшего на шум. Всех их выписали досрочно из дома отдыха, сообщили о них в заводской партком. А на троих отдыхающих, по чьей инициативе был обворован ларек, милиция завела дело, и они потом отрабатывали два месяца принудиловку по месту работы.

Никогда ничего подобного не происходило в общежитии радиозавода.

Комендант общежития, Ульяна Петровна, отличалась строгостью. Как-то одна девочка привела к себе в комнату знакомого и с согласия остальных жилиц оставила его ночевать.

Ульяна Петровна осрамила эту девчонку, в двадцать четыре часа выселила ее из общежития.

Но Ульяна Петровна была не только суровой, она умела проявлять теплоту. С ней советовались, как с близкой, родной — она была общественницей, проверенным человеком, не раз избиралась депутатом районного Совета. При ней в общежитии не было ни пьянства, ни разврата, ни ночной гармошки.

Работнице-сборщице Наде Ежовой очень нравилось образцовое общежитие после грубых, жестоких нравов детдома.

Годы, проведенные в детских домах, были самыми тяжелыми в ее жизни. Особенно трудно жилось ей во время войны в пензенском детдоме: даже неизбалованные детдомовские ребята неохотно ели суп из тухлой кукурузной муки, который давался на обед и к ужину. Постельное и нательное белье менялось редко,— его не хватало, а часто стирать белье нельзя было из-за нехватки дров и мыла. В бане по решению горсовета детдомовских детей полагалось мыть два раза в месяц, но решение это нарушалось, так как в двух городских банях всегда мылись военные из запасных частей, а у старенькой бани, расположенной за вокзалом, с рассвета стояли молчаливые и злые очереди. Да и радости от этого мытья было немного— в бане гулял холодный ветерок, сырые дрова рождали больше дыма, чем тепла, вода была чуть теплая.

Наде в Пензе все время было холодно — и ночью в спальной комнате, и в классе, где шили рубахи для фронта и велись школьные занятия, и даже на кухне, где она иногда помогала кухарке выбирать червей из кукурузной муки. И так же тяжелы, как холод и голод, были грубость воспитателей, злоба детей, воровство, царившее в спальнях. Стоило на миг задуматься — и исчезали хлебные пайки, карандаши, трусы, косынки. Одна девочка получила посылку, заперла ее в тумбочку и пошла на занятия, а когда вернулась, замочек висел как бы нетронутый, а посылка из тумбочки исчезла.

Некоторые мальчики занимались карманными кражами в продмагах и на автобусных остановках, а один паренек, Женя Панкратов, даже участвовал в вооруженном нападении на инкассатора.

Конечно, после войны жизнь в детдоме стала легче, но когда Надя окончила семилетку и комиссия направила ее на завод, ей показалось, что она попала в рай.

Надя сама теперь удивлялась, как это она вместо того, чтобы радоваться, проплакала всю ночь, узнав, что комиссия ее направила на завод. Расстроилась она из-за учительницы пения. «С твоим голосом ты и в консерваторию, и в театр попадешь»,— говорила ей учительница. Комиссия по распределению сперва действительно собиралась направить Надю в музыкальный техникум, но неожиданно пришло какое-то разъяснение из центра, и после этого Наде дали путевку на завод.

Когда Надя плакала в свою последнюю детдомовскую ночь, она считала себя самой несчастной из девочек-воспитанниц. Ни разу не была она в московском или ленинградском детдоме,— из приемника ее всегда направляли в самые глухие места. Многие девочки получали посылки, письма от родственников. А Надя за всю свою жизнь не получила ни одного письма, ни разу в жизни никто не прислал ей яблок и коржиков.

Должно быть, поэтому она и стала угрюмой, и детдомовские ребята ее прозвали немой.

Живя в образцовом общежитии, она стала понимать, что не такая она уж невезучая.

Работа у нее была хорошая, чистая, сравнительно нетяжелая, а оплачивалась она по высокой ставке; комитет комсомола обещал ее послать на курсы мастеров. У нее было хорошее зимнее пальто, несколько красивых платьев, а одно платье из креп-сатина она сшила по заказу в ателье мод, ордер на пошивку ей дала Ульяна Петровна. Девочки в цеху и в общежитии ее уважали, считали самостоятельной. Вместе с девочками из общежития ходила она в кино и на танцы в клуб. Ей нравился один парень — Миша,— она охотно танцевала с ним. Он был такой же молчаливый, как и она, и когда он провожал ее после танцев, они обычно шли молча до самого общежития. Жил он далеко, за товарной станцией, работал вагонным мастером в депо.

А о том, что было когда-то, она уже почти не помнила, и ей казалось, что сверкающий черный автомобиль, роскошные дачные цветники, прогулки с няней по кремлевскому холму, ласковое и рассеянное лицо мамы, смех и голоса папиных гостей — не жили в памяти сами по себе, а были воспоминанием о каком-то еще более давнем воспоминании — словно многократное эхо, замирающее в тумане.

Нынешний год оказался особенно хорошим для Нади Ежовой. Она поступила в вечерний электромеханический техникум, ее премировали за перевыполнение плана полуторамесячным окладом. Начальник вагонной службы обещал Мише выделить площадь в строящемся доме Министерства путей сообщения, и они решили пожениться. Наде очень хотелось иметь ребенка, и она радовалась, что станет матерью.

Однажды, за несколько дней до отпуска и поездки в дом отдыха Надя увидела сон — какая-то женщина, но не мама, а совсем другая, держит на руках ребенка, не то Надю, то ли не Надю, старается укрыть его от ветра, а кругом шум, плеск, солнце сверкает на волнах и тут же гаснет в быстрых, низких тучах, а вкривь и вкось носятся белые птицы, кричат пронзительными, кошачьими голосами.

Весь день, и в цеху, и на фабрике-кухне, и оформляя путевку в завкоме, Надя вспоминала милое и жалкое лицо женщины, прижимавшей к груди ребенка, и вдруг поняла, почему ей приснился такой сон.

Когда-то в пензенском детдоме руководительница водила ребят на кинокартину, где показывалось какое-то морское путешествие молодой мамаши, и вот эта полузабытая Надей картина взяла да и приснилась ей именно в то время, когда она много думала о предстоящем ей материнстве.

1960 г. октябрь

На вечном покое

1

Рядом с Ваганьковским кладбищем подъездные пути Белорусской дороги, из-за стволов кладбищенских кленов видно, как проносятся на Варшаву и Берлин поезда, сверкают стекла вагонов-ресторанов, стремятся синие экспрессы Москва — Минск, то и дело шипят электрички; дрожит земля от тяжелых товарных составов.

Рядом с кладбищем Звенигородское шоссе — бегут легковушки, грузовые такси с дачным скарбом. Рядом с кладбищем Ваганьковский рынок. В небе треск вертолетов, в кладбищенском воздухе разносится четкий голос диспетчера, командующего составлением поездов.

А на кладбище вечный покой, вечный мир.

В воскресные весенние дни трудно сесть на автобусы, идущие в сторону Ваганьковского кладбища; пешие толпы движутся от Пресненской заставы по улице 1905 года мимо новостроек и деревянных развалюшек, мимо радиотехникума и рундуков Ваганьковского рынка. Идут люди с лопатами, лейками, пилами, с ведерками краски, с малярными кистями, с авоськами, полными снеди,— начался период весеннего ремонта, окраски оград, устройства могильных цветников.

А у кладбищенских ворот людские реки сливаются; живой Вавилон мешает новоселам въезжать на похоронных машинах в кладбищенскую ограду. Как много весеннего солнца, свежей зелени, как много оживленных лиц, житейских разговоров и как мало здесь печали. Так, по крайней мере, кажется.

Пахнет краской, стучат молотки, скрипят тачки и тележки, везущие песок, дерн, цемент,— кладбище работает.

Люди в сатиновых нарукавниках трудятся старательно и упоенно,— некоторые негромко напевают, некоторые перекликаются с соседями.

Мама красит папину оградку, а маленькая дочка прыгает на одной ножке, старается обскакать могилку, не коснувшись второй ногой земли.

— Ну что за девочка, весь рукав в краске!

А там уж пошабашили: ограда и памятник раскрашены дурацким золотом, на скамеечке скатерка, люди закусывают и, видимо, не только закусывают: голоса уж очень оживленные, незамысловатые лица налились краской, вдруг раздается дружный хохот. Оглянулись ли, спохватившись, на могилу? Нет, не оглянулись. Покойник не обидится: доволен малярной работой.

Хорошо потрудиться на свежем воздухе, посадить цветы, выдернуть побеги ненужных растений, пронзивших могильную землю.

Куда пойти в воскресенье? В зоопарк, в Сокольники? На кладбище приятней,— неторопливо поработаешь, подышишь свежим воздухом.

Жизнь могуча, и она вторглась в кладбищенскую ограду, и кладбище подчинилось, стало частью жизни.

Житейских волнений, страстей здесь немногим меньше, чем на службе, в коммунальной квартире или на расположенном рядом рынке.

— Конечно, наше Ваганьковское не Новодевичье, но здесь тоже не последние люди лежат — художник Суриков, составитель словаря Даль, профессор Тимирязев, Есенин... Есть и генералы, и старые большевики, Бауман, шутите, у нас похоронен, ведь целый район столицы носит его имя... герой гражданской войны легендарный начдив Киквидзе тоже у нас. А при царизме здесь не только купцов, случалось, и архиереев хоронили.

Трудно получить место на Ваганьковском кладбище, не легче, чем, приехав из провинции, прописаться на постоянно в Москве.

И доводы, которые приводят мужчине с темно-красным лицом, в кубанке и сапогах, в кожанке на молнии родственники покойников, такие же, какие выслушивают ежедневно работники паспортного отдела московской милиции.

— Товарищ заведующий, ведь тут его старуха мать, старший брат, ну как же, ну куда же ему в Востряково.

И заведующий отвечает так же, как отвечают в столичном паспортном отделе:

— Не могу. Имею специальное указание Московского Совета, понимаете — лимит исчерпан, не всем же на Ваганьковском, кому-то надо и в Востряково ехать.

Особенно строго было на Ваганьковском перед Всемирным фестивалем молодежи в 1957 году. Прошел слух, что верующие участники фестиваля побывают на Ваганьковском,— работники кладбища с ног сбились, наводили порядок, готовились к молодежному фестивалю.

Досталось особенно крепко в эти дни нищим,— поющим, согнутым, шепчущим, трясущимся, инвалидам Великой Отечественной войны, слепцам, глупеньким... Их прямо с Ваганькова милиция вывозила машинами. Имелось спецуказание.

В кладбищенской конторе в эти дни посетителям говорили:

— Отбудем фестиваль, тогда приходите.

Но миновал фестиваль, и жизнь принарядившегося кладбища вошла в обычную колею.

И снова у заведующего и его ближайших помощников просят:

— Местечко бы...

Но что поделаешь — места на Ваганьковском мало, а покойники «все прибуют да прибуют». И никто не хочет в Востряково.

Люди убеждают, грозят, плачут.

Одни приносят справки, ходатайства от учреждений, от общественных организаций — покойник незаменимый специалист, прекрасный общественник, персональный пенсионер республиканского значения, имеет военные заслуги, дореволюционный партстаж.

Другие норовят блатовать, мухлюют, и контора их разоблачает:

— Вы указали, что хотите ее захоронить рядом с мужем, а оказывается, это ее самый первый муж, она два раза после него замужем была. Все же надо совесть иметь.

Третьи ищут, кого бы задобрить взяткой, богатой выпивкой. Одни хотят сунуть начальству, другие стремятся подмазать простых людей с лопатами.

Четвертые норовят захоронить человека с нахрапа, нахально, вот так же въезжают без ордера в комнату, а потом долго, нудно добиваются жировки.

Имеется указание — заброшенные могилы ликвидировать и на их месте производить новые захоронения. Вот вокруг такого дела много страстей, ничуть не меньше, чем вокруг жилой площади, на которой никак не угаснет одинокая старушечья жизнь.

Но, наконец, разрешение на заброшенную могилу получено,— и бывает так, что гроб становится на гроб, а под вторым оказывается третий. Вот и лежат: потерявший имя купец, беспощадный к буржуазии романтик-коммунар с красным полуистлевшим бантом, тоже всеми забытый, кадровичка — зав секретной частью. Кто-то будет четвертым?

Почему же любят многие люди ходить на кладбище?

Конечно, дело тут не только в кладбищенской зелени и не в том, что приятно сажать цветы, строгать и красить.

Это причины боковые — поверхность,— а главная причина, как и большинство главных причин, скрыта, она в глубине лежит.

...Измученные горем, бессонными ночами, часто невыносимыми угрызениями, люди приезжают на кладбище, хлопочут о месте для захоронения.

Хлопоты эти тяжелы, унизительны. Минутами возникает нехорошее чувство к умершему,— ему-то все равно, а я, мы так страдали, не спали ночами, когда он умирал. Сколько раз бегали ночью в аптеку за подушками с кислородом, а вызовы неотложки, лекарства, фрукты. И не видно конца, человек умер, а мучения продолжаются.

А на кладбище умные люди говорят:

— Не расстраивайтесь, все устроится, какие ни есть бюрократы, все равно похоронят, еще не было такого случая, чтобы не похоронили.

И, правда, похоронили.

И вот в воспаленные горестные сердца, вместе со стуком земли о гробовую крышку, входит светленьким лучиком чувство покоя и облегчения. Схоронили...

Маленькое, тоненькое чувство облегчения и есть тот зародыш, из которого развиваются новые отношения — отношения между живыми и мертвыми. Вот из этого тоненького лучика и рождаются оживленные толпы, идущие в ворота кладбища, радостный труд по украшению, озеленению могил.

Как же развивается этот зародыш?

Чтобы проследить за его развитием, понять, как раздирающая вечная разлука с близким человеком обращается в милые кладбищенские радости, надо на время уйти с кладбища в город.

Отношения близких людей редко бывают гласны, явны, как бы одноэтажны, линейны.

Это здания с толстыми стенами, с глубокими подвалами, с темными жаркими спаленками, с надстройками и пристроечками.

Что только не происходит в этих комнатухах, подвалах, коридорчиках и чердаках. Чего только не видели, не слышали бестелесные стены скрытых в сердцах строений. И свет, и беспощадные упреки, и вечную жажду, и тошное пресыщение, и правду, и бешеное желание избавиться, и многолетнюю мелочную волынку, и счет на копейки, и страшную тайную ненависть, и драки, кровь, кротость.

Иногда, вдруг, все содрогаются, услышав о сыне и невестке, убивших мать, чтобы расширить свое жизненное пространство. Две дочери с целью грабежа повалили мать на кушетку, стали заливать ей в рот крутой кипяток. Рабочий выиграл по займу двадцать пять тысяч рублей, побежал сообщить жене о великой радости, а когда оба вбежали в дом, увидели — их трехлетняя девчонка сожгла, обратила в пепел выигравшую облигацию; отец, с потемневшим от бешеного отчаяния умом, схватил топор, отрубил ребенку кисти рук. Это страшные и редкие уродства, но ведь и уродства рождены жизнью.

А иногда кажется, что тихие омуты жизни еще страшней.

Десятилетиями живут в одной комнате муж и жена, и десятилетиями он уходит, то днем, то вечером, то в выходной, то на ночь — у него вторая семья. Жена молчит, и муж молчит, но так тяжел ее молчаливый укор, ее жалкая улыбка, ее попытки обманывать детей, знакомых, ее покорная забота о нем. Иногда ужас охватывает его, но что он может сделать со своим сердцем, а там, где его любовь,— тоже жалкая, виноватая и беспомощная улыбка, укор, счет на копейки.

У свекрови с невесткой хорошие отношения, спокойные, ровные. Спокойствие основано на том, что старуха отдала молодым свою комнату, перебралась в проходную, потом отдала свою кровать, спит на раскладушке, вытащила свои вещи из шкафа и положила их в фанерный ящик в коридоре, а шкаф отдала невестке; невестка не любит цветов, от них тяжелый воздух, и старуха рассталась со своими многолетними агавами и фикусами; невестке сказали, что от кошки у Светочки могут быть глисты, и пришлось старухе расстаться со старым котом, таким старым, что Светочкин папа сам еще был маленьким Андрюшей, когда в доме появился этот кот. Бабушка его завернула в чистую косынку и отвезла на пункт. Старуху особо мучительно терзало, что кот, полный доверия к ней, спокойно дремал у нее на руках во время своего последнего путешествия. Старуха молчит, и сын молчит. Она видит, что он боится остаться с ней наедине, он видит ее беззащитность, а она понимает жалкое бессилие своего сына и, примиренно кивая дрожащей белой головой, часами слушает его торопливо угодливое, обращенное к жене: «Милочка, Милочка, Милочка...»

А вот старик всю жизнь тянул семью, работал сверхурочно, брал за отпуск денежную компенсацию, поддежуривал в праздники и в выходные дни за двойную оплату, даже под Новый год, отказывался погулять с товарищами, выпить кружку пива. «Тебе, видно, нужно больше всех»,— говорили ему товарищи. «Семья»,— виновато отвечал он. И, действительно, семья была большая, но все были сыты, обуты, кончили институты, вышли в люди. Теперь старика разбил паралич. Куда только не писали сыновья и дочери, ничего не помогло, не взяли в больницу парализованного хроника. Вот дети кормят его с ложки, убирают постель, выносят подкладное судно. Он неподвижен, лишился речи, но слух и зрение сохранил, он видит лица и слышит разговоры своих детей. Внук спросил у своего отца — старикова сына: «Почему у дедушки все время текут слезки из глаз?» «Глаза у него больные». Старик беззвучно молит о смерти, а смерть не идет.

В семье у рабочего единственный сынок — слабоумный. Ему шестнадцать лет, а он еще не умеет сам одеться, с трудом, невнятно произносит самые простые слова и улыбается весь день кроткой, тихой улыбкой. Как страшно родителям, а вдруг их безумное дитя переживет их. Куда он денется, их никому не нужный Сашенька? Но тут же они ужасаются от мысли, что от них навек уйдет это слабое, жалкое создание, которое они любят особой, горькой и нежной любовью. И в то же время они хотят его смерти — боятся оставить его на этом свете одного. И в то же время они ужасаются этого желания.

А тут врачи сказали: рак желудка, метастазы. Боже мой, боже, как страшно она умирала, день и ночь она выла, металась, проклинала свою старшую сестру, не отходившую от ее постели.

Все это боль жизни, гроза. А ведь в жизни не только гроза.

Но иногда кажется, что обычная будничная морока жизни, идущая в труде, любви, дружбе, так же тяжела, как и гроза жизни.

Семья живет в спокойном довольстве, но сколько в жизни безысходно сложного, запутанного. Отца оскорбляет практицизм детей — самодовольные успехи сына, его связи и знакомства с нужными и знатными людьми, его безразличие к книге, природе, его рассуждения о житейских выгодах и невыгодах; сколько унижающего в разумном, рассчитанном замужестве дочери, в добропорядочном мире советской аристократии, в который она вошла; как по-животному проста, как банальна оказалась дочь в своей новой семье, в своих квартирных, дачных, автомобильных делишках; а он-то называл ее в детстве Аленушкой, угадывал в ней неистовую совесть Софьи Перовской. И вот жена восхищена успехами сына, дочери. «Ты жизнь мне отравлял своим вздором, а теперь я вижу — наши дети живут, как все нормальные, настоящие люди». И он все видит, все понимает, и его жизнь зашла в тупик, и жить не хочется.

Какая славная пара, оба работают в науке, водят машину, занимаются альпинизмом, дружно, интересно живут.

Она доктор наук, он кандидат, в приглашении на кремлевский прием сказано: «с супругом». Они смеялись, и друзья смеялись. Президент Академии поздравил ее телеграммой с днем рождения, всюду, где они вместе, люди проявляют интерес к ней, к нему интерес через нее. В конце концов ее самоуверенность стала его раздражать, она, видимо, убеждена, что он счастлив, живя с ней. Он почувствовал себя оскорбленным, но, конечно, не поэтому он затеял роман с милой девушкой, аспиранткой. Он действительно увлекся! Жена ничего не замечала, была уверена в его преданности. Но, боже мой, что с ней творилось, когда она прочла записку, забытую им. Как она плакала, хотела отравиться люминалом. И он плакал, просил прощения, а она тут стала говорить: «Поняла, поняла, я дура, я не стою твоего мизинца, ты важнее для меня всего в жизни». Ну, конечно, она и теперь считала, что он не мог полюбить другую, что он мстил ей за свое унижение. Ее, видимо, больше всего мучила мысль, как это он, ничем не замечательный, мог изменить такой женщине, как такая, как она, и так его любила! Вначале он растерялся, каялся, а потом в ее страдании оказалось что-то дурное, оскорбительное для него. Не видно хорошего впереди, впереди та же безнадежная путаница.

У нее второй муж, первый убит на войне. Растет дочь от первого мужа. Отчим к девочке враждебен. При ней он молчит. Идут годы, девочка стала взрослой, вышла замуж, у нее ребенок. Отчим запрещает жене видеться с дочерью, внуком, подозревает, что внука любят потому, что он похож на убитого деда, уезжая, он не говорит, когда вернется, чтобы застать жену врасплох — вдруг она позвала к себе ночевать дочку с внуком. Он ревнует, мучится, мучит других. А сил все меньше, головы седые, и все так безысходно сложно.

Но снова можно сказать: не всегда же сложны, противоречивы отношения. Да, конечно. Но, боже мой, какая безжалостная скука иногда гложет душу в спокойной и ясной семейной простоте.

Вот хозяин, муж, отец. Он подходит к дому, и вот зашарпанная лестница, отбитая ступенька, полутьма коридора, пыльный запах старья и запах жареной на подсолнечном масле трески, обмылочек на умывальнике, влажное, не успевающее просохнуть полотенчико на гвоздике. Они обедают, программа обеда неизменна, да все неизменно — и клеенка на столе, и тарелка со стертой голубоватой каемкой, и вилка со сходящимися зубцами. Они никогда не ссорятся с женой, не лгут друг другу, согласно и одинаково смотрят на жизнь. Но, боже, боже, как им скучно. Они часами молчат, говорить не хочется, да и о чем говорить. Им скучно думать друг о друге, когда они разлучены, а когда они выходят гулять, цветы на бульваре и облака на закате — все становится невыносимо скучным оттого, что они идут рядом. И ночью скучно, проснувшись, слышать рядом сонное бормотание, посапывание.

«Что ты ел перед сном, ты ночью очень испортил воздух».

«Да ничего такого не ел».

«Вот и я говорю, что ничего особенного».

А может быть, вторжение вечной смерти все же легче, чем вечная скука?

И вот могильный холм, женщина сажает кустики незабудок на могиле мужа. Теперь-то он не уйдет к разлучнице. Все так спокойно. Ее волнует — не лучше ли посадить анютины глазки? Она простила, и это прощение возвышает ее.

Рядом молодые супруги любовно красят оградку. Они переговариваются со вдовой, она уже знает и про то, что покойная старушка любила кошек и фикусы и ничего не жалела для сына и его милой жены. Покой, простота, синее небо, над могилой чистым голоском чирикает молодой воробей, его горлышко еще не глотало морозного

январского воздуха. И нет больше безумных, горестных старушечьих глаз.

И нет плачущих глаз застывшего в параличе старика.

И так спокоен холмик над умершим сумасшедшим мальчиком, кончилось мучительное смятение его родителей, их страх. Анютины глазки, ромашки, незабудки.

«Как она мучилась, бедная»,— говорит о своей сестре пожилая женщина.

Она оглядывает могилу, солнце проходит через молодую листву деревьев, светло ложится на землю. Так тихо, и легки, и спокойны отношения с умершими.

«А немного попозже я посажу настурции, они хорошо принимаются».

И вот уже не стоит стена между любящими супругами, их любви не мешает ревность, страх, неприязнь к ребенку от первого мужа, внуку, которого отчаянно любит бабушка. «Спи спокойно незабвенный друг».

Хорошо на кладбище. Все, что было запутано, мучительно,— стало легко.

Близкий человек живет здесь особой, хорошей, ясной жизнью, и так милы стали отношения с ним.

Муж, со скукой и томлением возвращавшийся со службы домой, теперь полюбил общество жены, его радость — ходить в выходной день на кладбище. Как хороша природа, сколько милых нетрудных хлопот, сколько приятных людей, постоянных посетителей соседних могил. Он рассказывает о жене, он думает о ней. Вспоминать ее, думать о ней не скучно. Их отношения обновились.

Кем сказано, что нет ничего прекрасней жизни, кто это уверил людей, что смерть ужасна?

Вот идут с лопатами, пилами, с молотками, с малярными кистями толпы строителей лучшей, новой жизни. Их глаза устремлены вперед. Как тяжел, труден город, как светло кладбище.

Был ли исход, можно ли было уничтожить пропасть, что легла между отцом и его ничтожными преуспевающими детьми? И вот уже нет этой пропасти. «Спи спокойно, наш дорогой учитель, отец, друг...»

Дети, работая на могиле, разговаривают о своих делах, поездках, знакомых. Он, отец, рядом, и так хорошо, спокойно с ним, и он уж не посмотрит тоскливо, жалобно, стыдясь, как, бывало, смотрел.

Живые толпы входят в ворота кладбища, город толкает их в спину. И когда люди, полные отчаяния, изнеможения, видят спокойную зелень могил, в которых спят их мужья, матери, отцы, жены, дети, в сердца входит надежда. Люди строят новые, лучшие отношения со своими близкими, строят новую, лучшую жизнь, чем та, что истерзала их сердца.

2

На многих памятниках выгравированы сведения о покойном, об его ученом либо воинском звании, должности, о партийном стаже. До 1917 года писалось о том, что усопший был купцом первой или второй гильдии, действительным статским советником.

Есть и иная категория надписей, эти надписи говорят о тех чувствах, что испытывают к усопшему близкие люди. Эти надписи иногда крайне пространны,— в стихах и в прозе. Надписи эти иногда невероятно смешны, глупы, пошлы и чудовищно безграмотны, но это обстоятельство не имеет отношения к сути дела.

Суть в том, что надписи, обращенные к должности покойника, к его званию, и надписи, говорящие о любви к нему близких, служат

лишь цели информации посторонних людей, надписи эти не имеют отношения к тому, что живет в глубинах сердец.

Эти надписи — житейские декларации, такие же, какие делаются при поступлении на службу, при сватовстве, при оформлении награды.

В этих надписях никогда не говорится о простых профессиях: «Здесь покоится парикмахер, плотник, полотер, кондуктор...»

Если указывается занятие покойника, то это обычно профессор, артист, писатель, летчик-истребитель, медицинский доктор, художник.

Если говорится о звании, то обычно указывается высокое звание — полковник, адмирал, советник юстиции первого ранга. Младших лаборантов и лейтенантов на памятниках обычно не аттестуют.

Государственное и общественное следуют за человеком на кладбище. Человеческое и здесь робеет.

Надписи второго рода — о любви, вечном горе, горючих слезах, независимо от того, трогательны они либо, наоборот, вульгарны, в прекрасных либо, наоборот, в безграмотных и смешных стихах составлены они, служат тем же внешним суетным целям, тщеславно информируют.

В самом деле — надпись обращена не к мертвому, ясно, что он не может ее прочесть. В самом деле — для себя такие надписи не делаются, человек и без надписей знает, что творится в его сердце.

Надпись сделана, чтобы ее читали. Информация обращена к прохожим.

А над кладбищем разносится причитание, плач,— жена плачет о муже. Почему так громко кричит она? Ведь покойник не слышит. Ведь душевная тоска не нуждается в том, чтобы о ней выкрикивали с той же силой, с какой певец поет со сцены театра. Вдова знает, почему она кричит,— ее должны слышать прохожие, она декларирует и информирует.

Те, кто регулярно ходят на кладбище, надевают траурную одежду и с постными лицами сидят на скамеечках у могил,— тоже декларируют и информируют.

Они не похожи на тех, что приходят на кладбища строить новую жизнь, наново переделывать свои отношения на более счастливые и разумные.

Декларирующие считают главным в жизни доказать свое превосходство, превосходство своих чувств, своей сердечной глубины.

Да разно, разно ходят люди на кладбище.

Работник Наркомвнудела, помешавшийся в страшный 1937 год, ходит среди могил, кричит, грозится кулаком, могилы молчат, и это приводит в отчаяние безумного следователя — нет способа заставить говорить покойников, а дела-то не закончены.

Разно, разно ходят на кладбища люди.

На кладбище назначают свидания влюбленные. На кладбище гуляют, ищут прохлады.

3

Кладбище живет напряженной, полной страстей жизнью.

Каменотесы, маляры, слесари, могильщики, уборщицы могил, водители грузовых машин, доставляющих дерн и песок, работники, обслуживающие склады, где выдаются напрокат лопаты, лейки, продавцы цветов и рассады — это те, кто определяют материальную жизнь кладбища.

Почти каждая из этих профессий имеет свои аналоги в мире частного подполья. Это как бы бытие в двух пространствах современной физики.

В частном подполье свои неписаные прейскуранты, трудовые нормы; частник берет дороже государства, но у него качественней материалы, богаче ассортимент.

Кладбище часть государства, и оно управляется той же иерархией, что и государство.

Управление кладбища централизовано, власть сконцентрирована в руках заведующего, и система централизации, как обычно это бывает, давит и на начальство,— оно не разрабатывает директив, а выполняет директивы.

Церковь отделена от государства.

У церкви свои кадры,— высшие и низшие, хор, продажа свечей и просвир. К богу обращаются не только при захоронении стариков; случается, и партийцы перебираются на кладбище со священником. Молодой человек с профессией самой современной, то ли он атомщик, то ли ракетчик, то ли в телевизионном ателье работал,— и вот умер, и в похоронах его, случается, участвует церковь.

Среди священства тоже раздвоение — рядом с официальным патриаршим священством десятки частников, отделенных и от церкви, и от государства. Ходят они в гражданской одежде, но по длинным волосам, по мятым добрым лицам, по красным славным носам можно определить в них священников-частников.

Официальная церковь очень не любит их, они кощунственно неряшливы в обрядах, да и, кроме того, оплату берут любую, большей частью равную или кратную стоимости ста граммов.

Однажды милиция, к удовольствию ваганьковского протоиерея, устроила облаву на частных священнослужителей. Издали казалось очень смешным, когда под милицейские свистки длинноволосые мчались среди могил, ползли по-пластунски, сигали через ограду.

Но вблизи эти старые люди, их слезящиеся глаза, тяжелое мученическое дыхание, выражение страха и стыда на лицах не были смешными.

4

У кладбища одна жизнь со страной, народом, государством.

Летом 1941 года особенно сильным немецким бомбежкам подвергались подъездные пути Белорусской железной дороги. Тяжелые бомбы падали на ваганьковскую землю, непосредственно близкую к рельсовым путям. Бомбы крушили деревья, разбрасывали веером комья земли, сокрушенный гранит, расщепленные кресты. Иногда в воздух взлетали, исторгнутые силой взрыва, гробы, тела покойников.

В голодные годы гражданской войны на кладбище собирали щавель, липовый лист. На кладбище ломали ветку на кормежку коз.

И преступления, совершенные на кладбище, прочно связаны со временем, обстоятельствами народной жизни.

В первое время после революции рассказывали о кладбищенском стороже, торговавшем свининой,— он откармливал свиней человеческим мясом, раскапывая ночью могилы. Агенты розыска были потрясены видом этих свиней,— огромные, дикие, злобные.

Рассказывали об артели, которая во время нэпа снабжала частные лавочки острой, прочесноченной домашней колбасой, оказалось, что колбасу эту делали из трупного мяса.

В годы, когда жить стало лучше, жить стало веселее, гробокопатели стали интересоваться драгоценностями, золотыми зубами, костюмами покойников.

После Великой Отечественной войны возрос приток иностранных вещей, и гробокопатели начали охоту на заграничные костюмы, обувь.

Полковник, служивший в оккупационных войсках в Германии, привез своей маленькой дочери говорящую куклу. Дочь полковника вскоре умерла, и, так как кукла ей полюбилась, родители положили

в гробик ребенка эту куклу. А спустя некоторое время мать увидела женщину, продававшую эту куклу. Мать упала в обморок.

Но случаи эти чрезвычайные, особые.

Ныне кладбищенская уголовщина измельчала и связана главным образом с разграблением цветочных клумб, похищением рамок для портретов, вазочек, металлических оград.

5

Перефразируя Клаузевица, можно сказать, что кладбище есть продолжение жизни. Могилы выражают характеры людей и характер времени.

Конечно, есть немало безликих могил. Но ведь немало есть бесцветных, безликих людей.

Бездна легла между дореволюционными памятниками тайных советников, купцов и нынешними захоронениями.

Но поучительна не одна эта бездна. Поразительно сходство народных могил прошлого с народными могилами века ракет, атомных реакторов.

Какая сила устойчивости! Деревянный крест, холмик земли, бумажный веночек... А если оглядеть тысячи сельских могил — там-то еще ясней, предметней видно все это.

«Все течет, все изменяется»,— сказал грек.

Не видно этого по холмику с серым крестом. Если и меняется, то очень уж незаметно.

И здесь вывод идет дальше,— не только в устойчивости похоронной традиции дело, дело в устойчивости, неизменности духа жизни, стержня жизни.

Какое упорство! Ведь все сказочно изменилось, стало банальностью перечислять бесчисленные изменения, рожденные новым порядком, электрической, химической, атомной энергией.

А этот серый крестик, так похожий на серый крест, поставленный сто пятьдесят лет тому назад, оказался символом тщеты великих революций, научных и технических переворотов, не способных изменить глубин жизни. Но чем неизменней жизненная глубина, тем резче перемены на поверхности океана.

И видно: бури приходят и уходят, морская глубина остается.

Вот следы революционной бури — странные, необычные памятники среди высокой кладбищенской травы. Черная глыба, на ней наковальня. Чугунная мачта, увенчанная серпом и молотом. Тяжелый грубый слиток металла. Неотесанный, шершавый гранитный земной шар под пятиконечной звездой, звезда легла на океаны и континенты. Вот это ново!

Полустертые надписи революции прочесть трудней, чем надписи, сделанные на полированных гранитах купцов, князей, заводчиков.

Но каким раскаленным пафосом веет от каждого полустертого слова, написанного революцией. Какая вера, какое пламя, какая страстная сила!

И как малочисленны памятники верующих в мировую коммуну. Долго приходится искать их среди могучего леса крестов и гранитов, среди чугунных оград и мраморных плит, среди бурьяна и травы.

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

Когда-то Сталин сказал о советской культуре: социалистическая по содержанию, национальная по форме. Оказалось обратное.

Ваганьково, Немецкое, Армянское, отражая жизненную глубину, плохо отразили жизненную поверхность, советскую жизнь между Октябрем и 1934 годом, годом убийства Кирова. В этот период национальное не перешло еще полностью из формы советской жизни в содержание советской жизни, социалистическое не ушло окончательно в форму. Это был период, когда в партии доминировала революционная интеллигенция, рабочие с подпольным стажем.

Этот период отражен на кладбище при московском крематории. Сколько смешанных браков! Какое чудное национальное равенство! Какое множество немецких, итальянских, французских, английских фамилий. На некоторых памятниках надписи на иностранных языках. А сколько латышей, евреев, армян, какие боевые лозунги на памятниках!

Кажется, здесь, на этом кладбище, окруженном красной стеной, горит пламя молодого большевизма, еще не огосударствленного, еще несущего в себе молодой пафос, дух Интернационала, сладкий бред Коммуны, хмельные песни революции.

6

Самое прекрасное, что есть в мире, это живое сердце человека. Его способность любить, верить, прощать, жертвовать всем ради любви прекрасна. Но живые сердца спят вечным сном в кладбищенской земле.

Душу умершего человека, его любовь и горе нельзя увидеть, нельзя подсмотреть в надгробиях, в надписях на памятниках, в цветах на могильном холме. Ее тайну бессильны передать камень, музыка, поминальный плач, молитва.

Перед святостью этой безмолвной тайны презренны все барабаны и медные трубы государства, мудрость истории, камень монументов, вопль слов и поминальных молитв. Вот тут-то она смерть.

1957—1960 гг.

Сикстинская Мадонна

1

Победоносные войска Советской Армии, разбив и уничтожив армию фашистской Германии, вывезли в Москву картины Дрезденской галереи. В Москве картины хранились взаперти около десяти лет.

Весной 1955 года Советское правительство решило вернуть картины в Дрезден. Перед тем, как отправить картины обратно в Германию, было решено открыть девяностодневный доступ к ним.

И вот холодным утром, 30 мая 1955 года, пройдя по Волхонке мимо кордонов московской милиции, регулировавшей движение тысячных народных толп, желавших видеть картины великих художников, я вошел в Музей имени Пушкина, поднялся на второй этаж и подошел к Сикстинской Мадонне.

При первом взгляде на картину сразу и прежде всего становится очевидно — она бессмертна.

Я понял, что до того, как увидел Сикстинскую Мадонну, легкомысленно пользовался ужасным по мощи словом — бессмертие,— смешивал могучую жизнь некоторых особо великих произведений чело-

века с бессмертием. И, полный преклонения перед Рембрандтом, Бетховеном, Толстым, я понял, что из всего созданного кистью, резцом, пером и поразившего мое сердце и ум — одна лишь эта картина Рафаэля не умрет до тех пор, пока живы люди. Но, может быть, если умрут люди, иные существа, которые останутся вместо них на земле,— волки, крысы и медведи, ласточки — будут приходить и прилетать, и смотреть на Мадонну...

На эту картину глядели двенадцать человеческих поколений — пятая часть людского рода, прошедшего по земле от начала летосчисления до наших дней.

На нее глядели нищие старухи, императоры Европы и студенты, заокеанские миллиардеры, папы и русские князья, на нее глядели чистые девственницы и проститутки, полковники генерального штаба, воры, гении, ткачи, пилоты бомбардировочной авиации, школьные учителя, на нее глядели злые и добрые.

За время существования этой картины создавались и рушились европейские и колониальные империи, возник американский народ, заводы Питсбурга и Детройта, происходили революции, менялся мировой общественный уклад... За это время человечество оставило за спиной суеверия алхимиков, ручные прялки, парусные суда и почтовые тарантасы, мушкеты и алебарды, шагнуло в век генераторов, электромоторов и турбин, шагнуло в век атомных реакторов и термоядерных реакций. За это время, формируя познание Вселенной, Галилей написал свой «Диалог», Ньютон «Начала», Эйнштейн «К электродинамике движущихся тел». За это время углубили душу и украсили жизнь Рембрандт, Гете, Бетховен, Достоевский и Толстой.

Я увидел молодую мать, держащую на руках ребенка.

Как передать прелесть тоненькой, худенькой яблони, родившей первое тяжелое, белолицее яблоко; молодой птицы, выведшей первых птенцов; молодой матери косули... Материнство и беспомощность девочки, почти ребенка.

Эту прелесть после Сикстинской Мадонны нельзя назвать непередаваемой, таинственной.

Рафаэль в своей Мадонне разгласил тайну материнской красоты. Но не в этом неиссякаемая жизнь картины Рафаэля. Она в том, что тело и лицо молодой женщины есть ее душа — потому так прекрасна Мадонна. В этом зрительном изображении материнской души кое-что недоступно сознанию человека.

Мы знаем о термоядерных реакциях, при которых материя обращается в могучее количество энергии, но мы сегодня не можем еще представить себе иного, обратного процесса — материализации энергии, а здесь духовная сила, материнство кристаллизуется, обращено в кроткую Мадонну.

Красота Мадонны прочно связана с земной жизнью. Она демократична, человечна; она присуща массам людей — желтолицым, косоглазым, горбуньям с длинными бледными носами, чернолицым с курчавыми волосами и толстыми губами, она всечеловечна. Она душа и зеркало человеческое, и все, кто глядят на Мадонну, видят в ней человеческое — она образ материнской души, и потому красота ее навечно сплетена, слита с той красотой, что таится, неистребимо и глубоко, всюду, где рождается и существует жизнь,— в подвалах, на чердаках, в дворцах, в ямах.

Мне кажется, что эта Мадонна — самое атеистическое выражение жизни, человеческого без участия божества.

Мне мгновеньями казалось, что Мадонна выразила не только человеческое, но и то, что существует в самых широких кругах земной жизни, в мире животных, всюду, где в карих глазах кормящей лошади, коровы, собаки можно угадать, увидеть дивную тень Мадонны.

Еще более земным представляется мне ребенок у нее на руках. Лицо его кажется взрослее, чем лицо матери.

Таким печальным и серьезным взором, устремленным одновременно и вперед, и внутрь себя, можно познавать, видеть судьбу.

Их лица тихи и печальны. Может быть, они видят Голгофский холм и пыльную, каменистую дорогу к нему, и безобразный, короткий, тяжелый, неотесанный крест, который ляжет на это плечико, ощущающее сейчас тепло материнской груди...

А сердце сжимается не тревогой, не болью. Какое-то новое, никогда не испытанное чувство—оно человечно, и оно ново, точно вынырнуло из соленой и горькой морской глубины, пришло, и сердце забилось от его необычности и новизны.

И в этом еще одна особенность картины.

Она рождает новое, словно к семи цветам спектра прибавляется неизвестный глазу восьмой цвет.

Почему нет страха в лице матери, и пальцы ее не сплелись вокруг тела сына с такой силой, чтобы смерть не смогла разжать их, почему она не хочет отнять сына у судьбы?

Она протягивает ребенка навстречу судьбе, не прячет свое дитя.

И мальчик не прячет лица на груди у матери. Вот, вот он сойдет с ее рук и пойдет навстречу судьбе своими босыми ножками.

Как объяснить это, как понять?

Они одно, и они порознь. Вместе видят они, чувствуют и думают, слиты, но все говорит о том, что они отделятся один от другого — не могут не отделиться, что суть их общности, их слитности в том, что они отделятся один от другого.

Бывают горькие и тяжелые минуты, когда именно дети поражают взрослых разумностью, спокойствием, примиренностью. Проявляли их и крестьянские дети, погибавшие в голодный, неурожайный год, дети еврейских лавочников и ремесленников во время кишиневского погрома, дети шахтеров, когда вой шахтной сирены возвещал обезумевшему поселку о подземном взрыве.

Человеческое в человеке встречает свою судьбу, и для каждой эпохи эта судьба особая, отличная от той, что была в предыдущую эпоху. Общее в этой судьбе то, что она постоянно тяжела...

Но человеческое в человеке продолжало существовать, когда его распинали на крестах и мучили в тюрьмах.

Оно жило в каменоломнях, в пятидесятиградусные морозы на таежных лесозаготовках, в залитых водой окопах под Перемышлем и Верденом. Оно жило в монотонном существовании служащих, в нищете прачек, уборщиц, в их иссушающей и тщетной борьбе с нуждой, в безрадостном труде фабричных работниц.

Мадонна с младенцем на руках — человеческое в человеке,— в этом ее бессмертие.

Наша эпоха, глядя на Сикстинскую Мадонну, угадывает в ней свою судьбу. Каждая эпоха вглядывается в эту женщину с ребенком на руках, и нежное, трогательное и горестное братство возникает между людьми разных поколений, народов, рас, веков. Человек осознает себя, свой крест и вдруг понимает дивную связь времен, связь с живущим сегодня всего, что было и отжило, и всего, что будет.

2

После уж, когда я шел по улице, пораженный и смущенный мощью внезапного впечатления, я не старался разобраться в смещении своих чувств, мыслей.

Я не сравнивал это смятение чувств ни с теми днями слез и счастья, которые я, пятнадцатилетним мальчиком, переживал, читая «Вой-

ну и мир», ни с тем, что я чувствовал, слушая в особо угрюмые, трудные дни моей жизни музыку Бетховена.

И я понял — не с книгой, не с музыкой сближало меня зрелище молодой матери с ребенком на руках... Треблинка...

«Вот на эти сосны, на этот песок, на этот старый пень смотрели миллионы человеческих глаз из медленно подплывавших к перрону вагонов... Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле. Стручки люпина лопаются от малейшего прикосновения, лопаются с легким звоном... Звук падающих горошин, звон раскрывающихся стручков сливается в сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется, из самой глубины земли доносится погребальный звон маленьких колоколов, едва слышный, печальный, широкий, спокойный... Вот они — полуистлевшие сорочки убитых, туфли, колесики ручных часов, перочинные ножики, подсвечники, детские туфельки с красными помпонами, кружевное белье, полотенце с украинской вышивкой, горшочки, бидоны, детские чашечки из пластмассы, детские, писанные карандашами письма, книжечки стихов...

Мы идем все дальше по бездонной, колеблющейся треблинской земле и вдруг останавливаемся. Желтые, горящие медью, волнистые, густые волосы, тонкие, легкие, прелестные волосы девушки, затоптанные в землю, и рядом такие же светлые локоны, и дальше черные, тяжелые косы на светлом песке, а дальше еще и еще...

А стручки люпина звенят и звенят, стучат горошины. Точно и в самом деле из-под земли доносится погребальный звон бесчисленных маленьких колоколов.

И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку...»

Воспоминание о Треблинке поднялось в душе, и я сперва не понял этого...

Это она шла своими легкими босыми ножками по колеблющейся треблинской земле от места разгрузки эшелона к газовой камере. Я узнал ее по выражению лица и глаз. Я увидел ее сына и узнал его по недетскому, чу́дному выражению. Такими были матери и дети, когда на фоне темной зелени сосен видели они белые стены треблинской газовни, такими были их души.

Сколько раз всматривался я сквозь мглу в сошедших с эшелона, но всегда неясно видны были они — то человеческие лица казались искажены безмерным ужасом, и все глохло в страшном крике, то физическое и душевное изнеможение, отчаяние застилало лица тупым, угрюмым безразличием, то беспечная улыбка безумия застилала лица людей, сошедших с эшелона и идущих в газовню.

И вот я увидел истину этих лиц, их нарисовал Рафаэль четыре века назад — так человек идет навстречу своей судьбе.

Сикстинская капелла... Треблинская газовня...

В наше время родила молодая мать своего ребенка. Страшно носить под сердцем сына и слышать рев народа, приветствующего Адольфа Гитлера. Мать всматривается в лицо новорожденного и слышит звон и хруст разбиваемых стекол, вопли автомобильных сирен, волчий хор затягивает на берлинских улицах марш Хорста Весселя. Вот глухой стук маобитского топора.

Мать кормит ребенка грудью, а тысячи тысяч складывают стены, тянут колючую проволоку, возводят бараки... А в тихих кабинетах проектируются газовые камеры, автомобили-душегубки, кремационные печи...

Пришло волчье время, время фашизма. В это время люди живут волчьей жизнью, волки живут жизнью людей.

В это время молодая мать родила и растила своего ребенка. И живописец Адольф Гитлер стоял перед ней в здании Дрезденской галереи — он решал ее судьбу. Но владыка Европы не мог встретить ее глаз, он не мог встретить взор ее сына,— ведь они были людьми.

Их человеческая сила восторжествовала над его насилием — Мадонна пошла своими легкими босыми ножками в газовню, понесла сына по колеблющейся треблинской земле.

Германский фашизм был сокрушен,— война унесла десятки миллионов людей, огромные города были превращены в развалины.

Весной 1945 года Мадонна увидела северное небо. Она пришла к нам не гостьей, не путешествующей иностранкой, а с солдатами и шоферами по разбитым дорогам войны, она часть нашей жизни, наша современница.

Ей все знакомо — и наш снег, и холодная осенняя грязь, и мятый солдатский котелок с мутной баландой, и вялая луковка с черной хлебной коркой.

Вместе с нами шла она, ехала полтора месяца в скрипящем эшелоне, выбирала вшей из мягких немытых волос своего сына.

Она современница поры всеобщей коллективизации.

Вот идет она, босая, со своим маленьким сыном на погрузку в эшелон. Какой далекий путь перед ней, из Обояни, из-под Курска, из воронежских черноземных земель — в тайгу, в зауральские лесные болота, в песок Казахстана.

А где отец твой,— в какой авиационной воронке, на какой командировке на таежных лесозаготовках, в каком дизентерийном бараке погиб он?

Ваничка, Ваня, почему так печально лицо твое?

Судьба закрестила за тобой и твоей матерью окна родной опустевшей избы. Какой далекий путь перед вами? Дойдете ли вы? Или, измученные, погибнете где-нибудь в дороге, на станции узкоколейки, в лесу, на болотистом берегу зауральской речушки?

Да, ведь это она. Я видел ее в тридцатом году на станции Конотоп, она подошла к вагону скорого поезда, смуглая от страданий, и подняла свои дивные глаза, сказала без голоса, одними губами: «Хлеба»...

Я видела ее сына, уже тридцатилетним, в сношенных солдатских ботинках, тех, что не снимают за полной негодностью с ног покойников, в ватнике, порванном на молочно-белом плече, он шагал тропинкой по болоту, туча гнуса висела над ним, но он не мог отогнать миллиардный живой, мерцающий над ним нимб мошкары, его руки придерживали на плече тяжелое, сырое бревно. Вот он поднял склоненную голову, и я увидел его лицо, ровную, от уха до уха, курчавую светлую бородку, полуоткрытые губы, увидел его глаза и сразу узнал их — это они, его глаза, смотрят с картины Рафаэля.

Мы встречали ее в 1937 году, это она стояла в своей комнате, в последний раз держа на руках сына, прощаясь, всматривалась в его лицо, а потом спускалась по пустынной лестнице немого многоэтажного дома... На двери ее комнаты положена сургучная печать, внизу ждет ее казенная автомашина... Какая странная настороженная тишина в этот серый, пепельный рассветный час, как немы высокие дома.

А из рассветной полутьмы выплывает ее новое настоящее — эшелон, пересылка, часовые на деревянных лагерных вышках, проволока, ночная работа в мастерских, кипяточек, нары, нары, нары...

Сталин медленной, мягкой походкой, в шевровых сапожках на низком каблуке, подошел к картине, долго, долго всматривался в лица матери и сына, поглаживая свои седые усы.

Узнал ли он ее, он встречал ее в годы своей восточно-сибирской, новоудинской, туруханской и курейской, ссылки, он встречал ее на этапах, на пересылке... Думал ли он о ней в пору своего величия?

Но мы, люди, узнали ее, узнали ее сына, она — это мы, их судьба — это мы, они человеческое в человеке. И если грядущее занесет

Мадонну в Китай, в Судан, всюду люди узнают ее так же, как сегодня узнали ее мы.

Чудная, спокойная сила этой картины и в том, что она говорит о радости быть живым существом на земле.

Ведь мир — вся огромность Вселенной — это покорное рабство неживой материи, и только жизнь есть чудо свободы.

И эта картина говорит, как драгоценна, как прекрасна должна быть жизнь и что нет в мире силы, которая могла бы заставить жизнь превратиться в нечто такое, что при внешнем сходстве с жизнью уже не было бы жизнью.

Сила жизни, сила человеческого в человеке очень велика, и самое могучее, самое совершенное насилие не может поработить эту силу, оно может только убить ее. Вот почему так спокойны лица матери и ее сына — они непобедимы. В железную эпоху гибель жизни не есть ее поражение.

Мы стоим перед ней, молодые и седые люди, живущие в России. Стоим в тревожное время... Не зажили раны, еще чернеют пожарища, еще не устоялись курганы над братскими могилами миллионов солдат, наших сыновей и братьев. Еще стоят опаленные, мертвые тополя и черешни над сожженными заживо деревнями, растет тоскливый бурьян над сгоревшими в партизанских селах телами дедов, матерей, хлопцев, девчат. Еще заваливается, шевелится земля над рвами, где лежат тела убитых еврейских детей и их матерей. Еще стоит вдовий плач по ночам в несметном числе русских изб, белорусских и украинских хат. Все пережила Мадонна с нами, потому что она — это мы, потому что сын ее — это мы.

И страшно, и стыдно, и больно — почему так ужасна была жизнь, нет ли в этом моей и твоей вины? Почему мы живы? Ужасный, тяжелый вопрос,— задать его живым могут лишь мертвые. Но мертвые молчат, не задают вопросов.

А послевоенная тишина нарушается время от времени раскатами взрывов, и радиоактивный туман стелется в небе.

Вот вздрогнула земля, на которой все мы живем,— на смену оружию атомного распада идет термоядерное оружие.

Скоро мы проводим Сикстинскую Мадонну.

С нами прошла она нашу жизнь. Судите нас — всех людей вместе с Мадонной и ее сыном. Мы скоро уйдем из жизни, уж головы наши белы. А она, молодая мать, неся своего сына на руках, пойдет навстречу своей судьбе и с новым поколением людей увидит в небе могучий, слепящий свет — первый взрыв сверхмощной водородной бомбы, оповещающей о начале новой, глобальной войны.

Что можем сказать мы перед судом прошедшего и грядущего, люди эпохи фашизма? Нет нам оправдания.

Мы скажем, не было времени тяжелей нашего, но мы не дали погибнуть человеческому в человеке.

Глядя вслед Сикстинской Мадонне, мы сохраняем веру, что жизнь и свобода едины, что нет ничего выше человеческого в человеке.

Ему жить вечно, победить.

1955 г. май

Подготовка текста и публикация Е. В. Коротковой-Гроссман

Борис Чичибабин

НА ПАМЯТЬ О СЕМИДЕСЯТЫХ

●

Между печалью и ничем
мы выбрали печаль.
И спросит кто-нибудь: «Зачем?»,
а кто-то скажет: «Жаль».

И то ли чернь, а то ли знать,
смеясь, махнет рукой.
А нам не время выбирать
и думать про покой.

Нас в мире горсть на сотни лет,
на тысячи земель,
и в нас не меркнет горний свет,
не сякнет божий хмель.

Нам — как дышать — приняв печать
гонений и разлук, —
огнем на искру отвечать
и музыкой на звук.

И обреченностью кресту
и горечью питья
мы искупаем суету
и грубость бытия.

Мы оставляем души здесь,
чтоб некогда Господь
простил нам творческую спесь
и ропщущую плоть.

И нам идти, идти, идти,
пока стучат сердца,
и знать, что нету у пути
ни меры, ни конца.

Когда к нам ангелы прильнут,
лаская тишиной,
мы лишь на несколько минут
забудемся душой.

И снова — за листы поэм,
за кисти, за рояль, —
между печалью и ничем
избравшие печаль.

1975 г.

●

Нам стали говорить друзья,
что им бывать у нас нельзя.

Что ж, не тошней, чем пить сивуху,
прощаться с братьями по духу,

что валят, бедные, тайком
на времена и на райком, —

окончат шуткой неудачной
и вниз по лестнице чердачной.

А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет.

●

Не веря кровному завету,
что так нельзя,
ушли бродить по белу свету
мои друзья.

Броня державного кордона —
как решето.
Им светит Гарвард и Сорбонна.
А нам-то что?

Пусть будут счастливы, по мне хоть
в любой дали.
Но всем *живым* нельзя уехать
с *живой* земли,

с той, чья судьба еще не стерта
в ночах стыда,
а если с *мертвой*, то на черта
и жить тогда.

Я верен тем, кто остается
под бражный треп
свое угрюмое сиротство
нести под гроб,

кому мерещатся допросы
и лагеря,
но сквозь крещенские морозы
горит заря.

Нам не дано, склоняя плечи
под ложью дней,
гадать, кому придется легче,
кому — трудней.

Пахни им снегом и сиренью,
чума-земля.
Не научили их смиренью
учителя.

Пошли им, Боже, легкой ноши,
прямых дорог,
и добрых снов на злое ложе
пошли им впрок.

Пускай опять обманет демон,
сгорит свеча,
но только б знать, что выбор сделан
не сгоряча.

1978 г.

●

Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.

Вспоминайте наш снежок
посреди чужого жара.
Уходящему — рожок.
Остающемуся — кара.

Всяка доля по уму:
и хорошая, и злая.
Уходящего — пойму.
Остающегося — знаю.

Край души, больная Русь, —
перезвонность, первозданность
(с уходящим — помирюсь,
с остающимся — останусь), —

дай нам, вьюжен и ледов,
безрассуден и непомнящ,
уходящему — любовь,
остающемуся — помощь.

Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий — меч и труд,
остающийся — надежду.

Но в конце пути сияй
по заветам Саваофа,
уходящему — Синай,
остающимся — Голгофа...

Я устал судить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему — печаль.
Остающемуся — верность.

●

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,
и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей.

Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.

Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя, как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,
сползает позы позолота.
Никто ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.

Я — просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

1967 г.

На вечную жизнь Л. Е. Пинского

Неужели никогда?
Ни в Москве, ни в Белой Церкви?
Победила немота?
Светы Божии померкли?

Где младенец? где пророк?
Где заваривальщик чая?
С дымом шурх под потолок,
человечеству вещая.

Говорун и домосед
невредим из пекла вылез.
От огня его бесед
льды московские дымились.

Стукачи свалились с ног,
уцепились брат за братца:
ни один из них не смог
в мудрой вязи разобраться.

Но, пока не внемлет мир
и записывает пленка,
у него в гостях Шекспир,
а глаза как у ребенка.

Из заснеженного сна,
из чернот лесоповала
детских снов голубизна
к мертвой совести взывала.

Неуживчив и тяжел,
бросив времени перчатку,
это он меня нашел
и пустил в перепечатку.

Помереть ему? Да ну!
Померещилось — и врете.
В волю, в вечность, в вышину
он уплыл из плена плоти.

От надзора, от молвы,
для духовного веселья.
Это мы скорей мертвы
без надежд на воскресенье.

Вечный долг наш перед ним,
что со временем не тает,
мы с любовью сохраним,
век проценты насчитает.

Не мудрец он, а юнец
и ни разу не был взрослым,
над лицом его венец
выткан гномом папиросным.

Не осилить ни огнем,
ни решетками, ни бездной
вечной памяти о нем,
вечной жизни повсеместной.

Плывет «Аврора»

Перед тобой дрожат цари,
враги не дремлют, —
богиней утренней зари
была у древних.
Твоя ликующая стать
от зорь багрова.
Что проку к берегу пристать?
Плывет «Аврора»!

В летящей горечи морей,
в звенящих брызгах, —
о Революции моей
призывный призрак!
Смотрите все, в ком верен дух:
искать простора,
лечить истории недуг
плывет «Аврора».

За что нам в жизни тяжело,
судьбы подруга?
От кривды хмурится чело,
с харчами туго.
Я на сто бед рукой махну,
не шля укора:
надеждой нашему окну
плывет «Аврора».

Сквозь дни в метелях и кострах,
что стали бытом,
на крах империям, на страх
антисемитам,
как революционный клич,
решенье спора,
победно щурится Ильич,
плывет «Аврора».

Кто жил, любовию звуча,
те остаются,
но шанса нет у палача
и властолюбца.
От них ни тени, ни молвы
не станет скоро,
их смоет взмах одной волны:
плывет «Аврора».

Вельможа в ужасе вскочил
с тяжелых кресел,—
подонка прыти научил
бессмертный крейсер.
Приборы не забарахлят
у командора.
Ага, боишься, бюрократ:
плывет «Аврора»!

К своей судьбе на той волне
навек прикуйте
всех тех, кто сгинул на войне,
исчез при культе.
Флажки сигнальные взвились,
как пенье хора.
В межгалактическую высь
плывет «Аврора»...

Мое гнездо на том борту—
матросский кубрик,
и соль соленая во рту,
чтоб таял сумрак.
Всю жизнь за Ленина отдам
без уговора,
когда по вспененным годам
плывет «Аврора».

1967 г.

Камил Икрамов

ДЕЛО МОЕГО ОТЦА

РОМАН-ХРОНИКА

«И сказал Иосиф: не бойтесь; ибо я боюсь Бога».

Бытие, глава 50, стих 19

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Я пишу эту книгу больше тридцати лет; начал делать первые записи в тетрадях и на отдельных листочках, когда не только не был писателем, но и не собирался им быть... Писателем, однако, стал, выходили в свет повести, романы, сценарии, пьесы, но об отце писал только для себя. Об отце я мог говорить только правду, а времена, как ни менялись, этому не соответствовали. Я написал полтораста страниц, которые назывались так же, как эта книга — «Дело моего отца»,— о том, как сын, вернувшийся после лагерей и ссылки, читает стенограмму «Процесса антисоветского «право-троцкистского блока» и—что увидел, что понял. Рукопись приняли в «Новом мире» Твардовского.

Я ходил именинником.

Но тут время круто двинулось вспять. Так круто, что в документах, представленных в бухгалтерию журнала, я спешно подменил эту рукопись главами приключенческой повести для детей...

Нынешний вариант—четвертый.

Здесь дополнения, новые факты, имена, которые прежде не мог назвать, чтобы не подвести знакомых и незнакомых людей. Для литератора не составляет труда грамматически перевести настоящее время в прошедшее. Стараюсь избегать этого, как ни заманчиво быть умнее задним умом.

Я завидую красивому мальчику лет четырнадцати, с которым на несколько минут оказался в кафельном боксе Бутырок. Нас воткнули туда четверых или пятерых, а мальчик этот уже был там и на вид моложе меня. Никого моложе себя из «политических» я не встречал ни до, ни после. «Сын врага народа?» — спросил я. «Нет,— ответил мальчик.— Мы за партию сидим, ВППС. Организовали в Ульяновске, листовки расклеивали». «Что такое ВППС?» «Всесоюзная партия против Сталина».

Больше поговорить не удалось. Сколько их было в ВППС, какая была у них программа? Мальчик сказал, что он сидел за настоящее дело, а не зря, как я, не потому, что «сын врага народа».

...Меня спрашивали: «Правда ли, что вы пишете об отце?»

Я отвечал уклончиво, в том смысле, что книг у меня много, а отец один.

И вот главное, о чем я свидетельствую: мой отец был настоящим коммунистом, настоящим большевиком-ленинцем.

Многие сейчас пытаются порочить людей, делавших революцию, погибших за нее. Беды России и империи начинают исчислять, скажем, с Радищева и декабристов. Народовольца Степняка-Кравчинского называют убийцей, шефа жандармов Мезенцева — жертвой, утверждают, что Фурье и Озун лично ответственны за ужасы раскулачивания и коллективизации, поскольку именно фаланстеры Сталин создавал на Кубани

Журнальный вариант.

и в Рязани, а Желябов и Перовская — условия для ежовщины, бериевщины и сталинщины. Недомыслие, равняющее Чернышевского с Нечаевым, незаметно сделало еще один, подсказанный, кстати, Сталиным, шаг вспять даже от сталинских времен, не говоря уж о временах Соловьева и Ключевского. Страна, столетия жившая с воспоминанием ужасов Грозного и Малюты Скуратова, твердо знавшая Бирона и Шешковского, вроде забыла о них, чтобы все свои беды вести от Нечаева или Азефа. Пестель стал хуже Майбороды, Кюхельбекер хуже Бенкендорфа. Одни ведут счет наших бед с 1937-го, другие — с 1930-го, третьи — с убийства царской семьи... И мало кто помнит учение Льва Николаевича Толстого, его, к примеру, статьи «Так что же нам делать?», «Христианство и патриотизм», другие статьи о роли любого насилия. А нравственные заповеди и облик В. Г. Короленко и вовсе как будто бы исключены из сознания. Я имею в виду его идеи русского демократизма, защиту гонимых царизмом русских людей и инородцев, иноверцев, инаковерцев [1]... Да что идеи! Стерты и факты. Толкуем о суде присяжных, который был в России крупнейшим до сих пор юридическим достижением, но напрочь забыли о существовании в прошлом страшной карательной системы ссылок «в административном порядке», которую на высшем уровне с применением новых технических средств возродил Сталин.

Вера Засулич, напомню, избежала тюремного замка только потому, что сразу после оправдания присяжными скрылась от агентов тогдашней Административной системы.

...Книгу об отце я начинал с разных направлений. То мне казалось, что это должна быть историческая беллетристика, то строгий подбор документов с минимумом комментариев. Постепенно я понял, что любые сюжетно-жанровые ухищрения в такой работе безнравственны по сути. Я должен писать то, что знаю и что я думаю. А сюжет вечный — отцы и дети. Отец жил ради будущего, я в этом будущем живу.

Прощались мы в гостинице «Метрополь» в первой половине сентября 1937 года. Отец сказал:

— Что бы со мной ни случилось, сынок, что бы про меня ни говорили, знай, что я всегда был честным коммунистом, большевиком, ленинцем.

Я не понимал, что прощаемся навсегда, я не понимал, почему в глазах отца слезы, я ничего не понимал в тот миг не потому, что был мал для такого понимания, а потому, что был в шоке, который продолжался много лет. В этом шоке жили люди и вся страна.

После процесса 1938 года мой дед по матери, известный московский врач Лев Захарович Зелькин, месяцами давал мне какие-то лекарства и в конце концов положил в детскую психиатрическую клинику. Я пропустил учебный год. Ночные кошмары я помню, но почему мудрый врач обратился к психиатрам, понимаю только теперь. (Кстати, из первого варианта книги это воспоминание я убрал: умудренный товарищ сказал, что свидетельство о детском психическом расстройстве опасно, оно может дать основание т е п е р ь упрятать меня в психушку.)

Память слабеет, конечно, жалею, что не записал какой-то эпизод, когда помнил его отчетливо. Имена забываются. Но все же не жалуюсь на память, а вот ни одного товарища по второму классу ташкентской школы № 60, где учился, не помню. Ослепшая в старости моя учительница недавно написала, как я упал в бочку с мазутом... И этого не помню. Стерлось вследствие шока, как многое второстепенное, что было в 1937-м и 1938-м.

Но главное помню! Помню.

Сознание и память — почти синонимы. Сознание, лишенное памяти, — абсурд.

До сих пор мне иногда кажется, что откроется дверь и войдет отец. Молодой, стройный, с запыленным смуглым лицом, усталый после дальней поездки в открытой машине по невероятно пыльным дорогам тогдашнего Узбекистана. Войдет усталый и улыбнется мне.

Умываться он любил во дворе под краном голый до пояса, делал это быстро, тщательно, но с каким-то особым удовольствием. Спортивно, как мы сказали бы теперь. До сих пор мне кажется, что он может войти, кажется, я не удивился бы этому.

А в детстве я ждал. Раза два или три случалось, что какой-то человек со спины мне виделся похожим на отца, я шел за ним, боясь забежать вперед, потому что неосознанно боялся разочарования. Чары ожидания и самообмана были потаенные, сладкие, и я мог долго идти за незнакомцем. Однажды в Москве на Пятницкой улице я сел за незнакомцем в трамвай и продирался сквозь толкучку, едва ли не радуясь, что его заслоняют спины. У Покровских ворот я увидел лицо незнакомца, оно было чужое, но такое же усталое, как у отца.

[1] Впрочем, см. публикацию писем В. Г. Короленко к А. В. Луначарскому в «Новом мире», № 10, 1988 г.

ДОМ

Я плохо помню его — только запах пыли, пронизанной солнечным светом, только калитку, только супу́ — глиняное возвышение посреди двора, только пустые помещения для скота, только балахану [1]... Много чего по отдельности. Наверное, помню так потому, что я там не жил.

Дом этот принадлежал моему дяде, старшему брату отца. Отец звал его почтительно Карим-коры, остальные еще более почтительно — Карим-коры-ака. Старший из пяти братьев, он отличался суровостью и, пусть простит он мне, раздражительностью. Старшая сестра, строгая и мудрая Русора-амма и младшая — Садыка не одобряли покойного брата.

— Он был похож на нашего отца, — сказали тетки, и я едва скрыл удивление: узбеки редко говорят так определенно о недостатках своих родственников, тем более родителей.

— Икрам-домла суровый был, — сказала о дедушке старшая тетка.

— Очень, — добавила младшая.

— А отец? М о й отец?

— Он другой. Он совсем другой, все были на мать похожи. Один Карим-коры — на отца.

Дом располагался в той части города, которой археологи насчитывают две тысячи лет; по преданиям нашей семьи, на этом месте мы жили лет шестьсот.

Плохо помню дядю Карим-коры, — ни улыбку, ни голос, только его густые, широкие брови. Примерно в тридцать третьем году его укусил ядовитый паук каракурт. К трудному нраву дяди добавилось плохое здоровье.

Мы с отцом и матерью иногда ездили навещать Карим-коры с подарками для его жены и пятерых детей. Жену Карим-коры мой отец уважал и жалел, по узбекскому обычаю называл келин-ойе, невестка-мама, в семейных конфликтах становился на ее сторону.

Дом предков остался только в памяти. Сразу после ташкентского землетрясения 1966 года мой двоюродный брат Амин, сын Карим-коры, получил участок для строительства нового дома, старый же он разрушил окончательно, чтобы использовать столярку, дерево стропил и каркаса.

— Всей семьей ломали, — объяснил он мне, почему наш дом разрушен сильнее соседних. — Очень крепкий был.

Теперь говорят, что Акмаль Икрамов родился возле стадиона «Пахтакор». Раньше был другой ориентир — мечеть Шейхантаур, когда-то главная мечеть Ташкента.

Вообще вся наша родня селилась вблизи этой мечети. Оно и понятно, если учесть, что мы происходим от основателя этой мечети шейха Хованди Тахура, родословная которого восходит будто бы к халифу Омару, одному из основателей Арабской империи и первому редактору

[1] Балахана́ — среднее между чердаком, где хранят сено, и мезонином, где можно жить.

Корана. Относительно халифа Омара проверить трудно, но дедова родословная — шаджара — сохранилась у родственников. Она в самом деле восходит к шейху, которого поэт Абдуррахман Джами считал своим наставником.

Все это я узнал сравнительно недавно. Говорил со стариками, родичами, историками: выяснилось, что отец родился в семье, насчитывающей четырнадцать поколений интеллигенции. О дальних предках известно мало. Зато о тех, кто окружал отца в детстве, удалось кое-что узнать.

Дед—домла Икрам—был учителем и вероучителем, образование получил в Бухаре и совершил хадж в Мекку. Сохранился его паломнический посох, который стал коротеньким, как скалка, потому что верующие отрезали от него по кусочку и делали талисманы.

Один из дядьев отца, Алимхан, был весьма образован, сотрудничал в «Туркестанской газете», дружил с русским ученым Остроумовым и выступал с публичными лекциями о достижениях естественных наук. Другой дядя отца, Абдувахид-коры Кариев, был депутатом 2-й Государственной думы «от туземного населения города Ташкента». В 1909 году по ложному доносу его обвинили в «противогосударственной агитации за вооруженное восстание в целях отложения Туркестана от Империи». Он был арестован и выслан в Тульскую губернию. Во время ссылки мой двоюродный дед ездил в Ясную Поляну беседовать с Львом Толстым. Это установлено документально. Верю теперь даже, что туркестанский мулла вылечил травами дочь какого-то тульского начальника, кажется, полицмейстера, за что был досрочно возвращен восвояси. В 1937 году Абдувахид-коры Кариев был репрессирован и через 3—4 месяца умер в ташкентской тюрьме в возрасте 82 лет.

Бесспорно, что отец многому научился от своих двух старших родичей, но были и другие учителя.

А дом в Старом городе, в котором родился отец, я помню и потому, что он его показывал своим друзьям, приезжавшим из Москвы.

Одного из гостей я запомнил больше, потому что его у нас очень ждали.

Невысокий, быстрый в движениях, рыжеватый, если не сказать рыжий, он был крайне и искренне внимателен ко всему. Отец обратил внимание гостя на резную, тутового дерева калитку, которых тогда в Старом городе было много, объяснил значение традиционного узора, а во дворе повел москвича к... уборной. «Посмотрите, Николай Иванович, какая глубокая яма и заметьте, что совершенно нет запаха. Если бы мы, узбеки, живущие так тесно в городах, да еще в нашем климате, не соблюдали санитарных установлений, мы бы вымерли от эпидемий».

Николая Ивановича Бухарина очень уважали в нашем доме, но совсем еще недавно, работая «в стол», я должен был преодолеть ощутимое внутреннее сопротивление—сопротивление страха, прежде чем написать на бумаге эту фамилию.

До 1936-го мы жили в скромном доме на Уездной улице; в нем было пять комнат на большую семью с домработницей, причем одна из этих комнат для гостей, еще одна—служебный кабинет отца. Такого типа домов на Уездной было много и еще много таких и лучше на ближних к нашей улицах. Колониальный Ташкент, уютный, зеленый, с журчащими арыками, отделяла от Старого азиатского города крепость, построенная по всем правилам фортификации XIX века после завоевания Ташкента. Рашидов потом построил там новое здание ЦК партии и за ним — резиденции и дома для начальства.

Насильственное переселение нашей семьи в 1936 году на улицу Гоголя запомнилось ярко. Это было знамение времени. Стерев самую память о партмаксимуме, Сталин покупал, подкупал, разлагал своих сподвижников, коммунистов-руководителей в центре и на местах. Чем больше крови проливал он, тем важнее было ему создавать вокруг себя касту, живущую не так, как народ, а так, чтобы в эту касту рвались за всякими благами.

Помню, как всей семьей мы поехали осматривать дом, который сам Сталин, не видев, предназначил Икрамову.

Тяжелые, медью окованные двери, из прихожей вверх три ступеньки, а над вторыми дверями—кариатиды. Столовая с двумя коринфскими колоннами, в кабинете гнутая мебель, обтянутая голубым шелком, да с фарфоровыми медальонами.

Отец был предельно резок в разговоре с неявно ухмылявшимся управделами. Тогда я впервые услышал слова «кариатиды», «гризетка».

— Я ведь не гризетка, чтобы была такая мебель. И потом, эти кариатиды... Простые узбеки пугаться будут. С черного хода, что ли, людей сюда приглашать?

Мебель сменили, кариатиды остались. Ровно год мы прожили в этом доме. Там появилась специальная повариха, а в «черном» дворе были комнаты для дворника и для дежурных комиссаров, как называли тогда телохранителей в больших чинах из Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД СССР, подчиненных только Москве.

Исследователи найдут со временем документы о том, как росли ассигнования на быт партийных и государственных руководителей. Найдутся и приказы об усилении охраны, что обосновывалось, конечно же, ссылкой на убийство Кирова. По сути, охрана стала конвоем.

ПОПЫТКА БЕЛЛЕТРИСТИКИ

Ни один узбек не вернется домой без подарков близким. Даже если отлучка была недельной. Без подарков нельзя. Пусть это будет торбочка сухого урюка, горсть джиды или скромный букетик, который он разберет по цветочку для каждого и вручит со значением.

И вот, решив рассказать и то, о чем не прочтешь в документе, я пытаюсь представить, как мой отец совсем еще молодым возвращался из кишлака Пскент.

Месяц с лишним не был он дома и в путь отправился не утром, как настойчиво советовал ему хозяин, а на ночь глядя. Хотя на дорогах шалили.

Это так говорится—шалили. Грабили купцов и дехкан, убивали одиноких путников. Голодные грабили сытых, а порой и сытые — сытых. Такая пошла жизнь.

Иброхим-бай, у которого Акмаль работал все лето и осень, род свой вел от святых, держал лавку, имел и трех батраков. Мулла Иброхим мечтал породниться с ним. Ни для кого в Пскенте это не было секретом. «Хочет женить Акмаля на своей Ханифе». Об этом говорили. Акмаль батрачил, но хозяин выделял его. Нанимая Акмаля, бай Иброхим Ходжи Алимбаев полагал, что новый работник не только для поля пригодится, не только для строительства. Весной предложил Иброхим-бай новому работнику самостоятельно выезжать с товарами на базары. Кто бы отказался быть доверенным приказчиком?

Акмаль отказался, хотя над торговыми книгами он трудился по вечерам с интересом и тонкости бухгалтерии понимал, сложные проценты считал в уме. Акмаль ловко составлял счета владельцам хлопкоочистительных заводов — Давыдову и Тарсиновичу, он толково брал товары в кредит. Стоять же за прилавком Акмаль не хотел: «Тут, мулла-ака, не ум нужно иметь. Тут другое надобно, чего у меня нет».

Итак, с котомкой через плечо Акмаль ушел домой по начинающей твердеть холодной грязи. Даже значение щедрых подарков Иброхим-бая не омрачало его настроения. Пусть! Жениться он не собирался. Ни на ком.

Всем Акмаль нес и свои подарки. Младшим братьям крохотные ножи-пчаки, отцу — несколько аршин английской кисеи на чалму, матери — конфеты и два фунта фисташек. Дары блудного сына.

Из семейных преданий я знаю, что по возвращении домой от Иброхим-бая отец мой, Акмаль, застал мою бабушку Таджинисо — мать семейства—в постели. Домочадцы говорили тихо, чуть ли не шепотом. Икрам-домла молился в уединении. Акмаль узнал, что брат Алимхан заходил,

предлагал пригласить русского доктора, у Алимхана много знакомых русских, он на них надеется. И Абдувахид поддержал Алимхана, пусть, мол, придет русский доктор, нигде не сказано, что ислам запрещает получать помощь от неверных. Икрам-домла — отец отца и глава семьи, вероучитель, строгий, упрямый, на этот раз промолчал.

Таджинисо рожала девять раз, в живых остались пятеро ее сыновей. Она была второй женой муллы Икрама. Первая родила двух дочек и перед смертью сказала: женитесь на Таджинисо, ничего, что та прихрамывает, зато добрая, умная, образованная.

До прошлого года в доме работали две школы, мальчиков учил мулла Икрам, девочек — Таджинисо.

Мать лежала в опрятной комнатке. Лицо болезненно-желтое. Она протянула Акмалю левую руку, сухую, старческую, с пергаментной кожей, кажется, совсем без мышц: «Согрейте мне руку, холодно». Акмаль стал гладить ее от кончиков пальцев к запястью и дальше к локтю, упруго передвигая свою ладонь, чуть похлопывая. «И эту», — она протянула правую.

Чудовищно исхудавшее тело под выцветшим стеганым одеялом. Руки матери. Они так устали... Всех детей держали, тесто месили, лук и морковку резали... Стряпала, шила, стирала. Мать еще, кроме всего, обучала девочек грамоте, она продолжила дело нескольких поколений учительниц в своем роду.

Сестра Русора, двенадцатью годами старше Акмаля, — тоже стала учительницей.

...На виду лежали подарки от Иброхим-бая: ситец и сахарная голова. Мать позвала младших сыновей: Юсупа, Нугмана, Усмана. Юсупу было пять лет, Нугману — пятнадцать, Усману — тринадцать... Потом позвала к себе невестку-кенойе — худенькую, бледную, та второй год жила с мужем, а не беременела. И ей приходилось трудно. Свекровь заболела — на ней весь дом.

Я представляю встречу и разговор Акмаля со своим отцом: как Икрам-домла похлопал его по плечу, стараясь не выдать чувств, их вопросы и ответы, форма которых определена вековой традицией. Как оба они привычно угадывали, что скрывается за словами.

«Что собираешься делать?» — «Пойду в мастерские. Как Карим-коры».

Карим уже год работал литейщиком в железнодорожных мастерских, приходил поздно вечером, черный от копоти, злой. Икрам-домла не рад был ответу второго сына. Не для такой работы он растил и учил старших сыновей. Пусть уж Карим, из которого учитель явно не получился, но Акмаль...

«В мастерские?.. А в школе ты помогать не хочешь?» — «Вы же знаете, папа». — «Алимхан говорит, переводчики нужны. Может тебя устроить. Будешь узбекам законы объяснять. Заступником перед русскими станешь. Заступники хорошо живут». — «Руки у них грязные, папа». — «Как знаешь. Смотри, чтоб не ошибиться».

...Мать успела со всеми проститься, всем сказать доброе слово, у всех попросить прощения, хотя никто и вспомнить не мог, чтобы она когда-нибудь кого-нибудь обидела. Отын-буви Таджинисо отошла в мир иной в девятом часу вечера, так что и обмывальщиц удалось позвать сразу.

Тут я хотел бы рассказать о своих дядьях. Но что рассказывать? Старший вступил в партию вслед за отцом, перед арестом он был председателем райисполкома, второй стал преподавателем пединститута, третий работал на почтамте, был болезненным и не женился, четвертый был студентом, долго учился, отлично играл на дутаре и пел старинные узбекские песни. Вот все, что знаю. Не узнал больше и тогда, когда ходил в прокуратуру и Верховный суд, добиваясь их посмертной реабилитации. Еще я хлопотал о посмертной реабилитации сыновей тети Русоры — Исмаила и Фузаила. Оба были инженерами. Их арестовали, еще когда отец был руководителем Компартии республики; но он спасти их не смог.

О реабилитации мужа тети Садыки я не заботился. Ни к чему ей это было.

А о реабилитации дяди отца моего, — того самого, который был депутатом 2-й Государственной думы и встречался со Львом Толстым, хлопотал его сын, когда сам вернулся из заключения.

МЕЖДУ СТРОК

Вагоны для заключенных, наши «вагонзаки», поныне именуют столыпинскими, хотя конструкция их так изменилась, что побег из вагонзака я себе и представить не могу, даже не слышал о т а к о м побеге в мое, так сказать, время.

На моей памяти был удачный побег с железной дороги, но не из вагона... На станции Гжатск ломами, клиньями и кувалдами кололи мы битум, груженный в пульмановские вагоны кусками, но слипшийся в массу. Одни выбрасывали куски битума, другие носили его на площадку. Какая-то баба пересекала запретную зону с возом длинных жердей, волочившихся по земле. В телегу была впряжена корова. Она вдруг встала, загородив конвоиру обзор, тот яро стегал корову, но она не хотела идти.

И тут один из нас — Семенов, пацан шестнадцати лет, рванул к насыпи. Бежал босиком, а чуни, сшитые из автомобильных покрышек, держал в руках за веревочки, которыми эти чуни привязывают к ногам. Удивительное было зрелище. Остановившись почему-то у самых рельсов, Семенов раскрутил чуни над головой и швырнул, как камень из пращи. Может, конвоир сам его увидел, но боюсь, что мы его выдали своими взглядами.

Конвоир выстрелил, как положено, без предупреждения. Семенов перебежал путь, скрылся за насыпью, и тут же по линии загромыхал длинный состав.

Семенова не поймали. Пойманных даже далеко от лагеря обязательно привозили к месту побега убитыми, кидали возле вахты на обозрение — в воспитательных целях. Семенова не привезли; от ребят я узнал, что о побеге он мечтал давно. У него была больная одинокая мать, он боялся, что без него она умрет с голоду. И в лагерь он попал из-за матери, украл несколько килограммов зерна. Ради нее.

Все другие побеги кончались трагически. В подавляющем большинстве случаев они не были запрограммированы на успех, чаще это было крайним выражением отчаянья, родом самоубийства.

Не могу не вспомнить о побеге нашего лагерного юродивого, высокого и тощего. Фамилия его была, кажется, Сундуков, кличка, во всяком случае, — Сундучок. Он был во взрослой бригаде, не знаю, за что сидел и откуда родом. Он «доходил» быстро, помню его у кухни в надежде на добавку, помню на разводе. Однажды бригаду вывели на земляные работы, а Сундучок вдруг бросил лопату и, как лунатик, пошел за невидимую черту, за которой «конвой стреляет без предупреждения». Его, рассказывают, конвоир окликнул: очень уж Сундучок медленно шел. Его окликнули, а он все переставлял неимоверно длинные и тонкие ноги.

Конвоир выстрелил ему в голову и снес полчерепа. Возле Гжатска недавно прошла война, и вохровцы почему-то любили стрелять разрывными.

Это было, видимо, в начале апреля, еще до побега Семенова, и длинное тело Сундучка лежало у вахты три дня, в назидание. Мы старались не смотреть, но я запомнил его открытые небу глаза.

А раньше, когда в низинах было много снега, значит, думаю, в марте, наша и еще две бригады малолеток работали на трассе Москва — Минск, по которой ныне ездит так много наших и зарубежных туристов: главная магистраль на Запад.

Мы подсыпали гравий и углубляли кюветы. И вот, когда нас перегоняли, начальник конвоя увидел брошенный рваный бушлат.

«Чей бушлат?»

Эх, никто не догадался взять его! Тут же стали нас пересчитывать. Одного не хватало. Оказалось, исчез Руня. Он был из другой бригады и фамилии его не знаю, только кличку.

Кажется, и мы, и конвой одновременно увидели Руню. В километре

или чуть дальше он шел в низине, проваливаясь по пояс в глубокий и топкий снег. Нас согнали в кучу, три бригады малолеток, и мы видели, как гонятся за ослабевшим от голода мальчиком здоровые мужики со свирепыми немецкими овчарками. Руня шел, не оборачиваясь, шел к белой полуразрушенной церкви, стоявшей на свободном от снега пригорке.

Овчарки настигли Руню, когда ему уже прострелили ноги. Потом его волоком вытащили по его же следам на трассу, погрузили в срочно прибывшую вохровскую полуторку и тут, в кузове, его пристрелили. В голову ему стрелял старший надзиратель, я помню фамилию, но не назову, а вдруг ошибусь? Впрочем, все они действовали, как положено.

Это не Колыма, не Печора, это почти на границе Московской области, хотя уже и в Смоленской. Километрах в десяти от Гжатска.

Тело Руни возле вахты не лежало. Говорили, что лагерный доктор Израиль Витальевич Штенер, сам недавний зэк, сумел сообщить о смерти сына родителям. От Москвы и по тем временам было около двух часов езды, увезли они его еще до нашего возвращения с работы.

Малолетки — кому не больше шестнадцати. Кажется, по правилам нас должны были кормить лучше и работать мы должны были не двенадцать, а десять часов, только если правила и были, их никто не знал и соблюдать не собирался. Работали с темна до темна.

Среди малолеток я был один политический, остальные — бытовики, то есть уголовники.

Имени и фамилии еще одного из ребят не помню. Они с братом накопали полмешка картошки на колхозном поле. Их посадили за кражу. Мать пошла умолять следователя, не умолила и предложила ему деньги. Не знала, что за фанерной перегородкой начальник присутствовал. Мать посадили за взятку. Где отбывали срок мать и старший сын, не знаю. Младший, мой сосед по нарам, был удивительно чистым деревенским мальчиком. Рядом с нами в беспамятном жару доживал последние часы кто-то еще, и мой сосед не позволил другому зэку вытащить у него пайку хлеба: «Куда? Ведь он еще живой!» А ведь по законам лагерной жизни, которая никого не сделала добрее и честнее, тот деревенский мальчик вполне мог взять пайку себе или поделить с тем, кто эту пайку выследил.

Свирепость и тотальность сталинских законов по отношению к народу были основанием и оправданием общего неуважения к закону и морали. Это стало нормой, в которой жил весь народ.

После первого освобождения я оказался в сапожном городе Кимры и снял угол у старухи Ш. Она и ее старшая дочь Нюрка отсидели за спекуляцию. Нюрка привезла из лагеря сына Алика и вместе с младшей сестрой Машкой продолжала преступный, но жизненно необходимый промысел. По выходным они возили в Москву на Перовский рынок туфли-лодочки, изготовленные местными кустарями, а в Кимры — дрожжи и трикотажные женские трусы, большой был дефицит. Трусы надевали на себя, туда же совали и пачки дрожжей. Примерно так подрабатывали на жизнь многие люди с улицы Салтыкова-Щедрина и соседних.

Это был быт. И в этом быту поражало количество людей, побывавших там, откуда я возвратился, поражало и то, что чуть не все в Кимрах говорят на лагерной «фене». Двухлетний Алик матерился по-лагерному, и лагерь был для людей тоже бытом.

Свирепость, тотальность... За колоски. За полмешка картошки. За три пары трико. За две пачки дрожжей... Чего стоил народу знаменитый Закон от 7/VIII 1932-го?

Мы знаем, что политические репрессии коснулись почти каждой семьи, интеллигенции в первую очередь, но сколько же жизней и судеб унес этот самый Закон?

Жестокость всегда ходит об руку с несправедливостью, и вместе они деформировали мораль в масштабах всего государства.

Массовые политические репрессии обеспечивались только беспрецедентным террором против бытовиков, против всего народа, в условиях, когда любой и каждый гражданин лишен каких-либо прав, а государство — это все.

Я пишу это буквально между строк ранее напечатанного на машинке текста и спрашиваю себя: кто расскажет о малолетках, попавших во взрослые лагеря? Неужто — никто, никогда?..

Бригадирами у малолеток начальство всегда ставило рецидивистов, воров в законе. Нашей бригаде повезло, наш дядя Ваня — Иван Иванюк, если это была его единственная фамилия, — был мастером карточной игры, бригадный хлеб проигрывал редко, пайку мы получали чаще других. Хуже всех приходилось пацанам из бригады Воёди-краснушника. Краснушники грабили железнодорожные вагоны и по воровской иерархии были много ниже ширмачей, домушников и медвежатников.

Воёдя-краснушник — здоровый мужик лет тридцати, глупый до чрезвычайности и лишенный каких-либо человеческих чувств. В карты он играл плохо, совсем не замечал шулерства, которое между ворами в законе не воспрещалось и называлось «исполнением». Так и уславливались: «с исполнением», впрочем, чаще и не уславливались.

Воёдя не произносил «р» и «л», потому и — Воёдя. Он проигрывал бригадный хлеб целиком и прямо из хлеборезки нес его «вантажистам», выигравшим. Потом наш Иванюк или другой бригадир малолеток дядя Саша Проценко, ротский по кличке или даже титулу, менял этот хлебушек на водку.

Несет Воёдя утром ящик паек мимо своей бригады к Иванюку или Проценко, а они поддразнивают его на весь барак:

— Воёдя, как твоя быгадочка?

Воёдя очень весело орет в утренней тишине малолетнего барака:

— Моя быгадочка по утьяночке гудьончик штефкает.

Да, его бригада очень часто вместо хлеба жевала битум, «гудьончик». В его-то бригаде и был тот Руня, что средь бела дня безоглядно бежал на смерть по снегу, который уже и лыж не мог бы держать.

Был в Воёдиной быгадочке и мальчик без клички, фамилия редкая и красивая — Дофине, сын и внук потомственных кондитеров, приглашенных в Россию бог весть когда и до революции работавших на фабрике «Эйнем». Там же, то есть на «Красном Октябре», работал мой приятель, возможно, последний из той кондитерской династии. Он украл шоколад, получил пять лет — пятерик, он умирал на моих глазах, не отбыв и первого года.

В мае сорок четвертого мы рядом лежали на солнечном скате нашей землянки-барака, в котором вода доходила до нижних нар, но нары были уже пустые. Пацаны «освобождались через деревянный бушлат».

У меня была дистрофия-III, и на внутренних сторонах ног от щиколоток до паха на коже и костях непонятным образом держалось десятка два фурункулов. Я ждал, когда начнется профузный дистрофический понос. Это уж три дня до смерти. У Дофине понос начался раньше. Меня спас тот же доктор Штенер. Увидев мои ноги, он стал лечить меня в санчасти. Каждый день я приходил туда, он вел за занавеску и давал кусок хлеба. Может, он тоже был прежде политическим, может, имя отца о многом ему говорило? Сам он был, кажется, из Баку. Потом я попал в бригаду автослесарей, которых подкармливали вольные шоферы. Но это уже другой рассказ, рассказ о счастье, о том, как я остался жив и потому должен писать о чем пишу.

Того места, где был наш лагерь, «лагпункт», по терминологии ГУЛага, я не нашел. Не нашел и того места, куда старый цыган по обычной для цыган кличке Мора, наш штатный труповоз, сваливал мертвецов. Ящик был большой, бросали в него по два и по три тела. Возвращался Мора с пустым ящиком. Этот ящик и назывался деревянным бушлатом. Кажется, в оставшееся время Мора перепрягал свою клячу и возил откуда-то воду.

Основной контингент лагпункта — человек триста. К нам шли и шли этапы из тюрем Москвы, чаще всего с Пресни, но численность заключенных не изменялась. Триста. Остальных увозил Мора.

С ним часто шутили воры в законе.

— Эй, Мора, пойди ты до... клеванного прокурора, пусть он обменяет тебе конную на карманную.

Мора был бесконвойный, думаю, выполнял какие-то приватные поручения блатных за зоной. За что Мора сидел, не знаю, но получалось будто за конную кражу, за кражу лошадей.

Особенно много мерло нас в апреле и мае. Думаю, что человек сто или двести, а может, и три сотни зэков Мора «освободил через деревянный бушлат».

Однажды, когда у Моры было много основной работы, в водовозку впрягли несколько малолеток. Пожилой надзиратель сопровождал нас до речки и обратно. Не помню за ним ничего плохого, а в тот день он все улыбался и, наконец, не выдержал, сказал нам:

— Скоро на свободу, пацаны. Вчера второй фронт открыли, Гитлер — капут.

В лагере, как на свободе и на фронте, верили, что после победы над Гитлером жизнь станет другой. И эту веру Сталин обманул.

За обманутую веру опять заплатил народ: немногие, как Батуев и Жигулин, восстали, другие согнулись так, что и теперь выпрямиться не могут, третьи вовсе потеряли нравственные ориентиры, сами стали рабами и рождают рабов.

Рабы и надсмотрщики — одна порода. Воёдя-краснушник от них произошел.

Я написал все это над строчками о том, как хоронили мою бабушку Таджинисо в канун семнадцатого года, как по ритуалу ее выносили через окно, как простудилась во время похорон и вскоре умерла старшая невестка Зохида, как дом остался без женщин и моего отца заставили жениться на Ханифе.

Ханифе повезло, что отец рано оставил ее. Она потом вышла замуж, родила много хороших сыновей, женой врага народа не считалась, дожила до реабилитации первого мужа и даже получала пенсию как его вдова.

ДАСТАРХАН

Свободные беседы о прошлом в основном проходят за дастарханом. «Дастархан» — это и сама праздничная скатерть, и то, что на эту скатерть выставляют, и просто всякое угощение от души. Сидеть за дастарханом можно много часов, и ошибается тот, кто думает, будто сможет поглотить все, чем его угощают. Дай бог попробовать по кусочку, по ломтику, по ягодке, по ложке. Зато все, что говорится за дастарханом, надо помнить крепко, ни слова тут не промолвят зря, сказанное запомнит хозяин, и от гостя он ждет того же.

Главы-отступления от основного сюжета я позволяю себе обозначить этим словом — дастархан.

...Февральский день в городе Кашине был поразительно красив. Это не теперешнее мое восприятие последнего дня на свободе, а факт.

Мороз и яркое в конце зимы солнце. Высокий берег Кашинки, церковь Фрола и Лавра на горе и знаменитый собор Анны Кашинской под голубым небом. А плакучие ивы в инее таком сильном, что каждая опущенная к реке ветвь — как хрустальная, и в руку толщиной. Нет, не могу я описать это ясное, очень русское утро, не знаю, как в тысячный раз писать о том, что снег слепяще голубой и белый, что он скрипит под моими сапогами-вытяжками, что мне тепло в полубушлате с воротником, добытым в лагере в последнюю неделю перед «свободкой».

Я был совершенно счастлив, и, чтобы все-таки не подумал читатель, что то утро я задним числом так ярко окрашиваю, свидетельствую: в моей жизни много было дней и ночей, когда я бывал совершенно счастливым человеком. Таких дней было много, а забирали меня только дважды. Во второй раз — в 1951 году, об этом и рассказываю.

Так вот, я был счастлив. Я бежал через речку в свою медицинскую школу, где парней вообще-то было мало, а я был, вернее, чувствовал себя, едва ли не самым заметным из них.

Накануне художественная самодеятельность нашей школы по просьбе публики повторяла в городском Доме культуры концерт из произведений Пушкина. Я был художественным руководителем этой самодеятельности, а еще вел концерт, читал стихи и во втором отделении исполнял роль Старого цыгана в «Цыганах», которые сам поставил.

Сбегая с берега на лед и вновь легко поднимаясь по крутому берегу к школе, я думал о том, что на третьем пушкинском концерте надо показать сцену в корчме из «Бориса Годунова».

Привлекало меня в этой сцене поразительное, неожиданно открывшееся мне качество. Тогда я, видимо, толковал о нем иначе, чем формулирую сейчас, но смысл я увидел в том, что все персонажи этой короткой сцены пребывают не в своих социальных ролях. Их «легальное» положение не соответствует внутренней (истинной) цели и даже противоречит ей. Может быть, в жизни вообще так? Или только в России? Сцена в корчме — это Россия вчера и завтра.

Я повторял про себя любимые реплики этой сцены.

Да, накануне был успех. Сняв грим, я спустился в буфет, взял две кружки пива и протиснулся в угол, где стояли пустые ящики и бочки. За мной следом со своими двумя кружками пролез к бочке низкорослый и мрачный младший лейтенант. Лейтенант кивнул мне как знакомому, и я до сих пор не могу сказать, знал ли он о том, что завтра нам встречаться. (А вокруг люди обсуждали концерт. Господи! Ведь никто теперь не поверит, что так было. Какой клуб? Какая самодеятельность? Обсуждали? Теперь никаких таких дел. Теперь телевизор.)

А в нашей фельдшерско-акушерской школе концерт обсуждали и наутро — и в классах, и в учительской. И я не удивился, когда с урока химии меня попросили к телефону. Ученика с урока к телефону? Но ведь я не просто ученик, а в некотором роде знаменитость.

В учительской ждали двое: тот, с которым мы на одну бочку кружки ставили, и рослый, бравый, как из ансамбля красноармейской песни и пляски.

— Вы извините, что мы вас оторвали от урока, но надо бы подъехать к дому, где вы живете. Через час будем обратно.

— Портфель брать?

— Обязательно.

Я все понял. Когда говорю это слово, то именно **все** и подразумеваю.

Я знал, но еще час назад не хотел думать о том, что постепенно **подбирают** всех, кого выпустили по окончании срока. Поживет человек год-два на свободе где-нибудь вдалеке от столиц, а его опять возьмут, и что сделают — неизвестно. Сгинет и все. Уже исчезли некоторые. Исчез мой солагерник Константин Павлович Ротов, например. Но Ротов — знаменитый карикатурист — после лагеря слишком уж к Москве потянулся. А меня-то, меня за что брать? Сын за отца не отвечает. Если это повторять очень часто, можно себя убедить. Один раз отсидел за отца, неужто второй раз возьмут? Ведь сын ва отца не отвечает. Все-таки.

Нет, я сразу понял, что, хотя сын за отца не отвечает, но меня сейчас взяли, и это уже **навсегда**, и **второй раз я не переживу ни следствия, ни тюряги, ни каторги**. Второй раз не пережить. Навсегда берут меня парни. Никаких к ним претензий ни тогда, ни сейчас. Перечитываю написанное, вспоминаю, и вдруг приходит мысль: а может, грустный младший лейтенант с **каким-то крамольным умыслом** ко мне с пивом протиснулся. Может, хотел предупредить, остеречь, намекнуть, чтобы я исчез куда-то. И не поручусь я, что тот младший лейтенант ничего не говорил мне. Только разве понял бы я в эйфории, в детском своем упоении от сценического успеха.

За окном учительской я увидел голубые санки, в которые был запряжен лоснящийся под солнцем вороной жеребец. Я пошел в раздевалку, надел свой полубушлат, поднялся на второй этаж за портфелем, и в этот момент раздался звонок с урока.

Из всех дверей выскочили девчата и мальчишки — участники моей самодеятельности.

— Ты куда?

— Надолго?

— Почему среди уроков?

И тут я сделал нечто, чего от себя не ожидал.

— Репетиция, ребята, будет обязательно. Ровно в пять! Чтобы все были! Весь состав драмкружка — «Цыганы», «Годунов» и пусть хор тоже соберется. Если я задержусь, то ждите. Час, два. Но я обязательно приду. Ждите!

«Зачем?», — спросите вы. А затем, чтобы у моих артистов было время всем вместе обсудить мой арест, если им скажут прямо, или мое исчезновение, значение которого они поймут позже. Это будут мои поминки! Как хорошо, что я догадался их устроить! Не безвестно уйду с этого света.

Мы сели в голубые санки. Сияло небо, снег скрипел под полозьями и летел снежный пух из-под копыт вороного. А плакучие ивы над рекой были, как в опере. Мы сидели в санках — трое молодых людей, и один из нас вдруг запел песню про тачанку-ростовчанку — все четыре колеса. Это пел я.

В тот день ко мне привязывались разные песни и песенки. Во время обыска в доме у бабы Дуни я стоял у окна и пел про городской сад, где играет духовой оркестр; позже, когда сидел в боксах, — о солдатах, которые идут стороной незнакомой. Почему я пел? Парадоксальная реакция?

А не парадокс, что баба Дуня потом рассказывала, что квартиранта ее посадили, чтобы не распространял рак! «Он уколы делал, вроде для аборта, а на самом деле от этого рак». («Уколов для аборта» я никогда не делал, и бабка это знала.)

Не виню бабу Дуню, хорошая была старуха, добрая, справедливая; правда, дикая совсем.

Летом того же года я ехал этапом из Калинина через московскую, рузаевскую, куйбышевскую и ташкентскую пересылки в Джамбулскую область, где, как мне объяснили авторитетно, я буду пребывать до конца своих дней, если кто-то не решит загнать меня еще дальше: «Ведь по идее вы не должны быть так близко от Узбекистана».

...Ташкентская пересылка пятьдесят первого года, наглухо закрытые бараки, где, похоже, битком набито. Зной, обрушенный на крыши этих бараков, пустые аллеи, клумбы вровень с крышами — розы и хризантемы размером в чайник, гладиолусы, ирисы, астры, опять розы, розы, розы.

Нас, транзитников, в барак не загнали. Мы сидели под огромным карагачом, в тени. Кто-то сказал, что часам к семи поведут на вокзал к поезду Джелалабад — Фрунзе, там идет вагонзак.

Почти не помню товарищей по этапу. Они менялись часто. Распихивали нас по разным камерам, по разным купе (не знаю, как назвать камеры в вагоне). Врезалось только, что в том этапе люди часто теряли сознание. Лето было жаркое. Так, по дороге с ташкентского вокзала потерял сознание здоровенный широкоплечий крымский татарин, получивший четвертак за побег с места поселения.

...Мы сидели под деревом в тени, еды нам не давали, чтобы не канителиться. А нам и не хотелось, очень уж противно воняло с кухни.

Мы сидели между белыми бараками у белой какой-то стены, и цветов было столько, сколько я не видел потом ни в ботаническом саду, ни на виллах у Средиземного моря, ни в правительственных резиденциях. Цветов было так много, что меня не оставляет мысль о тогдашнем начальнике пересылки. Сумасшедший? А может, он торговал цветами? Или это была показуха?

Часов, наверное, в шесть, когда жара еще полыхала, нас опять набили в вонючий раскаленный воронок. Мы долго ехали по ухабам, стояли где-то, опять тряслись, когда, наконец, дверь открылась, и мы стали вываливаться на землю. Земля запомнилась прохладной и влажной.

Как это она могла быть в Ташкенте в конце летнего дня — прохладной и влажной? Наверно, полили к вечеру из шланга.

Быстро, по-деловому нас построили, пересчитали и ввели во дворик, который одной калиткой выходил на привокзальную площадь, а другой — на левую часть перрона, туда, где останавливается паровоз.

Рядами нас поставили на колени. В этом не было специального унижения достоинства. О человеческом достоинстве никто и не думал. Просто есть разные теории предупреждения побегов, по одной из этих теорий считается, что в положении «на коленях» ноги сильно затекают, а на затекших ногах стартовый рывок совершить труднее.

Мы стояли на коленях и наслаждались вечерней прохладой. Я оказался в первом ряду перед проемом, выходившим на перрон. Калитку кто-то сорвал, она валялась в стороне, передо мной открывался самый заманчивый театр, театр воли, театр загадочных странствий — перрон большого вокзала.

Ходили какие-то люди, кто-то прогуливался в ожидании поезда. Кто-то из гулявших видел нас, стоявших на коленях в хитром дворике; одни вглядывались краем глаза, замедляли шаг, другие испуганно отворачивались, спешили прочь. Не знаю, как бы поступил я, если б смотрел с перрона. Что было бы сильнее: любопытство, сочувствие или страх, инстинктивное желание отойти от пропасти.

Стоя на коленях в первом ряду, я далеко слева увидел в тупике салон-вагон, которым примерно дважды в год мы с отцом ездили в Москву. В другое время я не оказывался в такой близи к отцу. Из дома он уходил на работу, уезжал в командировку... А пять суток по пути в Москву и пять суток из Москвы он был рядом.

Он читал книги, просматривал бумаги, что-то писал. Иногда играл в преферанс или в шахматы. В вагоне пустых купе не было, попутчиков отец набирал с удовольствием. Это были интересные люди из Ташкента и областей. Любил я и проводников этого вагона, один был поваром. В вагоне кормили вкуснее, чем дома, все пять дней жарили котлеты с картошкой. Дома мяса нам давали мало.

Салон-вагон цепляли в хвост поезда, и задняя его стенка с большими зеркального стекла окнами, с креслами у этих окон была моим самым любимым местом.

Летели из-под вагона рельсы, мелькали шпалы и черная мазутная галька, а за полосой отчуждения неслась и мелькала страна тридцатых годов, то голодная, разутая, раздетая, то едва утолившая голод и надевшая ватник. Станционный люд, станционная жизнь... Самые верные показатели общей жизни.

Мне было, видимо, лет шесть, когда наш салон-вагон зимой шел по казахской земле. На станции, кажется, Казалинск вагон остановился против белого здания, снег рваной простыней покрывал пути и степь, а возле поезда с воздетыми в мольбе руками стояли скелеты, живые скелеты взрослых с детскими скелетиками на руках.

Не хочу придумывать или додумывать, что сказал мой отец или хоть какое у него было лицо. Не помню отца в те минуты, вообще ничего не помню, кроме простыни несвежего снега и людей с черными лицами и черными руками, поднятыми не в протесте, а в мольбе о куске хлеба.

А в вагоне нашем, наверное, жарили котлеты с картошкой. Наверное, на бараньем сале.

Да, без сомнения я видел из калитки именно тот салон-вагон. Теперь он, судя по внешнему виду, был спущен в пользование другой номенклатуре, может быть, принадлежал начальнику отделения дороги, политотделу, профсоюзу, комсомолу, но это был тот самый салон-вагон.

Между тем поезд, к которому нас привезли, все еще не подходил, ног я уже не чувствовал, а глядел во все глаза на вольную жизнь и думал о сюжете собственной жизни. Без сожаления к себе, но восхищаясь всемогуществом судьбы, которую тогда, точно помню, считал только сюжетом.

Если бы люди, гулявшие по перрону Ташкентского вокзала, знали, если б им рассказать, что худой арестант в ковбойке и очках, стоявший на коленях в первом ряду, — сын человека, именем которого называли в республике десятки колхозов, улиц, многие предприятия и школы, главный стадион республики и Дворец пионеров (даже город был Акмальабад)... Если бы они знали, что этот доходяга — очкарик в ковбойке, ожидающий команды, сын того человека и это его единственная вина... Какой сюжет! — с восторгом думал я. Какой сюжет!

Нет, я не мечтал быть писателем, я читал собственную жизнь, как читатель со стороны.

Я ехал из тюрьмы в ссылку. Не на каторгу, не в лагерь, не в другую тюрьму. Я ехал в ссылку. Какое счастье — не в лагерь, а в ссылку!

Я читал свою жизнь со стороны и, может быть, думал: как ему повезло! Какой сюжет!

Мне вспомнилось все это особенно ярко и с тем же изумлением перед сложностью жизни, когда ноябрьской ночью 1978 года я прилетел в Ташкент на юбилей отца.

У трапа самолета стояла машина, незнакомый человек бросился ко мне.

— Вы товарищ Икрамов? Камил Акмалевич?

Я и не думал, что будут встречать, да еще у трапа.

Встречавший старался не подать виду, но явно огорчился, что вещи мои в общем багаже, а не в специальном, и их придется ждать; потом извинился, что везет меня не в ту гостиницу, куда бы хотел, поскольку там разместился сейчас руководитель Эфиопии товарищ Менгисту Хайле Мариам с сопровождающими его лицами.

Что-то мешает мне хоть на пять минут подъехать к ташкентской пересылке, хоть поглядеть. И на тот проходной дворик взглянуть, цел ли, починили ли калитку. Что-то мешает, боюсь, что ли?

Юбилей отца проходил в конференц-зале филиала музея В. И. Ленина. Люди стояли в проходах. В фойе развернули фотовыставку. Очень мало фотографий отца сохранилось... А может, хранятся где-то до поры; помню такую: отец надевает на Сталина полосатый халат — традиционный подарок узбеков. Это съезд колхозников-ударников хлопкосеющих республик.

Опять я на родине, езжу по колхозам и совхозам, чтобы понять и понятнее написать для всех о нынешнем дне республики.

И опять, как годы и годы назад, идут по дорогам автобусы с зажженными среди бела дня фарами. Идут автобусы, поют в автобусах горожане. Десятки, сотни, тысячи автобусов, сотни тысяч студентов, школьников, рабочих и служащих...

Я писал статьи для газеты о том, что ручной сбор хлопка далее терпеть нельзя. Нашел сравнение: попробуйте хлеб собирать руками. Не серпом, а именно руками, срывая колоски по одному. Студенты собирают по шестьдесят килограммов хлопка в день, школьники — по тридцать. Это в начале уборки, когда его много, когда он сам дается в руки. А в декабре? В декабре с темна до темна и пять килограммов — нормальный сбор. Пять килограммов хлопка четвертого сорта по двести рублей за тонну. Это сколько же рублей, нет, копеек в день зарабатывает сборщик? А сколько стоит совхозу или колхозу пропитать этого горожанина в тот же день? Сколько он получает от государства в виде стипендии или каков у него среднемесячный оклад, и какой ущерб еще нанесут государству нынешние недоучившиеся студенты, когда получат дипломы специалистов?

Экономика колхозов и совхозов, бригадный подряд, безнарядные звенья...

Зачем мне все это? Разве нет других забот, других тем? Кляну себя за потерянное время, и единственное объяснение всему этому — я сын Акмаля Икрамова, а он отдал жизнь этой земле, этим людям. Многое из того, о чем он мечтал, сбылось, но другое получилось не совсем так, а кое-что, возможно, вовсе наоборот.

Что ж, все на свете поправимо, кроме смерти.

Несколько дней журналистской работы и — дастархан накануне отъезда. Так положено. Угощение будет обильное, но я не пью, научился решительно уклоняться даже при самых трогательных тостах. Но отказаться от застолья невозможно.

И вдруг я вижу, что людей становится больше и больше. Режут барашка, разводят огонь, под чинарой расставлены стулья для избранных. Хозяева придвигаются. Пауза. Она затягивается.

— Рассказывайте, пожалуйста.

— О чем? — не сразу понимаю я.

— О вашем отце. Как все это было?

Рассказываю. Многое людям известно давно, они просто жаждали подтверждения того, что знают. Вижу, время не стирает интереса, а разжигает его. И еще я вижу, что истина имеет абсолютное значение, иначе она вообще никакого значения не имеет.

Какие благополучные на вид люди слушают меня! Казалось бы, зачем им это? Разве к ним это имеет отношение?

Оказывается, имеет.

И как неуклонно влекут они меня своими расспросами к роковым дням тридцать седьмого! Важно людям еще раз услышать, как это было. А может, как это бывает? А может, как сделать так, чтобы этого никогда уже больше не было? Вот ведь жили же люди честно, были честными коммунистами, а потом вдруг все рухнуло для них и для их близких.

...Сидим под чинарой на венских стульях. Где-то за спинами уже сготовилась еда, а хозяева слушают и слушают мой рассказ об отце, о матери, о нашем доме, о том, как нависала туча, ударил гром.

Вдруг я перебиваю себя, потому что не первый раз говорю об этом и давно говорю спокойно. Вдруг я перебиваю себя и спрашиваю о чем-то, что относится к моей будущей статье о сборе хлопка.

— Да, кстати, я хотел спросить, есть ли хозяйства, которые отказываются от последней коробочки ради подъема зяби и промывки полей?

Отвечают, но при этом смотрят с удивлением: «Как он может?»

И правда! Как я могу?!

ДЕЛО МОЕГО ОТЦА

Возвращался в Москву я в конце апреля 1955 года. За двенадцать лет не осталось ни родственников, ни близких друзей, и в поезде я думал, куда бы деть фанерный самодельный чемодан, который я покрасил черной липкой краской, куда деть нелепое зимнее пальто, когда сойду на Казанском вокзале.

Пальто, допустим, можно сдать на какую-нибудь ресторанную вешалку и уйти с номерком в город. А чемодан?.. Я боялся, что липкий чемодан без замка не примут в камеру хранения.

Сосед по общему вагону рентгенолог Саша возвращался в Москву после трех лет работы по распределению и считал, что наши с ним судьбы схожи. Его заставили три года жить не дома и меня тоже. Саша все время занимал меня разговорами о кукурузе, которая тогда только начала заполнять газетные страницы.

— Кукуруза! — восклицал он мне шепотом в ухо. — Кукуруза! Какая может быть кукуруза?!

С непонятной мне страстностью этот вполне городской человек подсчитывал трудовые затраты на возделывание кукурузы — на зерно и на силос, он сравнивал кукурузу с ячменем и с овсом, вздыхал и охал.

— Не на кого опереться, — шепотом говорил он мне. — Понимаешь, не на кого опереться.

Я не понимал ни в кукурузе, ни в овсе, ибо в отличие от Саши не прочел какого-то подвала в центральной газете. Я не понимал, почему Сашу четверо суток волнует этот вопрос, на кого и в чем ему нужно опираться? Я думал о чемодане, думал о том, удобно ли просить Сашу оставить чемодан у него, и соглашался насчет кукурузы и трудовых затрат.

У противоположного окна ехала блондинка, инженер-химик, возвращавшаяся из Чимкента в Мончегорск. Я заигрывал с ней, но блондинка не принимала ухаживаний. Видимо, ей надоели ухаживатели. А может быть, я был слишком рассеян и напуган будущим приездом в Москву, чтобы быть хорошим кавалером. Кажется, весь я вибрировал, и голос мой дрожал и ломался.

Тринадцать тюрем и лагерей, пересылки, этапы, вагонзаки — столыпинки и телячьи вагоны, конвой с собаками и деревянными молотками — это не вспоминалось. Нет, я ни о чем не мог думать, а если бы тому,

что происходило в моей голове и в моей душе, найти словесное выражение, оно бы уместилось в один вопрос — неужели?

Сын врага народа Акмаля Икрамова возвращается в Москву. Сын реабилитирован, хотя о реабилитации отца нет и речи. Был тогда анекдот, которого, боюсь, кроме меня, никто уже и не помнит.

«Посадили репку. За репку—дедку, за дедку—бабку, за бабку—дочку, за дочку — внучку, за внучку — Жучку, за Жучку — кошку, за кошку — мышку... Так вот, мышку на днях реабилитировали».

Я был мышкой.

Поезд пришел в Москву утром 28 апреля. Чемодан и пальто я оставил у Саши. Я выпил с ним и его женой сладкого вина, получил приглашение (очень важное, очень существенное) переночевать у них, если не найду где, и пошел гулять.

Шел по Москве, не боясь, что меня остановит милиционер... Даже хотел, чтобы меня остановил милиционер, и потому всякий раз, когда я его видел, сердце немного замирало.

Это только говорится так: пошел гулять. Я не знал, кто пустит меня к себе, а кто не пустит. Не было уже деда по матери, не было тетки... Оставались сестра деда и двое ее взрослых и благополучных детей. Я пришел к ним. Ох, какая поднялась суета, как меня кормили обедом, какой был чай, с каким домашним печеньем! А когда я вышел от них на улицу, вдруг понял, что они не спросили меня, где я буду жить, где переночую? Не спросили и все.

Я пошел к семье своего лагерного друга Евгения Александровича Гнедина; до ареста он заведовал отделом печати Наркомата иностранных дел, был ближайшим сотрудником М. М. Литвинова. Безуспешно нажимал я их звонок, потом нажал общий, и соседка по коммуналке объяснила, что родные Евгения Александровича уехали к нему в ссылку.

Но ничто не казалось мне сложным, ничто не огорчало.

В апреле приехал, в мае удалось временно прописаться у моей бывшей няни, с первого июня поступил на работу, а в один из летних вечеров пошел в Историческую библиотеку, чтобы выяснить, кто же все-таки был мой отец Акмаль Икрамов, за что его расстреляли, в чем он признавался на знаменитом процессе в марте 1938 года.

Я никогда не верил, что он шпион, диверсант, убийца, вредитель и буржуазный националист. Но, видимо, что-то было? Иначе зачем поднимать весь сыр-бор? Что-то было, что-то было. Что?

Не шпион, не диверсант, не убийца, не буржуазный националист — этого мало знать об отце.

Среди тысяч коммунистов и старых коммунистов, которых я встречал в лагерях, не было врагов народа. Ни одного. Встречались плохие люди, бывали мерзавцы, фанатики и дураки. Врагов народа не было.

Зато многие из них говорили о том, что «лес рубят—щепки летят». Видимо, подразумевая, что лес — это другие. А мы щепки. Щепки с подпольным партийным стажем говорили о лесе, который нужно рубить и почти никогда — не помню такого случая — о лесорубе, который по совместительству был и садоводом. Впрочем, одна абстракция не противоречит другой. Сколько нужно времени, чтобы уйти от абстракций?

Не думаю, чтобы эти люди боялись высказывать свои мысли. Они не думали так, как думают теперь все нормальные люди. Абстракции лишали их возможности видеть то, что было перед глазами. А может быть, очевидность их угнетала, в то время как абстракции утешали. Как медленно протекает процесс общественного осознания? И что такое общественное сознание?

Помню только один поразивший меня разговор. Старый троцкист—троцкистов за коммунистов никто в лагере не считал,— беззубый дистрофик со злыми глазами, вмешался в какой-то разговор о Сталине.

— Сволочь! Он уничтожил нас, опозорил Троцкого, а потом взял нашу же программу. Он все украл у Троцкого.

Старика звали Савченко, он был на грани жизни и смерти. Я поверил ему и, ничего толком не зная о Троцком и троцкизме, к словам Савченко до сих пор отношусь с доверием. Симпатии к Троцкому у меня тогда не возникло, скорее, наоборот. Но странно, что благоговения перед Сталиным почему-то не убавилось.

«Лес рубят—щепки летят»,—говорили люди. И еще говорили о логике борьбы. Мой отец не был щепкой — это я знал точно. Оставалась логика борьбы.

О борьбе любили поговорить. Тоже абстрактно. Сейчас—поразительно, как быстро летит время—на устах у разных людей слова песенки:

> За что сидим — не помним и не знаем.
> Здесь конвоиры дики и грубы.
> Мы это все, однако, понимаем
> Как обостренье классовой борьбы.

Все улыбаются иронически и мудро. Получается, песня сочинена вроде бы в тридцать седьмом году. А мне обидно, что мои друзья и наставники в лагере, люди очень образованные, много видавшие на своем веку, прочитавшие тысячи умных книг, которых давным-давно и достать-то уже нельзя, они, эти люди, не могли так мудро иронически улыбаться.

«Лес рубят—щепки летят!» О превращении леса в щепу люди боялись думать.

Однажды меня отправляли из одного лагеря в другой. Это было в сорок восьмом году. Я почти отсидел свои первые пять лет, близился день освобождения, и возле вахты, напутствуя меня, собрались мои друзья.

У каждого из них на свободе были дети, как правило, старше меня; они не видели их лет по восемь—десять и не знали, когда увидят и увидят ли. Они любили меня, верили, хотели верить в мое счастье. В бараках после работы они подсовывали мне книжки: «Диалектику природы» и «Анти-Дюринг», Чернышевского, Белинского, «Историческую поэтику» А. Н. Веселовского. Они специально выписывали эти книжки из дома, после работы проводили для меня семинары, корили за ошибки и уклоны, которые я допускал в своих соображениях по поводу прочитанного. Они стыдили меня за «экономизм», за «вульгарное социологизаторство» и за многое другое, что было так же точно и прочно сформулировано. Они очень верили в меня, преувеличивали мои способности, радовались моей элементарной сообразительности и юношескому любопытству. Я заменял им их детей, поэтому они не знали меры ни в похвалах, ни в упреках. Как я узнал много позже, один из них, старый педагог, сидевший еще при Николае Втором Кровавом и при Александре Федоровиче Керенском, при каждом поправении правительства Латвии и при диктатуре Ульманиса, за глаза называл меня молодым титаном.

Этим прекрасным и чистым людям верить в меня было необходимо. Я один мог иметь хоть какую-то надежду на будущее, а без веры в лучшее будущее они не могли бы жить.

В то холодное осеннее утро я стоял у вахты в ожидании конвоя, а мои друзья и наставники торопились обнять меня, сказать самое необходимое, самое сердечное:

— Ты должен учиться. Ты должен стать образованным человеком. Ты будешь счастлив, но за счастье нужно бороться.

— Помни, что говорил Ленин: коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свой мозг всеми знаниями, которые накопило человечество.

— Тебе предстоят трудности, но ты должен бороться за будущее, за коммунизм. Важно видеть главное в жизни, не спотыкаться о мелочи.

— Не озлобляйся в борьбе. Помни, ты должен быть настоящим коммунистом, достойным твоего отца.

Так или примерно так говорили мои старшие друзья. Сейчас их слова кажутся мне слишком уж прямолинейными, но других слов не припоминаю. Да, да! Они говорили именно это — быть достойным отца, быть ленинцем.

Вдруг открылась дверь конторы, оттуда выглянул рыжий и узкогрудый начальник УРЧ лейтенант,— фамилию которого я нарочно сейчас искажаю,—Собеев и позвал меня:

— Можно вас на минуточку?

Я встревожился, забеспокоились и провожающие. Лейтенант впервые назвал меня на «вы».

Он провел меня в кабинет, плотно прикрыл обитую черной клеенкой дверь и, кивнув за окно, где стояли провожающие, сказал:

— Гляди-ка, кто вас провожает.

— Мои друзья,— ответил я, не очень понимая, куда он клонит.

— Друзья,— серьезно подтвердил он.— Я знаю, что друзья. У каждого дело-то, небось, томов на пять. Везде побывали, со всеми разведками связи...

Не считая нужным спорить с ним в тот момент, я возразил не по существу:

— Ну что вы. Это очень хорошие люди.

— Хорошие,— искренне согласился он.— Одно другому не мешает. Но скажи-ка, как я к тебе относился за это время, скажи?

Начальник относился ко мне без злобы и, когда я в последние месяцы работал у него в канцелярии, упрекал меня только за почерк.

— Почерк — это главное,— говорил он.— Вот возьми меня. Я в армии начал с рядового и дошел до лейтенанта. Всю войну прослужил в наградном отделе. У нас капитанов на передовую отправляли, а я старшина, и все равно меня ценили. (Почерк у Собеева был действительно отменный. Я всегда вспоминаю его, когда вижу дипломы кандидатов наук. Фамилии там вписывает, очевидно, кто-то из малоспособных учеников моего бывшего начальника.) — Слушай,— проникновенно продолжал лейтенант,— как я к тебе относился? Ты на меня не обижаешься?

— Что вы, гражданин начальник. Никакой обиды быть не может, вы мужик хороший.

— А твои дружки?— опять показал он за окно.— Они на меня не обижаются?

— Да вроде бы нет,— сказал я.— Чего им на вас обижаться.

— Ну то-то.— Собеев благодарно кивнул и с фальшивой бесшабашностью добавил: — Когда все переменится и вы будете наверху, ты мне это не забудь.

— Конечно,— ответил я.

Заранее настроившись соглашаться со всем, что скажет начальник, я сразу и удивиться не успел. Потом удивился. И до сих пор удивляюсь.

Те старики, что провожали меня на вахте, умерли. Мы виделись, переписывались, перезванивались, передавали приветы через общих знакомых. Никто из них не хотел того, что мерещилось начальнику УРЧ, никто никуда не уехал. А для старого латышского эсдека и перед смертью высшей рекомендацией было сказать о ком-то: «Это настоящий коммунист».

Эх, начальник, начальник!

Не могу не вспомнить: один из тех, кто стоял возле вахты и кого обвиняли в связях со всеми разведками, незадолго до освобождения имел со мной разговор.

Меня только что выпустили из карцера, где я пробыл десять суток за пререкания с начальником режима. Выйдя, я н ё с начальника, как мог, и вслух мечтал пристрелить его, если бы хоть на минуту попал мне в руки автомат. А старший друг сказал:

— Я вас понимаю, Камил, но представьте себе такую ситуацию: американцы выбросили в район нашего лагеря десант. Они решили вооружить заключенных и повести против Советской власти. И вот с одной стороны американцы, власовцы, бандеровцы, а с другой — вохра и наш подлый начальник режима. Ведь вы все равно должны быть с ним, ибо он за революцию. Помните о главном выборе!

Я помнил, я четко знал, что быть мне с начальником режима, и в бою я докажу е м у, что я настоящий советский человек.

Друг мой покоится на Митинском кладбище под Москвой.

В Исторической библиотеке газетный зал находится на каком-то высоком этаже, много лестниц и переходов. Я приготовил пачку «Беломора» и спички, выбрал стол поближе к двери, чтобы можно было быстро выскочить на лестницу и покурить, когда перехватит горло.

— Дайте мне «Известия» за март тридцать восьмого года.

— Выпишите требование.

Я выписал. Пожилая библиотекарша сурово, мне показалось, глянула на листок и вернула его.

— Здесь нужно указать, над какой темой работаете.

Я возмутился. И испугался. Потом, сообразив, что это пустая формальность, дрожащей рукой написал первое, что пришло в голову.

«Драма в стихах для кукольного театра»,— именно так написал я в требовании. Я не знаю, почему я написал тогда именно это. Помню только, как дрожала моя рука. Дрожь часто охватывала меня.

Газетные листы были желтыми и ломкими. Однако они хорошо сохранились, потому что мало кто листал их за семнадцать лет, отделявших процесс от дня, когда я написал свое требование. В подшивке были газеты трех месяцев — январь, февраль, март...

В более поздние годы я многажды бывал в Исторической, Ленинской и в других библиотеках и архивах, и всегда меня удивляло, что́ там читают. Я, скажем, склонялся над «Московскими ведомостями», «Новым временем», «Искрой», «Правдой» за предвоенные или послевоенные годы, над «Известиями» или «Правдой Востока», заказывал книги и журналы, которых нигде, кроме крупной библиотеки, не достанешь, а молодые люди вокруг читали в основном учебники и справочники, если ж газеты — то за последнюю пятилетку. Я удивлялся, что им недосуг или неинтересно хоть мельком глянуть в газету прошлого века или в ту, что читал Ленин... Не приучили или отучили от этого?

Обвинительное заключение

по делу Бухарина Н. И., Рыкова А. И., Ягоды Г. Г., Крестинского Н. Н., Раковского Х. Г., Розенгольца А. П., Иванова В. И., Чернова М. А., Гринько Г. Ф., Зеленского И. А., Бессонова С. А., Икрамова А., Ходжаева Ф., Шаранговича В. Ф., Зубарева П. Т., Буланова П. П., Левина Л. Г., Плетнева Д. Д., Казакова И. Н., Максимова-Диковского В. А. и Крючкова П. П.— обвиняемых в том, что они по заданию разведок враждебных к Советскому Союзу иностранных государств составили заговорщическую группу под названием «право-троцкистский блок», поставившую своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих государств на СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке — в пользу упомянутых иностранных государств, наконец, свержение в СССР существующего социалистического общественного и государственного строя и восстановление капитализма, восстановление власти буржуазии.

Произведенным органами НКВД расследованием установлено, что...

Читать подряд было трудно. Я забегал вперед, возвращался к первым страницам, читал стенограмму то одного допроса, то другого...

Я загодя был убежден, что дело очень тонко сфабриковано, что люди, осужденные на этом процессе, навсегда опозорены, да и мне самому предстоит убедиться в том, что так называемая логика борьбы закрутила и моего отца. Конечно, не шпион, не диверсант, не убийца, но...

Тонко сфабриковано, не разобраться мне, не понять. Где там! Какие умы трудились! Тот же Вышинский Андрей Януарьевич — это же ум, что ни говори, это голова. Как он отбривал в ООН буржуазных дипломатов. Умен, остроумен, диалектик! Да и что разбирать, если все обвиняемые признали себя виновными. Как этого достигли — другое дело...

Дрожь моя была неслучайной, ломкие листы рвались... Не шпион? Не диверсант? Не убийца?

Я листал и листал страницы «Известий», пока не заметил, что я довольно громко хмыкаю и изредка даже посмеиваюсь.

Я вышел на лестницу, выкурил папиросу, вернулся в зал и принялся читать подряд.

Сейчас передо мной не газеты, а солидный том — семьсот восемь страниц, выпущенный в Москве в 1938 году юридическим издательством

Народного комиссариата юстиции СССР: «...Сдано в набор 20.III.1938 г. Подписано к печати 28.III—6.IV.1938 г. Печ. листов 44,25. Уч.-авт. листов 52,31».

Тираж не обозначен, но думаю, что велик. Эту книгу я видел во многих районных библиотеках, в частных домах.

Хорошо, что книга сохранилась. Каждый может взять ее и прочитать. Нелепости и несуразицы бросаются в глаза. Сам перечень подсудимых, среди которых в большинстве люди, неразрывно связанные с партией и революцией, люди, которые контрреволюционным судом были бы приговорены к смерти за все, что они совершили во имя революции, — уже сам перечень этих подсудимых, да и тех, что проходили по другим открытым и закрытым процессам, должен вызвать недоверие всякого, кто хоть как-то знает историю. Или нужно уверовать в то, что время наше небывалое и любая небывальщина — правда.

А обвинительное заключение?

Впрочем, возможно, я пристрастен. Возможно. На одном из предшествующих процессов был Л. Фейхтвангер. Он описал его и поверил в то, что слышал и видел. Но он тоже не был беспристрастен. Книгу «Москва 1937» он заканчивает словами: «Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать: да, да, да!»

Да, да, да!

Случайно я знаю две истории, связанные с книгой Л. Фейхтвангера, с ее судьбой в нашей стране. Изложу их так, как узнал.

Заведующему отделом печати Наркоминдела Гнедину позвонил Каганович и стал выговаривать в том смысле, что кто позволил выпустить бредовую и антисоветскую книгу Фейхтвангера. Заведующий отделом, которому потом пришлось в куда более трудных условиях продемонстрировать свою выдержку, отвечал, что впервые о существовании подобной книги да еще на русском языке слышит.

Каганович замолк и, видимо, очень испугался, потому что стал называть заведующего отделом печати уже по имени-отчеству, а не по фамилии, как минуту назад. И извинялся, извинялся, извинялся...

Если вам еще не ясно, чего испугался Каганович, расскажу другую историю.

Кабинетный ученый, занимающийся в последние десятилетия проблемами марксистско-ленинской эстетики, в 1937 году работал в «Госполитиздате» и по заведенному там порядку должен был ночью дежурить в кабинете директора. В одну из ночей ему позвонили.

— Товарищ Митин? Здравствуйте, говорит Сталин.

Дежурный сказал, что он не Митин, а только ночной дежурный, но Сталин не огорчился. Сталин сказал, что сейчас из Кремля в издательство доставят перевод новой книги Лиона Фейхтвангера «Москва 1937» и надо сделать так, чтобы эта книга через три дня была в витринах магазинов.

Думаю, экземпляр для Сталина могли изготовить в указанный срок, но и на прилавки книга Фейхтвангера вылетела поразительно быстро. Потом ее изъяли из библиотек, что только прибавило весомости поразительно безнравственным суждениям немецкого еврея, решившего, что нацизм есть единственная опасность XX века, что стратегия и тактика антифашизма может быть освобождена от «химеры совести», как и сам фашизм, и писатель может закрывать глаза или демонстративно отворачиваться от того, что видит, только потому, что именно на это указывают его враги. Смею утверждать, что Фейхтвангер с его огромным авторитетом «свободного человека» и автора многих хороших книг повлиял на наше общее сознание более страшно, чем упомянутые им «сто тысяч портретов человека с усами», чем все наши писатели, публицисты и поэты-песенники от Михаила Кольцова до Василия Лебедева-Кумача.

Я перечитываю эту книгу и в сотый, в тысячный раз вижу, как опасно в литературе и публицистике лавировать между ложью и правдой. Если начал лавировать, прибьешься ко лжи. Признаюсь, теперь уже в каждой из книг Фейхтвангера, написанных до тридцать седьмого и после, я вижу ложь, надменность умника в общении с истиной и хитрую саркастическую усмешку. Сарказм этот так велик, что его хватает с избытком и на тех, кто задумал Освенцим, и на тех, кто его эксплуатировал, и на тех, кто в нем погиб.

«Да, да, да!» — сказал Фейхтвангер. Не знаю, что он говорил и думал, читая материалы нового процесса в марте 1938 года. А очень хотелось бы знать.

Васисуалий Лоханкин, к примеру, сказал бы, что в этом вполне может быть сермяжная правда. Вот уже много лет одной из главных фраз «Золотого теленка» я считаю название главы: «Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции». Это не юмор, и не юмористичен образ Лоханкина, это одна из самых горьких фигур знаменитого романа, который был популярен, потом запрещен, потом разрешен, допущен и девальвирован хихикающим «интеллигентом», который в зеркале себя никогда не узнает.

Среди всех типов русской истории и русской литературы, среди всех уродов, готовых подвергнуться телесным наказаниям и самолично доставить палачу веревку, которой его удавят, персонажи типа Лоханкина, как и умники вроде Фейхтвангера, — продукты тридцатых годов. Это единственное, что извиняет их современное существование.

Напомню, что Фейхтвангер, рассказав о своем непонимании многих моментов в процессе Радека, Пятакова и других, писал: «Если спросить меня, какова квинтэссенция моего мнения, то я смогу, по примеру мудрого публициста Эрнста Блоха, ответить словами Сократа, который по поводу некоторых неясностей у Гераклита сказал так: «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно».

Связь литературы с политикой естественна и определима, и нельзя освободить писателя от политической ответственности за написанное.

ДАСТАРХАН

Летом пятьдесят шестого года ко мне пришла пожилая женщина и в слезах рассказала, что она близкая подруга моей матери, жена одного из первых среднеазиатских коммунистов Ханифа Бурнашева, что звать ее надо тетя Надя. Тетю Надю реабилитировали, посмертно оправдали мужа, бывшего члена коллегии Наркомзема СССР, и она получила денежную компенсацию за конфискованные вещи, а также двухмесячный оклад мужа и свой.

Она узнала, что я жив, и просила меня взять несколько тысяч рублей, ибо у нее нет никого ближе, чем сын Жени и Акмаля. Денег я не взял, но она купила мне отличные ботинки на микропористой подошве, потому что увидела: мои рваные.

— Я говорила с твоей мамой в последний раз в июне тридцать седьмого. Вы жили тогда в гостинице. Она была одна в номере. Я пришла и говорю: «Женя! Ханифа арестовали! Что мне делать?» А мама твоя говорит: «Собирай вещи, забирай дочку, мы завтра возвращаемся в Ташкент, поедешь нашим вагоном». Я говорю: «Женя, не могу же я бросить здесь Ханифа, надо хлопотать, ведь он невиновен». А она ответила мне: «Если его взяли, Надюша, значит, он — сволочь».

Моя мама, Евгения Львовна Зелькина — старый член партии, экономист-аграрник, очень знающая и талантливая, была заместителем наркома земледелия Узбекистана. С Ханифом Бурнашевым она работала с 1922 года и знала его так же давно, как и моего отца.

— Понимаешь? Она мне сказала: «Если его взяли, значит, он — сволочь». Я тогда упала в обморок.

Мне стало стыдно за мать, а тетя Надя, увидев мою растерянность, добавила:

— Нет. Ты не понимаешь. Я упала в обморок потому, что когда в тридцать шестом арестовали моего главного редактора (я в издательстве работала), Ханиф сказал: «Если его взяли, значит, он — сволочь». Те же самые слова. От этого я сознание потеряла.

Тетя Надя не была ответственным работником. Она жалела своего редактора, любила мужа, до сих пор жалеет мою мать. Недавно я узнал, что тогда же, когда мать говорила это, в мае и июне тридцать седьмого,

на допросах в НКВД Узбекистана арестованных сотрудников Наркомзема под пытками заставляли давать показания о ее вредительской деятельности.

Это было, когда Сталин обнимал моего отца на заключительном концерте декады узбекского искусства в Большом театре и указывал аплодирующему залу: «Не мне аплодируйте, а ему. Это он такой молодец».

Я помню этот концерт, сияющий золотом Большой театр, полную сцену артистов и ложу далеко слева, где находилось все Политбюро и мой отец рядом со Сталиным. Мне было плохо видно его, потому что мы сидели в центральной, бывшей императорской ложе. Я помню этот концерт, потому что до него и после отец был единственным, кто не радовался. Он был хмур, сдержан и немногословен.

Почему не радовали его сталинские объятия?

В каждом из нас, наверное, с детства, с букваря живет уважение к печатному тексту. Со временем мы начинаем понимать, что бумага все терпит, но кажется нам, что все же какая-то доля истины в печатном тексте должна быть. Ибо не может быть...

Конечно, я не верил тому, что отец был завербован английской разведкой, что сам он был басмачом, но что-то же было?

Читаю, что отец в начале революции был связан с националистическими контрреволюционными организациями «Темир туда» и «Изчилар тудаси». Одну организацию создали пленные турецкие офицеры, другая объединяла местную интеллигенцию. Узнаю, что А. Икрамов, будучи обвинен в подстрекательстве и связи с контрреволюционными организациями, был вынужден написать открытое письмо в газету «Иштракиюн» («Коммунист»). Узнаю также, что в качестве члена общества «Чигатай гурунчи» отец написал несколько националистических стихотворений под псевдонимом Эльхон. Это все 18-й, 19-й и 20-й годы. Что удивительного, если совсем молодой человек в буре революции потерял на время ориентиры? А что мы знаем об организациях, в которых состоял отец?

«В 1919—1920 годах он открыто писал статьи и стихи против Советов в качестве члена организаций «Изчилар тудаси» и «Чигатай гурунчи». В своей статье «Вниманию наших комиссаров», опубликованной в газете «Иштракиюн» в мае 1919 года, он писал, говоря о восстании Осипова, о том, что восточные народы должны играть основную роль в революции Востока, потому в Ташкентском военном училище должны быть специальные курсы для обучения военному делу молодежи местных национальностей, а Чрезвычайный комиссар Туркестана Трояновский в своих практических делах должен советоваться с местными людьми (буржуазными интеллигентами), хорошо знающими Восток. Он в статье «Тюркская молодежь», напечатанной 28 апреля, говоря о том, что английские колонизаторы оскорбляют братские мусульманские народы в Турции и Арабистане и попирают священную Мекку и матерь мусульман — Турцию, призывал молодежь Туркестана к выступлению против них и освобождению Аравии и Турции. Известно, что в это время узбекский народ погибал под гнетом басмачей, Икрамов же призывал узбекскую молодежь не к борьбе против басмачей, а к освобождению Мекки и Истамбула». (М. Г. Вахабов «Узбекская социалистическая нация», на узб. яз.).

Предоставляю читателю возможность самому понять, что я испытывал, впервые в жизни узнавая все это о юности моего отца. Не знал я ни о его стихах, ни о статьях, ни об организациях, о которых ничего достоверного широкому кругу людей и сейчас неизвестно.

«По-видимому, Икрамов к 1924 году еще не ликвидировал свои националистические чувства. Поэтому на совещании работников национальных республик, созванном ЦК РКП(б) в 1923 году, он вместе с Ходжаевым выступил с клеветой, говоря, что в период Советской власти никаких изменений в Туркестане не произошло, изменилась только вывеска, на самом же деле эксплуатация сохранилась. Хотя он и выступал как сторонник развития культуры и хозяйства Туркестана, на самом деле он выдвигал подстрекательские идеи, как националист». (Там же.)

Забегая вперед, а в этой истории не забегать вперед слишком страшно, скажу, что и в 1971 году при подготовке «Избранных трудов» Акмаля Икрамова в трех томах обвинения в том, что он писал националистические статьи и стихи, все еще маячили. Правда, оказалось, нет ничего контрреволюционного в статье «Вниманию наших комиссаров» и она вошла в трехтомник, а статья «Тюркская молодежь» — это призыв ко всем молодым силам Туркестана, отсюда и обобщающее слово «тюркская». А как еще можно было сказать в Туркестане?

Если бы заранее знать, что все выяснится, правда восторжествует, справедливость будет восстановлена!

Поздно?

Нет! Это важно и сейчас, и завтра, и через тысячу лет. Справедливость одна на всех. Более всего она нужна не тем, кого уже нет, не нам даже, а нашим детям и внукам. Тем, кто сегодня ходит в детский сад. Им справедливость нужней, чем нам. Пожалейте их, позаботьтесь, чтобы им не хлебнуть того, что хлебали мы.

И надо вернуться к процессу.

Мы знаем, что он был тщательно подготовлен, подсудимые оговаривали себя по детально разработанному плану со шпаргалками и суфлерами. Характерно, многие говорили, как школьники на уроке: «Разрешите, я еще скажу», «Позвольте дополнить».

Чтобы понять роль отца в этом спектакле, я должен был хоть на время забыть, что именно он интересен мне.

Людям мало знать, что процесс сфабрикован и подсудимые оговаривали себя и других. Всех интересует, как именно это было сделано. Как именно!

— Ну понятно, что пытки, — говорят сегодня разумные интеллигенты. — Но ведь на процессе были не простые и «средние» люди. Там были борцы, общественные деятели крупного масштаба, революционеры с подпольным стажем.

— Ведь были же люди, которые ни в чем не сознались!

Этот довод кажется особенно убедительным.

Конечно, лестно думать о героизме и стойкости хотя бы отдельных представителей рода человеческого. Однако те, кто разрабатывал методику физического и психологического воздействия на подследственных, очевидно, думали иначе. Каждый срыв, неудачу, каждую преждевременную смерть арестованного, не говоря уже об отдельных случаях удавшихся самоубийств, Ежов, Берия и неведомые доселе теоретики бывшего НКВД и бывшего Министерства государственной безопасности считали браком в работе.

К тому же ясно, что понимать личный героизм как фактор, гарантию исторического прогресса — наивность, вредный романтический предрассудок. И у сторонников реакции всегда находились люди, готовые до последней капли крови отстаивать исторически обреченное дело. Стойкими бывают и подонки. Я видел бандита, убившего целую семью, а потом в тюрьме в доказательство своей «невиновности» семьдесят шесть дней державшего голодовку. Он похвалялся этим потом в вагоне на этапе.

Не стану строить предположения о пытках, которым подвергались мой отец и очень дорогие мне люди из тех, кого я знал в детстве. Душа противостоит этим домыслам, только в кошмаре это может прийти в голову. Пусть каждый, усомнившийся в силе пыток, примерит к себе хотя бы часть того, что он вычитал в книгах о фашизме, о методах разных разведок, и пусть скажет честно, все ли бы он выдержал. Другое дело, что кто-то держался три дня, кто-то неделю, а кто-то три месяца.

Генерал Горбатов, печатавший воспоминания в журнале «Новый мир», сурово осуждающий сломленных пытками людей (кажется, даже суровее, чем тех, кто пытал), сам говорит, что не знает, выдержал бы он следующий сеанс избиений (не пыток, а избиений).

Для меня вопрос о пытках всегда был весьма реален, и должен признаться, что я не выдержал бы того, что выпало, скажем, на долю молодогвардейцев. Когда-то, поняв это, я очень мучился, казнил себя стыдом, чувствовал себя недостойным окружающего общества, отщепенцем. Потом догадался, что завышение моральных норм, навязывание невыполнимых требований и создание культа мученичества всегда в интересах тех,

кто хочет разъединить людей и в каждом человеке воспитать комплекс моральной неполноценности. Одинокого человека легче сделать ханжой, стукачом и конформистом.

XX век дал много оснований для исследования проблемы пыток. У Бертольта Брехта ученик упрекает Галилея, что тот испугался, когда ему показали орудия пыток. «Несчастна та страна, в которой нет героев». А Галилей отвечает: «Нет. Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Непомерное завышение официальных морально-этических норм всегда приводит к падению общественной морали.

Да, я не мог бы выдержать пыток, я даже не мог бы выдержать зрелища пыток. И не буду их изобретать. Скажу только, что известный английский контрразведчик О. Пинто в книге «Секретные миссии», которая у нас переведена и издана в 1964 году, спокойно констатирует:

«Безусловно, телесные пытки способны сломить самого волевого и физически сильного человека. Я знал одного мужчину поразительной силы воли, у которого гестаповцы вырвали все ногти, а затем сломали ногу, но он не вымолвил ни единого слова. Позже этот человек признавался, что его терпение истощилось как раз в тот момент, когда мучители прекратили пытки, но если бы они продолжали пытать его, он наверняка не выдержал бы и во всем признался...

Зверские пытки могут заставить невиновного «сознаться в преступлении», за которое полагается смертная казнь. В таких случаях человек считает, что быстрая смерть легче нечеловеческих страданий.

Телесные пытки в конце концов заставляют говорить любого человека, но не обязательно правду».

А если заведомо ясно, что мучители и не добиваются правды, что им нужна любая ложь, то это ведь еще больше облегчает задачу палачей.

Мне рассказывали о старом коммунисте, который под страшной пыткой отказался признать себя врагом народа. Тогда на его глазах стали пытать и замучили до смерти его жену. Старый коммунист был непреклонен... На глазах отца стали пытать его тринадцатилетнего сына. Мальчик умер в муках, но коммунист не признал себя виновным в измене Сталину.

Кого-то это восхищает. У меня вызывает ужас. Я не понимаю этого человека. Я не могу его любить и даже жалеть не могу. Я боюсь его и его стойкости. Эта стойкость — патологическая и античеловеческая.

Короче, не могу я поверить, что наш ум и воля в норме сильнее нашего тела, независимы от него. Простой пример: американские психологи установили экспериментальным путем, что лишение сна в течение ста двадцати часов полностью разрушает сопротивляемость внушению. Сопротивляемость внушению в таких случаях равна нулю.

Это я слышал на обычной лекции для адвокатов. Там приводили много ценных сведений из нашей и зарубежной практики. Много примеров. Вот муж, спешащий к жене, только что родившей в тайге, признается в поджоге электростанции с тем, чтобы потом, после того, как он привезет жену домой, все поставить на свое место; вот два мальчика, которые тоже очень спешили и потому согласились взять «на время» чужую вину. Пытки и угрозы — само собой. Всех, кого это интересует, отсылаю в коллегию защитников. Лекция называется «Психология самооговора», автор — Александр Экмекчи.

Одно дело выдавать под пыткой своих настоящих сообщников, товарищей, завалить дело, которому служишь. Совсем другое, если требуют признания твоей собственной вины и вины тех, кто уже погиб под пыткой на твоих глазах, кто сам дал на себя показания, кто все равно обречен, и это тебе хорошо известно. Страшно, до сих пор страшно читать, перечитывать и переписывать слова, вырванные палачами. Может быть, я слишком часто пользуюсь словом «палачи»; но это потому, что другие до сих пор не то боятся, не то стесняются его произносить. А как еще назвать тех, кто пытал, истязал, убивал?

Скажу еще, что, когда мы осуждаем тех, кто под пыткой оклеветал себя и других, мы уже только одним этим оправдываем палачей.

Возвеличивание в литературе людей, которые, например, попав в

плен в минувшей войне, отказывались не только назвать под пытками номер своей части, но и свои имя и фамилию, вело или способствовало позорному для нашего общества явлению; речь о том, что долго после войны каждого из миллионов солдат, побывавших в плену или немецком концлагере, рассматривали как человека второго сорта, если не как государственного преступника. Стыдно знать, что попавшие в плен солдаты других армий возвращались в свои страны под звуки оркестров, а наших ждали жестокие проверочные, часто и исправительно-трудовые лагеря. Даже девушек, насильно угнанных в Германию с оккупированных в войну территорий, освободители встречали как изменивших родине, а администрация создала для их проверки лагеря, расположенные часто на месте бывших немецких лагерей смерти. Один из таких лагерей, говорят, находился в Освенциме.

ДЕЛО МОЕГО ОТЦА

После вопросов председательствующего в начале процесса, получили ли подсудимые обвинительное заключение, на что все ответили «да», и желают ли подсудимые иметь защитников, на что все, кроме врачей Левина, Плетнева и Казакова, ответили «нет», а также после вопроса, признают ли себя подсудимые виновными в предъявленных им обвинениях, на что все, кроме Н. Н. Крестинского (к этому я еще вернусь), ответили «да», моего отца не трогали долго.

Во время допроса Файзуллы Ходжаева [1], изобличавшего отца в совместной антисоветской деятельности, Вышинский спросил:

— Это было когда?

Ходжаев. Это было в середине 1928 года или в начале 1928 года. Точно сказать очень трудно. Много времени прошло с тех пор.

Вышинский. Вы с Икрамовым контактировали работу?

Ходжаев. Да.

Вышинский (к председателю). Позвольте вопрос Икрамову? Подсудимый Икрамов, вы слышали эти показания Ходжаева?

Икрамов. Да, слышал.

Вышинский. Вы согласны с его показаниями?

Икрамов. Нет.

Вышинский. Подсудимый Икрамов, вы были членом подпольной националистической организации в 1928 году?

Икрамов. Да.

Вышинский. Эта организация называлась «Милли Истиклял»? [2]

Икрамов. Да.

Вышинский. Значит, в этой части показания Ходжаева правильны?

Икрамов. Правильны.

Вышинский. Ходжаев был членом подпольной националистической фашистской организации «Милли Истиклял»?

Икрамов. Нет. Файзулла Ходжаев не был. У Ходжаева была своя организация.

Ходжаев. Я так и говорил.

Вышинский. Значит, Ходжаев был в своей организации, а вы — в своей. Обе организации буржуазно-националистические. Фашистского типа.

Икрамов. Правильно. Но что контакт сами установили — это неправильно. Контакт установлен под нажимом правого центра.

. . . .

Вышинский. В чем же у вас разногласия с Ходжаевым?

---

[1] Файзулла Ходжаев (1896—1938) — член Коммунистической партии с 1920 г. С 1913 г. участвовал в движении джадидов, с 1916 г.— младобухарцев. После Октябрьской революции 1917 г. установил тесные контакты с большевиками. В 1920 г.— один из руководителей вооруженного восстания против бухарского эмира. В 1920—1924 гг. — председатель Совета народных назиров (комиссаров) и член КП Бухары. Участник борьбы с басмачеством. С 1925 г. — председатель СНК Узбекской ССР, один из председателей ЦИК СССР, член ЦК КП Узбекистана.

[2] «Национальная независимость».

Икрамов. Я говорю, что не в 1928 году, а в 1933 году, под нажимом Бухарина.

. . . .

Вышинский. Действовали порознь? Обвиняемый Ходжаев, в чем тут дело?

Ходжаев. Я с Икрамовым по этому вопросу не говорил перед тем, как давать свои объяснения суду, и не понимаю, из каких мотивов исходит обвиняемый Икрамов, когда он, признавая принадлежность к буржуазно-националистической организации, отодвигает срок нашей совместной работы. Мне кажется, Икрамову хочется кое от каких фактов отмахнуться. Может быть, я ошибаюсь, это мое предположение...

Недалеко от подмосковного райцентра Новая Руза есть желудочно-кишечный санаторий «Дорохово». Там в «финском» домике с мезонином жили супруги Иван Николаевич и Фатина Михайловна Чинкины. С Иваном Николаевичем я почти не был знаком, а с его женой, милейшей Фатиной Михайловной, мы виделись и перезванивались довольно часто.

Фатина Михайловна очень хороша собой, знает это и с некоторым даже интересом сообщает, что уже вышла на пенсию. В 1937 году мужем Фатины Михайловны, тогда еще Петровой, был Файзулла Ходжаев. За это она отсидела свое на Дальнем Севере и спаслась потому, что была врачом. А красивая была пара — Файзулла Ходжаев и Фатина Петрова. Среди женщин, отдыхающих на особо охраняемых дачах Кавказа и Подмосковья, считалось, что в тогдашнем нашем правительстве самые красивые мужчины — Тухачевский и Ходжаев.

Кажется, я не видел Тухачевского или не запомнил его, а вот Файзулла был действительно очень красив. Тонкое лицо, большие грустные «персидские» глаза, усмешка в углах спокойных губ.

Он и мой отец издавна не ладили. То ли их друг на друга натравливали, то ли держали именно потому, что они сами никогда бы не стали доверять друг другу. Во всяком случае, насколько я помню, отец часто говорил о Ходжаеве с раздражением.

Они и внешне были очень непохожи. Отец — быстрый и резкий в движениях, острый и решительный в действиях и словах, спортсмен, или, как тогда говорили, физкультурник, едва ли не единственный в том ЦК человек, который крутил «солнце» на турнике. Он был, как бы мягко ни формулировать, аскетического склада. Это сказывалось на быте нашего дома, на взаимоотношениях в семье, на одежде. Точно так же, как в быту домочадцев Ф. Ходжаева сказывалась любовь к удобствам, изящным безделушкам, драгоценностям и дорогим коврам.

Отец почти постоянно, кроме как в самые жаркие месяцы, носил суконную гимнастерку, галифе и сапоги. Это был стиль, уже уходивший в прошлое, остававшийся лишь для внешнего употребления, а внутри семей все решительно менялось. Аскетизм ставился под подозрение. Отец же сам ни в чем не нуждался и домочадцы должны были к этому применяться.

Несмотря на занятия спортом, отец страдал сильными головными болями и часто выглядел старым и изможденным. Такой он на большинстве сохранившихся фотографий. Только одна есть — прекрасная. Отец говорит. Он на трибуне. Строгий профиль, нос с горбинкой... Но это одна такая фотография.

Файзулла, напротив, и на всех фотографиях очень красив.

Как-то недавно Фатина Михайловна заговорила о нежной дружбе своего мужа с моим отцом, и я, чтобы быть справедливым, сказал, что между ними, кажется, не все было в порядке.

— Да, да, конечно, — согласилась Фатина Михайловна, — Файзулла ревновал меня к твоему отцу.

О, женщины! Ей и сейчас кажется, что у них не было других причин для взаимной неприязни. О, хитрость! Я не сказал тогда Фатине Михайловне, что знаю о словах Файзуллы, которые милейшая Фатина Михайловна утаила от меня. В ташкентской тюрьме она рассказывала сокамерницам, что незадолго до ареста муж говорил ей: «Если Икрамова арестуют, я спасен».

Никого не виню, никого не оправдываю. А как сказать плохое о людях, которые погибали вместе с моим отцом? Как сказать плохое, если даже это плохое точно известно? И как можно утаивать правду, ту правду, которую знаешь? Я знаю не все, знаю односторонне, это, безусловно, так, но пусть другие говорят то, о чем я умолчал по незнанию или потому, что помешали мне жалость или чувство такта.

Имею в виду не одного Ф. Ходжаева. Крайне враждебными были отношения отца с И. А. Зеленским, которого отец за глаза называл Ишак Абрамович. Именно Исаак Абрамович Зеленский проводил одну из первых «чисток» среди узбекской интеллигенции, именно он в конце двадцатых годов, будучи эмиссаром Сталина, санкционировал обвинения узбеков в национализме.

Чем он не угодил Сталину? Почему попал под нож и оказался на скамье подсудимых рядом с Икрамовым?

Это давно прошло, а знать необходимо. И мы узнáем это, несмотря ни на что. Ведь разобрался же академик С. Б. Веселовский в «Синодике» Ивана Грозного.

А вот про Файзуллу Ходжаева я так и не могу сказать того, что знаю точно. Одно свидетельствую: не зря не любил его отец. И я никогда не простил бы ни одному человеку того, чего не прощал Ходжаеву отец.

Но вернемся к протоколам.

Ф. Ходжаев говорит, что вместе с Икрамовым они поставили перед собой задачу «захвата нашими националистическими кадрами целого ряда советских организаций в Узбекистане, таких организаций, как Наркомпрос, чтобы школы иметь в своих руках, университет иметь в своих руках, печать, плановые организации, Наркомзем, и так далее».

Отец во всем признает свою вину, он только пытается не ввязывать в это дело Бурнашева, которого упомянул Файзулла Ходжаев как связного между двумя националистическими организациями. Видимо, отец в это время уже не думал так, как думала моя мать, сказав тете Наде: «Если его взяли, значит, он — сволочь».

«Я двурушничал в 1928 году», — говорит мой отец.

Помню, меня поразила эта фраза. Но это было первое потрясение. Потом я привык к лексикону подсудимых, если только это был действительно их лексикон. Очень уж все однообразно звучало в устах болгарина Раковского, русского интеллигента Бухарина, узбека Икрамова, еврея Зеленского, белоруса Шаранговича и других.

В 1929—1930 годах в Узбекистане были арестованы известный писатель, работник Наркомпроса Бату и руководитель Научно-исследовательского института Рамзи. Теперь они реабилитированы.

«Я так же, как и Икрамов, в силу солидарности с ним вел борьбу с тогдашним руководством ЦК Узбекистана, которое хотело в связи с делом Рамзи и Бату разоблачить националистов, — говорит Файзулла Ходжаев. — Я вел вместе с Икрамовым борьбу в связи с процессом над этими работниками, которые вели борьбу против партийного руководства и против тогдашнего Средазбюро».

Мне приятно, что мой отец пытался освободить людей, как теперь установлено, ни в чем не виновных. Отец признает это на процессе. Одно только непонятно: с каким таким руководством ЦК Узбекистана и Средазбюро могли вести борьбу член Средазбюро и секретарь ЦК Узбекистана А. Икрамов и председатель Совнаркома республики Ф. Ходжаев, если первым секретарем был тоже враг народа И. А. Зеленский? Через три страницы стенографического отчета, после рассказа Зеленского о вредительстве в области планирования сельского хозяйства Вышинский спрашивает:

— Обвиняемый Зеленский, вы подтверждаете, что эта политика проводилась под вашим руководством?

Зеленский. Я уехал из Туркестана в январе 1931 года.

Ходжаев. А это было в 1928 году.

Вышинский. Обвиняемый Зеленский, не вам ли принадлежит эта формула — догнать и перегнать в Средней Азии передовые районы Советского Союза?

Зеленский. Да, мне.

Вышинский. А что означала эта формула?

Зеленский. Срыв коллективизации.

Вышинский. Не только это, но и срыв хлопковых планов, и разорение дехканских хозяйств. Вы подтверждаете это?

Зеленский. Да, подтверждаю.

Вышинский. Вы тогда кем были там?

Зеленский. Секретарем ЦК.

Зеленский был тогда секретарем ЦК ВКП(б) и первым секретарем Средазбюро ЦК ВКП(б).

Значит, это с ним враг народа Икрамов вел борьбу? Я не мог не хмыкнуть в газетном зале Исторической библиотеки.

А еще говорят, что Вышинский был очень умен или по крайней мере весьма хитер. Кстати, на другой день Зеленский на допросе, целиком посвященном ему, сказал еще и так:

«Да, я подтверждаю (показания, данные на предварительном следствии. — **К. И.**) и прошу суд предоставить мне возможность рассказать о разоблачающих моментах как моей предательской, так и преступной деятельности в качестве члена контрреволюционного изменнического и «право-троцкистского блока», поставившего своей задачей реставрацию капитализма в Стране Советов... (Поразительная лексика у этого диверсанта: «В Стране Советов!». — **К. И.**) Я должен коснуться в первую очередь самого тяжелого для меня преступления — это о своей работе в царской охранке... При вербовке мне была дана кличка «Очкастый». Мне было предложено информировать о работе местной социал-демократической большевистской группы, о ее борьбе с ликвидаторами. В дальнейшем я регулярно получал деньги за эту предательскую работу — 25, 40, 50 и даже 100 рублей...»

Тогда, в Исторической библиотеке, я понял, какие «документы» оставил нам пресловутый 37-й год. А ведь мы этой датой обозначаем далеко не один год нашей жизни.

Исаак Абрамович Зеленский посмертно восстановлен в партии. Его жена в отличие от моей матери пережила все это, после лагеря вернулась и похоронена на Новодевичьем. Коммунисты Узбекистана поставили памятник на ее могиле.

...Не знаю, остались ли дети у Рамзи, но у Бату прекрасные сын и дочь, а жена его, вернее вдова, скончалась совсем недавно. Это была русская женщина, поповна из Казанджика, красавица Валентина Петровна. В 1922 году она познакомилась во дворе Московского университета с двумя узбеками. Один стал ее мужем, его звали Махмуд. Другим был мой отец. «Махмуд жил в общежитии, Акмаль в гостинице «Метрополь». К счастью, он часто уезжал в Азию и свою комнату оставлял нам. У него мы и гостей принимали. У нас в гостях Маяковский был, плов ел. Есенин приходил однажды. Нам говорили, что он пьяница, а он рюмки не выпил. Плов ел, а водку не пил».

Маяковский говорил Акмалю, что Махмуд талантливый, и Луначарский говорил: «Товарищ Икрамов, таких поэтов надо беречь, помогать им».

«Мы много ходили втроем по театрам, концертам и поэтическим вечерам. У Акмаля был пропуск, и мы ходили. Потом к нам присоединилась Женя. Мы вчетвером ходили».

Все это Валентина Петровна рассказала своему сыну, который расспрашивал ее по моей просьбе. Меня он к матери не пустил. «Не надо. При одном имени Акмаля ей бывает хуже, а если она тебя увидит... Я осторожно буду подводить к теме, на положительных эмоциях».

Итак, значит, нэповская Москва, просто-таки разгул нэпа, и в ней две красотки-студентки, дочь полкового священника и дочь доктора медицины, одна хохотушка, другая неистовая якобинка, с ними два смуглых парня, говорящие с акцентом... Театр Мейерхольда и кафе поэтов, Есенин незадолго до смерти, Маяковский...

Валентина Петровна после ареста мужа сошла с ума. Приступы болезни чередовались с полосами относительного здоровья и возвращением ясной, типично женской памяти на детали.

Сын Бату Эркли долго бедствовал, беспризорничал, но потом сумел получить высшее образование, теперь доктор наук, хирург.

— Ты знаешь, Камиль, — говорит мне Эркли. — Бабушка рассказывала, как пришла в ЦК к твоему отцу, а ее не пускают: «Кто такая? Зачем?» Она говорит: «Я Акмаля Икрамова мама». Там один милиционер был узбек, он говорит: «Неправда, мама у Акмаль-ака перед революцией умерла. Отец тоже скоро умер, жениться не успел, откуда мама может быть?» А твой отец услышал, наверно, разговор, выглянул из окна и сказал, что правда это его мама и надо ее пропустить. «Заходите, мама, заходите».

Что мы знаем о том времени? Может быть, и о своем мы знаем не больше.

Мы сидим в доме сына Бату за дастарханом, беседуем уже не о наших отцах — о наших детях. Жена Эркли Аза говорит, что слышала обо мне, когда работала участковым врачом в Москве. Однажды ей пришлось заменять другого врача, и на Серпуховской улице в деревянном доме она лечила от простуды безногого мотоциклиста. Он очень интересовался Узбекистаном и сказал, что знает сына Икрамова.

Этот безногий мотоциклист был моим тренером в спортобществе «Трудовые резервы».

Мир тесен, люди! Связи наши становятся все более и более причинными, и следствия этих причин наступают значительно быстрее, чем прежде.

Среди всевозможных догадок о методах пыток, истязаний, медикаментозного и гипнотического воздействия на подсудимых есть и такая: на скамье подсудимых сидели не Бухарин, Рыков, Икрамов, Ходжаев, Зеленский и т. д., а их двойники. Мне бы хотелось, чтоб было так. Очень страшно думать о том, какими средствами следователи добились от моего отца того, чего они добились.

Вот уже много лет отгоняю одно воспоминание. Жизнь свела меня с узбеком, которого я бы назвал последним проходимцем, если бы он на каждом повороте истории не оказывался точкой приложения сил могущественных и неотвратимых. В 1938 году он отбывал срок за подпольную врачебную деятельность, он был табибом, лечил молитвами, заговорами и выдавал себя за прямого потомка пророка Мухаммеда. Срок подходил к концу, когда его внезапно из лагеря привезли в Москву на Лубянку, держали там весь февраль и часть марта без допросов, изредка только в камеру приходили какие-то большие начальники, оглядывали. Этот человек на основании каких-то своих сведений говорил, что его готовили вместо Икрамова. «Я боялся, что меня вместо него и расстреляют».

В справке Верховного суда о реабилитации А. Икрамова сказано: «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Невиновен — это ясно и без «открывшихся обстоятельств». Не о том я пишу. Как это было? Как могло случиться?

Вечернее заседание 5 марта. Триста пятая страница стенографического отчета. Допрос подсудимого Икрамова.

«На путь антисоветских действий я вступил в 1928 году. Правда, еще в сентябре 1918 года я вступил в легальную молодежную организацию националистического типа. К троцкистской оппозиции я примкнул в 1923 году».

Так мой отец начал свои показания. Отец признает себя виновным, когда речь идет о виновности вообще, но когда дело касается других лиц, пытается сопротивляться.

Я пишу «так мой отец начал свои показания», «пытается сопротивляться», а ведь неизвестно, был ли там мой отец, и если был, верно ли записаны его показания в стенографическом отчете. Авторы процесса, совершив то, что они совершили до судебного заседания, могли сфальсифицировать материалы после процесса. Пусть читатель простит мне частные сомнения. Главное-то ясно: осудили и расстреляли невиновных.

И все-таки временами мне кажется, что на процессе был именно мой отец.

Вышинский. Рамзи участвовал вместе с Бату в этом убийстве?

Икрамов. Нет, он в убийстве не участвовал, потому что его не было в Узбекистане.

Вышинский. А Бату участвовал?

Икрамов. Об этом я уже сказал вчера. Я могу говорить только на основании официальных материалов.

Вышинский. Но Рамзи в это время был разоблачен как член вашей организации?

Икрамов. Я не помню. Качимбек и Назиров были разоблачены.

Вышинский. А Назиров участвовал в убийстве?

Икрамов. Нет.

Вышинский. А кто из них участвовал в убийстве?

Икрамов. Я могу сказать только на основании официальных материалов. Из участников этого убийства помню: Бату, Саидова...

Какие официальные документы, остается только догадываться. Очевидно, это официальные документы ОГПУ, с которыми знакомили секретаря ЦК. А может быть, с этими документами знакомили уже арестованного. «Я могу сказать только на основании официальных материалов». И. А. Зеленский об «официальных материалах» против Рамзи и Бату знал, полагаю, больше, чем мой отец. Думаю, что Исаак Абрамович верил документам органов ОГПУ. А может, и не верил? Но спрашивают не его, а Икрамова.

Интересно другое. Подсудимого, признавшегося в предательстве, вредительстве, терроре, шпионаже и всех вообще смертных грехах, спрашивают:

Вышинский. Нет, вы ответьте сначала на вопрос: удалось вам завоевать массы?

Икрамов. Нет, не удалось.

Вышинский. И не удастся.

Икрамов. И слава тебе, господи, если не удастся.

Вышинский. Какие же вы хотели принимать меры, чтобы оградить себя от тех честных граждан, кто вас разоблачал? Абид Саидова за что убили?

(Между тем вопрос о подлинных убийцах Абида Саидова ранее так и не был решен. Вышинский ушел в сторону от этого вопроса. — **К. И.**)

Икрамов. Абид Саидов был нечестный человек, и я убежден, что он попал бы в тюрьму или убежал. (Очевидно, за границу. Такие случаи были в двадцатых и начале тридцатых годов. — **К. И.**) Он был раньше организатор басмачества.

Вышинский. Он бы сидел, по вашему мнению, а вы уже сидите. Так что вы нам не говорите, что он нечестный. За что он был убит?

Икрамов. Я это только по официальным материалам сообщаю.

Вышинский. Как вы знаете по официальным материалам, за что убили Абид Саидова?

Икрамов. За то, что он разоблачил «Милли Истиклял».

Вышинский. То есть вашу контрреволюционную организацию?

Икрамов. Да.

Вышинский. Значит, поступил как честный гражданин.

Икрамов. Возможно.

Вышинский. Как это «возможно»? Я думаю, что он поступил как честный человек, разоблачил контрреволюционную организацию. Ведь он погиб за это?

Икрамов. Да. (Жаль, что интонацию не фиксирует стенограмма. — **К. И.**)

Вышинский. Погиб за Советскую власть?

Икрамов. Да.

Вышинский. Как же вы позволяете себе говорить о том, что он нечестный человек?

Икрамов. Он был одним из организаторов басмачества.

Вышинский. Кто он был — это один вопрос. А вот кем он стал? Он стал вашим разоблачителем.

Икрамов. Нет, не нашим разоблачителем.

Вышинский. Он разоблачил контрреволюционную организацию?

Икрамов. Да.

Вышинский. Но ведь вы тоже были членом контрреволюционной организации?

Икрамов. Да.

Вышинский. Значит, вашим?..

Я выхватил этот, удивительный, на мой взгляд, диалог из текста, состоящего в основном из самооговоров, самобичеваний и саморазоблачений.

Непонятно, почему вдруг такое упорство из-за мелочи, из-за характеристики человека, весьма далекого от моего отца? Почему вдруг такое даже не упорство, а упрямство, такое нарушение всей логики поведения на суде из-за частности, не имеющей для судьбы обреченного никакого значения?

То ли гипноз стал проходить, то ли медикаментозное воздействие ослабело — не знаю. А может быть, просто, вопреки договоренности все признавать, отец зацепился за этот факт в естественном бунте личности против насилия. Возможно, это минутное пробуждение дремлющего или полумертвого от пыток сознания.

Теперь я знаю, что в самом конце тридцать седьмого отец пытался покончить самоубийством. Есть в деле его записки: «т. т. Сталин и Ежов! Прошу верить, что я никакого отношения к контрреволюции не имею...». «Нарком, простите. Вчерашнее обвинение Матвеева терпеть нельзя. Икрамов». «На себя наклеветал. Больше не могу...»

Есть и акт о нанесении себе ранения лезвием безопасной бритвы в область шеи. Надо думать, наказали того, кто не уследил, как Икрамов достал бритву или ее осколок. А того, кто неусыпно глядел в глазок камеры, вовремя ворвался в нее и вызвал тюремного врача, возможно, поощрили.

Я не берусь более определенно комментировать диалог палача и жертвы. Пусть кто-нибудь другой попробует. Но все-таки я думаю, что спорил с Вышинским не артист, не дублер.

ДАСТАРХАН

Отец был секретарем обкома (губкома?) в Фергане в самые трудные годы. У меня много добрых знакомых и друзей в городе и области. А когда я впервые приехал туда — выступать на республиканском семинаре очеркистов, то из аэропорта двинул к людям, знавшим отца, слушал их, записывал их рассказы, в гостиницу же добрался только к полуночи.

Мой сосед в номере — заместитель председателя Союза журналистов Узбекистана Николай Дмитриевич Уваров не спал. Он смотрел телевизор, машинально брал из какой-то корзины персик, косточку выкладывал на стеклянный поднос. Косточек была гора.

— Откуда фрукты? — поинтересовался я, увидев, кроме персиков, еще корзину, с виноградом.

— Тебе привезли, в подарок, — сказал Уваров, не отрывая глаз от телеэкрана. — Какой-то раис, типичный, знаешь, председатель, пузатый и с бритой головой. «Здесь живет Икрамов?» — «Здесь». — «Вот ему и вам».

— Слушай, Николай Дмитриевич. Ты жрешь чужое. Мои друзья знают, что я приеду через два дня, значит, это не они. Икрамов, ты ведь не хуже меня знаешь, фамилия распространенная. Приехал какой-то ревизор Икрамов, ему дали взятку, а ты навалился.

Николай Дмитриевич положил персик обратно в корзину, а в дверь постучали. Вошел тот, кого описал Уваров, вошел и кинулся меня обнимать.

Он сидел в холле несколько часов, карауля меня, и не узнал, когда я шел мимо. Неудивительно, что и я его не узнал. Это был Каримберды, сын нашего узбекского Калинина, первого председателя ЦИК республики Юлдаша Ахунбабаева.

Кто-то из встречавших меня и Уварова поехал из аэропорта в колхоз имени В. И. Ленина, в знаменитую колхозную баню, а после бани там в чайхане сказал, что среди приезжих журналистов оказался сын Акмаля Икрамова, совсем москвич, по-узбекски почти не говорит. Скоро в чайхану примчался председатель колхоза Карим Ахунбабаев и спросил только: «Где он остановился?»

В энциклопедическом словаре сказано: «Ахунбабаев Юлдаш — советский государственный деятель. Член КПСС с 1921 года, участник борьбы с басмачеством. В 1925—1938 — председатель ЦИК Узбекской ССР, депутат Верховного Совета СССР с 1937 года. С 1938 года председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР».

17 февраля 1925 года на Первом всеузбекском съезде Советов рабочих, дехканских и красноармейских депутатов мой отец говорил:

«Товарищи! Прежде чем предложить вам кандидата на пост Председателя ЦИК Узбекской ССР, нужно сказать, что фракция коммунистов (большевиков) думала, кого именно предложить, и при выборе кандидата прежде всего учла, что тот товарищ, которого выдвигает наша партия, должен быть обязательно дехканином, батраком. Это потому, что наша страна дехканская, и необходимо, чтобы председатель был таким человеком, чтобы к нему каждый батрак, каждый дехканин мог бы прийти непосредственно и побеседовать с ним о том, что ему нужно и чтобы наш Председатель удовлетворял их просьбы, и когда наш Председатель что-нибудь скажет, чтобы дехкане и батраки верили ему. Такого кандидата, который обладал бы всеми нужными качествами, мы нашли в сельскохозяйственной области — Фергане. Там мы нашли батрака, не имеющего ни клочка земли... а именно товарища Ахунбабаева. (Громкие аплодисменты, крики «Ура!»)...»

Вряд ли Каримберды знал, что именно и когда мой отец говорил о его отце. Но он знал другое: как относился и что говорил о моем отце его отец. Нет, имею в виду не те официальные речи, которые Юлдаш-ака Ахунбабаев должен был произносить после ареста отца, не те проклятия и оскорбительные клички, которые сочиняли ему его «помощники». Ахунбабаев, конечно, говорил, что полагалось, но всю жизнь он любил и даже почитал моего отца.

О тридцать седьмом мы с Каримберды не поминали, не вспоминали и той поры, когда жили забор в забор, они на улице Бухарина, мы — на Уездной, и учились вместе в первом и втором классах неподалеку от конфетной фабрики «Уртак». Учился Каримберды плохо, но и я не блистал. Ему было неинтересно в школе, как это часто бывает со смышлеными ребятами, у которых «своих дел» полно. Учился плохо, а человеком вырос хорошим, отличный хозяйственник и прирожденный механизатор. Каримберды — достойный сын своего отца, я убеждался в этом, вновь и вновь заезжая к нему. Оказалось, он еще и прекрасный рисовальщик: нарисовал меня очень похоже, подробно и смешно.

— Приезжай ко мне в Москву, — всякий раз приглашал я его, а он объяснял, что ехать одному неловко перед женой и детьми, а ехать всей семьей — денег нет.

— Я в Москве был. Мы все вместе были, помнишь? Наши отцы были живы. А дети сами побывают.

О Каримберды, настоящем узбеке, нужно было бы писать отдельно, но я пишу не о нем.

...Мы притормозили у чайханы, где Каримберды узнал о моем приезде, но и там не остановились: Каримберды сам вел машину и стремился к какой-то точке.

Вот мы с ним вышли из машины, грузно заскакали через арыки, пошли по меже и, наконец, остановились. Каримберды объяснил, что теперь вся эта территория вошла в колхоз Ленина, а когда-то именно на этих «картах» был первый в здешних местах колхоз имени Икрамова. «Вот старики, видишь, пойдем туда, они подтвердят». Я не мог противоречить, хотя сказал: «Верю тебе, зачем подтверждать?» — «Пойдем, пойдем, неужели не понимаешь, они специально пришли, чтобы посмотреть на сына Акмаль-ака. Им очень важно увидеть, что ты живой».

Весной и летом тридцать восьмого года Ташкент был обклеен гневными карикатурами на врагов народа. Моего отца изображали чаще всего в виде скорпиона.

Брат мой Амин рассказывал:

— Однажды я пошел к ребятам в обсерваторию. Пока из Старого города шел, сто этих скорпионов видел. Потом ребята в обсерватории меня угостили портвейном. Знаешь, с непривычки сильно подействовало. Иду домой, покачиваюсь, по улице Бухарина иду, она тогда Орджоникидзе уже была. Иду, понимаешь, и вижу: возле своего дома сидит на лавочке Юлдаш-ака Ахунбабаев. На лавочке, рядом с милиционером. У него милиционер был узбек, тоже с усами и бородой, они похожи были. Сидят два узбека и беседуют. А вечереет. Я на другую сторону улицы перешел, чтоб они меня не узнали, а он узнал и позвал: «Иди сюда!» Сам знаешь, нельзя было в то время, чтобы взрослый узбек увидел выпившего парня. Это же позор! Это раньше позор был на всю жизнь, если от тебя вином пахло. Я стою красный, а он мне говорит: «Как тебе не стыдно пить, Амин дорогой, как не стыдно! У тебя такая семья хорошая, такой великий, такой замечательный человек дядя у тебя был, а ты пьешь, позоришь их. Иди, больше не пей!» Ты понимаешь, весь город заклеен: «Икрамов — шпион! Икрамов — скорпион!» А он: «Иди и больше не пей». Не одни мы были, рядом же милиционер сидел, он же мог донести, понимаешь? Я тогда от этих слов сразу трезвый стал. От страха. Понимаешь, я же верил, что шпион, что скорпион.

Прошли годы, идут новые, а я все больше проникаюсь любовью и благодарностью к этому простому узбекскому дехканину из кишлака Жойбазар.

Я рассказал Каримберды про встречу его отца с Амином, он не удивился.

— Отец всегда так говорил дома. Ты знаешь, чего я не могу простить Усману Юсупову? Он не выполнил последнюю волю отца. Пообещал и не выполнил.

Последняя воля всеузбекского старосты, в чем она?

Каримберды рассказал, как собрались руководители республики вокруг Ахунбабаева. Мне почему-то представилась парадная комната в его доме. Там, в этой комнате, стоял замечательно сделанный макет железнодорожного состава, в той комнате однажды Буденный «произвел» меня в комбриги, отцепив со своих петлиц и воткнув в петлицы моей детской гимнастерки по ромбу. Как сейчас вижу комнату...

Собрались руководители республики и стали спрашивать, кого Ахунбабаев хотел бы видеть своим преемником. Называли кандидатов.

— Пусть будет любой, но обязательно пусть будет грамотный.

Каримберды всерьез обижен на тех, кто обманул отца.

— Обещали назначить грамотного, а назначили такого же неграмотного, как отец.

...В книгах и фильмах иногда появляется Юлдаш Ахунбабаев, но эта плоская, фанерная фигура с акцентом говорит тексты, которые предварительно уже произнес по радио диктор Юрий Левитан. А мне рассказали, как в те страшные годы прибежал к нему один узбекский интеллигент с мольбой: «Из партии исключили, с работы выгнали, теперь каждый день жду, что заберут. На вас одна надежда, Юлдаш-ака. Вы наше солнце, ведь Икрамова забрали, Ходжаева забрали... Вы наше солнце!»

Ахунбабаев показал на люстру: «Как эта люстра, да?» — «Да, конечно, от вас весь свет». — «Я как эта люстра, — подтвердил Ахунбабаев. — Я как эта люстра. А выключатель вон там».

Отец познакомился с Ахунбабаевым в 1920 году, когда был секретарем Ферганского комитета в городе Скобелеве, о переименовании которого только еще спорили. Убогие кишлаки, роскошные мазары и мечети, азиатские города и городки с улочками в одну арбу, святые места в горах под чинарами и ореховыми рощами, мавзолеи с малодостоверными легендами насчет того, кто в них покоится, а в центре всего — Скобелев, русский город.

Бывший активист Ферганского комсомола Г. С. Ячник, умерший не очень давно в Костроме, вспоминая те времена, аккуратным почерком исписал много страниц, где есть и очень важные строки о моем отце. Замечательные по своей правдивости и памяти на детали письма я получаю из Коканда от А. И. Артемьева. Пожалуй, могу на основе этих сведений сделать очередную попытку реконструкции, нарисовать картину.

В штабе Икрамова ожидал комиссар Хабибулла с телеграммой, извещающей, что главарь банды басмачей Исламбек доставляется из Намангана под усиленным конвоем.

— Здесь будем судить, Акмаль. Здесь, чтобы все видели.

Хабибулла очень гордился тем, что курбаши Исламбека будут судить в Скобелеве. Он сам обманом заманил кровавого главаря басмачей на переговоры туда, где в засаде сидела рота красноармейцев. Почти без жертв взяли. Пятеро убитых басмачей, двое наших. Правда, Исламбек выбил у Хабибуллы четыре передних зуба. Головой. Под Наманганом в горах это было, а потом при обсуждении итогов операции, когда все радовались и поздравляли Хабибуллу, Икрамов заявил:

— А на Коране и на хлебе клясться ты не должен был.

— Он бы не поверил.

— Не должен, — сказал Икрамов. — На хлебе и на Коране — не должен.

— Он заставил. Он говорил: «Если поклянешься на Коране, я поверю». Я поклялся. Он опять говорит: «Поклянись на хлебе». Еще молитву заставил читать. Я молитвы читаю, как мулла, я в Казани зря что ли пять лет учился.

— Ах, не надо было! — крякнул Икрамов.

— Ты верующий, что ли? Ты боишься, что меня Аллах покарает?

— Я боюсь, что люди о нас скажут. Нельзя клясться тем, что свято тебе; но и тем, что для других свято, тоже нельзя клясться. Забыл, как это по-русски называется.

— Обман?

— Хуже.

Хабибулла рассердился, сквозь дыру в зубах плюнул за окно.

— Брось, Акмаль. Ты завидуешь. Просто завидуешь. Или в тебе еще не до конца изжито твое происхождение.

— А в тебе до конца?

— До конца! А что — это плохо?

— Не знаю. А вот слово я вспомнил — кощунство. Значит, надругательство.

Хабибулла взорвался.

— Они же нас каждый день, каждый час, каждую минуту готовы обмануть, а мы не можем?

Икрамов подошел к окну, выходящему в сад, где на деревьях висели уже вполне съедобные, хотя и кислые вишни и плоды урюка.

— Однако он поверил тебе, когда ты клялся на хлебе и на Коране...

Я иногда позволяю себе и дорисовать картину потому, что не хочу назвать подлинных имен действующих лиц — участников вполне документированных эпизодов. Совсем недавно умер Хабибулла, у него было два ряда золотых зубов...

А папки, листы, конверты прут на меня изо всех углов, со всех полок. Трудно бывает найти бумагу, которую ищешь в данный момент, но посреди стола или на полу вдруг видишь другую, которая просится в книгу.

Дастархан моих бумаг — вроде скатерти-самобранки.

ДЕЛО МОЕГО ОТЦА

Не знаю, был ли случай, чтобы я, оказавшись в Октябрьском зале Дома союзов или проходя мимо этого здания, не думал о том, как сюда привозили отца и других подсудимых, через какой подъезд вводили, по каким лестницам вели.

А «Стенографический отчет» так трудно бывает взять в руки, хотя он всегда под рукой, так трудно читать, что специально собираешь для этого силы. Особенно трудно все, что касается отца.

Вижу, нависает над моим, склонившим стриженую голову, отцом Генеральный прокурор СССР Вышинский.

— Нет, вы ответьте сначала на вопрос: удалось вам завоевать массы?

— Нет, не удалось.

— И не удастся.

— И слава тебе, господи, если не удастся.

. . . .

— Как вы знаете по официальным материалам, за что убили Абид Саидова?

— За то, что он разоблачил «Милли Истиклял».

— То есть вашу контрреволюционную организацию?

— Да.

— Значит, поступил как честный гражданин.

— Возможно.

— Как это «возможно»? Я думаю, что он поступил как честный человек, разоблачил контрреволюционную организацию. Ведь он погиб за это?

— Да.

. . . .

— Как же вы позволяете себе говорить о том, что он нечестный человек?

— Он был одним из организаторов басмачества.

Зачем я это перечитываю и снова переписываю?

А затем, вероятно, чтобы лучше понять людей, которые могли верить подобным текстам в тридцатые годы, которые и в пятидесятые и в шестидесятые, когда была возможность во всем разобраться до конца, не сумели и не захотели этого сделать и сейчас не хотят оградить себя и своих детей от новых ужасов. Хочу понять людей и общество.

Похоже, что наше общество издавна было равнодушно к истине как таковой. К истине истории, литературы, нравственности...

Издавна?

Да. Привычно стало и повелось все факты действительности считать аргументами в спорах, а не явлениями жизни, из которых складывается опыт человечества.

Я все-таки опять беру толстый том, обернутый в газету шестидесятых годов.

Перекрестный допрос моего отца и Н. И. Бухарина.

Правда и ложь перемешаны окончательно. Но должен еще раз отметить: отец в показаниях о своих «сообщниках» придерживается тактики, понятной лишь человеку, знающему о деле несколько больше, чем предлагает нам стенограмма процесса. Отец дает показания о М. Ширмухамедове, арестованном раньше, сломленном в первые месяцы и подписавшем все, чего требовали палачи. Формальным руководителем организации «Милли Истиклял» отец называет А. Каримова, человека, который выбросился из окна кабинета следователя. Он разбился насмерть во дворе внутренней тюрьмы НКВД в Ташкенте. Пятно крови на асфальте видели многие арестанты. То же касается Балтабаева, стрелявшего в себя в канун ареста и умершего в тюремной больнице.

Между прочим, и Николай Иванович Бухарин одной своей репликой подтверждает мою догадку о линии поведения отца:

«Дело в том, что Икрамов на очной ставке отрицал всякий разговор политического характера. Я заставил его сознаться».

Этой реплике я верю. Мне известно, что показания на Бухарина отец дал только на последнем допросе предварительного следствия. В феврале.

А вот о какой очной ставке говорит Н. И. Бухарин, можно лишь догадываться. Возможно, Николай Иванович вспоминает очную ставку в сентябре тридцать седьмого, когда отец еще был на свободе... Нет, читатель, этим людям я не судья! А вы?

Вечернее заседание пятого марта 1938 года.

Икрамов. ...Зеленский тут говорил относительно своего лозунга «догнать и перегнать». Это правильно. Такой лозунг был выдвинут. Перефразировав установку Зеленского, я дал такую установку: Узбекистан — хлопковый район, сельскохозяйственный район, поэтому в деле коллективизации мы не должны отставать от передовых районов Советского Союза. В результате этого в ряде районов были массовые выступления против колхозов.

Вышинский. То есть этот лозунг был провокационным?
Икрамов. Да, этот лозунг был провокационным.
(Явная липа. А далее — смесь. — К. И.)
Икрамов. ...Непосредственную контрреволюционную связь с правыми я установил в 1933 году в Ташкенте. Бухарин приехал в Среднюю Азию отдыхать. До тех пор у меня с ним не было никаких дружеских отношений. Он дал телеграмму, что едет отдыхать. Он приехал ко мне и дней 7 или 8 жил у меня на квартире. Мы вместе ездили на охоту, на дачу, всегда вместе были. В это время у нас установились связи — организационно-политическая связь с правой контрреволюционной организацией и правым центром. Бухарин сначала завел разговор о коллективизации, о колхозах, что это неправильная линия. Повторил старый, общеизвестный, бухаринский тезис о военно-феодальной эксплуатации крестьянства.
Вышинский. В 1933 году?
Икрамов. Да. Сравнивал колхозы с барщиной...

Где достигнуто это дьявольское смешение правды с ложью? Во время пыток перед судом? Бесспорно. Но было ли это смешение на самом процессе? Или стенограмма «дополнена и исправлена» после суда? Видимо, так. Среди редакторов явно были люди с литературными задатками. У некоторых они даже осуществились. Популярностью пользуются у нас произведения одного из следователей по этим делам Льва Шейнина.

Икрамов. ...Дальше Бухарин говорил, что партия и Советская власть ведут неправильную линию, что индустриализация не нужна, что индустриализация ведет к гибели.
Вышинский. Индустриализация ведет к гибели?
Икрамов. Да. Наряду с этим он сказал, что не верит в тезис Ленина, что отсталые колониальные страны при поддержке передового пролетариата могут прийти к социализму, минуя стадию капитализма. Бухарин считал, что в таких республиках, как среднеазиатские, это невозможно и что им придется обязательно пройти стадию нормального развития капитализма.

— Ну и что же,— сказал внимательный и непредубежденный читатель. — Вполне понятный теоретический спор. Возникла эта проблема давно, и Бухарин писал об этом. Были дискуссии и о нэпе, и о государственном капитализме.

Так скажет и сегодняшний непредубежденный читатель. Сейчас предубежденных мало. Видимо, это и называют утратой убежденности. Но тогда предубежденность была главным идеологическим требованием.

Итак, в то время разговоры о госкапитализме, о военно-феодальной эксплуатации крестьян и, конечно же, о нэпе уже были криминалом. И кто разделял мысли Бухарина, тот наверняка знал, что это криминал. Говорить об этом было нельзя задолго до процесса.

Но Вышинский был юристом и понимал, что в глазах международного общественного мнения таких «признаний» недостаточно. Нужно было вырвать другие.

Вышинский. То есть он предлагал в Узбекистане восстановить капитализм?
Икрамов. Да, именно так. Я с ним согласился, так он меня завербовал...

Так старый коммунист-подпольщик, любимец партии, по словам Ленина, Николай Бухарин завербовал для борьбы с партией и Советской властью, для восстановления капитализма одного из первых узбеков-коммунистов — первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Акмаля Икрамова.

Меня ничуть не волнует, что будущие историки не смогут понять, какая здесь липа. Меня волнует и беспокоит, что стосемидесятимиллионный народ Советского Союза мог поверить в это. Неужели поверил?

Но крупица правды, видимо, есть. Бухарин действительно мог говорить с Икрамовым о просчетах коллективизации, о нэпе, о методах индустриализации. Видимо, он счел возможным откровенно говорить с моим отцом о том, что казалось ему вредным и опасным в политике Сталина. Все это происходило в период подготовки к XVII съезду ВКП(б).
Вышинский. Это изложено было в 1933 году?
Икрамов. Да, в августе или в сентябре.
Вышинский. В течение нескольких дней пребывания у вас в гостях?
Икрамов. Да.
Вышинский. Это все, что говорил и передал Бухарин?
Икрамов. Это все, потом были другие встречи, другие вопросы.
Вышинский. Это уже в другие годы?
Икрамов. Да.
Вышинский. Я Бухарина хочу спросить. У вас было свидание с Икрамовым в 1933 году?
Бухарин. Было, я жил у него в течение нескольких дней в 1933 году.
Вышинский. Значит, он правильно рассказывает?
Бухарин. Совершенно верно.
Вышинский. Были политические разговоры?
Бухарин. Были.
Вышинский. Икрамов правильно излагает их?
Бухарин. В основном я держался рютинской платформы.
Вышинский. В основном правильно излагает?
Бухарин. Что считать основным.
Вышинский. Вы предлагали ему вместе с вами бороться против Советской власти?
Бухарин. Да.
Вышинский. Затем говорили, какие методы в этой борьбе применить?
Бухарин. Методы, которые входят в рютинскую программу. Там было глухо и о терроре.
Вышинский. О вредительстве тоже с ним говорили?
Бухарин. Нет, не говорил.
Вышинский. Что же, он неправильно показывает?
Бухарин. Он, очевидно, спутал.
Вышинский. Может быть, попозже говорили?
Бухарин. Дело в том, что Икрамов на очной ставке отрицал всякий разговор политического характера. Я заставил его сознаться.
Вышинский. Бывает, что не хочет говорить, а потом перекрывает.
Бухарин. А потом хочет перекрыть.
Вышинский. Бывает. Вот мы и проверяем.
Бухарин. Я хочу сказать, что я не отрицаю, что все установки давал, что я вербовал его и что я первый завербовал его в правую организацию.
Вышинский. Это вы признаете? Я ставлю вопрос — он ничего не перекрывает, он говорит правду?
Бухарин. Да, да.

Это короткое «да, да» меня поразило. Почему Николай Иванович без всякой видимой логики перестал возражать Вышинскому? Что он вспомнил, что подумал? Может быть, он поглядел на отца в этот момент? Какие были у них глаза?

Сын Николая Ивановича Бухарина тогда был совсем маленьким, таким маленьким, что не только не помнил отца, но лишь через много-много лет узнал, чей он сын. И по сей день у него фамилия матери.

Что думал Николай Иванович о жене и сыне?

А что, если только это короткое «да, да» сохранило жизнь Анне Михайловне и сыну Юре, которому шел второй год.

...Художник Юрий Ларин известным себя не считает, выставляется редко, пишут о нем пока что только специалисты. И пишут, надо сказать,

хорошо и подробно: «Именно в этот период у Ларина складывается то, что он называет «концепцией хорошей работы». Я лично не могу судить о его работах, потому что я сильно подслеповат, если не сказать, что малость слепой. Очки у меня — минус 24, помутнение хрусталиков, и нарушено цветовосприятие. Теперь это называют как-то мудрено, а прежде — дальтонизмом.

При всем том на выставки Юрия Ларина я хожу, ибо в судьбе художника видится мне осуществление некой высшей, божественной справедливости.

— Юра,— говорю я,— хочу написать о тебе в своей книге.

— А чего обо мне писать?

— О торжестве справедливости хотя бы. Трагическое начало и счастливый сегодня итог.

— Какое трагическое?—спрашивает он.—Знаешь, я детдом без всякой трагедии воспринимаю. Приезжают ко мне ребята, с которыми вместе были, только веселое и смешное вспоминаем, а на сегодня... Здоровье-то у меня, сам знаешь. Какое тут счастье, рука плохо слушается. Устаю. Читать много не могу.

— Юра,—настаиваю я.—Ты представь себе, что твоя история попадает в руки Диккенса, Гюго или Дюма. Взяли крохотного мальчика, отняли у родителей, отца казнили и опозорили, мать на много лет посадили в тюрьму. Понимаешь, не молодого матроса заключили в замок Иф, а мальчика, и мальчик этот не знал своей подлинной фамилии, отчества и чей он сын. А потом—Москва, известность... Получился бы роман «Человек, который смеется» или «Граф Монте-Кристо».

Юра хохочет.

— Ну, ты даешь! Интересно у тебя мозги устроены,— и опять хохочет.

Анна Михайловна в Москве живет совсем рядом со мной, в соседнем доме. Это тоже проявление невероятной сюжетности жизни. Анна Михайловна написала мемуары[1]. Отдельные главы я прочел еще в рукописи, не со всем был согласен.

— Ваша концепция противоречит моей,—говорил я.—Но спорить не смею. Ваше свидетельство важней моих догадок. С Артуром Кестлером я тоже не согласен, но пусть каждый скажет, что думает и знает. А косвенным аргументом в пользу вашей точки зрения может служить, пожалуй, вот что: если Николай Иванович был хоть вполовину так же оптимистичен и наивен, как Юра...

Она перебила меня:

— Николай Иванович был в десять раз наивнее Юры! В десять раз! Он все видел своими глазами, но очень долго верил, что Коба его любит и не убьет... И ведь он не был в принципе против коллективизации.

— Но против методов!

— Он был против насильственной коллективизации...

— Но, Анна Михайловна. Все это так, я вам верю, но — военно-феодальный способ эксплуатации крестьянства...

— Конечно. Это он на июльском Пленуме сказал, в двадцать восьмом году...

— Формулировка была резкая,— перебил я.— И исчерпывающая!

Мы выходили на лестницу покурить. Анна Михайловна стряхивала пепел в спичечный коробок и рассказывала, рассказывала... Честная память, точные детали, юмор, который был тогда, и юмор нынешний, даже—нынешний молодежный.

И вот у нее получалось, что Н. И. Бухарин в двадцать восьмом — двадцать девятом годах и в тридцать третьем—тридцать четвертом — это совсем разные люди. Я же настаивал на своем.

— Формулировка Николая Ивановича была научной и не давала пути для отступления.

Покурив, мы сидели на кухне и говорили о рютинской платформе. Для Н. И. Бухарина и моего отца она была фактом их жизни. И не могли они не вспомнить Рютина, который—единственное, что я знаю достоверно,—считал Сталина врагом ленинизма и призывал удалить его от руководства партией и государством.

[1] А. М. Ларина. Незабываемое. «Знамя» №№ 10, 11, 12 за 1988 г.

Анна Михайловна собиралась домой, идти ей недалеко, но время позднее, а завтра день рождения ее внука—надо было на ночь тесто поставить.

Я понимаю, что нельзя цитировать всю стенограмму процесса, но чувствую необходимость привести еще некоторые фрагменты.

Отец говорит в судебном заседании, что, кроме встречи в 1933 году, была еще одна встреча «заговорщиков» в 1935 году на незнакомой ему квартире в новых домах на Зубовском бульваре в Москве и что будто бы там был разговор о вредительстве и диверсиях.

Этот разговор Бухарин отрицает довольно упорно. Причина, мне кажется, в том, что в квартире на Зубовском в тот день находились люди, которых Николай Иванович никак не хотел упоминать в показаниях на процессе, чего мой отец, видимо, не учел.

Пусть читатель простит мне длинную цитату.

Вышинский. Я вас спрашиваю, в 1935 году встреча на четвертом этаже была?

Бухарин. Я ответил, гражданин Прокурор, что о политике в этот раз ни одного слова не говорил.

Вышинский. А о чем же?

Бухарин. О чае, погоде, какая погода в Туркестане, но не говорили о политике. Почему не говорили? Потому что...

Вышинский. Потому что вы думаете, что когда вы в 1935 году разговаривали о погоде в Туркестане и Узбекистане, то Икрамов оставался членом вашей контрреволюционной организации.

Бухарин. Во время первого разговора у Икрамова было большое эмоциональное чувство, он был озлоблен против руководства партии в связи с теми событиями, которые были в Казахстане.

Вышинский. Это было в 1933 году?

Бухарин. Да.

Вышинский. А в 1935 году?

Бухарин. Я говорю, что в 1935 году я такого разговора не имел, но такая зарядка уже была в 1933 году. У меня сложилось убеждение, что он настолько сильно привязан к антипартийной и контрреволюционной организации, что такое положение должно у него остаться.

Вышинский. И вы, руководитель подпольной организации, встретивший через два года члена вашей организации, вами завербованного, не проверили, остается ли он на позициях вашей контрреволюционной организации, не интересовались этим, а стали говорить о погоде в Узбекистане. Так это было или не так?

Бухарин. Нет, не так. Вы мне задаете вопрос, который содержит в себе иронический ответ. А на самом деле я рассчитывал на следующую встречу с Икрамовым, которая случайно не состоялась, потому что он меня не застал.

Вышинский. Вы замечательно хорошо помните как раз те встречи, которые не состоялись.

Бухарин. Я не помню те встречи, которые состоялись, потому что они—фантом, а помню, те, которые реализовались.

Вышинский. Вы хотите убедить нас в том, что вы, встретившись со своим сообщником, с ним на контрреволюционные темы не разговаривали.

Бухарин. Не разговаривал я не из добродетели, а потому, что обстановка была для этого неудобная.

Вышинский. Икрамов, что вы скажете?

Икрамов. Относительно Казахстана он совершенно правильно говорит. О Казахстане был разговор. Ехал, по дороге из окна вагона смотрел, что видел — ужас. Я поддержал это. Я уже объяснял, какой я был до этого человек. Сразу я дал согласие ему.

(Итак, установлено, что два «врага народа» сговорились после того, как один из них увидел нечто, что—ужас. После этого они и сговорились бороться против Советской власти.— К. И.)

Вышинский. Это 1933 год?

Икрамов. Да.

Вышинский. А вот 1935 год. Бухарин отрицает, что вы в это время в четвертом этаже какого-то дома на Зубовском бульваре разговаривали с ним на тему о вашей контрреволюционной работе?

Икрамов. (Видимо, отец понял, в чем дело, почему Бухарин отрицает то, что, кажется, не имеет существенного значения для их совместной судьбы.— К. И.) Обстановка была действительно такая... Было три посторонних человека...

Вышинский. (Как будто помогая им обоим,— стоит ли городить огород из-за второстепенных лиц.— К. И.) Там была одна только комната?

Икрамов. (Теперь выход найден.— К. И.) Мы в кухне ужинали, потом вышли в другую, хорошо обставленную комнату...

Вышинский. Значит, была другая комната, отдельная, в которой два человека могли поговорить спокойно?

Икрамов. Да.

Вышинский. А почему же Бухарин говорит, что обстановка была неподходящая?

Икрамов. Пусть суд сам рассудит. В квартире три комнаты. Я хорошо помню, что в кухне ужинали, потом было так, что мы, двое мужчин, должны были выйти. Вы понимаете?

Вышинский. Понимаю. Обвиняемый Бухарин, у вас вообще после 1933 года была антисоветская связь с Икрамовым?

(Прокурору надоело выяснять факты. «Вообще была связь?» Этого достаточно.— К. И.)

Бухарин. Я виделся с ним в 1933—1934 годах или в 1932—1933 годах, точно не помню.

(Видимо, Бухарину все окончательно обрыдло.— К. И.)

Вышинский. С момента, как вы его завербовали, вы с ним встречались?

Бухарин. Встречался.

Вышинский. Говорили с ним на темы, связанные с вашей антисоветской работой?

Бухарин. Говорил.

Вышинский. Это самое главное...

Дальше все идет как по маслу. Компромисс между подсудимыми и прокурором состоялся. Процесс, как видно при внимательном чтении, полон таких компромиссов.

Но не только для того, чтобы показать способ достижения компромиссов, я привел пространную цитату. Даже не «большое эмоциональное чувство» — выражение, удивительное в устах Бухарина,— привлекло мое внимание. (Люди, знавшие Николая Ивановича, утверждают, что он не мог сказать «эмоциональное чувство».) Возможны ведь и неточная запись, небрежное редактирование стенограммы и т. д. Важнее другое. Фраза отца:

«О Казахстане был разговор. Ехал, по дороге из окна вагона смотрел, что видел—ужас. Я поддержал его. Я уже объяснял, какой я был до этого человек».

Тут непонятно, кто ехал, отец или Бухарин. Ясно только, что причина ужаса, о котором говорит отец, известна и подсудимым, и прокурору. Естественно, что и тогда, в читальном зале, и сейчас я не в силах точно вспомнить год, когда впервые на моей памяти в Ташкенте вдруг оказались тысячи пришлых людей. Они были неимоверно истощены и тихо бродили по городу, лежали в скверах и возле вокзала. Они были очень тихи. Я не помню их голосов. Однажды мы ехали с отцом в открытой машине, и где-то в Старом городе, переезжая через канаву, наш шофер латыш Роберт резко затормозил. В канаве прямо под машиной лежал человек, вернее, груда лохмотьев, под которыми был человек. К счастью, колеса «бьюика» не коснулись его. Шофер и отец одновременно выскочили из машины и волоком вытащили человека.

— Мертвый,— с облегчением сказал Роберт.

— Казах,— сказал отец матери.

Я не помню, в каком месте Старого города это было. Сейчас все так изменилось, ничего не узнать. Но часто в Ташкенте, то возле моста через Анхор, то в районе Чорсу, мне кажется, я узнаю это место.

Помню только, что было холодно и пыльно. Зима или поздняя осень, а может, очень ранняя весна.

Знаю, что точно к 1933 году относится рассказ друга нашей семьи Зинаиды Дмитриевны Кастельской. Ее арестовали в 1937 году и за то, что она часто бывала в нашем доме, и за то, что считалась как бы приемной дочерью видного большевика Ю. Ларина. В доме нашем ее звали Зиночкой. Так я звал ее до конца.

В 1956 году мы встретились вновь, и она рассказала мне, что однажды в Ташкенте в нашем доме вечером после какого-то разговора о событиях в Казахстане ей приснился страшный сон. Она не могла спать и вышла в сад. Там, в саду, и произошел разговор Зиночки с отцом, который, мне кажется, необходимо воспроизвести здесь. Боясь довериться своей памяти, я попросил Зинаиду Дмитриевну рассказать об этом еще раз и записал на магнитофон.

Устная речь имеет законы, в корне отличные от законов речи письменной, но я постараюсь быть точным, передавая рассказ З. Д. Кастельской, вернее, наш диалог...

— ...Я стояла в саду. Может быть, плакала, может быть, что... Настроение убийственное и печальное. Ужасное! Подошел твой отец. Он тоже почему-то не спал. «Почему у вас такое настроение? Вы чем-нибудь расстроены, огорчены?» Я ему говорю, знаете, я видела ужасно неприятный сон, вы знаете, такой ужасный, печальный—и просто из него выхода нет. Он заинтересовался. «Какой?»—он говорит. Я говорю, знаете, вот сначала небо было, большое, высокое небо, и вдруг начали падать звезды. Падают, падают — так много звезд. Потом я смотрю, подбежала посмотреть на эти звезды, гляжу — лежат вроде мертвые овцы, вообще — стадо — кудрявое, мертвое. Потом я подошла, стала ближе всматриваться: это не стадо, это люди, это казахи! Лежат мертвые, ужасные, покрыты какими-то лоскутами и совершенно скелеты, вот подобные тому человеку, которого я видела в Ташкенте, на Свердловской улице, когда был один скелет. У него была громадная борода, и он умирал...

Отец так мрачно посмотрел и сказал вдруг мне: «Зинушка, вы такая хорошая, вы даже не знаете, что все это значит!»

Зинаида Дмитриевна взволнована и слова отца передает точно так же, как и в прошлый раз, подчеркивая: «что все это значит».

— Это тридцать третий?—спрашиваю я.

— Это я из аспирантуры приезжала на практику. Тридцать первый исключен.

— А тридцать второй?

— В тридцать втором тоже было. Это с тридцатого началось, даже с двадцать девятого, но не так. Все-таки тридцать третий. Потому что о казахах разговоров много было. И то, что всюду ведь на станциях они были. Всюду по дороге из Москвы в Ташкент, это было страшное дело, эти несчастные, оборванные дети, умоляли и плакали, просили... И вот, кажется, тут-то вот был разговор об ужасах в Казахстане. Может быть, это была поездка Николая Ивановича, потому что он приехал совершенно убитый... Он роздал все, что у него было, все деньги, говорил: «Мы голодные ехали. Невозможно было смотреть...» Видно, речь на процессе шла не об отцовской поездке, а о поездке Николая Ивановича. Потому что все дороги, все станции были заполнены умирающими, когда проезжаешь Оренбург. Все кругом были несчастные ребятки, валялись на станции и вообще всюду.

— Это тридцать третий,—говорю я.

— Это он... Николай Иванович про поездку рассказывал Марии Федоровне Андреевой.

— Кто это?

— Ну, Мария Федоровна. Жена Горького. Бывшая.

Как далеко для нас все то, что было для них совсем близким, обыденным окружением. «Ну, Мария Федоровна. Жена Горького. Бывшая». Для нас далеко, а для наших детей, которые, дай бог, смогут прочесть мою книгу, это и вовсе иная эпоха... Эпохи разные, а жизнь единая, связанные непрерывной цепью причины и следствия. Очень опасно, что со-

временные люди так мало знают о неизбежности и многообразии возмездия, причем бездуховность потомков лишь первый симптом болезни, итог которой впереди.

Последние годы Зинаида Дмитриевна доживала в роскошном пансионате Академии наук. В лес и поле выходил ее балкон, два телефона стояли на тумбочке: один — городской, другой — прямой к медсестре. Я приходил к ней и видел, как слабеет ее память. Но ни она, ни я не забывали, в каком году и где, в 1930, или в 1932, или в 1933 был тот голод, те тысячи смертей, те детские трупы с птичьими лапками вместо ног, которые видели люди уже моего поколения накануне XVII съезда. Было это и в Казахстане, и в Узбекистане, и на Украине, и на Кубани.

Зинаида Дмитриевна — специалист по истории Средней Азии начала нашего века. Как всякий настоящий специалист, она досконально знает только «свой период». В 1937 году, как я уже сказал, она была арестована и отсутствовала восемнадцать лет. Потом она переквалифицировалась, как редактор выпускала книги по истории средних веков и хорошо узнала этот период. А то, что было в тридцатых годах?

Это живо. Это не умерло. Никуда от этого не денешься. Люди помнят и голод, и тысячи трупов на дорогах, на улицах городов, мертвые села и деревни. Люди знают, что Сталин отказался купить хлеб за границей. Это история! Она запечатлена в документах. Даже в собрании сочинений Сталина есть сведения о том, как и почему он отказался покупать хлеб за границей в те самые годы.

На пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 года Сталин выступил с критикой «правого уклона в ВКП(б)», с опровержением обвинений, выдвинутых против него Бухариным, Рыковым и Томским 9 февраля 1929 года.

Сталина обвиняли: а) в политике военно-феодальной эксплуатации крестьянства; б) в политике насаждения бюрократизма; в) в политике разложения Коминтерна. Три основных обвинения.

Каждого, кто хотел бы узнать об этом подробнее, отсылаю к двенадцатому тому сочинений И. Сталина; кое-что оттуда, начиная со страницы 92, я цитирую:

«Наконец, несколько слов об импорте хлеба и валютных резервах. Я уже говорил, что Рыков и его ближайшие друзья несколько раз ставили вопрос об импорте хлеба из-за границы. Рыков говорил сначала о необходимости ввоза миллионов 80—100 пудов хлеба. Это составит около 200 млн. руб. валюты. Потом он поставил вопрос о ввозе 50 млн. пудов, т. е. на 100 млн. руб. валюты. Мы это дело отвергли, решив, что лучше нажимать на кулака и выжать у него хлебные излишки, которых у него немало, чем тратить валюту, отложенную для того, чтобы ввозить оборудование для нашей промышленности». И еще: «...На этом основании мы решили отказаться от предложения разных там благотворителей, вроде Нансена, о ввозе хлеба в СССР в кредит на 1 миллион долларов. На этом же основании дали мы отрицательный ответ всем этим разведчикам капиталистического мира в Париже, в Америке, в Чехословакии, предлагавшим нам небольшое количество хлеба в кредит».

Это говорил Сталин, и включено это в том, вышедший за четыре года до его смерти, а именно в 1949 году. Кстати, тут сноска, что, дескать, в речи, которую я цитирую, восстановлено более 30 страниц текста, в свое время не опубликованных в печати.

Почему мы молчим об этом «гордом и идейном» отказе покупать хлеб, когда миллионы людей умирали с голоду? Зря молчим, ведь каждая нынешняя операция по закупке пшеницы, кукурузы или сои за границей дает основания для иронических ухмылок наших недругов и наших невежд новой формации.

Кажется, на том же пленуме, где Сталин критиковал своих критиков, состоялся его знаменательный диалог с моим отцом.

Икрамов говорил, что поскольку республики Средней Азии и, в частности, Узбекистан обязуются сеять в основном хлопок и все посевные площади идут под хлопок — сырье для промышленности, то снабжение этих районов продовольствием следует отныне планировать иначе. Надо снабжать хлопкосеющие регионы так, как снабжают промышленные. Сталин перебил его:

«Но мы же вам послали эшелон с хлебом». — «Я говорю сейчас о системе планирования, о том, что поскольку мы лишены возможности сеять в достаточном количестве хлеб, то...» — «Но мы же вам послали эшелон с хлебом...» — «Товарищ Сталин! Эшелон с хлебом до нас не дошел. Его расформировали в Самаре. Я говорю об изменении системы снабжения». — «Но мы же вам послали эшелон с хлебом», — в третий раз перебивает Икрамова Сталин. И тут — поразительная фраза: «Товарищ Сталин, в конце концов вы дадите мне кончить или нет?»

Думаю, это не единственное из выступлений отца, которые погубили его.

...Опять, стало быть, пишу о Сталине. Вроде был молчаливый уговор более не поминать это имя. Вроде был уговор. Наши враги — и те согласились. Зачем трогать Сталина, лучше-де все наши беды и все преступления Сталина адресовать Ленину, бить под корень.

Вроде был уговор, но нарушать его стали только в одну сторону. Дорого, ох дорого обойдется нам намерение следовать смыслу древнего латинского изречения, переиначив его на свой лад: «О Сталине либо хорошо, либо — ничего».

Мой отец был честным коммунистом, я обязан рассказывать о нем честно.

Я не верю смыслу стенограммы того процесса, но хочу верить, что мой отец не мог оставаться равнодушным к сознательному и равнодушному убийству голодом миллионов людей. Я хочу верить, что он обсуждал с Бухариным то, что волновало его, и даже, возможно, собирался выступить на съезде, который впоследствии вошел в историю как «съезд победителей».

Правда, к 1934 году положение с хлебом в стране стало улучшаться и необходимость решительных мер вроде бы отпала. Но сталинские методы построения всеобщего благоденствия должны были глубоко затронуть каждого честного коммуниста.

Среди людей, знавших моего отца, принято считать, что он любил Сталина, верил ему. Хочется думать, что постепенно отец прозревал. Об этом я еще попытаюсь рассказать. Жаль только, что не прозрел к началу тридцатых годов.

Зима. Выходной день. Мы всей семьей — отец, мать, младший брат отца дядя Юсуп, два моих брата, родной и двоюродный, завтракаем. Солнце светит, белая скатерть, а не клеенка, перед каждым яйцо всмятку, масло в масленке посреди стола.

Все вместе за столом, скатерть, солнце.

Окна и дверь на террасу закрыты, и приятно, что в доме тепло.

Мы редко собирались за столом все вместе, особенно по утрам. Мы завтракаем, а в столовую входит военный в длинной кавалерийской шинели, козыряет, потом вручает отцу пакет с тяжелыми сургучными печатями.

Да, это зима, потому что фельдъегерь в шинели. И это не тридцать третий год, потому что тогда не было яиц, масло не стояло в масленке посреди стола. Я не путаю, не объединяю два разных воспоминания, как бывает иногда.

Отец читает бумагу, мать подслеповато сбоку заглядывает в нее. Отец отклоняется.

— Потом, — говорит он, встает и начинает ходить взад и вперед.

Он хмур и явно взволнован, мы стараемся не смотреть на него.

— Насчет Кирова, — после долгого молчания говорит он матери. — Не понимаю, кому это было надо? Кому это надо?

Как это — «кому надо», — думаю я, и удивление мое помню до сих пор. Как это — «кому надо?». Я-то знаю, я-то понимаю, что Кирова убили враги народа. Это уже всем известно, всей улице, всему детскому саду и дворнику Спиридону, милиционерам Скибе и Костюхину, а отец все ходит и ходит по столовой.

Как странно: я понимаю, кому это было надо, а мой папа не понимает.

Как странно, думал я тогда, как странно, думаю я теперь. Ведь самое главное ясно: отец не верил официальной версии. Слова могли звучать разные, но они лишь маскировали, глушили, анестезировали суть.

Об этом понимании сути происшедшего свидетельствуют, в частности, два устных рассказа Н. И. Бухарина, относящиеся к тридцать третьему году.

Поезд Ташкент — Москва, два интеллигента в международном вагоне, путевые разговоры, рассказы о себе и среди них такие[1]:

«В ночь разгона Учредительного собрания Владимир Ильич позвал меня к себе, — говорил Н. И. Бухарин. — У меня в кармане пальто была бутылка хорошего вина, и мы (следовало перечисление) долго сидели за столом. Под утро Ильич попросил повторить что-то из рассказанного о разгоне Учредилки и вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, повторял про себя слова рассказчика и все смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слез. Хохотал.

Мы не сразу поняли, что это истерика. В ту ночь мы боялись, что мы его потеряем».

О похожей нервной реакции глухо упоминает Н. К. Крупская, вспоминая, как вместе с Владимиром Ильичем они посетили бывший особняк Морозова в Трехсвятительском переулке вечером 7 июля 1918 года после разгрома находившегося там штаба левых эсеров.

Вдова Николая Ивановича Анна Михайловна этого факта не знает, так она сказала мне. Более того, Анна Михайловна уверена, что Николай Иванович все последние годы был настроен не так мрачно.

Осторожность и недоверчивость в наши дни нельзя поставить в укор Анне Михайловне, чудом вернувшейся из небытия, простительна недоверчивость к устным рассказам о ее муже.

А вот второй рассказ Н. И. Бухарина в том же купе по дороге из Ташкента, то есть после того как он, напоминаю, много общался с Акмалем Икрамовым. (Может быть, и отец знал эту байку от Николая Ивановича.)

«Было решено, что я должен встретиться с академиком Павловым, дабы как-то распропагандировать его, сделать более лояльным по отношению к нам. В Ленинграде я позвонил Ивану Петровичу и попросил о встрече.

Павлов сказал, что времени для беседы со мной у него нет, но если я настаиваю, то он мог бы уделить мне внимание во время его пешего возвращения с работы домой. Для этого я должен ждать его в такой-то час в вестибюле института.

Я ждал его, как условились. Он вышел одетый, с тростью, я представился, и мы пошли. Я сказал, что руководители нашей партии очень огорчены нежеланием Ивана Петровича участвовать в общественной жизни страны, огорчительно и то, что он не проявляет интереса ко всем тем великим свершениям...

— Интереса? — перебил Иван Петрович. — Могу проявить интерес. Интересно, например, с какой это стати вы — академик?

Я отвечал ему в том смысле, что марксистская политическая экономия — наука сравнительно молодая, специалистов мало, и неудивительно, что в такой ситуации я был избран. Чтобы доказать ему, что я не так уж плох, я стал говорить об античной философии, о Канте и Гегеле — о том, что могло показать ему мое образование, то, что он был в состоянии оценить на основе собственного образования.

Иван Петрович не перебивал меня, слушал хмуро. Тогда я ввернул, что занимался приватно германской диалектологией и фонетикой, продемонстрировал свои знания в этой области, рассказал, что и к биологии когда-то склонялся, занимался энтомологией и помню до сих пор триста названий бабочек по-латыни.

[1] Есть уверенность, что оба эти рассказа записаны. Собеседником Николая Ивановича был ташкентский врач, впоследствии знаменитый академик медицинских наук И. А. Кассирский. Теперь я могу назвать его имя. Надеюсь также, что свидетельства ученого сохранились и увидят свет, поэтому я не боюсь полностью довериться памяти и не уточняю детали, не подвергаю чужой рассказ произвольной реконструкции. Расхождения же будут наверняка.

Вот тут только Иван Петрович, кажется, впервые глянул на меня с интересом.

(Бухарин пояснил своему соседу по купе, что в детстве действительно увлекался бабочками, на спор с гимназическими приятелями за один день выучил триста названий, которые почему-то запомнились.)

Павлов не остановил меня, дослушал все триста названий, а потом сказал:

— А ведь я, батенька, признаться, черного шара вам кинул на выборах.

Лед тронулся. Павлов уже с интересом, задавая вопросы по существу, стал слушать мой рассказ о будущем России, о новом обществе, которое будет основано на законах, выведенных Марксом и Энгельсом, о плановом хозяйстве, о новой культуре, о неуклонном повышении уровня жизни трудящихся.

Павлов слушал, слушал, потом остановился в молчании, молча же вдруг отошел на мостовую и издали, тыча в меня тростью, прокричал:

— А что если все будет наоборот?!»

Так мне запомнились в пересказе две истории, которые один русский интеллигент рассказал другому. Даже если говорить лишь о подсознательном ощущении катастрофы, то все равно легко представить себе, что в истории с Учредительным собранием чувствуется тот самый Рубикон, который обратно не перейти, а в заключительном крике И. П. Павлова, повторенном Н. И. Бухариным, звучит сомнение, похожее на пророчество.

Не колесница — поезд истории влек их по саду жизни с такой скоростью, что они, пытаясь ухватиться за ветки, только царапали себе руки.

...Поезд истории. Сад жизни. Наверное, это очень уж красиво. Но мне это так снится: летит поезд, в котором мы все, как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре, но без надежды спастись. Летит поезд, а вокруг жизнь, сады цветут. Мы смотрим из окон, и проводник не может сделать больше, чем пассажир, а машинист и подавно ничего не может.

Летит вперед наш паровоз, как он летел полвека назад, только куда быстрее! Скорости возросли, состав стал длиннее, пассажиров больше.

Думаю, что в разные времена у разных людей был свой Рубикон, после которого поезд уже невозможно остановить.

Характерно, что Бухарин рассказывал свои истории сразу же после сплошной коллективизации и ликвидации кулачества.

Неужто случайному попутчику рассказывал, а моему отцу — нет?

Впрочем, насколько я знаю, коллективизация и раскулачивание в Узбекистане носили сравнительно умеренный характер. А может быть, я и не знаю всего, утешаю себя.

Живу в Москве. Как будто — так говорят — именно здесь я родился во время какого-то съезда или конференции. Моя мать должна была выступить как один из авторов земельно-водной реформы в Узбекистане. Отец не мог приехать из Самарканда, в республике был разгар хлопкоуборочной кампании. Другие говорят, что родился я в Самарканде, но мать сразу увезла меня к своим родителям.

Мне было четырнадцать лет, когда на Москву упали фашистские бомбы. Тушил немецкие «зажигалки», падавшие в Черниговский переулок (всего погасил четырнадцать; три из них угрожали пожаром, остальные упали в снег на улице; но я их таскал к ящикам с песком и закапывал саперной лопаткой). 17 октября 1941 года с крыши нашего дома я видел лицо немецкого летчика, сбрасывавшего осколочные бомбы на очередь за картошкой, стоявшую на набережной у Малого Москворецкого моста. Этот, а может быть, другой немецкий летчик сбрасывал одновременно и листовки: «Черчилль о советском режиме». Листовки летели над Москвой-рекой, над Василием Блаженным и Красной площадью, где у кремлевской стены среди елок стоял фанерный макет двухэтажного дома, для маскировки нахлобученный на Мавзолей.

В октябрьские дни сорок первого года, когда, по слухам, немецкие танки прорвались не то в Кунцево, не то в Химки, я твердо знал, что

умру на баррикаде. Мне хотелось защищать ту баррикаду, что построили на Пятницкой, возле Первой образцовой типографии.

В сорок третьем меня арестовали в первый раз.

Прошло много лет, прежде чем я понял и связал воедино два события, происшедшие в одну неделю.

Шестого ноября 1943 года наша армия после тяжелых боев с огромными жертвами взяла город Киев. В ночь с двенадцатого на тринадцатое ноября органы государственной безопасности взяли меня, ученика ремесленного училища № 51, еще не получившего паспорта, но уже принятого в комсомол первичной организацией.

Трудно связать эти факты логически, но временна́я связь налицо. Что за ней? Не случайности, не ошибка, ведь повезли меня в главное здание, где работал в тот момент сам Берия Л. П.

Стыдно на старости лет признаться, что при медосмотре во внутренней тюрьме у меня обнаружили вшей. Дома с начала войны не работала ванная, а душ в ремесленном был такой холодный, что в него никогда никого не удавалось загнать.

Итак, вшивый ученик ремесленного училища. Ведь не забыли меня, родословную мою чтили. Отец и сын!

Я не избрал сей сюжет, его навязали мне силой. И притом — какой силой!

МЕЖДУ СТРОК

Следователь Мельников требовал, чтобы я рассказал о своих антисоветских деяниях, убеждал меня, что я озлоблен на Советскую власть. У него была такая работа. Но, кроме того, он, вероятно, был убежден, что я действительно озлоблен. Не помню, сколько суток мне не давали спать, помню только, когда Мельников под утро снимал трубку и говорил: «563-А, возьмите арестованного», я бывал очень благодарен ему.

Однажды на допросе у прокурора МГБ Дорона я увидел в окно заснеженную площадь Дзержинского и трамвай, идущий к Театральному проезду. Был счастлив, что увидел Москву.

Мне дали пять лет исправительно-трудовых лагерей формально за антисоветскую агитацию, но, по существу, как «сыну врага народа». В постановлении об избрании меры пресечения эти слова и фамилия были подчеркнуты тем же красным карандашом, которым ниже подписался Кобулов, заместитель Берии, расстрелянный одновременно с ним.

Вообще я счастливый человек. Это не позерство. Вновь хожу по Москве, езжу в метро и трамваях, захожу к старым знакомым, не боюсь новых арестов, кажется, все-таки не боюсь. Но, главное, сбылось то, о чем я уже перестал мечтать.

В первый раз я почувствовал себя счастливым в день, когда дошло известие, что умер Сталин. Нет, и тогда следователь Мельников не мог бы обвинить меня в злорадстве и озлоблении. Точно знаю — прежде всего было удивление: он умер, а я еще нет. Казалось, что он вечен. Предчувствие самой возможности перемен вызывало ощущение счастья. Еще раз повторяю: я не ждал изменений к лучшему, думал о худшем, но сама их возможность была открытием, прозрением. Тогда, кажется, я впервые понял, что жизнь длинна.

Чеченцы, с которыми пришлось быть в ссылке, говорили: «Чтобы быть счастливым, нужно потерять счастье, а потом найти любую его половину».

Озлобленность кажется мне очень редким и незначительным в общественном плане человеческим чувством. Люди смотрят вперед. Если впереди есть надежда, жизнь увлекает, старое не тревожит. А ведь личная жизнь у каждого складывается неповторимо. Что значит «повезло» или «не повезло»? Моя юность и молодость прошли в лагерях, тюрьмах, этапах и ссылках. Но из тридцати трех работяг первой моей лагерной бригады в живых через два месяца осталось восемь. Значит, мне повезло. Из тех пяти ребят, что вместе со мной сидели на крыше дома в Черниговском переулке и ловили зажигалки, остались двое, я и Коля Байков.

Я дружил с теми, кто старше меня. Трое погибли на фронте. Особенно жалко Шурку Назарова и Сережу Байкова.

А я жив, хожу по родному городу, сплю не в бараке, а в отдельной квартире, книжки пишу. Вот пойду смотреть фильм Стенли Крамера «Корабль дураков». Просмотр для писателей.

Время от времени спрашивают: «А вы когда-нибудь думали об отмщении тем, кто пытал вашего отца, вас, кто доносил на вас?» И еще: «Среди ваших знакомых, среди людей вашей судьбы были люди, которые отомстили или хотели отомстить?» Совсем недавно спросил меня об этом молодой человек, один из тех, для которых только открываются бездны нашего прошлого. Он с недоверием и удивлением слушал мой поневоле пространный ответ, как это может быть, что ни мне самому, никому из моих близких знакомых с похожей судьбой и никому из знакомых моих знакомых мысль о мести, видимо, никогда сколько-нибудь реально в голову не приходила.

Хорошо это или плохо? Для меня лично — хорошо, а для общества? Думаю, что и обществу в целом личная месть пользы не приносит. Никакой граф Монте-Кристо не поможет исправлять нравы. Наказание, надо надеяться, само настигнет преступников. Вспомним эпиграф к «Анне Карениной», до сих пор ставящий в тупик некоторых литературоведов: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Мой первый следователь капитан Мельников в Москве на Лубянке в сорок третьем был жалкой и подлой мразью. Он носил общевойсковые погоны. Такие же погоны были у командиров рот и комбатов, что в те самые дни погибли, форсируя Днепр и при взятии Киева. Другие армейские капитаны умирали в медсанбатах и госпиталях от Белого моря до Черного, а мой — курил лендлизовские американские сигареты, и бутерброды у него были с пахучей лендлизовской колбасой, добытой из консервных банок. Как он мог в течение месяца лишать сна шестнадцатилетнего парня? Как он мог запретить передачи и дополнительное питание, выписанное мне тюремным врачом? Сто граммов хлеба и винегрет к обеденной баланде назначил мне тюремный врач безо всякой моей просьбы, а Мельников наложил вето. Написать это я должен, это вся моя месть, если не считать того, что я уже сделал: в моем историческом романе «Пехотный капитан» описан жандарм, которого по ходу дела убивают за карточным столом, а жене его отказывают в пенсии. Действие романа происходит в начале прошлого века, и я не специально мстил, а просто дал тому отвратительному типу неприятную мне фамилию.

Совсем другим был мой второй следователь майор С. в МГБ города Калинина.

Правда, и задача перед ним стояла проще. Надо было доказать только, что я сын Акмаля Икрамова, от чего я и не отказывался, и еще — что я уже однажды был за это осужден Особым Совещанием, то есть по своему преступному прошлому представляю огромную опасность для нашего могучего государства.

Майор С. в начале следствия п е р на меня по всем правилам: орал, грозил карцером, но сна почти не лишал, передачи разрешил довольно скоро. А потом только делал вид, что п р е т, что грозит. Он был сачок, говоря по-современному. Возможно, он сачковал потому, что особых надежд на карьеру в пятьдесят первом году иметь не мог. Почему? Подозреваю, что майор был евреем, а в те годы лицам этой национальности судьба не благоприятствовала.

Прости, майор! Может, и не был ты евреем, а по натуре был сачком и неплохим малым. Упомянуть тебя я должен для полноты картины. Ты уже давно в отставке, мой рассказ не повредит тебе, если ты жив. В отставке, если жив, и начальник следственного отделения полковник В. Относительно майора С. я могу ошибаться, внешне он не походил на еврея, а вот в национальности полковника я не сомневаюсь, и дни его в аппарате госбезопасности были сочтены.

Может быть, рассказываю о том, что нехарактерно для следствия вообще, но, повторяю, так было.

Вся вторая половина следствия, когда родословная моя была записана и биография зафиксирована, выглядела так.

Из сырого и темного подвала вели на допрос по широким и светлым лестницам, по паркету и ковровым дорожкам в кабинет с большими чистыми окнами без решеток. Я садился в угол на канцелярский стул, и майор С. вопрошал:

— Ну, что новенького?

Он имел в виду одно: какие новые анекдоты я слышал в камере. Политических анекдотов я, естественно, ему не рассказывал, но он их и не ждал.

— Да что у нас может быть нового, если новеньких к нам не кидают. Вы же знаете, гражданин майор. А у вас есть что-нибудь?

Он рассказывал мне какой-нибудь анекдот тоже, естественно, далекий от политики и чаще всего про баб и пьянку. Тогда и я вспоминал что-нибудь соответствующее. Нормальный разговор двух простоватых приятелей, которые вполне могли говорить об этом по дороге в пивную. Иногда он рассказывал не только анекдоты, но сообщал новости о событиях на воле. Например, о том, как проходит матч Ботвинник — Бронштейн. Это, конечно, было нарушением порядка, но он шел еще дальше: доставал из портфеля газету, а из правой тумбы письменного стола шахматную доску, тайком взглядывая на запись партии, расставлял на доске фигуры, и мы разыгрывали варианты, пытаясь угадать, как поступят гроссмейстеры.

Под самый конец допроса, когда меня уже надо было отправлять обратно в подвал, он усаживался поудобнее, расставлял локти и начинал писать, на меня не глядя. Он долго, очень долго и молча скрипел пером, а потом распрямлялся и начинал читать примерно следующее:

Вопрос. На прошлом допросе вы голословно отрицали свое участие в антисоветской деятельности. Между тем следствие располагает неопровержимыми данными о том, что вы, продолжая свою контрреволюционную деятельность, занимались антисоветской агитацией. Признаете ли вы себя виновным?

Ответ. Нет, не признаю.

Вопрос. Если вы будете упорствовать, то вам будет хуже. До каких пор вы будете лгать, изворачиваться, обманывать следственные органы?

Ответ. Я никогда антисоветской деятельностью не занимался.

Вопрос. Это гнусная ложь! Последний раз предупреждаю вас: если вы не будете говорить правду, я буду вынужден прибегнуть к наказанию карцером.

Ответ. Я никакой антисоветской деятельностью не занимался.

Так он исписывал две-три страницы, а я с удовольствием ставил под ними свою фамилию, удостоверяя, что все с моих слов записано верно.

Однажды я рассказал ему анекдот, построенный на несоответствии высокого стиля общения между академиками и слов самого низкого рода, которые явились решающим аргументом в их споре.

Посмеялись. Потом майор С. с укором сказал знаменательные слова:

— Вот ты мне рассказал анекдот. Анекдот вроде неплохой, он не ловится, но характеризует. А я тебе расскажу анекдот, который не ловится и не характеризует.

Серьезных нарушений режима он, впрочем, не допускал. Узнать у него, например, было ли очередное снижение цен, не удавалось, это — новость политическая.

Его кабинет находился в запроходной, как пишут в жилищных документах, комнате. Если он слышал, что дальнюю дверь открывают, он тут же аккуратно, чтобы не повалить фигуры, ставил доску в средний ящик стола, а я без команды отскакивал в угол на свой стул, руки — на колени.

Дверь широко распахивалась и входил полковник В. Я с погонами видел его, пожалуй, только раз. Погоны были полковничьи, а форма — морская, из чего я тогда заключил, что он капитан первого ранга. Обычно же он появлялся в штатском и всегда в одном и том же движении: голова чуть в сторону, правая рука ищет пуговицы на ширинке. Видимо, где-то рядом был туалет, и полковник заходил к нам по дороге оттуда.

Пуговицы ему давались с трудом, а мой следователь вытягивался и докладывал, что на допросе такой-то.

— Ну? — спрашивал В., так и не поймав последней пуговицы. — Упорствует, сволочь?

— Упорствует, товарищ полковник.

— Да-а, — тянул тот. — Он думает, что прошло то время, когда... — Далее шли крепкие выражения, порой довольно интересные, которых я ни от кого более не слышал. — Надо ему напомнить, майор!

— Так точно! — радовался подсказке следователь. — Я ему покажу, контре. А для начала в карцер, в холодную на хлеб и воду!

— Давно пора! Его вообще-то расстрелять надо, яблоко от яблони далеко не падает.

Поймав последнюю пуговицу и сразу же после гневной тирады зевнув, полковник выходил вон. Когда закрывалась за ним дальняя дверь, следователь доставал шахматы.

— Смотри, значит, если конь Ж-4, то ладья идет на Б-1. А если он пойдет слоном...

Про отца моего майор говорил и спрашивал мало и не ругал его, а только констатировал: сын врага народа Икрамова.

Описав свое второе следствие, я вовсе не претендую на некое обобщение, не хочу сказать, что в пятьдесят первом году начался кризис сталинской карательной системы и все было совсем не так, как прежде. Я знаю, что в те же дни кого-то пытали и били, зверски били и страшно пытали. Может быть, это было в соседнем кабинете или в том же самом, где только что был я. И кто знает, как вели себя майор С. и полковник В., когда по службе им это было надо.

Нет, я не хочу никому мстить, даже суда над этими людьми не хочу, ибо не верю в справедливость мести и в пользу суда. А что если и в самом деле тридцать седьмой — это месть за тридцать, сорок девятый — расплата за тридцать седьмой? Может, мы остановимся, наконец?..

Не хочу мести, не хочу суда. Хочу, чтобы люди знали и помнили, как все это было. Хочу, чтобы дети и внуки палачей не становились палачами или жертвами палачей.

А вот те сытые, вальяжные невежды и подлецы, которые очень долго лгали на моего отца? Как с ними быть?

А все так же. Пусть люди знают правду.

Для этого и пишу.

Нужны гарантии, что ужас не повторится.

Я живу в Москве, но я узбек. Не только по паспорту. Отец, обвиненный в национализме, не позаботился обучить меня родному языку. В доме говорили по-русски. Я никуда не хочу уезжать из Москвы, но всегда говорю «у нас в Узбекистане». Я всегда спрашиваю, как там с хлопком, началось ли раскрытие коробочек, как идет уборка и сколько процентов будет к празднику.

Удивительное дело. У меня сразу меняется ход мыслей, когда на улице Горького или возле ГУМа я вижу человека в ферганской тюбетейке. Идут, например, трое. Зима, воротники суконных пальто подняты, на ногах хромовые сапоги с галошами, а на бритых макушках — тюбетейки. Традиционный белый узор по черному полю.

Я люблю встречаться с земляками в курилке Ленинской библиотеки. Аспиранты, молодые ученые, а иногда и доктора наук.

Парень из Намангана — специалист по африканской флоре, доктор медицинских наук из Ташкента — эпидемиолог, мой дальний родственник — крупный физик-экспериментатор, вернувшийся с конференции, посвященной памяти Макса Планка, — вот встречи одного дня.

Мы стоим в подвале крупнейшего книгохранилища мира и разговариваем. Я чувствую себя узбеком. Я знаю, что ко мне у любого узбека отношение особое. Это неважно, что я журналист, писатель, автор нескольких книг. Важно, что я — сын Акмаля Икрамова. Только поэтому люди,

которые старше меня по возрасту и по положению, зовут меня с уважительной приставкой «ака», «Камиль-ака».

И все-таки я москвич. Я люблю не только Москву, но и Подмосковье, перелески, полянки и горки, речки и мостики, березки и елочки.

Однажды я возвращался с загородной автомобильной прогулки. Друг взял меня с собой в воскресенье утром, а вечером высадил в центре города возле памятника Пушкину. Домой я добирался на такси.

— С дачи? — спросил шофер.

— Нет, — ответил я. — С приятелем по лесам катались. Дубна, Вербилки, Дулево...

— Хорошие места, — сказал шофер.

— Комаров много, — сказал я. — Только остановились, опустили стекла и — сразу набились в машину. Кисель из комаров. В жизни не видел столько.

— Ну, комаров я повидал, сколько вам никогда не увидать, — с оттенком грустного превосходства сказал таксист. — Комаров я повидал.

Вечер был хороший. Настроение тоже.

— Где же это?

— За Уралом, в тридцатом...

У меня мелькнула догадка, и потому я спросил совсем не о том, о чем думал.

— В армии?

Он промолчал. Я смотрел, ожидая ответа.

— Коллективизация, — ответил он, решившись. Видно, комары были чем-то очень для него существенным. — Мы слабые середняки считались, даже бедняки, но отец против колхоза агитацию вел. Его посадили как подкулачника, а нас раскулачили и — в вагоны. Привезли за Урал. Поезд посреди дороги между станциями остановили и говорят разгружаться. Насыпь высокая, внизу вода весенняя, а километра два — лес. Мы говорим, куда тут разгружаться, тут же вода! А они с винтовками и с собаками.

Они говорят, разгружайтесь куда хотите. А у нас мешки с мукой. Говорят, если не будете разгружаться, будем стрелять. А если сами выйдете, что оставите в вагонах, то и увезем. Там ваши уже есть, говорят, вот туда и пойдете в этот лес. В этом лесу ваши уже живут. Ну, мы мешки покидали в воду. Покидали, значит, мешки в воду, кой-как добрались до этого леса. Пришли в лес, думали там никого нет, думали нас обманывают. А видим, по этому лесу дети маленькие ходят, может, пяти, может, шести лет. Дети ходят. И кору жрут и смолу. Ходят так, обдирают со стволов, жрут. А взрослых нет, одни дети. Оказывается, туда привезли тоже раскулаченных, взрослые все померли, одни дети остались живые. А взрослые померли — ни одного живого нет. Одни дети. И дети ходят по лесу и вот жрут кору. Вот туда нас привезли... У нас что было, все подмокло. И дожди пошли. И дождн пошли, а нам укрыться негде. Все у нас мокнет, мука у нас пропала, все у нас пропало. А потом комары. Комаров я повидал...

— Откуда сами? — спросил я.

— Из-под Полтавы.

— Что-то у вас акцента даже нет, хорошо говорите. Украинцы надолго сохраняют.

— Отвык совсем. Сколько лет в Москве. Нас пятеро было. Мать, я с женой — семнадцать лет ей тогда было — да два моих брата. Я старший. Пожил я там, пожил, понял, что смерть, — и убежал. В Москву приехал, документы достал на чужую фамилию — добрые люди помогли, — устроился сезонником на стройку. Мать я потом вытянул. А братья померли, и жена с ребенком. Она беременная была. А мать вытянул. В тридцать третьем на курсы шоферов устроился, стал работать на ЗИСе, потом взяли меня на базу НКВД. Биография ведь у меня была чистая. Сначала на грузовике работал, потом меня на воронок посадили. Вот с тридцать шестого по пятьдесят третий. Уж я их с Лубянки куда только не возил: и в Лефортово, и в Сухановку, и в Бутырку. И куда я их только на этом воронке не возил.

— Мать жива? — спросил я.

— Жива, — ответил он. — Мать до сих пор жива. Крепкая старуха, но беспокойная. Я женился, дети у меня, а она все братьев не может простить и жену. Вот, говорит, жену и братьев там бросил. И все нудит и нудит,.. прямо от нее житья нет. Чем дальше, тем хуже. Вот квартиру получил сейчас, ничего живу, хорошо.

Все это рассказал мне шофер такси за двадцать минут пути. Вечер был теплый и ясный. С тополей во дворе летел пух. В скверике по щиколотку в пуху бегали маленькие девочки и мальчики с совочками, лопатками и игрушечными автомобильчиками.

...Неужто нет гарантии?

ДАСТАРХАН

В первые месяцы на свободе я почувствовал себя чем-то вроде глубоководной рыбы, вытащенной на поверхность. Ощущение своеобразное — страх, заглушаемый эйфорией. Я писал заявления во все инстанции с требованием реабилитировать отца. На улице Кирова в Главной военной прокуратуре, куда я пришел в очередной раз, полковник стал мне объяснять, что мое ранее поданное заявление потому не может иметь хода, что я забыл упомянуть место и год рождения отца. Как же, мол, найти его дело?

Я возмутился, ибо «дело»-то я назвал точно — «процесс антисоветского «право-троцкистского блока», состоявшийся в марте 1938 года. Помню, я так кричал на полковника — это и была эйфория, — что полковник, растерявшись, сказал:

— Назовите лучше людей, которые могли знать вашего отца по работе.

— Люди, которые знали его по работе в Ташкенте или погибли, или стали клеветниками. Из тех, кто в Москве, могу назвать нескольких.

Полковник приготовился записывать.

— Хрущев Никита Сергеевич, Молотов Вячеслав Михайлович, Микоян Анастас Иванович, Ворошилов Климент Ефремович...

Все они были тогда членами Президиума ЦК КПСС.

Полковник положил ручку.

— Простите, но этих людей я не могу вызвать для допроса.

— Это ваше дело! — крикнул я. — Пишите, что говорю!

Полковник стал очень вежлив, попросил подождать в приемной и вскоре вновь пригласил в кабинет. За его столом сидел седой генерал с сизым лицом.

Я сел, третьего стула не было, полковник стоял.

— Буяните? — спросил генерал. — А зря! Полковник у нас человек молодой, необразованный. Не знает он, кто такой Акмаль Икрамов, имя и отчество Бухарина не знает. А я знаю, только, молодой человек, без приказа я к шкафу, где те дела хранятся, близко не подойду. Пишите выше.

— В КПК?

— Выше. Неужто непонятно?

Понравился мне генерал. Я стал писать выше, на этом занятии, пожалуй, сильно двинулся профессионально как журналист. В Ташкент, в ЦК я писал с особой резкостью. Ответов не было ниоткуда.

Жил я, однако, не только этим, это был азарт лагерника, который «качал права». А жизнь вокруг давала обильные сведения насчет того, что недавно еще проходило мимо заключенных и ссыльных.

Студент МГИМО, снимавший кладовку у моей тети Даши, был сыном успешно практиковавшего областного протезиста. Он иногда водил меня по ресторанам. От него я узнал, что, к примеру, стояло за «делом врачей», о том, что готовили казнь на Красной площади, он толковал и о проектах депортации всех евреев в Сибирь. Вроде того как насильственно переселяли чеченцев и ингушей, немцев Поволжья, калмыков, балкарцев.

Мы прогуливались по очень шумной и людной в те годы улице Горького, я увидел и «плесень», и проституток, и великих людей, чьи лица узнал по кинофильмам, чьи романы и стихи читал.

Однажды после обеда с приятелем я зашел к знакомой девушке Кла-

ве, работавшей в крохотном учреждении в Козицком переулке. Кураж во мне был еще лагерный, а тут обед с чешским пивом «Праздрой»...

Сообразив, чем удивить знакомую, я небрежно подтянул телефон, набрал 09, узнал номер постоянного представительства Узбекской ССР при Совмине Союза. Клава смотрела на меня, трубку в постпредстве сняла секретарша.

Небрежно и даже начальственно я спросил, как звать постпреда.

— Касым Рахимович Рахимов.

— Соедините.

Хорошо я актерствовал!

— Здравствуйте, товарищ Рахимов,— сказал я тона на два ниже обычного:— С вами говорит сын Акмаля Икрамова.

— Сын Евгении Львовны?— вскричал постпред, и в его голосе звучало волнение,— Где вы? Вы можете приехать? Я вас жду.

Это было летом пятьдесят шестого, уже прошел XX съезд. Но волнение Рахимова, оказалось, вызвано тем, что он считает себя учеником моей матери, работал в ее подчинении в Наркомземе; а когда он женился, мать выхлопотала ему квартиру и вместе с его молодой женой вымыла там полы.

В августе Касым Рахимович вызвал меня в постпредство. Я сел под пальмой в кресло и закинул ногу на ногу. Ждать пришлось долго. Когда дверь кабинета открылась, первым вышел симпатичный узбек в сером костюме. Постпред за ним. Человек в сером направился ко мне, я встал и пожал протянутую им руку.

— Простите,— сказал человек в сером.— У меня здесь очень мало времени. Лучше прилетайте ко мне в Ташкент.

Ничего себе — «прилетайте». На какие шиши я билет куплю?

Он понял, сказал:

— Билет туда и обратно вам обеспечит Касым Рахимович. До свидания.

Человек в сером и постпред вышли, а я спросил секретаршу, кто это.

— Первый секретарь ЦК Узбекистана товарищ Мухитдинов Нуритдин Акрамович.

Так благодаря чешскому пиву и девушке Клаве я сподобился совершить поездку в Ташкент, да еще самолетом.

Я довольно смутно припоминаю подробности своего первого после девятнадцати лет возвращения в Ташкент. Сейчас не могу сказать точно, каким образом я сразу оказался в доме моего брата Амина, где в тот день справляли огромный той по случаю обрезания его старшего сына Улугбека. А может, у меня сместились и совместились два дня из того приезда.

Амин, бывший когда-то чемпионом республики по гимнастике, работал грузчиком на угольном складе. Широкий в плечах, в широкой черной рубахе навыпуск, в широченных брюках и пиджаке внакидку, он принимал гостей... Амин — двоюродный брат мой, а вот и родной — Ургут. Рожденный Ханифой, дочкой муллы Иброхима из Пскента.

Брата Ургута воспитывала бездетная тетя Садыка; когда отец женился на моей матери, они забрали его к себе. Какое-то время он жил у моего деда в Москве, потому что нуждался в лечении и заботе, которую мог обеспечить только такой, внимательный и состоятельный врач.

Разница в возрасте в детстве мешала нам дружить, да и по характеру своему он был всегда замкнут и насторожен. Когда я учился во втором классе, он уже заговаривал о женитьбе.

Приходила к нам на Гоголевскую Ханифа, кажется, уже с четырьмя детьми. Принимали ее всегда с почетом, как старшую, хотя и разведенную жену.

В тридцать седьмом Ургуту было девятнадцать. Отец предупредил его, чтоб уезжал из Узбекистана. Ургут уехал в Кинель, поступил в сельхозинститут и там был арестован, получил свои десять лет, в лагере «дошел», был «сактирован», выжил, долго скитался, работал плотником и всячески избегал прописки.

Тюрьма, как болезнь, одних приводит к смерти, другим дает осложнения на всю жизнь, третьи отделываются воспоминаниями в кругу друзей. Брат получил серьезные осложнения и, хотя сумел после реабилитации окончить институт, защитить кандидатскую и родить пятерых детей, но пришибленность осталась. Осталось то, что поразило меня тогда, в пятьдесят шестом.

Мы собирались на прием к Мухитдинову, и брат, работавший плотником на стройке, спросил меня:

— Как думаешь, если я попрошу, может он дать распоряжение, чтобы прораб ставил меня на плинтуса? На плинтусах нормы хорошие.

...Вместе с Ургутом мы пришли в ЦК. Никогда не забуду разговора там и своей благодарности Н. А. Мухитдинову. Недавно я напомнил ему нашу встречу, но он позабыл, что говорил мне и брату в кабинете моего отца, где и обстановка осталась как будто той же. Мухитдинов сказал:

— Когда арестовали вашего отца, я был студентом и к его аресту отношения не имел никакого. В его гибели виноваты разные люди, в частности Усман Юсупов,— еще некоторые живые. Но когда я пришел в этот кабинет, я прежде всего занялся делом вашего отца. Недавно я докладывал на Президиуме ЦК КПСС, что прокуратура республики реабилитировала всех, кто обвинялся по делу «Милли Истиклял». Не было такой организации, значит, сказал я, необходимо реабилитировать Акмаля Икрамова, который в руководстве этой националистической организацией обвинялся. Никита Сергеевич помнит вашего отца. Он сказал, что вопрос надо поручить товарищу Руденко, потом ткнул пальцем в Молотова и добавил: «Вы эту кашу заварили, вы и расхлебывайте. Срок два месяца».

Н. А. Мухитдинов больше обращался ко мне, потому что Ургут молчаливо сидел в позе узбекского просителя, то есть склонившись и сложив руки у живота.

— Запишите телефон заведующего Отделом административных органов ЦК КПСС товарища Дедова и Генерального прокурора Руденко. В разговоре с ними можете прямо ссылаться на слова Никиты Сергеевича, напомнить и срок — два месяца.

Я взлетел в сферы, о каких не помышлял. Тут же решились практические вопросы: брата восстановили в Ташкентском сельхозинституте, дали квартиру. Я ни о чем для себя не просил, мне хватало девятиметровки. Учиться дальше я не хотел, боялся, что не справлюсь, но Мухитдинов настоял, позвонил в Москву в ЦК большому начальнику, и меня почти насильно заставили идти учиться в вуз. Предлагали МГУ, но я рассудил, что институт пусть будет похуже. Думал примерно так: проучусь до первых экзаменов, которые, конечно же, завалю, а после зато в анкетах можно писать: «образование высшее, незаконченное».

Отца реабилитировали не через два месяца, как того хотел Хрущев, а лишь через год, как только изгнали из партии Молотова, Кагановича и всю, по официальной терминологии, «антипартийную группу». С Н. А. Мухитдиновым я встречался, когда после XXII съезда он не попал в Политбюро и оказался заместителем председателя Центросоюза. После снятия Хрущева Нуритдин Акрамович встречаться со мной не захотел, а позже поразил меня в разговорах своими совершенно новыми суждениями: резко положительной оценкой Молотова, когда Черненко восстановил его в партии, резко отрицательным отношением к Хрущеву и даже — удивительно не ко времени — восхвалением Сталина и Усмана Юсупова.

О политика! Что ты делаешь с людьми!

Не могу не вспомнить, как в ЦК КПСС знакомили меня с выпиской из постановления Президиума о посмертном восстановлении отца в партии. Чиновник вынул бумажку из сейфа, дал прочитать и пальцем указал на гриф в правом верхнем углу бланка: «Совершенно секретно».

— Оглашению не подлежит,— предупредил он.

— Это для вас секретно,— нахально возразил я.— Сейчас же пойду, наменяю пятнашек и буду звонить всем знакомым.

— Мое дело предупредить,— сухо сказал чиновник.

За справкой Верховного суда я зашел позже. В тексте была указа-

на должность отца, и полковник (не тот, что на улице Кирова, а другой) сказал, что он очень рад, что справедливость восторжествовала и т. д.

— Да,— согласился я.— Это действительно великое дело. Ведь теперь уже рухнул весь процесс «правотроцкистского блока», рухнуло «дело» Бухарина и Рыкова.

— В каком смысле? — удивился полковник.

— Если один из главных обвиняемых оправдан подчистую, то значит, что и весь процесс — липа.

— А ваш отец проходил по тому процессу? Вы не ошибаетесь?

Некоторое время ушло на то, чтобы убедить военного юриста, что я не ошибаюсь.

Полковник куда-то сбегал, привел еще троих полковников, и я повторил сказанное.

Они были ошарашены, другого слова мне не найти. И не зря не верили своим ушам. Понадобились еще тридцать с лишним лет, чтобы свершилось то, что мне казалось законным. Глупые полковники были умней меня.

Спустя некоторое время, вновь приехав в Ташкент, я сразу пошел в ЦК — надо было добиться, чтобы газеты опубликовали большую статью об отце, чтобы все узнали, что он реабилитирован и восстановлен в партии. Большие люди выслушивали меня, говорили «бажарамиз» — сделаем, но не делали ничего. Ташкент не хотел.

Тогда я написал письмо Н. С. Хрущеву. До сих пор горжусь формой и содержанием того письма. Оно явно было доложено Никите Сергеевичу, потому что очень скоро в «Правде» появилась редакционная статья. В связи с этой публикацией помню деталь, весьма характеризующую время и нравы.

Задание напечатать статью об Акмале Икрамове «Правда» получила срочное и сразу связалась со мной: «Кто может написать?» Я назвал двух ташкентских историков, но редакция спешила: «А вы бы не смогли дать материал?»

Статью я написал полностью, но заголовка не предложил. Дежурный редактор отдела прочел ее, одобрил и стал придумывать, как озаглавить. Из текста ничего не выудил и приписал две строки: «Память об этом верном сыне ленинской партии навсегда сохранится в сердцах советских людей».

Таким образом заголовок был найден: «Верный сын партии», но ни редактор, ни я не ожидали последствий. А они оказались замечательными: на другой день после выхода газеты ЦК КП Узбекистана и Совет Министров республики приняли постановление об увековечении памяти А. Икрамова. Как же иначе, если «Правда» сказала, что память навсегда сохранится?

Узбекский писатель передал мне слова Рашидова, сказанные затем в узком кругу: «Если б наши дети так заботились о нашей памяти».

Писателю этому я в общем-то доверял и не сдержался: «Для этого нужно, чтобы отец был таким, как мой».

«Я знал вашего отца».

Эту фразу приходится слышать часто. Особенно после реабилитации.

Когда в «Правде» была опубликована статья «Верный сын партии», ко мне подошел человек, с которым я был довольно хорошо знаком до этого и встречался по меньшей мере раз в месяц. Это был Михаил Маркович Шейнман, доктор наук, профессор, крупнейший специалист по истории Ватикана. Я знал, что Михаил Маркович прошел немецкий плен, выдавая себя за татарина. Он был очень осторожен до войны, во время войны и после нее.

— А ведь я знал вашего отца.

— Да? — вежливо удивился я.

В те дни многие говорили об этом. Многие видели его, слышали его выступления, бывали вместе с ним на конференции или в театре.

— Я учился с вашим отцом в Свердловке, в Коммунистическом университете имени Свердлова, на одном потоке с 1922 по 1924 год.

Вот те раз! Сколько лет молчал, видя меня.

— Слушаю вас, дорогой Михаил Маркович! Слушаю!

Этот период жизни отца был вовсе тогда не известен мне.

Как это, кстати, получилось, что отец, узбек-выдвиженец, не имея возможности знать о письме Ленина по национальному вопросу, написал письмо в ЦК РКП(б) с резкой критикой сталинского плана автономизации? Письмо было аргументированным, отец критиковал Сталина с позиций марксизма. Как это он смог, сумел?

Вот об этом я и спросил.

— Ваш отец,— сказал М. М. Шейнман,— был наиболее эрудированным из студентов, а в национальном вопросе считался специалистом.

Далее мой собеседник заговорил о скромности.

— Его отличительной чертой была скромность,— сказал Михаил Маркович.— Он был очень скромным.

— Простите,— прервал я.— Как это вы, студенты одного курса, могли отличить кого-то по скромности? Простите, но это странно. Может быть, он был робким, забитым, несмелым?

Я боялся, что осторожный Шейнман будет говорить общими фразами. Я ошибся.

— Нет, он был очень скромным. Это ведь считалось, что он такой же студент, как мы, но мы все знали, что он оставлен в прежней номенклатуре секретаря ЦК КПТ, что его часто вызывают в ЦК в качестве консультанта, что ему вскоре предоставили комнату в Доме Советов, что Сталин советуется с ним, спорит. Представьте, ведь Сталин, будучи генсеком, читал у нас курс «Марксизм и национальный вопрос». Как нам не удивляться скромности Икрамова, если в перерыве между лекциями мы видим, что наш товарищ, однокурсник, прогуливается с генсеком по улице и горячо спорит. Спорит с генсеком! По жестам видно, что идет спор. А потом он с нами, студент как студент.

— Я знал вашего отца,— однажды сказал мне известный поэт и переводчик Семен Липкин.— Я с ним встречался по поводу переводов Алишера Навои. Это было в тридцатых годах, когда Навои еще считали классово чуждым, идеологом феодально-эксплуататорского строя. Ваш отец поставил вопрос о том, что Навои должен быть возвращен узбекскому читателю, что это величайший поэт и с его творчеством необходимо ознакомить также и русского читателя. Он говорил о Навои, о том, какие эквиваленты для перевода следует искать в русской поэзии, говорил о двух лингвистических пластах в его лексике, находил аналогии, сопоставляя словари Пушкина и Державина, вдавался в тонкости, которые свидетельствовали о глубоком понимании поэзии вообще.

До разговора с Семеном Израилевичем Липкиным я знал, что отец был довольно образованным марксистом. Но то, что я узнал от Липкина, не вполне укладывалось в мои тогдашние представления об узбеке-выдвиженце: два языковых слоя в поэзии Навои... эквиваленты в русской поэзии...

Наш дальний родич — заслуженный учитель, орденоносец Насыр-ака учился вместе с моим отцом в мектебе (домашней школе) моего дедушки муллы Икрама.

— Скажите, Насыр-ака, вот говорят, что отец хорошо знал поэзию. Откуда это могло быть? Что, у вас в мектебе изучали стихи?

— Изучали, Камильджан, изучали, только совсем немного. Но дедушка Икрам не любил стихи. Стихи любил Касым коры-ака, Алимхан любил стихи. Это у них твой отец научился.

— Насыр-ака, вот вы говорите — Алимхан, это, как я понимаю, старший брат дедушки, и Касым-коры, муж тети,— вы говорите, что они хорошо знали поэзию. А откуда они знали поэзию?

— Ну, что ты, Камиль? Алимхан написал труд, большой труд. Называется «Туркестан тарихи» — «История Туркестана». Он же ученый был. И Касым-коры тоже был ученый.

— Насыр-ака, конечно, мы не можем знать сейчас точно,— время

уходит, и мы уже не помним, — но очень интересно, откуда все-таки в нашей семье в центре Старого города оказались такие образованные люди? Что это была — образованная семья?

— Конечно, образованная, — говорит Насыр-ака. — Выше твоего отца четырнадцать поколений узбекской интеллигенции в нашем роду.

— Четырнадцать? — спрашиваю я. — Откуда это известно?

Разговор идет после плова в загородном домике Насыр-ака возле школы, где он учительствует. Мы пьем чай с леденцами. В вазочках лежат окаменевшие конфеты фабрики «Уртак» и печеньe «Привет».

Насыр-ака встает, надевает у выхода свои глубокие галоши — двор полили из шланга — и идет к сараю. Он приносит толстую тетрадь, исписанную по-арабски. На одной из страниц этой тетради тщательно вычерченное генеалогическое древо нашей семьи. Здесь место всем.

Вот так выглядит прямая от отца и выше.

Акмаль (1898—1938), Икрам-домла (1866—1917), Мохаммед-Касымхан (1848—1903), Мохаммед-Салих (1819—1862), Караходжа (известна только дата смерти. Повешен за организацию восстания 28 января 1876 года), Хамид-Ходжа (1760—1824), Юнусходжа (дат рождения и смерти у меня нет) — восходят к знаменитому шейху Хованди Тахуру, а тот, по преданию, нашедшему место в трудах классика таджикской литературы Абдуррахмана Джами, происходит от самого халифа Омара, основателя мусульманской империи.

Я не очень верю этому древу, хотя почему бы и нет. Во всяком случае, здорово, что люди помнят или пытаются помнить, от кого они произошли. Это ко многому обязывает.

Окончание следует

Виль Липатов

ЛЕВ НА ЛУЖАЙКЕ

РОМАН*

Глава третья

I

Нелли Озерова сегодня так хорошо выглядела, что Никита Ваганов — вот неожиданность! — потихонечку приревновал ее к «господину научному профессору», чего с ним никогда не бывало и не будет впредь. Этого еще не хватало — ревновать любовницу к ее мужу, знающему о любовнике и равнодушному к этому обстоятельству! И Нелли Озерова — женщина и еще раз женщина — почувствовала, что Никита Ваганов смотрит на нее не так, как обычно, и от этого еще больше расцвела. Она зыбко сидела на своем грубом деревянном стуле, казалось, готовой к старту — или улететь к чертовой бабушке, или завалиться в постель с Никитой Вагановым, который зашел в промышленный отдел, где буквально не могли работать по сей день, узнав, что произошло на бюро, и подозревая о реакции Пермитина на статью Боречки Ганина «Директор».

Экономно улыбаясь, Никита Ваганов сказал:

— Думаю, товарищ Ганин, что ваш очерк наделает еще много шума!

Это было заурядным пророчеством: зазвенел телефон, Яков Борисович Неверов снял трубку и засветился, как светлячок в беспросветной ночи. Он хмыкал в трубку восторженно, и только поэтому можно было понять, что звонит ответственный секретарь Виктория Бубенцова. Неверов осторожно положил трубку на рычаг.

— Боренька, Бубенцова сообщает о многочисленных откликах населения на твой от-черк!

— Так-то! — сказал вспотевший от радости Борис Ганин.

Ему был дорог очерк об Александре Марковиче Шерстобитове, очерк на самом деле отличный, кроме того, Борису Ганину нужно было доказать наконец-то, что он умеет писать не только разгромные лихие статьи.

Что касается Никиты Ваганова, то он тоже был доволен: и тем, что его пророчество волшебно сбылось, и тем, что очерк об Александре Марковиче Шерстобитове, наделав много шуму, получив широкий отклик, разъярит пуще Пермитина, доведет его до белого каления, заставит в конечном счете окончательно раскрыться. Александр Маркович Шерстобитов ненавистен Пермитину уже тем, что окончил Лесотехническую академию, что не встречал директора комбината хлебом-солью, что при нем Пермитин боялся говорить на профессиональные темы. Кроме того, Пермитин не был уж таким кромешным дураком, чтобы не понять: статья «Былая слава» и очерк «Директор» начали подпиливать ножки его рабочего кресла.

— Ну вот! — сказал Никита Ваганов.— Вызываю духов, табуретки превращаю в пирожное безе. Где аплодисменты? Ах, аплодисмен-

* Окончание. Начало см. «Знамя» № 4 за 1989 г.

тов нет. Оревуар, что значит: «Не горюй, Никита, люди в массе своей неблагодарны». Боря, с вас — выпивка.

Непьющий Никита Ваганов, проповедующий трезвость Никита Ваганов неожиданно напьется, когда будут «обмывать» ганинский очерк о Шерстобитове; они напьются втроем — два Бориса и он, и эта пьянка временно поссорит Никиту Ваганова с Борисом Ганиным и Борисом Гришковым — с этим на самое короткое время.

Одним словом, сейчас в промышленном отделе благословенной газеты «Знамя» назревала радостная пьянка.

— Только всячески призываю к разумности и умолчанию,— сказал Никита Ваганов.— Буэнос ночас, что значит: «Бубенцова не дремлет!».

— Вы сегодня в ударе, Никита Борисович! — сказал Неверов.— Из вас так и брызжет пророчеством и каннибализмом... Правда, я не знаю, почему говорю о каннибализме. Смешно? Может быть, может быть! Вы знаете, в этом мире невозможно все и еще немножко. Вы не находите, Никита?

— Нахожу. Это рубль.

— Приглашаю всех! — заорал Борис Ганин.—Выходим прямо после шести. Не боись, Ваганов, будет и закуска. Убери свой паршивый рубль.

Было минут десять седьмого, когда они втроем — два Бориса и Никита Ваганов — вышли из редакционного здания, по жаркой еще улице двинулись к винному подвальчику, который находится под знаменитым на весь бассейн реки рестораном «Север», повидавшим столько бурь, веселий, потерь и находок, что ему мог бы позавидовать любой столичный ресторан. В погребок вели два марша выщербленной, сырой, грязной лестницы, сквозь обитые железом двери доносился прибойный шум алкогольного оживления. Они вошли. Пахло прокисшим вином, шоколадными конфетами, мокрыми опилками и — это главное! — отсыревшими бетонными стенами. За прилавком стояла известная всему пьющему миру Зоя — губительница и палочка-выручалочка. Рассказывали, что она построила пятистенный дом на недоливе, пересортице и процентах с долга,— это походило на правду.

— Занимайте места согласно купленным билетам! — сказал возбужденный Борис Ганин.— Гуляем широко! Как говорит Никита Ваганов, предельно широко.

Многочисленные читатели атаковали телефон Бориса Ганина, благодаря его за прекрасный очерк о прекрасном человеке; совет пенсионеров какого-то предприятия пообещал написать хвалебное письмо в обком партии, отдельная пенсионерка Р. Коган уже написала письмо в «Правду», журналисты благодарили Бориса Ганина по существу: радовались, что он умеет работать и в жанре очерка. Поздравили Бориса Ганина также из промышленного отдела обкома партии.

— Ого! — приподнял брови Никита Ваганов, когда Борис Ганин поставил на высокий стол две бутылки хорошего вина, большие, литровые. — Начало многозначительное, товарищи!

Никита Ваганов внимательно оглядывался по сторонам, чтобы определиться, так сказать, в пространстве и времени. Погребок был полон, столики на высоких ножках тесно окружали пьющие; винные бутылки тускло светились; погребок гудел, постанывал и, казалось, куда-то двигался, точно река в ледоход. Никита Ваганов узнал несколько известных в городе лиц: бледного, с выставленным, как кукиш, подбородком и маленькими глазами фельетонно плохого писателя, одного художника-анималиста, краснолицего, с отличной мужицкой физиономией известного биолога — любимца сибирского студенчества.

— Не тяни время! — презрительно сказал Боб Гришков, глядя, как Борис Ганин старается вынуть пробку из бутылки.— Вталкай пробку вовнутрь, черт бы тебя побрал, идиота!

Боб Гришков сегодня еще не пил «ни разу» и, конечно, был молчалив и зол, ненавидел весь мир, а копуху Бориса Ганина ненавидел с особой силой. Он отнял у него бутылку, толстым пальцем мгновенно продавил пробку вовнутрь и налил три полных стакана. На закуску были шоколадные конфеты, кусок холодной курицы, докторская колбаса, банка шпротов. Борис Ганин не обманул, купил все положенное для того, чтобы сильно не опьянеть.

— Ну?!

Вспоминая впоследствии этот вечер в погребке, Никита Ваганов будет испытывать двойственное чувство: молодость и сила вспомнятся, предвкушение глобальной долгожданной удачи, хорошие люди, вспомнятся дым, шум, гром, пьяная песня о том, как провожают пароходы, а потом и очень славное, из Новеллы Матвеевой: «...такой большой ветер напал на наш остров...». Хорошо будет вспоминаться этот летний вечер, хотя закончится он довольно гадко, если подходить к случившемуся без спасительного чувства юмора. Впрочем, чем хорошим могло закончиться питейное мероприятие, если начали его трое с двух литровых бутылок? Но — увы, и это были не последние бутылки, а только и только первые. Никита Ваганов вспомнит, как после двух стаканов вина Боб Гришков не сильно, но заметно опьянеет, как Борис Ганин покраснеет до пунцовости, и глаза у него будут блестеть победоносно и счастливо.

...Боб Гришков протяжно, густым и вязким голосом сказал:

— Никита, а ведь ты не умеешь пить! Запомни, милай: нельзя быть пьянее Боба Гришкова, некрасиво, неэтично, опасно.— Он этак по-раблезиански расхохотался.— Боб Гришков — толстый и смешной, Боб Гришков — пропащий человек, от него никто ничего не ждет, так пусть себе живет, как ему, Бобу Гришкову, вздумается. А вот от тебя, Никита, все ждут чего-то, и — главное! — ты сам от себя ждешь чего-то... Тебе надо виртуозно уметь пить! Ты понял, Никита?

А Никита Ваганов и не думал чувствовать себя пьяным. Правда, казалось, выросли столики и люди за столиками, правда, уже речным туманом застилал потолок сигаретный дым; правда, звуки притишились, сделались такими, точно их пропустили сквозь вату; правда — и это очень важно,— Никита Ваганов испытывал жгучее желание пощекотать Боба Гришкова, но не сделал этого, а только удивленно сказал:

— Слушай, Боб! А ведь тебя невозможно пощекотать. Ты, наверное, не боишься щекотки, да?

Неожиданно к этим словам Боб Гришков отнесся серьезно. Он тяжело вздохнул и огорченно сказал:

— А вот боюсь! Как ни смешно, а боюсь!

— Он боится! — подтвердил Борис Ганин.

Почему Боб говорил, что Никита Ваганов не умеет пить, если Никита чувствовал себя предельно трезвым? Ну, что из того, если кружится голова, подкашиваются ноги, руки кажутся привинченными и хорошо смазанными. Конечно, Никита Ваганов за всю свою жизнь выпил не больше литра водки, конечно, он не имел никакого питейного опыта, но что из этого, если он до сих пор совершенно трезв?

— Ты ошибаешься, Боб! Я совершенно трезв, а вот ты пьян в лоск и говоришь, Боб, глупости. Отчаянные глупости!

В студенческой компании Никиты Ваганова, в этом обществе сплошных гениев, эрудитов и тоняг, почти не пили, считали питье плебейством, презирали пьющих, считали их людьми низшего порядка.

На двенадцать человек покупали одну бутылку сухого вина, размазывали его по бокалам и говорили, говорили, говорили... Впрочем, Никита Ваганов говорил немного, но он говорил дело, чем и славился в студенческом кружке — его считали перспективным, на него многие равнялись, ему даже подражали. Девчонки наедине с ним были покорны и тихи, даже самые строптивые, но Никита Ваганов не злоупотреблял их вниманием.

— Нет, Боб, ты просто пьян — и точка! — сказал Никита Ваганов и рассмеялся тоже по-раблезиански.— Нельзя же, дорогой мой, переносить с больной головы на здоровую. Это нечестно, это предельно нечестно, Боб!

Прибоем шумел винный погребок под рестораном, пол покачивался палубой парохода... Эти ощущения у Никиты Ваганова всплывут тоже, когда станет он вспоминать день, предшествующий очередной победе над Арсентием Васильевичем Пермитиным. Он отчетливо вспомнит низкий погребок, двух Борисов, певца, что пьяно, но четко выговаривал окуджавское: «...По смоленской дороге столбы, столбы, столбы...». Одним словом, Никита Ваганов напивался первый раз в жизни, первый раз за двадцать пять лет жизни. Он спросил:

— Кто это поет Окуджаву? Хорошо поет.

Боб Гришков ответил:

— Витька Калинченко, актер... Славный парень.

— Талантливый?

— Очень. Готовит царя Федора. Я видел куски — ах!

Никита Ваганов увлеченно сказал:

— А нельзя соединиться с этим Калинченко! Вот было бы весело.

Боб Гришков сказал:

— Запросто! Витька будет рад с тобой познакомиться, Никита. Он как-то даже просил об этом. И знаешь почему?

Никита Ваганов шутливо надулся и пробасил:

— Кому не лестно познакомиться с гением.

— Примерно правильно. Но дело проще. Витьке нужна союзная слава, и он ее достоин, можешь поверить толстому Бобу Гришкову. А ведь тебя охотно печатает «Заря», и ты шурупишь в драме. Приглядись, Никита, к нему. Лежит хороший очерк... Так я позову его?

— Ой, Бобище, позови! — Никита Ваганов тряхнул головой.— А может быть, я действительно пьян? Мы по скольку выпили? Уже по три стакана? Гм! Ах, где наша не пропадала! Где наше не про-па-да-л-о-о-о! Петь хочется...

Драматический актер Виктор Калинченко был длиннолиц и бледнолик; брови у него были украинские — черные, пышные, изогнутые; подбородок — от лучшего киноковбоя. Он был здорово пьян, но все необходимое проделал с грацией и пониманием того, что делает; обменялся рукопожатием с Никитой Вагановым, похвалил его именно за те два материала, за которые следовало хвалить, встал на нужное место и стакан взял со стола не только верным, но изящным движением. Прежде чем выпить, он пропел: «Две холодных звезды — голубых моих судьбы». Когда выпили по очередному стакану, Боб Гришков спросил:

— Когда показываешь царя, Витька? Учти, придем всем гамузом.

Калинченко ответил:

— Через пять дней.— Он закрыл глаза.— Знаете, что я понял?.. Что царь Федор понял... Самое страшное — ханжество! — Открыв глаза, он больно стиснул кисть вагановской руки.— Дайте мне слово не быть ханжой! Обещаете? Тогда я вам процитирую Евангелие от Луки... «Когда ж услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь... Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную...». Да что Лука? Вся Библия пронизана ханжеством...

Витька Калинченко понравился Никите Ваганову, здорово понравился: типичная актерская внешность, прекрасный голос и еще то, что могло пригодиться именно для царя Федора — нервная энергия, сложность, способность к сосредоточению. Все, кажется, было у этого человека для роли царя Федора, и Никита Ваганов подумал, что, может быть, удача сама плывет в руки. Очень неплохо выступить в «Заре» в роли театрального критика, да и «Заре», наверное, нужна театральная рецензия из обычной области. Не все же писать о столице.

— Я сегодня певчая птичка,— сказал актер Калинченко.— С утра привязались мотивы Окуджавы, и я, честное слово, лопну, если не выпоюсь.— И он запел, на этот раз негромко, из уважения к трем журналистам.— «За что ж вы Ваньку-то Морозова...».

Это было только начало, старт, затем четверо переберутся в грязную и тесную комнату Калинченко, притащат с собой вино и бутылку водки, из которой Никита Ваганов не отопьет и грамма. С него хватило и вина, как выяснится очень скоро. Через пять минут после вселения в комнатушку актера Калинченко произошло неожиданное — уснул мертвым сном виновник торжества Борис Ганин. Сел за стол, с размаху, один, выпил стопку водки, покачнулся, повалился на замызганную кровать и уснул, так сказать, отпал.

— Пусть, пусть! — актер негромко настраивал гитару. — Я его знаю: через полчасика вернется в строй.

Актер демонстрировал чудеса. К их высокому столику он подошел прилично пьяным, выпил два стакана вина, потом еще один — уже перед выходом из погребка — и отрезвел так, что сейчас он оказался самым трезвым в компании, где один из бойцов уже вышел из строя. Настраивая гитару, он задумчиво глядел в темный угол комнатушки, ухо наклонил к гитаре, и брови у него были сладострастно-трагическими: таким бывает лицо у всех гитаристов, настраивающих свой инструмент. Он взял звучный аккорд и начал смотреть в переносицу Никиты Ваганова. Конечно, он это делал не потому, что хотел подладиться под него, платил за будущую хвалебную рецензию, но весь вечер он пел только для Никиты Ваганова и для одного Никиты Ваганова. Может быть, это объяснялось просто: песни Окуджавы он двум Борисам пел давно и часто.

— Спеть, что ли, Таганку? — сам себя спросил Калинченко, уже напевший десяток песен.— Мне нравится мотив, хотя песенка проста, как гвоздь.— Он закрыл глаза, закрыл красивые глаза красными от усталости веками. — Проста, как гвоздь, понимаете ли, товарищ Ваганов?

Борис Ганин безмятежно спал, Боб Гришков допивал и доедал, ненасытный зверюга, за окнами комнатушки неустанно скрежетали трамваи, совершая в этом месте крутой поворот. Спать, читать, думать, просто жить в этой комнате живому человеку было невозможно, и только, наверное, актер, пребывающий вне дома круглыми сутками, мог селиться в квадратном чулане, именуемом комнатой. А ведь, как случайно выяснилось, три месяца назад здесь жили трое — еще жена и ребенок Виктора Калинченко. Жена, конечно, не выдержала, убежала, и убежала не от Виктора, а от актеров и актерства.

— Не буду я петь Таганку! — внезапно ожесточенно прохрипел актер.— Не буду петь вообще! Хочу на воздух, хочу смотреть, как провожают пароходы. Друзья, уйдем отсюда, уйдем отсюда, друзья!

Боб Гришков, икая и покачиваясь, ответил:

— Хорошо! Пойдем смотреть, как провожают пароходы. Водку и вино берем с собой. Эй, ваше скотство, проснитесь! Борька, дело кончится холодной водой. Ты слышишь меня? Я не шучу! Идиот несчастный!

Борис Ганин спал, Боб Гришков мог легко отказаться от выхода

из комнаты актера, Никита Ваганов не хотел смотреть, «как провожают пароходы». Короче, не надо было выходить из дома, но не волшебник же Никита Ваганов, не маг, чтобы предвидеть результат прогулки на пристань для наблюдения за тем, «как провожают пароходы». Однако дело кончилось большой или малой — как расценить? — неприятностью для Никиты Ваганова, который к моменту выхода был не пьян, но и не трезв, а только чувствовал громадную усталость. Самым трезвым в их компании по-прежнему был больше всех пивший драматический актер Виктор Калинченко, о котором Никита Ваганов, когда конфликт приглушится, напишет хорошую рецензию для газеты «Заря»... Прелюбопытнейшего царя Федора сыграет актер Калинченко — мудрого, сильного в своей слабости человека, прозревшего до ясновидения. С рецензии в газете «Заря» начнется работа Виктора Калинченко в одном из московских театров, в кино и на телевидении... А сейчас они вышли из дома, по переулку пошли в сторону зарева, что полыхало над Сибирской пристанью. Сначала шли молча, поддерживая приходящего в себя от свежего воздуха Бориса Ганина, потом, когда он пошел относительно твердо, двигались по отдельности и посередине переулка. Актер Калинченко другим, не гитарным голосом запел: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...» И пел он прекрасно, Виктор Калинченко на самом деле был хорошим актером и — это скоро выяснится! — хорошим человеком, а вот Никита Ваганов проявит себя гнусно и будет всю жизнь вспоминать переулок и песню «Вечерний звон», ставшую для него навсегда частью этого переулка.

Неотвратимое приближалось. Старинный романс на стихи Козлова теперь пели все четверо. Боб Гришков вторил актеру прекрасным верным басом, Борис Ганин старательно подпевал, Никита Ваганов мычал и даже — пьяная скотина! — изображал колокольный звон, впрочем, весьма похоже. Они не заметили, как сзади подкатил милицейский «газик» ночной патрульной службы и, опередив их, остановился. Из машины выпрыгнули сразу трое, причем так ловко и согласованно, точно были на одной пружинке, пошли — нет, стали ждать!.. Никита Ваганов действовал автоматически, видит бог, он не хотел делать того, что сделал, не обдумывал свой поступок заранее, но он действовал на диво осмысленно, логично и последовательно. Никита Ваганов, только что изображающий звон колоколов, выпрямился, заложив руки за спину, задрал подбородок, перестал мгновенно качаться, перестал на несколько секунд вообще быть пьяным и похожим на тех троих, с которыми пил водку и пел песни. Чуждый происходящему, важный, начальственный, суровый, он прошел, точно нож масло, приятелей и троих из патрульной службы, причем милиционеры поспешно раздвинулись, чтобы открыть путь такому значительному, явно неподсудному человеку, как Никита Ваганов, не имеющему — это было очевидно милиционерам! — никакого отношения к людям, в двенадцатом часу ночи нарушающим покой означенного переулка и всего города. Никита Ваганов услышал, как за его спиной пророкотал голос начальника патруля:

— Будем садиться, граждане!

Никита Ваганов улыбнулся, и вот эту улыбку, эту проклятую улыбку пьяного, но ловкого предателя, он запомнит на всю жизнь...

...На синтетическом ковре в ожидании приговора он ярко вспомнит и об этом переулке, милицейском патруле, который он разрезал, как нож масло, чтобы остаться беспорочным, как папа римский. Привода в милицию — этого еще не хватало тому Никите Ваганову, каким он уже становился и хотел стать завтра, но ему дорого обойдется финт в переулке: почти всю жизнь время от времени будет лишать его душевного комфорта... Самое забавное, что история в переулке кончилась не только благополучно, но и смешно. Схваченные патрулем, трое не стали оправдываться и уверять, что «это в первый раз», охотно согласились пойти в милицию, но старший патруля узнает актера Виктора Калинченко, расплывется в благодарственной улыбке, спросит: «Вы играли сержанта милиции? Хорошо играли, а вот безобразите, товарищ Калинченко! Стыдно! Нехорошо! Сидели бы себе дома!» И добавит вдруг: «А хорошо пели, душевно!»

II

Дома Никита Ваганов камнем повалится в постель и мертвенно заснет, устав от всего: вина, людей, песен. Он проснется, вспомнит вчерашнее, ничего грешного в своих делах пока не найдет, так как из воспоминаний о вчерашнем вообще улетучился эпизод с милицией. О предательстве ему напомнит телефонный звонок Бориса Ганина — самого крупного максималиста: «А ты ведь подлец, голубчик». Весть распространится с телефонной скоростью... Окажется, что патруль все-таки узнает, кого пропустил сквозь себя, как нож сквозь масло, потешаясь, расскажет приятелям — и пошло-поехало! За утренним кофе Боб Гришков расскажет о случившемся родной жене Рите, та расскажет жене мистера Левэна — и пошло-поехало!

После звонка Бориса Ганина в спальню вошла Ника, горько сказала:

— Ах, как это гадко, Никита! Как ты мог это сделать, Никита? Зачем? Как стыдно! Как стыдно!

Он хрипло — вчерашняя выпивка — ответил:

— Я сам не представляю, как это произошло...

— Ну, как ты мог, как ты мог?! Не дай бог, узнает папа! Не дай бог!..— Она чуть ли не плакала.— В моей школе об этом знают уже три человека, самых грязных и отвратительных сплетника. Разве ты не понимаешь, Никита, что ты на виду, за тобой следят, тебе завидуют. Как ты мог, как ты мог?

Он вспомнил все, до малейшей подробности: как заложил руки за спину, как задрал подбородок, как приобрел осанку и походку сверхважного начальства, как гордо посверкивали его властные карающие очки... Он сказал:

— Слушай, Ника, я был предельно пьян. Тебе не приходит в голову, что я не владел собой?..

И сам понял, как смешон и гадок! Предал товарищей, предал себя, предал все и вся — вот ведь что произошло, гражданин Никита Борисович Ваганов, в переулке.

— Я растеряна, Никита, я просто растеряна. Я не знаю, что делать.

Он ответил:

— Работать. Идти на очередной урок, а дело с переулком... Я заглажу вину, Ника.

— Ты понимаешь, что виноват, да, Никита?

— Я не кретин! До вечера!

Никита Ваганов в который уж раз вспомнил Москву, длинную Первомайскую улицу, по которой до сих пор ходит трамвай. Моросил холодный дождь, асфальт был скользок, точно его намылили, грязь и смрад царили на земле, смрад и грязь; мокрые вороны, серые от грязи автомобили, мокрые и злые люди, шум и треск, крики и вопли, звонки и сирены, черные деревья, серые дома-башни. Старушка с короткой вуалеткой на шляпке, старушка в черных перчатках и с черным зонтиком, старушка, похожая на давно потерявшую голос опереточную актрису, старушка с напудренным носиком бежала к трамваю с еще открытыми дверями, стоящему возле красного светофора; бе-

жала она, мелко-мелко передвигая ногами, наклонившись вперед, так как давно не могла разогнуться, бежала изо всех старушечьих сил, задыхаясь, жадно ловя воздух маленьким, но широко открытым ртом. Сквозь стекло на старушку ясно и внимательно смотрела девчонка в берете, водитель трамвая, девчонка с розовым лицом поросенка — детской копилки для медных монет... И вот двери трамвая со скрипом пришли в движение, поползли друг к другу, чтобы закрыться. Старушка закричала, споткнулась и упала на мокрый и скользкий асфальт...

— Фу ты, черт! — выругался Никита Ваганов, редко доводивший до конца воспоминания об упавшей на мокрый асфальт старушке.— А ведь дела-то... Ля-ля-ля и ля-ля-ля!

Он возьмет себя в руки, почистит зубы и примет ледяной душ, зверски разотрется полотенцем, выпьет подряд два больших стакана кофе, хорошо просветлившего больную с похмелья голову. Ах, возьми тебя черт, Борис Ганин, с твоим очерком о хорошем директоре. Идиот и дурак! Безвольная и глупая скотина этот Ваганов: за один только вечер растеряно все то, что нарабатывалось годами, месяцами, днями, часами кропотливой, деятельной, напряженной и бессонной жизни. А еще... Перед тем как бросить трубку, Борис Ганин гадливо проговорил: «Так вот что скрывается за очками!».

— Мне нельзя пить! — вслух сказал Никита Ваганов, и вот с этой минуты и до конца дней своих не возьмет в рот спиртного, не выпьет ни капли алкоголя.

Никита Ваганов позвонил по телефону редактору, поздоровавшись, сказал угрюмо:

— Вы мне обещали неделю отпуска без содержания. Можно ли сегодняшний день считать первым? Спасибо!

Голос редактора был веселым и теплым.

III

В Черногорск Никита Ваганов прилетел на сиреневом рассвете, привез его грозно гудящий ЯК-40, который всю дорогу норовил забраться повыше, но не мог, видимо, по своим техническим данным, и Никита Ваганов искренне переживал неудачи пилотов, жалея всех вместе и каждого по отдельности.

Его встретил инструктор обкома партии по печати и, едва пожав руку, сделал печальные глаза. Он сказал:

— Вряд ли, вряд ли... Все эти дни товарищ Одинцов сидит на химии... Тем более что вы внештатный корреспондент «Зари»... Вряд ли...

Это значило, что Никита Петрович Одинцов — первый секретарь обкома партии — занимался химической промышленностью Черногорской области, вникал в ее проблемы, задачи и нужды и, видимо, никого не принимал, кроме химиков или людей, имеющих отношение к химии. Впоследствии выяснится, что так оно и было,— Никита Петрович Одинцов не любил разбрасываться. Но Никиту Ваганова — инструктор только пожал плечами — он принял почти мгновенно. Ведь уже и тогда имя Никиты Ваганова звучало: автор солидных критических статей, помещенных в «Заре», опубликовал свои лучшие ранние очерки, прославившие их героев до того, что один из них даже получил высшую награду — стал Героем Социалистического Труда. Такое произошло с мотористом бензопилы Николаем Щетинкиным. Когда стало известно, что Одинцов примет Ваганова, как только закончит междугородный телефонный разговор, инструктор на него уже поглядывал изумленно.

— Надеюсь, вы мне заказали в гостинице не люкс? — спросил Никита Ваганов.

Он ответил:

— Люкс!

— Вот это зря, дорогой мой товарищ. А простые номера есть? Дело, разумеется, не в деньгах...

...Аскетизмом он заразился в родном доме. Аскетизм проповедовала мать Никиты Ваганова, неистовая читательница и кинозрительница, равнодушная к жизненным благам, настроенная одинаково враждебно и к успеху, и к поражению, убежденная в том, что счастье живет в самом человеке, как пчелы в улье...

Первый секретарь Черногорского обкома партии принял Никиту Ваганова через семь-восемь минут. Дело происходило в кабинете с деревянной обшивкой, и дерево это шло Никите Петровичу Одинцову, почему — объяснить трудно. Наверное, потому, что деревянный и очень небольшой кабинет делал первого секретаря обкома — суховатого и резкого на первый взгляд человека — мягче и проще...

...Года два-три спустя Никита Ваганов твердо будет знать, какой это добрый, мягкий и — простите! — нежный человек, Никита Одинцов... А сейчас он увидел занятого, сосредоточенно трудящегося человека. Инструктор был прав: первый секретарь «вгрызался» в химию, и кабинет был начинен химией. Схемы, карты, модели, прочее и прочее; на столе — справа и слева — лежали новые специальные издания по химии; пахло в кабинете чем-то едким: видимо, недавно побывали рабочие-химики, вызванные для беседы прямо из цеха.

— Садитесь поудобнее, Никита Борисович. У нас с вами есть пятнадцать минут.

Это был царский подарок. Ваганов осторожно разглядывал Одинцова, раздумывая, кого из знакомых он напоминает. Это испытанный прием: незнакомца сравнить со знакомым внешне человеком, найти истинность похожести и вести себя соответственно, как бы ориентируясь на знакомый характер. Никита Петрович Одинцов походил на Володьку Белякова, соклассника, целеустремленного и фанатичного малого, пригодного и на лидерство, и на точную науку, только он, Одинцов, дал бы сто очков форы этому соклассннку. Никита Петрович был рожден лидером — он им был, имел склонность к энциклопедичности и добился кое-чего в познании мира. Внешне Никита Одинцов — тезка Никиты Ваганова — был человеком среднего роста, крупноголовым, прямоплечим и подвижным. Руку он пожал в меру энергично, двигался резко и быстро, его большие карие глаза, чуть-чуть женские, смотрели внимательно на уже известного ему как читателю Никиту Ваганова.

— Чем могу быть полезен, Никита Борисович?

Ваганов ответил не сразу. Он не случайно сделал большую паузу после вопроса Одинцова. Это его метода — не сразу отвечать на вопросы, какими бы простыми и невинными они ни были. Умение отвечать на вопросы — это не придуманное искусство, а целая наука и большое откровение. Поверьте, много крупных бед люди терпят от того, что не умеют отвечать на вопросы. Можно дать несколько советов. Даже если вас спрашивают, понравился кинофильм или не понравился,— не торопитесь, так как вопрос по сути провокационен: посягает на ваши права, на внутренний мир, наконец, на мировоззрение; невинных вопросов не бывает — зарубите себе на носу. Научиться отвечать на вопросы ближних своих и дальних — значит выиграть частично эту забавную игру, называемую жизнью. Вот почему Никита Ваганов не сразу ответил на вопрос Никиты Одинцова: «Чем могу быть полезен, Никита Борисович?» Минуту, не менее, он внимательно разглядывал модель химической установки для производства аммиака, и по его лицу было видно, что Никита Ваганов не дурака валяет, а предельно серьезно относится к «проходному» вопросу первого секретаря. Наконец он сказал:

— Как хотите, так и понимайте, Никита Петрович, но я еще не знаю, чего хочу от Черногорской области. Простите! — И сделал паузу.— Короче, я некомпетентен, но хотел бы стать компетентным.— И еще одна пауза.— Простите, у меня интуиция. Уверен, что материал о вашей области — какой, пока не знаю,— до зарезу нужен газете «Заря».

...С этой фразы, возможно, и началась их длинная дружба, крепнущая с каждым днем, и в тот час, когда Никита Ваганов будет стоять на синтетическом ковре, Никита Петрович Одинцов — человек всегда занятый — будет сидеть на «вертушке», то есть особом телефоне, полный беспокойства и страдания за Никиту Ваганова, тезку, друга, верного друга и поклонника без тени лести...

А тогда... Своим живым умом он понял, каким ответственным, способным на предвидения и адский труд человеком был двадцатипятилетний нештатный корреспондент газеты «Заря» Никита Ваганов, прилетевший в Черногорскую область, чтобы найти один из самых значимых материалов в своей журналистской работе. Одинцов сказал:

— Если хотите, с вами будет работать заведующий промышленным отделом...— Он вздохнул, вздохнул откровенно и горько.— Мы пока еще ничего не можем сделать радикального в сельском хозяйстве. Вот я и подумал, что вам будет интересна лесная промышленность. Впрочем... Если хотите критиковать руководство сельским хозяйством, то и в этом случае вам не вредно побеседовать с заведующим промышленным отделом. Судьба сельского хозяйства сейчас в руках промышленников.

Одинцов нравился Никите Ваганову все больше и больше, он поднимал свои акции от секунды к секунде, и действительно вагановская тонкая интуиция — эта интуиция не хвастовство, а факт! — покрывалась толстым и надежным слоем блестящей удачи...

...Мне еще захочется в этих записках хвастаться, хвастаться напропалую, но пусть бросит в меня камень тот, кто поймает на хвастливом вранье. Я человек до такой степени сильный, что, стоя одной ногой в могиле, легко могу обойтись без приукрашивания жития Никиты Ваганова, я просто отдаю ему должное...

— Габриэль Матвеевич Астангов тоже советовал мне посмотреть лесную промышленность,— сказал Никита Ваганов.— Понимаю, он ничего, кроме леса, не видит, но... Я к нему прислушиваюсь.

— И отлично! И отлично! — радостно сказал Одинцов.— Я полон уважения к Астангову.— Он покачал головой и улыбнулся.— Два часа я уговаривал его перебраться в нашу область, но... Габриэль Матвеевич уперся. И это мне понравилось!

Неожиданно для себя, словно хвастливый мальчишка, Никита Ваганов ляпнул:

— Габриэль Матвеевич — мой тесть.

Когда он познакомится достаточно подробно с лесной промышленностью области, когда придет к Одинцову для окончательной беседы, Одинцов выдаст два таких фонтанчика бахвальства, что Ваганов улыбнется снисходительно и подумает: «Совсем еще зеленый!» А он, наверное, сейчас подумал о вагановской «зелености». Однако Одинцов ничем не показал своего отношения к дурацкому «Мой тесть!». Приподняв брови, он сказал:

— Ах, вот как? Поздравляю!

И все-таки именно с этой секунды отношение Никиты Петровича к Никите Ваганову изменится. Он уже не будет считать его такой загадочной фигурой, какой Ваганов показался после первой фразы о незнании причины своего приезда в Черногорскую область, но, полный уважения к его журналистской работе, всемерно поможет разобраться в лесных проблемах и... станет другом! Поверьте, жизнь Никиты Ваганова развивалась бы по-другому, коли бы он не ляпнул мальчишескую хвастливую фразу «Мой тесть!». Из нее Никита Одинцов поймет, что за многозначительной и вкрадчивой манерой держаться — Ваганов тогда, в Черногорске, был многозначительный и вкрадчивый — скрывается по крайней мере не холодный подлец. Ошибется он или не ошибется, пусть судит об этом читатель исповеди.

...Слово найдено. Я пишу Исповедь, но не хочу исповедоваться, то есть каяться, а ведь исповедь всегда покаяние. Итак, я не хочу, но каюсь, и — идите все, если думаете, что я боюсь умереть. Скорее всего, мне просто нечего делать: сатрапы от медицины запретили мне все человеческое, кроме права писать, и я, привыкший не расставаться с пишущей машинкой, нанизываю слово на слово, абзац на абзац... Машинку я купил в Черногорске, через день после встречи с Одинцовым, когда случайно забрел в комиссионный магазин. До этого дня я работал шариковыми ручками, работал легко, а здесь стояла на полке совершенно новая «Эврика» и стоила чуть-чуть дешевле, чем в магазине. Я обрадовался: «Покажите!» Эта машинка жива до сих пор, на ней я и пишу сейчас, то есть рассказываю о первой встрече с моим тезкой Никитой Одинцовым...

Он сказал:

— Странно. Корреспонденты обычно просят у меня минимум полчаса, а мы не работаем и десяти минут... И вы ничего не записываете.

Ваганов неторопливо спросил:

— Вы считаете несерьезным мой подход к делу?

— Напротив... Мне нравится, что вы думаете, а не пишете лихорадочно.— Он хорошо улыбнулся. — Обычный вопрос «что вы считаете главным в партийной работе?» не задавайте, а?

— Не задам. Я знаю, что главное в партийной работе.

— Ах, вот как? Ну, и что же?

— Главное в партийной работе — сама партийная работа.

Никита Петрович Одинцов засмеялся:

— А ведь правильно!

...Первый секретарь Черногорского обкома партии Никита Одинцов не знает в эти минуты, что очень скоро станет работником Центрального Комитета партии, займет крупнейший пост, сделается человеком огромной важности; он вообще относился к категории тех людей, которые умели предвидеть все, кроме своего продвижения вперед. Начав жизнь с инженера-инструментальщика, Никита Одинцов делал особенно хорошо только одно — любую работу, и его, как сейчас Никиту Ваганова, пронзило предчувствие небывалой чрезвычайной удачи, вызванной тем, что Одинцов встретился с Вагановым, а Ваганов с Одинцовым...

— Познакомьте меня, пожалуйста, с заведующим промышленным отделом.

Заработала селекторная связь.

— Еще раз здравствуйте, Анатолий Вениаминович! Не найдется ли у вас времени, чтобы зайти ко мне на минутку? Спасибо!

Это не рисовка, так как в Черногорском обкоме было возможно и такое: человек, вызванный Первым к селектору, отвечал: «Если можно, через десять минут, Никита Петрович?», — и Одинцов отвечал: «Разумеется!» Это было нормальным только в таком обкоме партии,

где люди загружены предельно, где каждая минута чрезвычайно ценилась... Все эти тонкости и нюансы, впрочем, будут отражены в вагановских материалах о Черногорском обкоме партии... Глупо! Глупо думать, что он писал о самом Одинцове. Его фамилию он упомянул однажды, да и то мельком, но все остальное — кардинальная перестройка лесозаготовок — было только и только про Одинцова. В областях часто называют первого секретаря обкома хозяином. В Черногорской области «хозяин» не привился. Одинцов буквально в первые часы работы показал некоему руководителю такого «хозяина», что у того долго подгибались колени... Однако, как ни исхитряйся, материалы о Черногорской области и особенно о лесной промышленности были материалами о Никите Одинцове. Он узнавался в каждой строчке, в каждом абзаце.

...Хотите знать, что я думаю о лести и подхалимаже? Извольте! И наблюдения за другими людьми, и мой собственный опыт, и книги убедили меня в том, что лесть и подхалимаж неистребимы, как Вселенная. Нет и не будет человека, который в какой-либо форме — иногда предельно утонченной — не откликнулся на лесть и не поддался сладким речениям подхалимов! Это точно. Самые сильные и раскрепощенные в этом лучшем из миров люди льстецов и подхалимов ругают и бранят, высмеивают и даже наказывают, но — запомните навечно! — никогда не отстраняют от себя, если, наоборот, не приближают. Так уж устроен человек, так уж он задуман, и этому есть оправдание. Теперь модно говорить о комплексе неполноценности, наличие комплекса неполноценности приписывают определенным людям определенного круга или социальной группы, но ведь это блажь, трусость, желание по-страусиному спрятать голову в песок. Комплексом неполноценности страдают — интенсивность разная — все люди на земле, в отдельности и сообща. Короли и шуты, миллионеры и босяки, писатели и циркачи, женщины и мужчины. Все! И как нужен каждому человеку свой льстец, свой подхалим, и нет на земле человека, который бы не имел своего льстеца или подхалима. Мужчина славословит красоту женщины, женщина — мужскую силу мужчины; мать льстит ребенку, ребенок — матери, друзья самим фактом дружбы льстят друг другу, но и больше — внутри дружбы, как и брака, всегда существует объект для лести и его носитель. Я не был льстецом и подхалимом — этим занимались другие — при партийном деятеле крупнейшего масштаба Никите Одинцове. А при мне — редакторе — кормилась своя стая льстецов и подхалимов. Итак, каждый человек — и льстец, и объект лести, вплоть до высшей высоты. Можно ведь верующим льстить богу, а атеистам — судьбе. Это говорю я, Никита Ваганов, умирающий так рано и так глупо, черт бы побрал!..

Первый секретарь Черногорского обкома партии познакомил Никиту Ваганова с Анатолием Вениаминовичем Покрововым, заведующим отделом промышленности.

— Никита Борисович Ваганов. Вам знакомо это имя, Анатолий Вениаминович? Присаживайтесь, я буду краток.— Одинцов повернулся к Ваганову.— Приступая к изучению лесной промышленности области, надо иметь в виду, что как отрасль она самая древняя. Я об этом говорю потому, что мы не хотим отказываться в какой-то степени от традиционных методов, хотя все переводим на индустриальные рельсы. Вот это единственная черта, на которой хочется задержать ваше внимание, Никита Борисович. А остальное... Вы же говорили, что главное во всякой работе — сама работа. Желаю успехов!

...Успехи были блестящими, хотя на самое беглое знакомство с новшествами в лесной промышленности области Никите Ваганову пришлось потратить пять дней и шесть почти бессонных ночей. Во-первых, попросту интересно, а во-вторых — и это главное,— было такое ощущение, что он открыл целый «нефтяной континент» новшеств. Дело кончилось не тем успехом, которого ему пожелал Одинцов, а успехом двух талантливых людей на целую жизнь вперед. Черногорские дела могли кончиться обычным: «Хорошо работаете, товарищ Одинцов!», но Никита Ваганов сделал все для того, чтобы «нефтяные фонтаны» поднимались все выше и выше, и всего за несколько месяцев убедил страну в том, что нет рысака резвее Черногорского. Сам Одинцов — сообщаю вам по секрету — только с помощью Никиты Ваганова понял крупность происходящего и не стал смотреть на ход лесозаготовок как на прилично организованное дело — всего-то! Встреча Ваганова с Одинцовым была тем вторым счастливым случаем, который выпал на долю Никиты Ваганова за сибирскую жизнь. Первым счастливым случаем — стократно меньшим, чем знакомство с Одинцовым,— был Егор Тимошин. Согласитесь, что два счастливых случая — это предельно немного для человека, который умеет терпеливо ждать, постоянно искать и создавать нужную ситуацию. Библия права: «обрящете!» А что, что обрящете, если через несколько страниц та же Библия говорит: «суета сует и всяческая суета». Ну уж фиг! А газета «Заря», которую он, Никита Ваганов, сделал самой лучшей газетой? А дети?.. Бедный Костя! Жизнь пройдется по его узкой и тонкой спине горячим, слишком горячим утюгом, и не выправит, не выгладит, а, наоборот, согнет в три погибели. Бедный, бедный Костя — сын главного редактора процветающей газеты «Заря». Что касается дерева, то Никита Ваганов его посадил — это береза у левого крыла здания редакции...

IV

...Хорошо, очень хорошо запомнился этот день! Начался он сиреневым рассветом на аэродроме, закончится сборами в дорогу в ординарном номере типовой гостиницы, предложенном взамен номера-люкс только после вмешательства заведующего промышленным отделом обкома Покровова. Повторю, Никита Ваганов не позволял себе десятирублевых номеров не из экономии, а потому, что был аскетом и остается им до сего дня. Его не купишь на автомобили, заграничные коньяки, дачи и шашлыки с модными писателями. Никита Ваганов шьет костюм раз в три года, в даче занимает одну комнату. Дешевка все это, дешевка! Власть — вот бесценная вещь, и не власть над людьми, а власть над делом. Вот именно это всегда, везде, повсюду привлекало Никиту Ваганова — власть над делом, сам процесс делания, сама работа. Он любит работать, умеет работать и всегда хочет работать — это не такая уж распространенная вещь, как может показаться. Одни любят работать, но не умеют, вторые умеют работать, но не хотят, третьи не хотят работать, не умеют и не любят работать. Любить, уметь, хотеть всегда работать — страсть к этому, собственно, стала цементом, скрепившим дружбу Одинцова и Ваганова...

— Делайте критические замечания,— попросил Анатолий Вениаминович Покровов.— Вы, как я вижу, прилично разбираетесь в лесе. Делайте замечания — со стороны лучше видно...

Эти слова были отголоском стиля работы первого секретаря Черногорского обкома партии Никиты Петровича Одинцова. Критику он не развивал, а насаждал, не терпел речей с длинным перечислением

достижений вначале, а потом — мельком! — «еще имеющихся, к сожалению, недостатков». Он был бойцом и строителем, Никита Петрович Одинцов, человек, оказавший на жизнь Никиты Ваганова еще большее влияние, чем бывший собственный корреспондент газеты «Заря» Егор Тимошин.

...Смешно и горько, горько и смешно! Чтобы стать впоследствии главным редактором «Зари», одному человеку он должен был помочь спуститься с горы, второму помочь одолеть гору. Отчего же прикажете не считать Егора Тимошина... Эх, если бы не Егор Тимошин с его безразличием к званиям и степеням, студенческое пари выиграл бы, вероятнее всего, Валентин Иванович Грачев, Валька Грачев — сокурсник и приятель. Вы еще узнаете, как Валька Грачев будет подсиживать и калечить Никиту Ваганова, хотя своим первым заместителем Никита Ваганов сделает его без колебаний. Почему он, собственно, должен был колебаться? Потому что Валька Грачев, Валентин Иванович Грачев, был первостатейным карьеристом, хитрым и беспощадным, но Никита Ваганов мог себе позволить роскошь держать в качестве правой руки самого ловкого карьериста. Он не забыл, что в год окончания университета Валька Грачев снисходительно поучал Никиту Ваганова:

— Ты так и закиснешь в своей провинции, дурак! — цедил Валька.— Ты не первый и не последний, кто так и не вернулся с периферии. Где Валерка Ванин? Иван Клименко? Заведуют отделами в областных газетах. Дурак! Два-три случая возвращения на белом коне, и сто — мимо! Считать надо уметь, обобщать и — думать, черт побери! Я остаюсь в Москве, и будем еще посмотреть, чем это кончится.

Это кончилось тем, что Никита Ваганов поднял Валентина Ивановича Грачева на достойную его высоту, тем более что тот не работал — он «ишачил» на газету, переплюнул самого Ваганова, сидел в редакции двадцать пять часов в сутки. Вот это и было привлекательным для Никиты Борисовича Ваганова... Если вам не нравится, что я часто называю себя по имени и фамилии, не читайте мои записки, да и дело с концом! Человек с синтетического ковра имеет право обращаться с самим собой как с тленной вещью... Впрочем, не торопитесь хоронить Никиту Ваганова, он еще «наделает шороху»!..

...Никита Петрович Одинцов строил, возводил, делал, поднимал, и он сразу понял, как Никита Ваганов относится к увиденному. Это надо запомнить: никогда Никита Ваганов не состоял при Никите Одинцове подхалимом и льстецом; он был необходим Одинцову, а Одинцов — Ваганову. Первый секретарь обкома партии Никита Петрович Одинцов в ту же секунду, как Ваганов появился в его кабинете, понял, что тот увлечен, полон увиденным. Но Одинцов все еще доругивался с директором электролампового завода.

— Безответственность хуже воровства! Бездействие надо карать по законам военного времени! Некомпетентность подсудна. Выжигать каленым железом! Вы согласны?

— Да.

— Вяло! А ведь вы не из равнодушных.

— Пожалуй, да.

Жизнь подтвердит, что с Одинцовым Ваганов состоял на равных, мало того, был спокойнее, выдержаннее, суше и дальновиднее его «на коротких дистанциях». Да, в глобальных предвидениях Никита Петрович себе равных не знал. Сейчас он понемногу остывал, наблюдал за Никитой Вагановым пристальней, наконец, понял, что ему не просто нравится лесная промышленность Черногорской области, а он ошеломлен увиденным. Для проформы Никита Петрович сухо спросил:

— Вы целесообразно использовали время? Не жалеете?

Это было легким ерничеством, и Никита Ваганов ответил:

— Трудно еще переварить недельные наблюдения, но... Никита Петрович, у меня руки дрожат. Боюсь, что под пером многое поблекнет.— Он воодушевился.— Мне надо срочно застолбить тему. Позвольте дать для начала информацию о полугодовых итогах работы комплекса. Двадцать пять строк.

— Не рано ли? Понимаете, Никита Борисович...

— Ей-богу, не рано, Никита Петрович! Цифры — пальчики оближешь.

— Теперь о главном,— энергично сказал он.— Я хочу дать полосу о лесной промышленности вашей области, Никита Петрович. Для этого нужны две вещи: позвольте мне немедленно позвонить в столицу и переселите меня в обкомовскую гостиницу. В гостинице «Черногорск» нельзя, видимо, держать документы, которые мне доверил Анатолий Вениаминович Покровов... Кстати, он прекрасный человек и работник. Без него я пропал бы, честное пионерское, Никита Петрович!

Решительный и одновременно полушутливый тон с этим «честное пионерское» тоже понравился Одинцову. Не раздумывая, он поднялся и... посадил Никиту Ваганова на свое собственное место. А сам стал неторопливо расхаживать по кабинету, пока Никита Ваганов разговаривал с главным редактором «Зари». Ему позволили занять целую газетную полосу под рассказ о лесной промышленности Черногорской области.

А после того как его поселят в специальной обкомовской гостинице и с разрешения Одинцова предоставят все нужные документы, Никита Ваганов позвонит в Сибирск и выпросит у редактора Кузичева еще неделю в счет очередного отпуска.

V

Питание Никите Ваганову устроили в обкомовской столовой и выписали пропуск в плавательный бассейн. Именно в бассейне произошел памятный разговор. Они отдыхали, и Никита Петрович Одинцов насмешливо сказал:

— Мы с вами лед и пламень. Не обижайтесь, но в первые минуты знакомства я подумал, что вы ложно многозначительны и по-пижонски притворно легкомысленны. Ошибся! Я это понял, когда вы разговаривали по телефону со своим редактором. Вы ничего особенного не говорили и не делали, но тем не менее...

— Спасибо! Мне с вами интересно. Как газетчику и как человеку. Ей-богу, я не подхалим! Я, Никита Петрович, просчитал: подхалимом, на круг, скажем, в десять лет, быть невыгодно.

— Эт-то почему?

— Просто! Раз в десять лет происходит такая перестановка начальства, что тот, кому подхалимничаешь, становится тем, кому надо грубить, и наоборот... Вы смеетесь?

Он не смеялся, он хохотал, а просмеявшись, хлопнул Ваганова по плечу:

— Вы забавный и умный. Я уж не говорю, что талантливый. А что, если мне называть вас просто Никитой?

Никита Ваганов важно ответил:

— Разрешаю. Мало того, польщен... Ну, держитесь, Никита Петрович, Никита Ваганов превращается в водоплавающего зверя!

Вот каким был памятный разговор с Никитой Петровичем Одинцовым в бассейне. А еще через два дня Одинцов прочел готовую к немедленной печати полосу, прочел ее дважды, отложив все экстренные

дела. Он поднял глаза, полные мысли, затуманенные мыслью, потер большим пальцем правой руки переносицу и тихо сказал:

— Скромно. По делу. Спасибо, Никита!

В Сибирск Никиту Ваганова провожал заведующий промышленным отделом обкома партии Анатолий Вениаминович Покровов. Они уже вышли на асфальт аэродрома, когда провожатый сказал:

— Никита Петрович говорит, что вы представитель той части молодежи, которой можно передать любое, самое значительное дело. Одним словом, поздравляю! Никита Петрович редко ошибается в людях. — Покровов улыбнулся.— Он недоволен только вашими замашками пловца-профессионала.

...Возможно, именно этот разговор приведет Покровова в редакцию «Зари», возможно, что-то другое, но Никита Ваганов не остался равнодушным к Покровову, точно так, как не остался равнодушным к самому Ваганову Никита Петрович Одинцов. Последний поможет подняться ему на самый верх пирамиды, а Ваганов поможет Покровову дойти до предпоследней ступеньки пирамиды, а может быть, позже, и выше... Никита Ваганов не мог знать об этом, когда стоял на трапе самолета с развернутым билетом в руках и почему-то опять вспоминал о старушке, которая бежала к желтому трамваю...

Глава четвертая

I

Сначала эти записи я не собирался делать исповедью и никогда не думал, что кто-нибудь их будет читать, но это иллюзия: не существует человеческого письма о самом себе без расчета на читателя, а следовательно, и без рисовки. Наверное, и я рисуюсь, например, небрежением к близкой смерти, но, поверьте, сделайте милость, поверьте, что я действительно не боюсь костлявой, доволен прожитой жизнью, мало о чем жалею в прошедшем. Кто знает, когда и где умрет, когда встретится с сухорукой один на один? Каждый умирает в одиночку? Позвольте не согласиться! Я умираю и буду умирать не одиноко, до последней минуты у моего изголовья будут стоять жена, дети, товарищи, хотя... А пока жизнь идет, а жизнь катится волнами великой реки, восходами и закатами, морозами и жарой, и по-прежнему я сижу в глубине своего кабинета, упрямо отставляя стол от окна, как бы боясь дневного света. Это объясняется моей биографией. Четверо жильцов на две маленьких комнаты — согласитесь, теснота, кромешная теснота, хотя бы потому, что нужно иметь четыре кровати и три стола, считая кухонный. В моей и Дашкиной комнате из-за шумной ее непоседливости готовиться к занятиям, писать студенческие очерки было невозможно, и я работал в кухне, где — это знает каждый житель стандартного дома — мало света, в кухне только при солнечной погоде виден кончик шариковой ручки. Одним словом, еще студентом мне приходилось писать и читать при электрическом свете; ничего не переменилось, когда я стал жить и спать в одной комнате с моим отцом, Борисом Никитичем Вагановым, что произошло уже на пятидесятом году его жизни, жизни школьного учителя, так и не купившего без моей помощи автомобиль. Он работал в трех местах, дома не выходил из-за письменного стола, и невозможно было жить рядом с ним из-за лихорадочного шелеста школьных тетрадей... Моей

сестренке Дашке было семь или восемь, она была, кажется, первоклашкой, когда отец перестал спать с матерью, и это произошло не потому, что они ссорились; отца очень состарила школа и мечта об автомобиле. Когда отец сказал, что хочет жить в одной комнате со мной, а Дашку переселяет к матери, моя малолетняя сестренка сморщилась и отвернулась. Ах, эта чертова акселерация! Она все понимала, эта моя бойкая, умная, веселая и вредная сестренка Дашка. Дашка втихомолку плакала, когда отец переселялся в нашу «детскую» комнату, объясняя переезд нашей с Дашкой взрослостью, а на самом деле, убегая от моей начитанной, невозмутимой, живущей за облаками матери, которая просто и не заметила ухода мужа из супружеской спальни. Она в то время увлекалась фольклором, собрала все, что было на русском, все, что могла достать на английском и немецком. Моя мать тогда преподавала в школе английский, а в техникуме—немецкий и зарабатывала значительно больше отца. Она произносила с прононсом:

— Борис, тебе будет неудобно на кушэтке. Надо купить тахту.

Отец злобно окрысился:

— Не умру на куш-э-э-тке! Я покупаю автомобиль!

Когда он много лет спустя купит «Жигули» оранжевого цвета, спать продолжит из экономии на бывшей узкой Дашкиной кушетке... Спать в одной комнате с отцом было мучением: ночью он тоненько, по-щенячьи повизгивал, мучаясь кошмарами. Язва желудка и геморрой донимали моего отца, позднее прибавился радикулит, полновесный радикулит, как говорил он. ...Я отца преданно люблю до сих пор, он мучается все теми же болезнями, но потихонечку переживает первенца, сына Никиту Ваганова, и я уверен: он меня переживет. ...Когда оранжевый «Жигуленок» появится возле отцовского дома, разыграются события, которые я без натяжки назвал бы трагическими: он не сможет водить машину, кажется, я уже говорил об этом. Пятнадцать лет ждать, скаредничать, плохо питаться — все ради жестяной коробки. Мне понятно, почему после продажи автомобиля отец бросился в мотовство: покупал заграничные яркие костюмы, на старости лет вырядился в американские джинсы «Ли», приобретенные у фарцовщика, напялил на плечи замшевую куртку, на ноги — мокасины «Саламандер». Эти вещи забавно шли моему отцу, он до старости сохранил худощавость...

Итак, я привык работать — писать и читать — при электрическом освещении, сохраняю эту привычку до смерти — на своей огромной даче в предельно солнечном кабинете задергиваю штору, добиваясь желательного полумрака, чтобы включить горбатую настольную лампу, купленную еще в Сибирске в комиссионном магазине...

...Эту часть главы моих записок вопреки избранному приему — все, что происходило в Сибирске и поблизости, рассказывать от третьего лица, всматриваясь в себя глазами стороннего наблюдателя,— я пишу от своего собственного имени, от имени Никиты Ваганова: мне так удобнее. И да простит меня терпеливый читатель, до сих пор не отложивший страницы моей исповеди в сторонку...

Я сидел в своем рабочем кабинете, сидел при электрическом свете, положив загорелые руки на стол, давно ничего не делая, и думал

о своей жене Нике, на которую напал новый стих сопротивления, категорического отрицания Никиты Ваганова как мужа, журналиста и человека. Вам еще неизвестно, что произошло в нашей семейной жизни вчера, но не все сразу, хотя я люблю стремительно разворачивающиеся события, терпеть не могу гнусной эволюции, признаю только скачки, когда количество переходит в качество. Так уж я устроен, устроен борцом и реформатором, много позже внесшим благостные перемены в жизнь такой крупной центральной газеты, как «Заря», перестроил я ее, поставил, как говорят, на попа, а ведь «Пустой мешок не заставишь стоять»... Итак, я размышлял на тему: «Как обуздать родную жену Нику?» Не хотелось ее пугать, не подходил путь выморочного игнорирования, шантажа, подлизывания, заглаживания и так далее. Я с юмором думал, что мне подходит только и только лирический путь «возвращения сердца жены ее законному владельцу». Шутилось потому, что я был уверен: жена никуда не денется, будет жить, по ее словам, с «подлецом и конформистом». Она любила меня, любила и будет любить, как и я ее, единственную — первую и последнюю — жену в своей короткой жизни.

Итак, «подлец и конформист» вчера принял пассивное участие в грозной семейной сцене, разыгранной Никой среди полного штиля. Астанговы и мы с Никой держали домработницу, на что суммарно уходила почти вся зарплата Ники, и обедали дома. Варвара Лукинична три месяца назад попала в Сибирск из пригородной деревни. Она кормила нас прекрасно: картошкой с хрустящим салом и такими густыми щами, что в них стояла ложка. Я, как человек свободной профессии, неторопливо пришел домой пешком, Ника примчалась на «Москвиче» из своей школы, расположенной у черта на куличках; была возбуждена, взвинчена и за кофе, который приготовила сама, поглядывая на меня исподлобья злыми глазами, красными от усталости, тихо, с гневными вибрациями в голосе, спросила:

— Оказывается, ты сам написал статью! Я пока не верю... Будь добр, ответь: ты написал статью?

Я сказал:

— Ага! И не нахожу в этом криминала.

— Но как ты можешь, как ты можешь? — вскричала жена и детским жестом отчаяния прижала руки к груди.— Как ты смеешь участвовать во всей этой грязной истории, если отец ни в чем не виноват? — Услышав мое молчание, Ника зашептала: — Ты хочешь сказать, что папа виноват?! Нет, ты это хочешь сказать?

Я ответил:

— О вине Габриэля Матвеевича я впервые услышал от его младшей дочери...

Вот эту фразу мне говорить не надо было: началось такое, отчего домработница, эта деревенская жительница, укрылась в ванной комнате, которую она обожала. Ника кинулась на меня коршуном:

— Да, об этом ты узнал от меня. Но кто мог подумать, что ты — предатель, гнусный предатель! И я вовсе не говорила, что папа виноват, я говорила, что папу запутали, запутали, запутали! А ты предатель, предатель, предатель!

Я сказал:

— Это мы от вас уже слышали, дорогая. И вы не желаете выслушивать объяснений. Это, наверное, нечеловечно. Дай виновному защититься! — Я улыбнулся.—А о презумпции невиновности, дорогая, вы слышали? А теперь продолжайте кричать; вы — женщина восточного темперамента, вам необходимо выкричаться.

И о восточном темпераменте мне говорить не следовало, так как если до этих слов Ника кричала, то после вопила и размахивала маленькими кулаками. Жена моя ссориться не умела; она выросла в доме, где никогда не ссорились родители, не овладела методикой ссоры и валяла, как придется и что придется, и это у нее получалось некрасиво, предельно некрасиво. Тяжкие усилия предпринимал я, чтобы после ее неумелых и поэтому безобразных криков и стенаний восстановить «лодку» любви и пустить ее по тихому и привычному руслу супружества. Вот Нелли Озерова умела ссориться, проделывала это ритуально с артистической красотой, и я всегда уступал ей, будь причиной покупка флакона французских духов или возмутительное недельное отсутствие в ее постели. О, как умела ссориться Нелька!

— Ты хочешь, чтобы папа остался без работы? — продолжала бушевать Ника.— Ты этого хочешь? Вот твоя благодарность папе за то, что он порекомендовал тебе познакомиться с Одинцовым, вот твоя благодарность! Не-е-е-т, я и не предполагала, какой ты коварный и опасный человек! Такой ласковый, такой нежный, такой покорный — презираю, презираю, презираю! — Она зажмурилась.— Ты немедленно запретишь публикацию статьи, немедленно!

Я сказал:

— Напротив, буду форсировать публикацию! И если ты замолчишь, объясню, почему.

— Я не замолчу! Я не могу молчать! Ты отзовешь статью... Пусть ее напишет Тимошин!

Ей пока не удавалось вывести меня из себя.

— Нет, Ника, статью не отзову. Это единственный способ помочь Габриэлю Матвеевичу.

— Ха-х-ха! Он хочет помочь папе! Посмотрите на этого гнусного предателя — он хочет помочь папе!

— Да, я хочу помочь Габриэлю Матвеевичу. Доказать, что он выполнял распоряжение высшей инстанции, а это значит намного облегчить его положение. Как ты этого не понимаешь?

— То-ва-рищ Ваганов, я ничего не желаю понимать! Я не верю предателю! Я никогда не поверю предателю!

Интересно, чем занималась в ванной наша деревенская домработница? Ей нравились кафель, фаянс, разноцветные краны. Что думала деревенская женщина о воплях моей жены Ники? Считала их такими же красивыми, как ванная комната, или желчно смеялась над бедным Никитой Вагановым? Я сказал:

— Ты вся — открытый рот, Ника! Так у белых людей не принято кричать. Я тобой недоволен и требую, чтобы ты меня выслушала.

— Я не выслушиваю предателей!

Это был последний истошный ее крик. После него она, как выражаются, «слиняла»: умчалась, опаздывая на очередной урок, и я остался один — оплеванный, опозоренный, неотомщенный, неоправдавшийся... Домработница Лукинична осторожно выбралась из ванной комнаты, с тряпкой в руках пошла вдоль нашей мебели, как бы сметая пыль, которая давным-давно была уничтожена. Это значило, что она хочет со мной поговорить, и я весело сказал:

— Слыхали, Лукинична, что семечки подешевели? Белые остались в той же цене, а вот черные, ваши любимые, подешевели. Пятнадцать копеек килограмм!

Самое забавное то, что я покупал для домработницы семечки. С молодости она постоянно грызла кедровые орехи, кедровых орехов теперь — благословен комбинат «Сибирсклес»! — не было в продаже даже на золото, и мне приходилось покупать для Лукиничны семечки на дальнем базаре, так как на Центральном их продавать запретили, Лукинична сказала:

— За семечки — сильное спасибо! — И как-то странно улыбнулась. — Никит Борисыч, а Никит Борисыч?

— Что, Лукинична?
— А ты ей на себя не давай кричать, ты ей не давай, парень.

...Н-да-а! Моя жена распоясалась, моя жена на меня кричала так, что заступилась домработница, и вот, сидя в рабочем кабинете, днем, при электрическом свете, я размышлял на тему: «Как обуздать родную жену Нику?» У меня побаливало горло, я простудился, ходил даже в поликлинику, где мне прописали массу целительных лекарств, а вот как обуздать жену Нику — не сказали, и я не знал, еще не знал, что поработу ее навечно, раз и навсегда, но до этой минуты еще далеко. Не мог же я сейчас бороться с Никой!

Моя жена Ника была беременна тогда первенцем Костей, и, согласитесь, я не мог, не имел права переходить в наступление. Запомните: я добрый, порядочный, чуткий человек! Моя биография не дает поводов к другим выводам, и читающий эти строки человек должен быть очень нерасположенным к редактору «Зари», чтобы не согласиться с моей самохарактеристикой. ...Что? Об этом и речи быть не может! В записках нет ни слова лжи... «Как обуздать родную жену Нику?» Я вскоре принял решение: жену Нику пока, на время ее беременности, оставить в покое, а сегодня же поехать в недельную командировку с Нелли Озеровой — моей верной Нелькой. Это было правильное решение, так как предстоящая неделя была неделей мучительного ожидания, а ожидать с Нелькой было много приятнее, чем с кем-нибудь другим...

II

Нелли Озерова — мое божье наказание, моя любовь, любовь на всю жизнь, хотя — это смешно! Я никогда не смогу понять, почему люблю и любил хитрую, ловкую, вздорную, фальшивую, коварную иногда, изредка, добрую женщину. Тогда мы встречались на ее квартире, так как сам «господин научный профессор» Зильберштейн уехал в Москву на два длинных года: он собирал материал на докторскую диссертацию или уже защищал докторскую—этого я не знал и не хотел знать. А что в этом удивительного, если сам Зильберштейн палец о палец не ударил, чтобы прервать мою связь с его женой. Я ходил на свидания с Нелли Озеровой белым днем, я — специальный корреспондент «Знамени» — сам распоряжался своим временем, а вот Нельке приходилось вертеться. Она отправлялась на какой-нибудь завод, впопыхах, но всегда удачно, заказывала или брала материал, потом опрометью летела домой, где я уже полулежал на угловой тахте — ключ от квартиры мне вручили на второй день после отъезда мужа.

На этот раз Нелька опередила самою себя на час с лишним, то есть примчалась не в два часа, а без пятнадцати час, держа в обеих руках по авоське, что значило: еще успела обежать магазины, чтобы приготовить знатный обед; и в этом отношении она была хороша, я до конца дней своих буду любить Нелькины голубцы и суп-шурпу.

— Здравствуй, мой родной, ты хорошо выглядишь, я тебя люблю, только не морщи лоб и поцелуй меня три раза... Пока я освобождаю авоськи, рассказывай, и подробно. Ты же знаешь, что я не люблю переспрашивать. Ну, милый, я тебя слушаю.

Она всегда требовала исповеди, я ей обо всем подробно рассказывал, так как понимал, что лучшего советчика у меня никогда не будет... Поэтому, став заместителем редактора «Зари», я немедленно предоставлю место в отделе писем «Зари» Нелли Владимировне Озеровой, потом сделаю ее редактором отдела, найму дешевую комнату

в отдаленном районе столицы и буду ездить к Нельке два раза в неделю, всегда в одно и то же время, с адской точностью; буду есть голубцы, суп-шурпу и исповедоваться. Мало того, я помогу «господину научному профессору» сделать небольшой, но заметный шаг вперед, предоставив страницы «Зари» для его по-настоящему интересных идей...

— Ну, рассказывай же, Ника!

Думаю, что если бы я даже побил Нельку, она не перестала бы называть меня Никой, именем моей жены. Ника — это была насмешка и месть за мою женитьбу на Астанговой, хотя Нелька не бросила перспективного «господина ученого профессора» ради того, чтобы выйти за «игрока» Никиту Ваганова. Противная баба, если говорить честно и откровенно. Но я ее люблю, мне она всегда желанна, мне с ней никогда не было скучно, хотя умной, по-настоящему умной Нелли Озерову назвать было нельзя. Женский, житейский, обиходный — таким умом обладала моя Нелька. Если бы мы с ней поженились, стали бы жить в одном доме, видаться ежедневно, спать в одной комнате, есть всегда за одним столом — прошла бы любовь или не прошла? Кто знает, кто знает! По примитивному счету, по мысли первого, поверхностного порядка, наша любовь длиною в жизнь тем и объясняется, что мы не стали мужем и женой, оставаясь всегда и товарищами, и любовниками, но, повторяю, это действительно мысль поверхностного, приблизительного мышления.

— Рассказывать можно в двух словах, а можно и длинно,— сказал я.— Какой вариант подходит?

— Средний. Не ерничай, пожалуйста, Никита. Ей-богу, не люблю!

Она понимала, почему я ерничаю, осознавала характер и качество моего всегдашнего ерничания и гордилась тем, что в отношениях с нею я ерничаю предельно мало. Да, я принимал ее всерьез, эту маленькую, красивенькую Нелли Озерову. Я начал рассказывать о Мазгареве — пять минут, потом перешел на Пермитина, одновременно с рассказом я думал, сравнивал, принимал и отрицал. Нелька слушала по-своему: обмасливала, обкатывала, делила и множила, складывала и отнимала, лелеяла и секла, извлекала корни и брала логарифмы, а сама готовила роскошный обед. Я был голоден. Она тоже.

Когда же я добрался до комбината «Сибирсклес» и стал рассказывать о разговоре с Пермитиным, она стала ходить на цыпочках, чтобы ничего не упустить.

— Понимаешь, Пермитин мне не показался убитым горем человеком,— говорил я.— Это чудовище так глупо, что еще не понимает: капец! Мамонты тоже не понимали, что вымирают. Он, представь, считает газету виноватой перед ним и, похоже, ждет опровержения...

Нелька, ощутив, что пауза неспроста, сказала:

— Не вздумай только сейчас меня хватать. Буду царапаться.

— И не думаю.

— Вижу, вижу, как ты не думаешь! Губы трясутся... Не вздумай до обеда, слышишь? Ниа-а-а-кита, не смей! Ниа-ки-та!

— Не бойсь! — снисходительно произнес я.— Успеешь набить брюхо. Что позавчера болтала? И откуда взяла, что я могу быть подхалимом при Одинцове. Вольф Мессинг! Ей-богу, не люблю, когда ты пред-ви-дишь!

Вот какое влияние на Никиту Ваганова имеет Нелли Озерова — любовница и друг. Никто другой в жизни меня не посмел бы схватить за уши, кроме нее, маленькой и умной зверушки. Вот! Нашел... Она всегда походила на зверушку, думаю, на ласку, ласку со сладострастно извивающейся спиной, поблескивающей и роскошной, и зубы у нее тоже были маленькие и острые, как у ласки.

— Что дальше, милый? Не надо делать больших перерывов, я теряю ви́дение.

— Дальше ничего не было! — вконец обиделся я и соврал.— Сложил документы в коричневую папку и, как ты советуешь, передал их Тимошину.

— Умочка-разумочка! — обрадовалась Нелли и сказала, что через минуту будет готов обед: выходит, я долго рассказывал, здорово долго, но за оставшуюся минуту Нелька сказала нужные слова:

— Все хорошо и правильно, Никита! Только не бери в голову, что уже подхалимничаешь или собираешься подхалимничать перед Одинцовым. С тебя может статься, этакий ты самокопатель! — Она громко засмеялась.— Тьфу! Такой большой и красивый, и такой глу-у-пый! Правда, за это я тебя люблю.

Тьфу! Маленькая, а такая умная... Я лег на спину, стал глядеть в потолок, весь — от пятки до горла — зашнурованный, кусающий губы, чтобы не расхохотаться. И откуда она взяла, что я боюсь быть подхалимом при Одинцове! Мы будем друзьями. И почему она, почти всегда читающая мои мысли, поверила, что документы и статью об утопе я могу подарить Егору Тимошину?

Туфли на высоких каблуках, короткое платьице, надеваемое только для меня, на юбке фартук с веселым зайцем... Нелька присела на край дивана, на котором обычно спал «господин научный профессор», пахнущая тмином, ласково и длинно посмотрела мне в глаза, потом сказала:

— На твоем месте, Ваганов, я бы чувствовала себя героиней. Неужели не понятно? — Она странно улыбнулась.— Область обворовывал невежественный и тщеславный человек, ты об этом узнал, как журналист и гражданин передал материалы другому журналисту, более сейчас могущественному, чем Ваганов.— Она нежно поцеловала меня, взяв за уши и приблизив к себе.— Милый, смешной дуралей... Ты порядочный человек, Никита!

В этом я сомневаюсь!

— Кому нужны твои комплименты, Нелька? — рассердился я.— И оставь эту манеру — хватать меня за уши.

— Я тебе сделала больно, милый?

— Этого еще недоставало!

— Тогда все о'кэй, милый! Я всегда буду хва-та-ть тебя за уши!

Много было на чаше весов моей Нелли Озеровой, но это вовсе не значило, что я должен был пустить ее в святая святых. Когда Нелли Озеровой показалось, что никаких загадок — я все шучу, я все шучу! — в высоколобом Никите Ваганове для нее не осталось, она уютно повела плечами: «Мы сделали свое дело, пусть другой сделает лучше...» Я спросил:

— На инструментальный не поедешь?

— Нет!

— А как же без курева? Сбесишься.

Собственно говоря, я давно был рабом этой маленькой и волевой женщины, не было области — от постели до оценки нового кинофильма,— где бы я значил больше, и только, пожалуй, газетные полосы «Знамени» и «Зари» предоставлялись в мое полное распоряжение, но вот и этой вольнице, как ей казалось, наступал конец.

Незаметно для меня она оказалась в кокетливом халатике, подумав, сняла и его, аккуратно повесила на спинку стула. Колени у нее были загорелые и круглые.

— Блажишь, Нелька! Сама велела не рыпаться до обеда...

— Подвинься и немножко помолчи!

От диктатора пахло нежными духами, диктатор был синеглаз и нежнокож, диктатор был таким родным и близким, что просилось

на губы слово: «Ма-ама!»... Много лет спустя жизнь закроет истинные события прошлого туманом забытья, события смешаются и перекрестятся в такой причудливости, с которой они уже перепутываются под моим пером, и останется в памяти лишь сам главный миг главного события, но и то: «Было вот так!» или «Нет, было не так!».

— Подвинься и немножко помолчи!

— Но я же не остановлюсь!

«Умираю без курева!» — было написано на всем ее облике.— «Полцарства за одну затяжку!». Казалось, найдись сейчас сигарета, Нелька изречет истины первой величины или откроет новую планету, но курева не было, и она маялась, точно от головной боли,— никто не предполагал, что внешне уравновешенная и благоразумная Нелли, такая заядлая курильщица и так полно может отдаваться мелочной страсти.

— Дай слово, что не будешь перебивать меня! — страстно проговорила Нелька.— Будешь молчать, что бы я ни говорила.

Такой серьезной, напряженной, думающей я ее никогда не видел. Ну, хмурились брови и стискивались зубки, когда я поступал по-своему, сжимались кулачки, если я халтурно писал за Нелли Озерову материал, наконец, появлялись стеариновые слезы, если я нечаянно обижал подругу, но вот такого... Закованный в стальные латы рыцарь-подросток был передо мной, пошевеливал смертоносным копьем, грозно сверкал шишаком шлема... Нелька сказала:

— Перестань жалеть коричневую папку... Не надо тебе выступать в «Заре» со статьей об утопе.— И немножко помолчала.— Час твоих серьезных критических статей еще придет... Я же просила не перебивать меня. Я раньше всех пронюхала об этой афере с утопом и, знаешь, чем занималась? — Нелька сквозь сталь доспехов улыбнулась.— Старалась скрыть от тебя случившееся... Мне было известно, что Кузичев ополчился на Пермитина, и я еще больше трусила, что в эту историю втянут тебя.

Она сжала кулаки.

— Я беспросветно тщеславна, Никита! Мне плевать, кем станет мой благоверный муж, но я зачахну от тоски, если ты ничего не добьешься в жизни. Ты — мой муж, хоть это-то тебе понятно?

Сентиментальность, отсутствием которой я гордился, плавно покачивала меня; произошла странная аберрация: слова Нельки о том, что мне не надо писать статью об утопе, ушли за горизонт, а наглое в общем-то: «Ты — мой муж!» рассиялось вполнеба; хотелось забыть об этом чертовом утопе леса, свернуться под одеялом калачиком, ждать, когда приснится зайчишка в клетчатых штанишках — позади пушистый белый хвост.

Нелька, рыцарь-подросток, продолжала:

— Я тебе не позволю сунуть голову в петлю... Кому пришло в голову, что по утопу в «Заре» должен выступать ты, а не собственный корреспондент «Зари» Егор Тимошин? Хотела бы я знать точно, кто решил подставить именно тебя...

— Ты совсем осатанела! Я не буду писать статью...

Это мной по-прежнему двигало желание свернуться клубочком под одеялом; сказать: «Ма-а-ма!» и теперь — уже по собственной воле и желанию — не перебивать маленького рыцаря, а только слушать и слушать его речи, полные правды и только правды, любви и только любви. «Где ты, Никита Ваганов, где ты, родимый?» Не было Никиты Ваганова! Такой растворенности в чужой воле я никогда не испытывал. Лежи, не шевелись, думай, принимай решение вблизи рыцаря, превратившегося в ласку, полную голубого в полумраке электричества. «Западня!» — нежно и ласково думал я, на самом деле сворачиваясь калачиком под одеялом. Пахло зимними каникулами и пру-

дом, заиндевевшими на морозе шнурками от ботинок, коньками. Нелька сказала в потолок:

— Егор Тимошин много опытнее тебя. Вот ты подтруниваешь над его системой фактов и фактиков, а для статьи по утопу годится только эта система.— Она осторожно зевнула.— Твое стремление к обобщающей эмоциональной критике... фу, какое недоразумение для статьи по утопу! — Она фыркнула.— И вообще, зачем ломать копья, если три прекрасных очерка тебе принесут в пять раз больше лавров в «Заре», чем одна рискованная статья...

За меня считали и подсчитывали, за меня давным-давно все продумали и обобщили и даже подвели итоги в смысле «лавровости». «Господь бог все перепутал!» — по-прежнему ласково и нежно думал я, так как на противоположном конце города существовала другая женщина — моя законная жена,— которая с неистовой силой боролась с мужем, по ее разумению, готовящим подлый поступок. Ника еще не знала, что я совершу нечто богопротивное, но была уверена, что ее муж все делает неспроста, коли он предает главное для нее — любовь. А рядом со мной лежала Нелька, женщина, которой было бы естественнее считаться женой Никиты Ваганова, и она считала себя женой, так как, наверное, неимоверным своим женским чутьем предчувствовала, что наша любовь будет любовью на всю жизнь.

Она сказала:

— Не будь жадным, Ваганов! Ты уже всесоюзно известен — этого тебе мало? Через три-четыре года они сами тебе предложат корреспондентство в «Заре». Кому это не ясно?

Я хохотнул под одеялом. Маленький рыцарь был все-таки женщиной, женщиной с типичной женской логикой и непостижимой мужскому уму психологией. Не торопись! Не жадничай! Твоя карьера и так обеспечена! А сама требует, потрясая копьем, чтобы дело об утопе древесины я без промедления передал Егору Тимошину, как дело гибельноопасное. И она, конечно, понимала, что падение Егора Тимошина повлечет за собой возвышение Никиты Ваганова.

Я сказал:

— Ну, и чудовище же ты, Нелька! Правой бьешь, левой — гладишь.

Она победно улыбнулась. Она так никогда и не поймет, не постигнет, какое безграничное количество душевного комфорта предоставила в мое распоряжение, взвалив на свои покатые и узкие плечи часть моей ноши.

— Думаешь, что видишь меня насквозь? — лениво протянул я.

— Не думаю, а вижу. Успокойся, от моих предвидений тебе хуже не станет.— Она бегло поцеловала меня в подбородок.— Держись за Одинцова обеими руками, Никита! Даже по твоему рассказу понятно, что это такое. Масштаб! Таких людей, как Одинцов, немного, очень немного. Вождем научно-технической революции быть адски трудно. Мне об этом сказал один академик. «Редкие руководители способны понять революцию и руководить ею!» — так и сказал. Грустно сказал... Видимо, твой Одинцов из племени победителей... Ой, наш суп!

Она убежала в кухню, на ходу застегивая халат.

— Обед готов, милый! Мой руки, милый!

— Перестань милкать!

— Не, не перестану, милый! Ня пярястану!

— А если по шее?

— Теперь можно и по шее, милый.

Мы крепко и длинно поцеловались на пороге кухни.

Глава пятая

1

Автор этих записок, исповеди, дневника, воспоминаний, откровения, автобиографии — как вам угодно! — все чаще и чаще путает повествование от первого и третьего лица, и теперь-то понятно, отчего это происходит: от удивления самим собой. От первого лица пишу: «Я улыбнулся», но тот же автор от третьего лица пишет: «Он кисло поморщился». Писатели-фантасты давно описали кавардак, который наступил бы в мире, если бы люди говорили то, что думают, или читали бы мысли друг друга. Кошмар! Но почему даже наедине с самим собой и даже под смрадным дыханием смерти ищутся лазейки, обходы и объезды, пускаются в ход умолчания; рука пишущего сама опускает то, что голова с радостью опустила бы — вот беда-то! Если человек врет самому себе, что за понятие тогда — дружба! Я думаю, что это такое же редкостное явление, как любовь до гроба супругов, если и ее не выдумали писатели и такие же «правдивые», как я, мемуаристы. Хочется тонко, по-щенячьи, заскулить... Что касается меня, то, как выражаются, истинных друзей у меня было мало, а начистоту, у меня их не было, друзей-то! Их замещали приятели, сообщники, товарищи, временные попутчики — так я стремительно двигался вперед и вверх. Если спросите, кого бы я хотел иметь другом, отвечу: Ивана Иосифовича Мазгарева — заведующего отделом пропаганды газеты «Знамя». Того самого Ивана Мазгарева, который — случайно или нарочно — не подал мне руку льдистым утром, когда я успел почти до конца распутать всю эту аферу с кедровниками и утопом древесины,— на это ушло все мое личное время на протяжении более года. События, следующие за этим, меняли мою жизнь радикально, на все сто восемьдесят градусов. Впрочем, я всегда знал, что такое произойдет — где же чудо? Повторяю, я хотел бы иметь другом Ивана Мазгарева, но мы не могли быть друзьями. Он был старше меня не на двадцать лет, он был старше меня на целую войну; он был из тех, кто имел обыкновение всем, включая жизнь, жертвовать во имя общества, ничего не требуя взамен. Были у нас и сближающие воззрения: он всегда хотел одного — возможности трудиться и трудиться хорошо, и все, что мешало этому, добрый до кротости человек сметал с лица матушки-земли. Он становился неистовым, если его длинные, как наваждение, пропагандистские статьи встречали препятствия на пути к газетной полосе. Вот это было мне созвучным, родным.

Помню, я попал в кабинет Мазгарева как бы случайно, то есть подчинился всегдашнему моему желанию видеть его круглое, доброе, глазастое лицо, слушать его неторопливые, с волжским говором речи и таким образом отдыхать. В тот раз Мазгарев был не Мазгарев, и я бы завернул обратно, если бы он сам не вцепился в меня. Он схватил меня за руку, посадил на диван, крикнул в мое неповинное лицо:

— Им не нужна статья о базисе! Ты слышишь, им теперь не нужна статья о базисе, хотя сами ее затвердили в месячном плане. Нет, ты только послушай: статья не нужна!

Я пожал плечами и сказал:

— Не понимаю, чего вы бушуете, Иван Иосифович? Статья о базисе опубликована. Она перепечатана из «Зари». Академик Косухин. А у вас кто? Ну, вот! Профессор Перегудин... Какой-то там сибирский профессор Перегудин!

Есть смешное выражение «выстрелить глазами», и мне показа-

лось, что я буду убит Иваном Мазгаревым — так он на меня тогда посмотрел!

Какая статья? Какого академика? Где статья? Почему?

Он схватил подшивку собственной газеты, полистал, нашел и — поник, растерялся. Убейте меня, но в это мгновение мне подумалось, что я возьму на работу в газету «Заря» и Викторию Бубенцову — тогдашнего ответственного секретаря «Знамени». О, как она разделалась с небожителем Иваном Мазгаревым, когда он, мирный и улыбающийся, пришел спросить, когда пойдет в номер нескончаемо длинная и занудная статья о базисе, принадлежащая перу профессора Перегудина. Бубенцова сразу поняла, что в своем философско-думающем затишье Мазгарев просмотрел статью Косухина, и вместо того, чтобы просто указать на это, устроила целый спектакль в одном действии, но драматический. «Ваша статья, товарищ Мазгарев, не пойдет вообще. И не мешайте мне работать, пожалуйста!» — «Почему не пойдет?» — «Не пойдет — и точка! Я же просила не мешать работать, товарищ Мазгарев! Пока!».

— Академик Косухин! — наконец подал голос Мазгарев.— Сам Косухин.

Отчего все-таки мне хотелось дружить с человеком, который от одного слова «академик» мгновенно забыл о бесчисленных часах работы над статьей профессора? Отчего меня тянуло к этому человеку? Одним или ста словами не ответишь: может быть, меня привлекала способность Ивана Мазгарева к самоотречению? Ведь я тоже — самоотреченец, хотите — верьте, хотите — нет.

— Бубенцова — сволочь! — вдруг сказал Иван Мазгарев и мгновенно покрылся яркой краской, то есть его и без того красноватое лицо сделалось пунцовым.— Прости, Никита! Бубенцова — добросовестный работник.

И вот с этим человеком я хотел бы дружить долго, очень долго, может быть, всю жизнь, хотя моя точка зрения на дружбу вам уже известна. Будем зрелыми людьми, будем умными, философичными — для чего она, святая мужская дружба? Для чего и зачем? Общеизвестно, что дружба никогда не бывает равной, что из двоих участников мужской дружбы, один — непременно вожак, второй — ведомый, но дело и не в этом, представьте себе. Что дает дружба? Возможность исповедоваться? А кто из мужчин исповедуется до конца другому мужчине? Пожалуйста, не глупите, ближайший товарищ вам врет, когда говорит, что переспал с очередной «кыской», как выражается мой приятель Боб Гришков, ваш приятель не только врет насчет «кыски», он врет и по многим другим пунктам; исповедуясь перед вами в одном, он скрывает второе, исповедуясь в третьем, врет в первом и втором. А для чего исповедь? Для чего я, например, исповедуюсь перед вами? Для облегчения? Эт-т-то вот точно, точнехонько! Мне худо, мне муторно, мне страшно в конце-то концов, и вот я исповедуюсь перед вами в надежде, что среди вас окажется мой — временно — искренний друг. Сейчас я слаб, я положен на обе лопатки, я просчитываю, как прожил жизнь... Эх, сильному и молодому не нужны друзья, ему нужны приятели и дружки, дружки и приятели — это я вам правду говорю! Короче, я до конца не понимал, зачем ищу дружбы Ивана Мазгарева, почему именно он годился на роль моего вечного друга, но я стремился к этому, видит бог, стремился искренне и честно.

— Не надо щадить Вику! — желчно сказал я Ивану Мазгареву.— Она не сволочь, она — дрянь! Сволочи — люди масштабом повыше. Но она действительно хороший работник...— Я решил утешить Ивана Мазгарева. — Говорят, Леванов вострит от нее лыжи и лыжата.

Вот будет шороху. Этого она, тесесеть, не переживет. Уся дрожжить. Уся!

Невооруженным глазом было видно, что мои слова Иван Мазгарев не одобряет, все еще красный за собственную несдержанность, смотрит на меня укоризненно, но мой шутливый тон, мои низкопробные хохмочки делали свое благостное дело: человек выходил из клинча. Ведь ему еще предстояло звонить профессору Перегудину и объяснять, почему его статья не пошла, а два месяца вместе с профессором они работали над ней, как одержимые. Стоило посмотреть на стол Мазгарева, чтобы понять, как они работали над статьей.

Письменный стол, рабочий стол Ивана Мазгарева и он сам были обвиты змеями. Я давно уже прозвал заведующего отделом пропаганды Лаокооном, это прозвище быстро закрепилось, так как стол и Мазгарев были всегда, словно змеями, обвиты двухметровыми гранками пропагандистских статей, пестрых по-змеиному — на полях гранок были тысячи чернильных пометок, исправлений, дополнений, исключений. Как только Иван Мазгарев садился, конец одной гранки падал на колено, конец второй, над которой он работал, заползал вкрадчиво на плечо и — так далее. Ивану Мазгареву сто раз предлагали делать не гранку, а оттиск, но он сопротивлялся этому, и правильно: много ли направишь на полях оттиска?

Я резвился:

— Как токи мистэр Левэн бросит Бубенцову, газета станеть! Ой, Иван Иосифович, оне недавноть ладили поставить в номер статью о половом воспитании молодежи.

Мазгарев серьезно сказал:

— И правильно!

— Ой, не скажите, Иван Иосифович! Не скажите! Нужна статья об антиполовом воспитании. Мой бывший сосед по квартире Сережка на двенадцатом году знал все и во всех деталях. Поставь его за кафедру — лектор! Ой, чего будет, если Левэн оставит Бубенцову! Оне газету не выпустят: весь материал зарежуть.

Я вдруг спросил:

— Иван Иосифович, это правда, что вы ко мне теперь относитесь плохо? Не приложу ума, почему?

Он покраснел, он смутился, он беспомощно улыбнулся, страдалец и герой, он спрятал от меня глаза, уткнув их в гранку погибшей статьи профессора. Однако Мазгарев скоро пришел в себя, то есть не только поднял голову, но и заметно приободрился. Я же говорил, что за правду-матку заведующий отделом пропаганды умел сражаться отчаянно, до посинения; он вообще был бойцом, этот застенчивый мужик.

— Дурная привычка, Никита, слушать сплетников,— сказал он.— Привычка слабых...— Он подумал немножко, тряхнул головой.— Я не стал относиться к тебе хуже, но я считаю некоторые твои поступки неправильными, более того, несовместимыми с кодексом чести.— Он еще раз подумал и поправил самого себя: — Проще: дурными поступками.

— И в чем же это выражается, Иван Иосифович?

— Ну, двумя словами не ответишь, Никита. Если хочешь, то мы могли бы поговорить на досуге.— Он воодушевился.— Нам с тобой просто необходимо выяснить отношения!

Я согласился:

— Буду рад, Иван Иосифович.

Как это ни расходится с моим пониманием дружбы, но Иван Мазгарев мог быть моим другом, единственным и нужным другом до конца жизни. Он бы мне говорил правду — это и есть единственное достоинство дружбы. Уметь говорить правду друг другу, всегда гово-

рить правду, правду, правду и ничего, кроме правды. Такого друга Никите Ваганову не хватало всегда, конечно, была жена, но она сломилась очень скоро — так сильно я давил на нее, а затем появились дети, пеленки, ванночки, коклюши, новые квартиры и материальное благополучие — одним словом, она закрыла рот. И говорящих правду друзей у меня так и не было: сначала потому, что я сам избегал таких людей, потом оттого, что мне было опасно говорить правду.

Был Никита Петрович Одинцов, но это особый разговор.

У меня нет настоящего друга, читатель!..

Совестью, честью, мудростью редакции «Знамени» был Мазгарев, обвитый змеями-гранками, и как там ни крути, Никита Ваганов признавал некоторое превосходство Мазгарева над собой — случай не частый при таланте, уме, мудрости, способности к предвидению Никиты Ваганова.

Выпутавшись из гранок, Иван Мазгарев неожиданно философским тоном изрек:

— Стал ли я хуже относиться к тебе? Видишь ли, в чем тут дело! Арсентий Пермитин — неожиданное и неясное порождение мелкобуржуазной стихии. Он существует и как пережиток прошлого, и как недостаток нашей партийно-воспитательной работы.— Мазгарев огорченно покачал головой.— Мы много сделали за годы Советской власти, но еще довольно вяло боремся с проявлениями мелкобуржуазности. Это не наш недостаток, это наша большая беда. Ты посмотри внимательно на Пермитина, он — одушевленная вещь! Ты не должен с ним бороться как с человеком, ты должен бороться с явлением. Тогда борьба приобретет и социальный, и философский смысл, к чему я тебя и призываю, Никита!

Он уже дважды назвал Никиту Ваганова по имени, он говорил добродушно, но и естественно увлеченно, так как призывал, призывал и призывал, и мне подумалось, что между нами могут наладиться хорошие отношения, но не тут-то было. Иван Мазгарев продолжал:

— Беда в том, что ты — пожалуй, самое яркое проявление мелкобуржуазной мелкотравчатости. Следовательно, бороться идейно-насыщенно с Пермитиным не сможешь и даже не захочешь. Что ты с ним можешь сделать? Ровным счетом ничего! Пессимизм современного бытия... Между прочим, скоро я выступлю довольно крупно против современного мещанства с ленинских позиций. Было бы неплохо, если бы ты прочел материал...

Дружбы Никита Ваганов не завоевал, а вот диагноз получил: буржуазная мелкотравчатость, попросту — мелкобуржуазность, как жить, ходить, сидеть и спать с таким диагнозом? Впрочем, Никита Ваганов всей своей остальной жизнью докажет, как ошибался Иван Мазгарев,— мещане, мелкие буржуа не способны на строительство, аскетизм, фанатизм круглосуточного труда для других и так далее и тому подобное... Я сказал Ивану Мазгареву:

— Пришел по шерсть, а ушел стриженым. Спасибо на злом слове, Иван Иосифович!

— Никита, постой, Никита! Я еще не все сказал...

— До свидания! — Я быстро вышел...

II

Как острый металлический осколок застряли в памяти Никиты Ваганова слова Ивана Мазгарева о его, вагановской, мелкобуржуазности; он даже и не думал, что может быть таким ранимым, неуверенным в самом себе. Черт знает что делалось, если даже спасительную Нелли Озерову ему сейчас видеть не хотелось! Тянуло забиться в уголок, закрыв глаза, размышлять. «Мелкобуржуазность! Мелкотравчатость! Ограниченная способность к мышлению!» — и это все от Мазгарева. Прошло минут десять: он встряхнул головой, сделал несколько спортивных движений и сел работать — лекарство от бед и несчастий, и работал до позднего вечера, то есть пришел домой еще позднее Габриэля Матвеевича, который в те дни проводил глубочайшую ревизию состояния дел комбината «Сибирсклес»: готовился передать дело новому главному инженеру. И с каждым днем все больше успокаивался: за годы его начальничания комбинат так хорошо и славно работал, что один неудачный год и последующие за этим приписки, сделанные по распоряжению Пермитина, мало что меняли в хорошо отрегулированном и смазанном механизме — комбинате «Сибирсклес». Хотя «панама» с лесом,— простая как телега, — наделала бед. Предположим, что комбинат «Сибирсклес» должен поставить народному хозяйству страны миллион кубометров леса, в наличии такого количества кубометров нет — предприятия работали отвратительно, вот тогда и сообщается, что миллион-то был, но велик утоп древесины при молевом сплаве, и сообщается такое количество утонувшего леса, какого быть не может, да и в действительности не было. Вторая сторона аферы — увеличение количества леса, якобы оставшегося на берегах в результате быстрого спада воды,— чего не было, кроме, пожалуй, одной сплавконторы, Васютинской. Последнее: варварская вырубка прибереговых кедровников, которые легко взять и погрузить на баржи. Габриэль Матвеевич Астангов увидел, что Пермитин все-таки не сумел до конца разладить дело и мог сказать себе: «Девяносто процентов — работы, десять процентов — преступления! Будем рассчитываться за все и вся, на то мы и есть — мужчины».

Он искренне обрадовался приходу зятя:

— Никита, садитесь, если хотите, посумерничаем.

Никита Ваганов сказал:

— Давайте посумерничаем, Габриэль Матвеевич.

А было уже здорово темно, они плохо различали лица друг друга, однако чувствовалось, что Габриэль Матвеевич успокоился,— этого за ним последние полгода не наблюдалось, ну и славно! Никита Ваганов радовался за тестя, тещу, успокоенную успокоением мужа, внешней покладистостью дочери. Одним словом, все было как в лучших домах Филадельфии и Чикаго. Не так уж плохо посумерничать в домашней обстановке! После длинной-длинной паузы Габриэль Матвеевич сказал:

— Чем дольше живешь, тем больше хочется жить. Вот уж несообразность!

— Начал философствовать, Емеля! — сказала теща, а Никита Ваганов дипломатично промолчал: он еще не мог по времени и по существу прожитой жизни разделить утверждение тестя, но уже догадывался, что Габриэль Матвеевич прав на все сто процентов, и ему, Ваганову, совсем немного времени — мгновение! — оставалось до полнейшего понимания пессимизма тестя.

Жена Ника сказала:

— А мне вспоминается детство, папа, ты тогда часто сажал меня себе на колени. Это было так хорошо, папа!

Они замолкли надолго... В жизни Никиты Ваганова не было семейного сумерничания, сидения на отцовских коленях, ласкового молчания — многого не было в его короткой и скудной жизни; он об этом жалел и не жалел, и когда жизнь больно ударяла Никиту Ваганова, он думал: «Хорошо, что я не вырос мимозой!».

Славно было в темном, свежем от притока чистого воздуха пространстве, Никита Ваганов отдыхал душой и телом. Он думал, что

завтра-послезавтра начнут происходить самые важные и решающие события...

Их сумерничание прервал звонок в дверь, вошла домработница, протянула телеграмму Никите Ваганову.

«Сердечно поздравляю утопом или махинацией Желаю дальнейшего Твой Валентин».

Никита Ваганов сказал:

— Поздравляет московский товарищ. По поводу Черногорска,— соврал он.— Это Валентин Иванович Грачев, Валька Грачев, студенческий неразлучага...— Он подошел к телефону, набрал номер подачи телеграмм по телефону и минуты через три диктовал.— Спасибо, Валентин. Хочу свидеться, здорово соскучился. Твой Никита.

Теперь он не лгал: он скучал по Вальке Грачеву. ...Это не значит, что они не схватятся с Валькой Грачевым, когда будет решаться, кому редакторствовать в «Заре». Победит Никита Ваганов — не только благодаря важным связям, но и своим талантом, организаторскими способностями, умением сплачивать коллектив. Не найдется человека, даже среди злопыхателей, кто бы сказал, что Никита Ваганов занимает не принадлежащее ему место по праву, и тот же Валентин Грачев, Валька Грачев однажды скажет:

— Завидую, но понимаю!

Он станет первым заместителем главного редактора, как говорится, правой рукой Никиты Ваганова, и никогда и нигде уже не будет его подсиживать, раз и навсегда решив, что теперь его судьба — следовать за талантливым и сильным Никитой Вагановым. Как первый заместитель Главного редактора он будет иметь все привилегии и все блага, включая материальные. Мало того, Валюн будет жить разнообразнее Никиты Ваганова; не вылезать из-за границ, вовремя пользоваться отпусками и в конце-то концов, наверное, станет редактором «Зари», когда Никита Ваганов...

Сумерничая, в доме Габриэля Матвеевича понемногу, как всегда бывает, разговорились в полутемноте. Беседа развивалась так:

ВАГАНОВ. Спасибо Валюну за поздравление!

ЖЕНА НИКА. (Она догадалась, о чем идет речь.) Да, ты своего добился, Ваганов.

АСТАНГОВ. Не злись! (Он тоже все понял.)

ТЕЩА. Вот уж не думала, что выращу такую бессердечную!

АСТАНГОВ. Она рисуется.

ВАГАНОВ. Ну и пусть ее рисуется.

АСТАНГОВ. Перемелется — мука будет. Ника станет вам прекрасной женой, Никита... Как вы думаете, Одинцова возьмут в Москву?

ВАГАНОВ. Будь я на месте высокого начальства, я бы его давно посадил в Большой дом.

ЖЕНА НИКА. Ах, какой у меня умный и прозорливый муж. Только на собственную жену не хватает мудрости.

ТЕЩА. Отвяжись от Никиты! Он — человек государственный, хотя ему так мало лет... Впрочем, папа начинал в таком же возрасте. Да! Да!

АСТАНГОВ. Не хвастайся, Соня. Я начинал на пять лет позже. Теперь молодежь созревает быстрее.

ВАГАНОВ. Точно! Не смейте каяться, Габриэль Матвеевич.

АСТАНГОВ. Хорошо, хорошо!

ЖЕНА НИКА (с внезапной страстью). Тем хуже для Никиты, папочка! Его разделают, как селедку...

ТЕЩА. Действуйте по своему усмотрению, Никита! Наша песенка спета.

ВАГАНОВ. Ну, уж чертушки! Мы еще посражаемся, мы еще... О, я прямо не знаю, что сделаю! Я... Ох, что я сделаю!

ЖЕНА НИКА. Давайте зажжем электричество.

III

Все главные события, связанные с Никитой Борисовичем Вагановым во время его пребывания в городе Сибирске и поблизости, происходят по странной случайности весной, летом и осенью; на зимние месяцы приходится, так сказать, время медвежьей спячки. Впрочем, он так и был задуман генетически, что три зимних месяца был малоактивным, пребывал в меланхолии, сплине. Временем его наступательной активности была осень — ранняя или поздняя, безразлично, и, конечно, его статья «Утоп? Или махинация!» была опубликована осенью — под журавлиный крик, мельтешение желтых листьев, тихоструйность обмелевших рек, сквозную прозрачность сосновых боров, звон лиственниц в городском саду.

Центральная газета «Заря», напечатанная с матриц в Новосибирске, пришла вовремя, статья «Утоп? Или махинация!» стояла на третьей полосе и примерно в половине десятого утра город Сибирск, центр лесного края, пришел в движение; повсюду, в жилых квартирах, учрежденческих комнатах, кабинетах, шуршали газетные страницы, раздавались восклицания, аханья и оханья, стоны и смех. Уж очень ловко системой железных крупных фактов автор статьи Никита Ваганов «припечатал» руководство комбината «Сибирсклес» и, кажется, кое-кого повыше. Фамилия Пермитина в статье повторялась трижды, о стиле его негожего руководства, собственно, и рассказывалось в статье.

Первым на статью, как ни странно, откликнулся Боб Гришков. В телефонной трубке прохрипело: «Идиотика! Через час я буду у тебя!».

В статье автору не все, оказывается, нравилось. Он начинал с вопроса, сколько это будет, если ноль помножить на восемь тысяч. И сам отвечал: восемь тысяч, если следовать арифметике, потом приводились бухгалтерские цифры, подводилось сальдо-бульдо и — шли живые зарисовки с мест, дающие картину действительно омерзительную. Габриэль Матвеевич Астангов «проходил» один раз, но без фамилии, как главный инженер. Два больших абзаца были посвящены вырубке кедровых лесов и употреблено слово «преступная», середина очерка была обыкновенной, подчеркнуто серенькой, а вся статья кончалась рефреном: «Сколько это будет, если восемь тысяч кубометров леса помножить на ноль?» Ответ был таков: «Корреспонденту не удалось найти и бревнышка, обсушенного на берегах сплавных рек!». Пожалуй, только сам автор понял, что статью нельзя было обрамлять рефреном: подозрительно попахивало фельетоном...

Сибирский обком партии! За что тебя наказал бог бывшим замечательным шахтером, знатным горняком, блистательным машинистом угольного комбайна, — Арсентием Васильевичем Пермитиным? Почему, Сибирский обком, ты отдал под его начало лесозаготовительную промышленность, в которой он ничего не понимает, зачем его, самодура, больше похожего на подвыпившего купчика, чем на партийно-хозяйственного работника, сделал кандидатом в члены бюро обкома? Это ошибка, описка, вопиющее недоразумение? Это предельно плохо, когда обкомом партии прикрывается такой человек, как Пермитин.

Выслушав по телефону очередное поздравление, Никита Ваганов сам пошел к Бобу Гришкову. Редакционный коридор гудел: пробежала на тонких ножках взволнованная Виктория Бубенцова, ожесточенно скребла приемную техничка, сквозь двери слышался кабинетный вопль; сунув руки в карманы, по коридору победоносно шлялся Борис Ганин — пожиратель начальства всех степеней и рангов. Да, большой переполох был в редакции «Знамени», но в нем участия не принимал только один человек — собственный корреспондент «Зари» Егор Тимошин, который на службу в этот день не явился.

Боб Гришков полулежал на диване, газета валялась на полу, сам толстяк и жуир возмущенно таращился в потолок. Он набросился на Никиту Ваганова.

— Почему, идиотство, писал статью сам? Какого хрена не передал материал Тимошину? Ты что, не понимаешь, в какое положение ставишь его? Не знает области, проморгал, прошляпил и прочая идиотистика! Ах, идиот, ах, идиотство, ах, идиотика! Нет, ты мне отвечай: подсиживаешь Тимошина? Ты и вправду карьерист?

Никита Ваганов, присаживаясь на подоконник, ответил:

— А ты не ори!

— Ору и буду орать! Зачем ты это сделал без Егора?

Боб Гришков поднял с пола газету, всю изрисованную красным карандашом; саркастически улыбаясь и сам себе подмигивая, он начал квохтать над статьей курицей, увидевшей в небе коршуна.

— Допрос окончен?

— Какое идиотство! Егор может схлопотать большие неприятности!

«И поделом! — спокойно подумал Никита Ваганов. — Журналисту надо заниматься чем-то одним — романом о покорении Сибири или утопом леса!»

Тихая и громкая паника в редакционном коридоре продолжалась. Хлопали двери и гремели мужские голоса, за закрытой дверью — слышно каждое слово — разорялась Мария Ильинична Тихова, в приемной редактора Кузичева читала «Зарю» секретарша Нина Петровна и облизывала острым языком сохнущие от волнения губы — вот какая она была, эта статья «Утоп? Или махинация!». Когда Никита Ваганов вошел в кабинет редактора, Кузичев стоял у окна, барабанил пальцами левой руки по стеклу, мычал что-то лирическое.

— Здравствуйте, Никита, садитесь, пожалуйста.

Помолчали оба. Затем редактор сел на стол, вздохнул:

— Надо готовиться, Никита! Думаю, что Первый вынесет вопрос Пермитина на пленум обкома.

...Спустя десятилетия вспоминая об этом разговоре, Никита Ваганов не припомнит ни одного слова редактора Кузичева, но увидит как наяву хорошую и молодую улыбку на худощавом лице редактора, вместе с Никитой Вагановым выигравшего тяжелую схватку с Пермитиным. Он вспомнит и себя — молодую радость и, простите за банальность, окрыленность человека, который, считая по-крупному, поставил на место Арсентия Васильевича Пермитина — человека, губящего дело зазнайством, невежеством. Статья была опубликована шестого сентября, и в этот же день произойдет еще одно памятное событие: по взаимному желанию, втайне от редакционной челяди, произойдет свидание Никиты Ваганова и Егора Тимошина.

Они встретились у центральной почты, где стояла короткая и широкая скамейка, недавно покрашенная, но отлично просохшая. Было это теплым и лучистым вечером, городской шум стихал, автомобильный поток редел, купола Воскресенской церкви светились фонарями,

большими золотыми фонарями, и было звучным все вокруг, словно воздух проредился.

...Итак, они встретились. Никита Ваганов пришел первым, сел на удобную скамью в затишке и стал терпеливо дожидаться Егора Тимошина, имеющего обыкновение опаздывать — везде и всегда. Это говорило о его независимости, умении высоко стоять над обстоятельствами, быть раскрепощенным от рабства современной жизни, суетной и напряженной до фельетонности. На Егоре Тимошине были модные брюки, югославские башмаки, еще летняя рубашка — он держал в руках свернутую трубочкой газету «Заря», которой помахивал подачному, с удовольствием. «И этот — актер! — насмешливо подумал Никита Ваганов.— Ну, как не вспомнишь пресловутое: «Мир — театр, люди — актеры...»

— Добрый вечер, Никита!

— Привет, Егор! Садись!

Егор Тимошин не сел. В последние годы он старался похудеть, питался целесообразно, много занимался гантельной гимнастикой, был невысоким, коренастым, широкоплечим; кряж, сказал бы какой-нибудь писатель, работающий над так называемой деревенской темой.

Они молчали.

— Послушай, Егор, может быть, ты мне объяснишь феномен Егора Тимошина?

Он не отвечал, разглядывая маковки Воскресенской церкви, и был таким, словно слышал колокольный звон недавно снятых колоколов. Наконец он свежо улыбнулся и сказал:

— Хорошо, Ваганов, я скажу и все сделаю для твоего душевного комфорта.— Он еще раз улыбнулся.— Пусть будет по-твоему, Ваганов. Ох, как ты далеко пойдешь! Ты даже сам не знаешь, как высоко! — И попросил: — Вспомни потом о старике Тимошине... Впрочем, обо мне-то ты никогда не забудешь. Преступников тянет на место преступления.

— Нам надо все-таки объясниться! — прямо и резко заявил Никита Ваганов.— Ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится, но мне надо выговориться.

Тимошин разулыбался.

— В этом ты весь, Никита! Тебе надо выговориться, ты не можешь не выговориться — и в этом все дело! И все-таки валяй, устраивай душевный стриптиз, ты и на это горазд.

Как видите, Егор Тимошин понимал роль Ваганова в грозах, что собирались над Сибирской землей, накопитель фактов и фактиков так расположил их, в такой последовательности, что его гороскоп оказался правдивым, как небо, что висело над их головами.

Егор Тимошин сказал задумчиво:

— Значит, ты хочешь признаться, что сделал все возможное, чтобы я ничего не знал об утопе? Ты заткнул все щели в моем кабинете.

Никита Ваганов сухо ответил:

— Роман пишется полным ходом?

— Не так быстро, как хотелось, но пишется,— как ни в чем не бывало вдруг ответил Тимошин.— И теперь, конечно, дело пойдет быстрее... Весь уйду в роман.

Святая простота, доброжелательность, детскость — это, наверное, и есть добродетели таланта, дарования. Никита Ваганов сказал:

— Не сяду я на твое место, Егор.

— Я удивлен. Почему?

— Не сяду! Неужели я должен объяснять все мои поступки?

Хочешь быть свободным — дай свободу другим... Одним словом, не сяду.

При этом он подумал о Нелли Озеровой, встреча с которой была назначена двумя часами позже.

IV

Кандидатом в члены партии Никита Ваганов стал легко: его хвалили, выражали надежду на еще большие свершения, советовали не зазнаваться, не останавливаться на достигнутом. Голосовали единогласно, подчеркнуто доброжелательно и торжественно; было видно, что коллеги рады увеличению числа членов партии — это должно было произойти через год. И вот время наступило. Никита Ваганов спокойно съел в редакционном буфете три разных бутерброда, никакого сверхобычного волнения не чувствовал, а скорее всего, наоборот, ждал триумфа. Ведь в этот же день, сегодняшним же утром на «летучке» его безостановочно хвалили.

Закрытое партийное собрание... Это было такое собрание, которое Никита Ваганов до смерти не забудет, как кошмар, от которого станет просыпаться с бьющимся о ребра сердцем и пульсирующей от боли головой. Второго такого испытания, как это партийное собрание, в жизни Никиты Ваганова больше не будет, если не вспомнить... Правда, и на собрании он не вспомнит льдистое весеннее утро, когда Иван Иосифович Мазгарев не подал ему руки — или по забывчивости, или нарочно. А ведь этот факт важен для предвидения событий, развернувшихся на закрытом партийном собрании, на повестке которого стояли два вопроса: «Итоги работы редакции за первое полугодие» — первый пункт и «Прием в партию Н. Б. Ваганова» — второй пункт. Кандидат в члены партии Никита Ваганов, всегда такой мудрый и дальновидный, самодовольно позволил себе не обратить внимания на поведение в то льдистое утро Ивана Мазгарева — совести всей редакции газеты «Знамя», и только поэтому не сможет предвидеть миллионной доли того нравственного испытания, которое выпадет на его бедную голову. Хуже всего оказались спокойно съеденные в редакционном буфете бутерброды, потому что Никита Ваганов считал перевод из кандидатов в члены партии чуть ли не пустой формальностью — кто мог предполагать, что на сегодняшнем партсобрании пробудятся скрытые силы, разыграются страсти-мордасти? Громкий получится шум, дойдет до ушей тестя Никиты Ваганова, отзовется в обкоме партии, в кабинете Арсентия Васильевича Пермитина, который, конечно, скажет свое, пермитинское: «Завидуют тебе, завидуют, Ваганов! Наплюй! Говорю, боятся и завидуют, Ваганов!»

Партийное собрание проходило в красном уголке редакции «Знамени». Место председательствующего занял секретарь партийной организации Иван Иосифович Мазгарев, редактор забился в угол и пока еще блаженно посапывал. Впереди расположилась боевая сила коллектива: ответственный секретарь редакции Виктория Бубенцова, литраб отдела партийной жизни Василий Семенович Леванов, подлая баба Мария Ильинична Тихова, Нелли Озерова, заведующий промышленным отделом Яков Борисович Неверов и так далее. Боба Гришкова и Бориса Ганина — беспартийных — на закрытом партийном собрании, естественно, не было.

— Обсуждаем первый вопрос,— сказал Мазгарев.— Сообщение сделает редактор Владимир Александрович.

Никита Ваганов — вот кто был героем сообщения редактора Кузичева, делающего обзор работы «Знамени» за полугодие: статья «Былая слава» и очерки, зарисовки и аналитические статьи позитивного порядка — это было в центре внимания редактора Кузичева, взявшего Никиту Ваганова в сообщники в борьбе с Арсентием Васильевичем Пермитиным. По праву считающий интересной работу Никиты Ваганова, не щадящего себя, не жалеющего ничего для газеты «Знамя», редактор Кузичев неплохо отозвался и об очерке Бориса Ганина «Директор», но тут же пропел гимн двум очеркам Ваганова о простых незамысловатых людях, на первый взгляд не имеющих за спиной броских подвигов и свершений. Редактор сказал:

— Именно тяга к простому человеку, умение без украшательства писать о советском образе жизни делает очерки Никиты Борисовича событием...

Стоило наблюдать за реакцией возлюбленного Виктории Бубенцовой литературного работника отдела партийной жизни Василия Леванова! Он погибал от зависти: то бледнел, то краснел, а редактор все говорил да говорил, но имя Леванова так и не слышалось. «Никита Борисович да Никита Борисович!..» Стоило посмотреть и на подлую бабу Марию Ильиничну Тихову. Она цвела и расцветала, молодела на глазах оттого, что возносили на щит ее любимого ученика, как она считала! Ведь Никита Ваганов, внедрившийся в редакцию «Знамени» москвич, первый год работал вместе с Тиховой и действительно кое-чему научился у подлой бабы, хотя исправно подчищал ее писания.

— Великолепные очерки Никиты Борисовича,— говорил редактор Кузичев, сам не ведая того, что захваливанием обрекает своего любимца и соратника на гибель, что дифирамбами ставит его в такие условия, когда может случиться страшное — создание оппозиции.

— Очерки Никиты Борисовича по-новому трактуют, собственно, и самое жизнь,— продолжал губить Ваганова редактор газеты «Знамя».— Мы привыкли, товарищи, видеть поверхностный, так сказать, только героический или трудовой слой, а Никита Борисович проникает глубже...

Василий Леванов, мистер Левэн, сидел зеленый.

Проникновение в глубь характеров, проникновение...

Стоило наблюдать и за Нелли Озеровой — опытной конспиранткой, но сейчас начисто утерявшей всегдашнюю бдительность. Она, черт ее подери, вела себя так, точно находилась в объятиях Никиты Ваганова. Он немедленно послал ей записку: «Закрой поддувало!». Она оглянулась с испугом. А редактор Кузичев продолжал добивать Никиту Ваганова, продолжал его уничтожать похвалами и восторгами и делал это так неумело, что Никита Ваганов ужаснулся: «Неужели я так заметен?» День закрытого партийного собрания навсегда запомнится именно тем, что Никита Ваганов напряженно размышлял на тему «серость и карьера», «посредственность и руководящий пост», «безликость и яркость» и так далее. Величайшей школой для Никиты Ваганова будут два с половиной часа этого собрания, два с половиной часа, стиснув зубы, он критически, словно постороннего, разглядывал себя и понимал, что жил неправильно. По ненависти Леванова, по восторгам подлой бабы Тиховой было ясно, что страсти разыграются, так как злой дух выпущен из глиняного сосуда: мистер Левэн готовил увесистую дубину, выступление подлой бабы Тиховой окажет на собрание обратное действие, вполне понятное — того, кого хвалит Тихова, в партию принимать категорически не следует! Одного не сумел смоделировать Никита Ваганов — позиции Ивана Мазгарева. Поэтому он готовился только к тому, чтобы отбиться от Леванова, то есть мистера Левэна; отбиться от него и от Бубенцовой, которая, конечно, сломя голову, бросится на поддержку возлюбленного, тем более что Никита Ваганов не так давно оскорбил ее. «Нет, нет, мне определенно не хватает серости и посредственности! Так я далеко не уеду»,— думал Никита Ваганов...

Прения по первому вопросу опять для Никиты Ваганова были победительными. И Неверов, и Озерова с похвалой отозвались о его газетной работе. Леванов, то есть мистер Левэн, сказал, что очерки Ваганова заслуживают внимания, хотя в них есть недостатки, о которых он не будет говорить из-за регламента. Взахлеб хвалила очерки Тихова и — прочие. Одним словом, прения по первому пункту повестки дня были триумфальными, и Никита Ваганов почувствовал облегчение от того, что после первого вопроса — его обсудили быстро — решили перерыв не делать. Это значило, что второй пункт повестки собрания займет мало времени. И все-таки Никита Ваганов дважды посмотрел в угол, где сладостно опять дремал редактор Кузичев, а когда наконец-то поймал его взгляд, то прочел: «Вот как все хорошо, Никита!»

...Несколько лет спустя, собственно, два-три года спустя, Никита Ваганов признается самому себе, что если бы не было выступления Мазгарева на партийном собрании, его следовало бы выдумать, чтобы суметь так быстро продвинуться вперед и вверх. Выступление Мазгарева наталкивало на те проблемы, которыми Никита Ваганов — вот такой молодой, но умный,— занимался еще до того, как Мазгарев поднялся со своего председательского места: проблемы «серость и карьера», «посредственность и карьера», «безликость и карьера». Сам не зная, что он творит, Иван Мазгарев приглушит молодую вызывающую яркость Никиты Ваганова, заставит его всерьез заниматься вопросами МИМИКРИИ, и за это Никита Ваганов мысленно поставит памятник Ивану Мазгареву... Однако на партийном собрании ему было тяжелехонько.

Иван Мазгарев деловито объявил:

— Продолжаем собрание. На повестке — прием в члены КПСС. Прошу высказываться, товарищи!

И наступила пауза, длинная и тяжелая пауза, не простая, не вызванная тем, что люди обдумывали, как удачнее выступить, а пауза, устрашающе переполненная желанием двух-трех человек говорить негативное; такое всегда передается от человека к человеку, электризует пространство, как бы нервным облаком висит над головами. Еще до первого «разрешите» Никита Ваганов ощутил, что такое эта пауза, но первое «разрешите» еще не было громовым раскатом, а было похуже — слово взял Яков Борисович Неверов, поклонник Никиты Ваганова, восторженный поклонник. Он еще долил масла в огонь, и без того раздутый редактором Кузичевым. Оратор сказал:

— Товарищи, я не понимаю, почему нужно так долго молчать, если мы принимаем в партию хорошего человека? Разве это не радость, что мы принимаем человека в партию? Это же праздник для того, кто понимает в таких вещах. А мы отмалчиваемся, переглядываемся. Иван кивает на Петра...

Худшей услуги Никите Ваганову не мог оказать и самый злейший враг! Кто просил Неверова говорить о том, что члены партии молчат и переглядываются? Какого дьявола он концентрировал внимание на том, что не было веселых лиц при приеме в партию Никиты Ваганова? Что он говорил, этот добрый дурак? Какую плел околесицу!

— Иван кивает на Петра, Петр пожимает плечами. Тот, кто хочет иметь праздник, тот его всегда будет иметь, а мы с постными лицами принимаем в партию хорошего человека. Что такое товарищ Ваганов? Нет, кто такой товарищ Ваганов? Это молодой человек новой формации, тот самый молодой человек, в руку которого нам надо вложить эстафету. Что я могу сказать о товарище Ваганове? Только хорошее, и хотел бы посмотреть на тех, кто не скажет хорошее. Я бы хотел на них посмотреть!

Через пять минут он их увидит и услышит! Однако Неверов продолжал наворачивать и наворачивать: очерки Никиты Ваганова ему нравились чрезмерно, статьи Никиты Ваганова он обожал, стилю работы Никиты Ваганова он завидовал и прочее, и прочее. Слово за словом, фраза за фразой, а Никита Ваганов все глубже и глубже увязал в черной тине глаз Виктории Бубенцовой, нацеленных на него неотступно. Последней молодости женщина смотрела на него так, словно простенько предлагала: «Сдавайся сам, Ваганов! Лучше уйти с достоинством, чем оставаться!» Этот взгляд Никита Ваганов не раз вспомнит впоследствии и ужаснется тому, что могло бы произойти, если бы его тогда не приняли в партию.

— Я с гордостью проголосую за товарища Ваганова, за члена партии товарища Ваганова! — пафосно произнес Яков Борисович Неверов.— Голосую!

Теперь пауза была недолгой. Поднялась Виктория Бубенцова и сразу взяла быка за рога:

— Возьму частный случай, а именно работу товарища Ваганова с письмами трудящихся! — Виктория Бубенцова рассеянно и добродушно щурилась.— Приятно, конечно, что в адрес Никиты Борисовича поступает много писем трудящихся, но...— Бубенцова сейчас походила на ангела во плоти.— Позапрошлый квартал для товарища Ваганова ознаменовался тридцатью шестью письмами трудящихся. Проследим их судьбу...

...В роли редактора «Зари» Никита Ваганов однажды расквитается с интриганом и пасквилянтом, незаметным, но гадким человечишкой именно с помощью писем. Он хорошо запомнит урок Вики Бубенцовой, которая, оказывается, тщательно подготовилась к партийному собранию...

— Итак, мы узнаем, что из тридцати шести писем тридцать два — тридцать два! — просрочены, а одно письмо, о котором я буду говорить отдельно, находится у товарища Ваганова шестой месяц, товарищи, шестой месяц. Куда только смотрит руководство?

Никита Ваганов театрально улыбался. Он понимал, что его схватили за руку, схватили железными клещами, которые вот-вот сомкнутся с грохотом. Он действительно не считал работу с письмами важной, забывал о письмах, не отвечал на письма своевременно, ненужные ему письма сваливал грудой в большой ящик письменного стола, на что до сих пор никто почему-то не обращал внимания. Никита Ваганов мельком перехватил взгляд Нелли Озеровой: «Все обойдется, все обойдется!» Да, не думал он, что Нелька увидит его таким жалким. Он и не подозревал, что был вовсе не жалким, а, наоборот, распекаемый Бубенцовой, со стороны выглядел металлическим, пуленепробиваемым, опасным в своей бесстрастности. Он, естественно, не заметил, что и Виктория Бубенцова дважды на него взглянула с опаской: «Не делаю ли я ошибку, что связываюсь с Вагановым? Не сунула ли я голову в пасть льву?» А редактор Кузичев несколькими днями позже скажет Никите Ваганову, что он, Ваганов, держался молодцом на партийном собрании.

— Что за письмо держит товарищ Ваганов без движения шестой месяц? — нежно спросила Виктория Бубенцова.— Это так называемое огородное письмо. У некой Марии Степановны Степановой, сол-

датской вдовы и колхозной пенсионерки, отрезали десять соток огорода, отрезали без всякой причины и объяснения. Это письмо относится к числу тех писем, которые надо не только проверять, но и активно проверять... Товарищ Ваганов полгода держит письмо под сукном.— Виктория Бубенцова обезоруживающе улыбнулась.— Мне было бы приятно, если бы список недоработок товарища Ваганова на этом кончился. Увы! Письмо второе принадлежит — вот какое совпадение! — тоже солдатской вдове...

Напыщенный, злой и мстительный Вася Леванов, мистер Левэн, медленно перелистывал страницы записной книжки — видимо, по сценарию было задумано так, чтобы он выступил не сразу после Бубенцовой, а третьим или четвертым. Никита Ваганов подумал: «За что они меня не терпят, дураку понятно, но зачем им надо выступать обоим? Будто не хватит одной Вики?» Он оказался прав: именно дуэт Бубенцова—Леванов заставит в конце собрания подняться с места Кузичева и резко осудительно выступить против Василия Семеновича Леванова, допустившего в злобном выступлении массу серьезных передержек и ошибок. Член бюро обкома партии Кузичев отчасти расправится с любовным дуэтом, хотя никогда не обращал внимания на сплетни — он был деловым человеком.

— Вот какая картина, товарищи, вот такая грустная картина! — говорила Бубенцова.— И я, товарищи, не буду говорить о других недостатках Ваганова, не буду, хотя их много и они серьезны. Я не могу голосовать за принятие в партию Ваганова.

Вот такие пирожки! Но уже поднималась с места, уже шла к столу президиума Мария Ильинична Тихова, шла с блестящими от возбуждения черными монгольскими глазами, неистовая и опасная в своем неистовстве, еще более опасная, чем Бубенцова и Леванов, вместе взятые. Никита Ваганов затаил дыхание, прикрыл глаза, Мария Тихова завопила. Она метнулась в сторону Виктории Бубенцовой:

— Почему ты молчала полгода, если знала о письме Степановой? Я вас всех спрашиваю, почему молчала секретарь, ответственный секретарь газеты Бубенцова, если знала о полугодовом недвижении письма? Ты специально подсиживала Никиту? Отвечай, ты его специально подсиживала?

Бог знает, что творилось! Сгущался за окнами вечер, шел трамвай, проливающий яркие брызги из-под контактной дуги, постукивали каблуками по асфальту женщины, возле почты перекликались мальчишки, а здесь — бог знает, что творилось! Защитница Никиты Ваганова наседала на Бубенцову, Бубенцова звучно огрызалась, председательствующий Мазгарев призывал к порядку. Нелли Озерова аплодировала Тиховой, мистер Левэн злобно щерился, точно забитый щенок, редактор Кузичев задумчиво чесал залысину и дергал левым плечом. Что касается Никиты Ваганова, то он готов был без горчицы съесть Марию Ильиничну Тихову, подлую бабу. Она продолжала вопить как резаная:

— Ты подсиживала Никиту, нет, ты его подсиживала? Товарищи коммунисты, почему вы молчите, почему, почему?!

Иван Мазгарев сказал:

— Мы на партийном собрании. Мы говорим по очереди и не кричим, о чем напоминаем и вам, товарищ Тихова.

— А я не кричу! — еще сильнее прежнего завопила эта базарная баба.— Я исторгаю вопль по поводу подлой игры гражданки Бубенцовой. Ну, разве вы не понимаете, отчего она не любит Никиту? Завидует. Я тоже ему завидую, но как завидую? Как? Я завидую по-доброму его таланту, его оперативности, его...

И пошла, и пошла, и пошла... Одним словом, Никита Ваганов опять думал на тему «посредственность и карьера», «серость и карьера», «безликость и карьера» и прочее. Как он смел так высунуться из окопа, что в него угодила первая пуля, как он так открылся, что вызвал на себя огонь такого мощного дуэта — Бубенцова—Леванов? По молодости, по глупости, по неопытности! Но как быть с его действительно яркими очерками и статьями, как быть с умением выступать на собраниях и совещаниях, как быть с крупным лицом, таким добрым, когда оно при очках? Отбросить все, остаться серенькой маленькой мышью, способной пробраться в любую щелочку? Невозможно это для Никиты Ваганова, не съеживается он до размеров Васи Леванова — самого «скромного» человека в редакции «Знамени». А что делать, если Мария Ильинична Тихова так и валит, так и валит:

— Чего только стоят выступления Никиты в центральной печати! Они имеют всесоюзное значение. Такие, например, как...

Она говорила минут пять, она кричала и говорила, называя Никиту Ваганова только и только по имени, и это было смешно, комично для закрытого партийного собрания, тем более что все присутствующие знали: Никита Ваганов правит очерки Марии Тиховой, а очерки Нелли Озеровой — пишет. Позор, кромешный позор!

— Я не только сама буду голосовать за Никиту, но и призываю всех проголосовать за Никиту, всех-всех-всех, товарищи!

«Пронесет — не пронесет?» — гадал Никита Ваганов, наблюдая за тем, как крикливая баба возвращается на место.— «Пронесет — не пронесет?»... Если бы «не пронесло», Никита Ваганов не сделался бы тем Никитой Вагановым, который будет стоять на синтетическом ковре под взглядами профессорского синклита, чтобы узнать, когда приблизительно он умрет. Нет, в конечном итоге он стал бы Никитой Вагановым, стал бы им, но в другие сроки и в иных условиях. Интересно, предстал бы такой Ваганов перед профессорским синклитом или не предстал? Кто может ответить на этот вопрос, кроме Госпожи Судьбы? Останься Никита Ваганов специальным корреспондентом «Знамени», проживи десятилетия в Сибирске, может быть, и не было бы синтетического ковра? А-а-а-а! Кто знает? Вместо синтетического был бы другой ковер, попроще и подешевле. А если — нет?! Хватайся за голову, Никита Ваганов, хватайся и плачь, рыдай и бейся об пол, умирающий не сегодня, так завтра, Никита Ваганов!..

— Слово имеет Василий Семенович Леванов.

Спасительным — вот как надо было бы назвать выступление на закрытом партийном собрании «мистера Левэна». Начал он, правда, хорошо и лихо. Он сказал:

— Мне думается, товарищи, что критика товарища Ваганова, вернее уровень критики товарища Ваганова, ниже самого товарища Ваганова и его, безусловно, интересной работы...

Это было заявкой на большой «серьез», это прозвучало набатно и было бы убийственным, коли критика самого Леванова была бы, как он требовал, на уровне Никиты Ваганова. Нет, он ничего интересного и убивающего не сообщил, хотя — скотина! — рикошетом чуть не попал в цель, когда заявил, что статья Никиты Ваганова о Владимире Майорове «Былая слава» написана так, словно автор держит фигу в кармане, словно не хочет говорить правду и только правду.

— В этом весь товарищ Ваганов! — заявил мистер Левэн, почти попадающий в цель.— Здесь наиболее ярко проявлено его приспособленчество, его нежелание говорить всегда правду до конца...

Когда он произносил это, Никита Ваганов чувствовал на своей прямой спине взгляд редактора Кузичева, так благодарного недавно

ему за то, что за статьей «Былая слава» стоит еще ряд грозных непробиваемых фактов. А мистер Левэн все ходил вокруг да около:

— Методы советской журналистики... Совместимость методов советской журналистики с творческим методом товарища Ваганова...

...Дурак — это всерьез и надолго, дурак — это должность, с которой сместить невозможно, и, как это ни странно, Никита Ваганов на всю жизнь под дураком будет подразумевать и видеть Василия Семеновича Леванова, но дурака высшей кондиции, то есть умного дурака. Никита Ваганов всю жизнь будет цитировать из Чехова: «Теперь у кажинной дуры свой ум есть!», а видеть будет и слышать мистера Левэна, как он ходил вокруг да около цели, чуть не поразив ее рикошетом. Дело в том, что сам-то Никита Ваганов знал о передержках и недодержках, которые он допускал в статьях и очерках, и о вранье, которое по жестокой необходимости жизни ходит рядом с правдой. Ну, это уже материи высокого, не левановского порядка! В них и сам Никита Ваганов не всегда разбирался...

— Я воздержусь при голосовании! — печально закончил мистер Левэн.— Это единственное, что я могу сделать с чистой совестью.

И сел, подлец этакий! Сел демонстративно рядом со своей Викой Бубенцовой, чтобы все думали, что они друзья, а не любовники. А собрание вновь притихло, так как председательствующий Иван Иосифович Мазгарев не призывал выступать других, а поднимался для выступления сам, собственной персоной. Умный и добросовестный, доброжелательный и серьезный, терпимый и принципиальный, он ничего никогда не делал, как говорится, с кондачка, во всех жизненных ситуациях был верен правде, своей, мазгаревской, правде. Помолчав, сосредоточившись, собрав на себе внимание — без желания делать это,— Иван Иосифович Мазгарев произнес такую речь, которая навеки запомнилась Никите Ваганову, научила его, как жить дальше, потому что для него лично решился вопрос: «талант и серость». Иван Мазгарев сказал:

— Я не подвожу итоги. Я не выступаю как секретарь первичной партийной организации. Я просто размышляю о природе партийности и необходимости партийности.— Пауза.— Товарищ Ваганов, несомненно, яркая и одаренная личность. Товарищ Ваганов, несомненно, имеет право на вступление в ряды партии как искренний сторонник коммунистической доктрины. Товарищ Ваганов, несомненно, имеет право на партийность, как сын члена партии, наконец, как внук политкаторжанина Никиты Ваганова, известного под партийной кличкой Светлый. Товарищ Ваганов значительно вырос за год пребывания в кандидатах в члены партии, вырос во всех отношениях.— Пауза.— Все вы знаете, как я не терплю злополучное «но»! Я его ненавижу! Пауза.— Однако мне не обойтись без «но», просто не обойтись! — Пауза.— Товарищ Ваганов, кажется, имеет все, чтобы стать членом партии, но тот же товарищ Ваганов, в этом диалектика, права на вступление в партию не имеет, как выяснилось за год его кандидатства...

После этих слов живой и еще дышащий Никита Ваганов полетел в пропасть, полетел, полетел, полетел. Он ощутил именно чувство пропасти, разверзшейся под его обыкновенным учрежденческим стулом; пропасти черной и глухой. Летело все, летело вверх тормашками: его приезд в Сибирск, его работа в «Знамени» и для «Зари», его борьба с Пермитиным, мечты о близкой Москве. Кому он был нужен в роли беспартийного журналиста, чего он мог добиться без партийного билета, за которым, в частности, и приехал в Сибирск, в провинцию, в Тмутаракань. Что такое? Не прочел ли мысли Никиты Ваганова секретарь партийной организации Иван Мазгарев, тот самый Мазгарев, который льдистым весенним утром не подал Никите Ваганову руки? Он по-прежнему говорил с паузами:

— Несомненно, что стимулом для работы товарища Ваганова является стимул карьеристский, выдвиженческий, яческий.— Пауза.— Несомненно, половина работы товарища Ваганова — показуха, вторая половина — ловкое лавирование на вкусах и вкусовщина.— Пауза.— Жаль также, что товарищ Ваганов ведет непонятную и, видимо, нечистую закулисную возню, которую ему бы хотелось назвать борьбой.— Пауза.— Несомненно также и то, что моральный облик товарища Ваганова нуждается в серьезнейшей корректировке. До сплетен не унизимся, но очевидное есть очевидное! — Пауза.— И последнее, товарищи, последнее! Несомненно, что товарищ Ваганов приехал в Сибирск не работать, а наживать чины и партийность, чтобы вернуться победителем в Москву. Тише! Это можно доказать, анализируя его повседневную работу. Он больше уделяет внимания центральной печати, чем родному нашему «Знамени»! Разве это не так? — Пауза.— Здесь товарищи поступали ошибочно, призывая голосовать или не голосовать за товарища Ваганова. Это дело совести каждого. Пусть коммунисты сами решат, как поступать!

После этого Иван Мазгарев не выдержал — поплыл точно так, как «плывет» магнитофон, если в нем неисправен лентопротяжной механизм.

— Парторганизация у нас зрелая, коммунисты — люди ответственные, сугубо партийные, принципиальные. Они сами примут правильное решение! Они...

В зыбком болоте отчаяния и одиночества Никита Ваганов сейчас не находил крошечного, самого крошечного островка спасения, хотя последний эмоциональный взрыв секретаря партийной организации Мазгарева, казалось, немного разрядил обстановку публичной гражданской казни. Целую геологическую эпоху спустя, наяву и во сне вспоминая партийное собрание, он будет понимать, что его спасло чудо, маленькое чудо, которое сотворят три человека — заведующий промышленным отделом Яков Борисович Неверов, маленькая женщина с волнующими бедрами Нелли Озерова и сам редактор Кузичев — член бюро обкома партии. Как только Иван Мазгарев закончил свою уничтожительную речь и в кабинете воцарилась — именно воцарилась тишина гильотинирования, раздался хлюпающий звук. Это, забыв о всех и всем, плакала Нелли Озерова; она не рыдала, не плакала громко, а только всхлипывала, вздрагивала, давилась горькими слезами. Видимо, она, как и Никита Ваганов, прощалась со светлыми мечтами, ставила крест на лучезарном будущем, отказывалась от лазурных морских берегов, бесшумных автомобилей, Калининского проспекта, теплой хлорированной воды бассейна «Москва», пахнущих французскими духами удобных душных постелей, отказывалась от самого Никиты Ваганова, шепча его имя мокрыми губами. И вдруг раздалось:

— Товарищи, товарищи!

Это вскочил с места маленький и упругий, как теннисный шар, Яков Борисович Неверов, размахивая руками и заикаясь отчего-то, прокричал с душевной болью, с тоской и печалью, с отчаянием и таким же, как у Никиты Ваганова, чувством одиночества.

— Товарищи, товарищи, опомнитесь! Что вы делаете? Коммунисты — это добро, коммунисты — это гуманизм, коммунисты — это хорошая жизнь! Что вы делаете, товарищи, с молодым, талантливым, умным молодым человеком? Опомнитесь! Вагановы на улице не валя-

ются! Кто сказал, что таким людям надо ломать хребет? Где это написано? Отвечаю: нигде это не написано. Неужели можно не принимать в партию человека, если он ярок, ироничен, заметен? В партии должны быть личности — без них нет партии! Опомнитесь, товарищи!

Он упал на стул, снова стало слышно, как тихонько плачет Нелли Озерова, плачет по себе самой. И когда тишина сделалась невыразимо трудной, когда Никита Ваганов подумал: «Кина не будет!», поднял скромно руку редактор Владимир Александрович Кузичев, член партийной организации и член бюро обкома партии. Он веско и очень тихо сказал:

— Три четверти предъявленных обвинений, в сущности, правильны. Как редактор, могу сказать, что товарищ Ваганов на «Зарю» работает достаточно много для того, чтобы этого не заметить. Но, Иван Иосифович, у меня как редактора нет претензий к товарищу Ваганову по объему его работы в «Знамени». Товарищ Ваганов для нашей газеты дает так много материалов, что мы их просто не можем опубликовать.— Редактор Кузичев по-стариковски пожевал провалившимися губами.— В свете этого понятна активность товарища Ваганова в центральной печати. Это во-первых! Во-вторых, товарищ Мазгарев, не вижу ничего плохого в том, что товарищ Ваганов стремится вперед и вверх. От каждого по его способностям — каждому по его труду.

Редактор Кузичев употребил слова «вперед и вверх», их до сих пор Никита Ваганов не употреблял, а в дальнейшем они станут для него рабочей формулировкой. А редактор Кузичев продолжал спокойненько:

— Не пахнет ли все это ведьмоискательством? Мне, например, понравилось выступление товарища Бубенцовой о работе с письмами, но, действительно, непонятно, почему товарищ Бубенцова так долго молчала? — И повернулся к Виктории Бубенцовой.— Неужели вы забыли, товарищ Бубенцова, что товарищ Ваганов до недавнего времени работал специальным корреспондентом газеты при сек-ре-та-ри-ате? Из этого следует, что прокол с письмами — прокол секретариата! Вот не думал, товарищ Бубенцова, что вы могли с фискальными целями отказаться от контроля за прохождением писем. Днями я разберусь с этой неприглядной историей. Пойдем дальше, товарищи...

Небо, кажется, понемногу прояснялось. Рассасывалась самая грозная темная туча, молнии удалялись, гром утишивался, но все еще здорово, здорово попахивало грозой, так как Бубенцова, Леванов, Мазгарев слушали редактора с кислыми, отрицающими физиономиями, глаза имели стальные, карающие; и — зачем сейчас-то! — продолжала тихо плакать Нелли Озерова; не опускала руку, сверкая очами, Мария Ильинична Тихова.

Кузичев преспокойно продолжал:

— Прием в партию — это не конечный итог развития человека, это, если хотите, мощная и оптимистическая заявка на будущего человека. В связи с этим замечу, что после принятия в кандидаты товарищ Ваганов изменился к лучшему. Стал еще больше работать, находить острые партийные темы, собственно, значительно вырос. Это гарантия дальнейших успехов.

Никита Ваганов вместе с редактором Кузичевым боролся против Арсентия Васильевича Пермитина, вместе с редактором Кузичевым специальный корреспондент Никита Ваганов своими очерками медленно, но верно подбирался к теме «Советский образ жизни», находил уже некоторые черты для своего будущего знаменитого очерка «Рабочий»...

— Партийность превыше всего, партийность обязывает видеть людей и явления в диалектическом развитии. Считаю, что урок, дан-

ный на партийном собрании, пойдет на пользу товарищу Ваганову; и зря товарищ Мазгарев лишает нас возможности высказываться по поводу голосования. Я проголосую за товарища Ваганова!

Редактора Кузичева любили в коллективе «Знамени», с ним считались, у него учились и ему подражали, в редактора Кузичева, как в журналиста, влюблялись практиканты и практиканточки из различных университетов страны, прибывающие на практику в газету, одним словом, Кузичев был Кузичевым — этого достаточно!

— Будем голосовать, товарищи, будем голосовать!

V

Как писал поэт, «тишина бродила в мягких тапочках» по большим комнатам квартиры Габриэля Матвеевича Астангова, тишина колыхалась над люстрами и под люстрами, тишина затвердевала в ушах, тишина была такой, что ее можно было резать на дольки, куски и полосы и подавать к столу, как мармелад. Четверо сидели за круглым столом, думали свои грустные думы, по вязкости и плотности похожие на тишину. И каждый думал о своем, так как люди всегда думают только о своем, исключая редких женщин, умеющих думать о других... Габриэль Матвеевич Астангов думал, что вот он и сыграл свою шахматную партию длиной в пятьдесят восемь лет, что партия кончается матом ему, что впереди — беспросветность, темень и тоска. Он думал, что мат ему объявил такой родной и близкий человек, как муж дочери, что он — близкий и родной — добивает его и добьет, как бы там ни вертелась земля вокруг своей оси и как бы она ни вращалась вокруг солнца. Ника Астангова думала о том, что муж ей продолжает изменять с Нелли Озеровой и что будет и дальше изменять, так как любит, видимо, Нелли Озерову, и что ей, Нике, надо решать раз и навсегда: принять сосуществование с Нелли Озеровой или не принимать. Теща Софья Ибрагимовна думала о том, что никогда не понимала и не понимает мужчин, не возьмет в толк, зачем это надо быть начальниками комбинатов и специальными корреспондентами, когда можно быть простыми инженерами, простыми корреспондентами и... счастливыми. Никита Ваганов думал о том, что он — щенок, пустобрех, сосулька и дурак, если вовремя не продумал тему «серость и карьера», «посредственность и карьера», «безликость и карьера».

Областной город Сибирск потому и был областным городом, что его жители друг от друга тайн не имели. Никита Ваганов еще только собирался возвращаться домой, еще только решался пройти по людному после партийного собрания коридору, а в доме Габриэля Матвеевича Астангова уже знали, что он принят в члены партии перевесом всего в четыре голоса, что виной этому якобы карьеризм, бездушие, интриганство, наконец, моральное разложение. Причем в доме Габриэля Матвеевича узнали об этом с такими передержками, какие обязательны для слухов и не могут быть не обязательными. Согласно сообщению, полученному в доме Астангова, домой должен был возвратиться злодей и мерзкий развратник, беспардонный лжец и опасный интриган. И он был бы таким в глазах жены Ники и тещи Софьи Ибрагимовны, если бы не Габриэль Матвеевич — он-то знал, чего стоят телефонные новости, но все равно не смог до конца смикшировать события, центром которых стала Ника — законная жена Никиты Ваганова. Это она разговаривала с Марией Ильиничной Тиховой, считающей своим долгом непременно поздравить видное семейство с победой Никиты Ваганова и, конечно, рассказавшей о лживых обвинениях в адрес их дорогого мужа и зятя и о своей роли на собрании, причем все было катастрофическим преувеличением: письмо

вдовы он держал в столе год, встречался с Нелли Озеровой ежедневно, вовлек в свои дурнопахнущие интриги самого редактора Кузичева, собирался уехать из Сибирска в тот же день, как получит партийный билет...

Встреча была бурной. В прихожей Ника не ответила на «Добрый вечер», широко расставив ноги, подбоченилась чисто по-русски:

— Ну, что скажешь, дорогой муженек?

Никита Ваганов сказал:

— Ничего! Лучше было бы, если бы ты...

— Что? Что?

— Не трогала меня сегодня.

— Ах, не трогать вас сегодня? Прекрасно! Мой муж развратник и карьерист, мой муж интриган и злодей, а я — его не трогай! Нет, вы посмотрите на этого человека, вы на него посмотрите!

Он сказал:

— На меня действительно стоит посмотреть! Я изменился за два часа партийного собрания.

Так оно и было, только Никита Ваганов не объяснил, что значит «изменился», и домочадцы, естественно, поняли, что он сделал соответствующие выводы из серьезной критики, решил резко улучшиться и так далее. Ника вопила:

— Он изменился? Поздно же ты изменился, мой дорогой! Поздно!

Собственно говоря, достаточно ограниченная женщина, она и должна была воспринять его слова об изменении, как слова о том, что покончено с прежним — гадким, как бяка! — Никитой Вагановым. Ей и в голову не пришло, что ее муж, любимый муж, стал не лучше, а хуже после закрытого партийного собрания, на котором его приняли в партию перевесом всего в четыре голоса. Его бессонные трудовые ночи, его дневные бдения, его бесконечные выматывающие командировки — и все это ради того, чтобы четыре голоса приняли его в ряды той партии, которую создавал и его дед Никита Ваганов! Вспоминая об ужасах этого собрания, он увидит беспощадные лица, услышит страшные паузы Ивана Мазгарева, плач Нелли Озеровой и станет жестоким и мстительным, даже фальшивым порой, ибо после собрания Никита Ваганов научится скрывать свою яркость, индивидуальность, займется вплотную вопросами мимикрии: защитной серостью и безликостью. Но главное — ожесточится, ожесточится!

Он сказал жене Нике:

— Повторяю, меня сегодня лучше не трогать.

— Его не трогать? Ты, может быть, не давал мне слова порвать с этой Нелли?

— Я с ней порвал. Вспоминают прошлое...

— Ха-ха-ха! Прошлое? Никто твоим прошлым не интересуется, интересуются настоящим. Ты мне обещал?

— Ника, послушай, Ника!

— Ничего не хочу слышать!

Он промолчал, так как уже жил — думал, видел, слышал — по-новому, и этот новый Никита Ваганов решил отложить разговор с женой на самый поздний вечер, на минуты перед сном, на те минуты, когда супруги все-таки хоть немного, но понимают друг друга, если это возможно — понимание. Никита Ваганов молча и медленно сменил костюм на пижаму: чувствуя головокружение от внезапного голода, пошел в столовую. После партийного собрания, где он победил с перевесом в четыре голоса, Никита Ваганов хотел есть так, как давно не хотел. Пожалуй, только в мальчишках он испытывал такой зверский голод, что сводило судорогой желудок, подташнивало и кружилась голова. И он ел, он бог знает как много и долго ел. И это понравилось теще Софье Ибрагимовне, которая на зятя смотрела тоже как на чудовище и исчадие ада, а вот от того, как он ел, она успокоилась. А потом они сидели вчетвером за столом, сидели молча. Тишина длилась бесконечно долго, потому Никита Ваганов сказал:

— Мне не нравится похоронная обстановка! — Он повернул лицо к тестю.— Я не терплю людей, которые сильны потому, что им нечего терять, но сегодня...— Никита Ваганов ухмыльнулся.— Но сегодня у меня есть ощущение сладости этого самого — нечего терять! Поверьте, только нужда заставляет меня, Габриэль Матвеевич, делать то, что я сейчас сделаю.— Теперь он повернулся к жене Нике.— Ты взяла манеру кричать на меня и топать ногами. Думаю, твои родители через стену слышали, как ты это делаешь. Наш брак на грани краха — это следствие твоей барской разнузданности! — И опять к Габриэлю Матвеевичу.— Я немедленно разведусь с вашей дочерью, если она еще раз, каков бы повод ни был, закричит на меня. Даю честное слово!

Ника вскочила, прижала руки к груди. Она заикалась.

— Ты м-м-м-меня бросишь? П-п-п-п-одлец!

Габриэль Матвеевич сказал:

— Сядь! Никита прав. Сядь!

Теща Софья Ибрагимовна покачала головой:

— Моя дочь — дура! Вероника, твой муж — мужчина.

Но Нику унять было просто невозможно: она была действительно барски разнузданна, избалованна, вообще не готова к семейной жизни. Она перестала заикаться и закричала:

— Перестаньте все-е-е-е! Перестаньте! Мой муж — развратник и карьерист. Папа, папа, он даже на тебе делает карьеру, даже на тебе!

Только Никита Ваганов мог разглядеть в Нике Астанговой будущую прекрасную, верную, добродетельную, самую необходимую для занятого делом мужчины жену, но пройдет еще много времени до того дня, когда Ника превратится в то, что надо, когда она примет Никиту Ваганова целиком и полностью, таким, каким он был и каким его запрограммировала природа. Сейчас же она продолжала бушевать:

— Папа, папа, он и на тебе делает карьеру. Он станет всем, он всего добьется, а нас он уничтожит. Тебя, меня, маму. Он никого не пожалеет, он — развратник, развратник, развратник!

Дура, она так кричала, что ее родители немедленно и бесповоротно заняли сторону Никиты Ваганова, они смотрели на него как на страдающего, а на дочь как на недовоспитанную ими девчонку. Сначала они были просто ошеломлены. Габриэль Матвеевич, безупречно мягкий и добрый человек, казалось, поверить не мог, что так кричит, вопит и брызжет слюной его дочь, его родная дочь, преподавательница, воспитательница. Потом тесть и теща понемногу пришли в себя, а Ника... Ника продолжала себя губить:

— Он всех, всех предает и продает! Он бездушный, страшный!

Когда она потихонечку пошла на убыль, Габриэль Матвеевич что-то горячо и быстро проговорил на родном языке, а теща сказала:

— Стыд-то какой! Если Никита развратник и карьерист, отчего шла замуж? Отец, стыд-то какой!

Никита Ваганов сказал:

— Я дал честное слово! Еще раз и...

И тогда старики испугались. Каким бы современным человеком ни был Габриэль Матвеевич Астангов, какими бы уникальными зна-

ниями он ни обладал, а взгляды на семью и брак у него были старинные — немедленный развод дочери с мужем, когда они не прожили и полугода, его страшил. Габриэль Матвеевич не мог наплевать на общественное мнение, оно ему было дорого, особенно теперь, когда вскрылась и стала достоянием всех афера с утопом леса, производимая с его ведома, при его безвольном попустительстве. Еще более консервативной была теща, она считала, что развод вообще невозможен, что развод — это вызов судьбе. Габриэль Матвеевич воскликнул:

— Это в последний раз, Никита! Мы примем все меры, чтобы объяснить Нике, как она не права.

Теща застонала:

— Никита, дорогой, Никита, простите еще раз мою неразумную дочь.

Ника заплакала. Это был второй за день плач по нему, Никита Ваганов принял этот плач с дикой ожесточенностью, он почувствовал, как сердце сжалось и замерло. Он не мог больше сидеть, поднялся, сделал несколько шагов по гостиной: сердце болело. Вспомнилось зловеще молчащее партийное собрание, глаза Бубенцовой и Леванова, паузы Мазгарева. «Страх энд ужас!» —подумал он и криво улыбнулся. «Еще одно такое собраньице — и со мной придется обращаться как с диким зверем!». И подумал опять о спасительной мимикрии. Наверное, поэтому он, комикуя, и сказал:

— Считаю крик в спальне и сегодняшний крик в гостиной за один крик.

Старики буквально просияли, и Никита Ваганов почувствовал легкий стыд — такие доверчивые, чистые, славные были эти старики, родители его жены Ники, а вот она еще не была той Никой, которую впоследствии станут называть Верой, использовав первую часть ее полного имени Вероника.

— Он меня прощает! Он меня прощает! — саркастически воскликнула Ника и опять по-бабьи, по-деревенски подбоченилась.— Он меня прощает, карьерист и развратник! — И повернулась к матери.— Почему я вышла за этого субъекта? Ошиблась! Он мне заморочил голову, обманул! Хочет уходить, пусть уходит — скатертью дорога! Скатертью дорога, гражданин Ваганов, счастливого пути, развратник и карьерист!

Теща воскликнула:

— Куда Никита может уйти? Боже мой, Ника, что ты делаешь?..

VI

Никита Ваганов ушел к Борису Петровичу Гришкову, и ему чрезвычайно повезло: толстяк и сибарит, пропойца и бабник сидел по нечаянности дома, не был ни у одной из «кысанек», не распивал медпиво в забегаловках или винных подвалах. Он — можете себе представить? — сидел дома и даже работал, то есть писал рецензию на гастролировавший в городе Новосибирский театр оперы и балета. На столе под носом у Боба Гришкова лежало либретто «Спартака», которое он брюзгливо перелистывал. Его жена Рита, Маргарита Ивановна, попросту Ритка, женщина с обожженным при пожаре лицом, но статная, длинноногая, полногрудая, с величественной осанкой и серыми прекрасными глазами, обрадовалась Никите Ваганову, бутылку водки от него приняла с легкой осудительной улыбкой, пожав плечами, пробормотала смутное, похожее на «И ты, Брут!». Она ушла на кухню готовить закуску, а Никита Ваганов, подчинившись широкому жесту Боба Гришкова, сел на старинный, так называемый венский стул. Боб Гришков вообще жил в окружении старины, в наследственном доме профессоров и, как он сам утверждал, дворян Гришковых. Впрочем, в дворянство толстяка Никита Ваганов не верил, считал, что Боб прет околесицу, так как фамилия Гришков принадлежала, возможно, поповскому роду — так оно, наверное, и было в действительности.

Дом Боба Гришкова был прекрасен. Пятикомнатный, деревянный, прочный; в нем было по-деревенски тепло, уютно, сокровенно; ходил здесь на мягких лапах домашний уют прошлого, неторопливого и созерцательного, века, и Боб в своей душегреечке, надетой на голое тело, казался уютным, как бабушка с вязальными спицами. Он искренне обрадовался Никите Ваганову:

— Вот это идиотство так идиотство! Ко мне пришествовал сам Не-кит! Чем обязан, ваш идиотизм?

...Годы, длинные годы спустя, находясь еще на подступах к редакторству в газете «Заря», Никита Ваганов будет часто вспоминать вечер и ночь, проведенные в доме Боба Гришкова, совершившего акт высшего гостеприимства: он откажется пить водку в одиночестве, бутылка «Русской» останется даже нераспечатанной...

— Хочешь у меня переночевать, дорогой Не-кит? Ага! Семейная ссора... Легкая разминка, легкие покалывания, взрыв с чудовищными обвинениями, крики «Навсегда!» и «Навечно!». Боже, как стар и скучен этот идиотский мир! Ты получишь комнату несчастных и обреченных, Никитушка, ты ее получишь в полное твое распоряжение.— Он подозрительно вгляделся в Никиту Ваганова.—Надеюсь, ты на меня не прольешь свой горестный рассказ?

— Не пролью, Боб, успокойся.

Рита сказала:

— Чудовище! Может быть, Никите надо именно выговориться.

Никита Ваганов рассмеялся и хорошо, по-доброму посмотрел на жену Боба Гришкова.

— Мне не трэба выговариваться! — сказал он мягко.— Мне нужна человеко-койка и немного черствого хлеба на утро, чтобы я мог вновь строить жизнь, покалеченную и растерзанную институтом брака. О, я поднимусь из руин!

Боб Гришков решительно отодвинул от себя бумагу и, крикнув: «Идиотство!», принялся еще не один раз прощупывать Никиту Ваганова вытаращенными по-рачьи глазами. Он аккуратно произнес:

— Настрадался на партсобрании? Висел на волоске? А тут еще эта Ника, идиотство сплошное... Да ты жрал ли, Никита?

— Я жрал, Боб, хорошо жрал.

И начался разговор — этот легкий треп двух умных мужчин и одной умной женщины, знающей мужчин и понимающей все, о чем бы они ни говорили, то есть женщины, живущей интересами мужа. Отдел информации — пожалуйста, речь ведется Ритой об отделе информации; выступление на партийном собрании Ивана Мазгарева — извольте, Рита поддерживает разговор об Иване Мазгареве; утоп древесины — женщина с обожженным лицом говорит увлеченно об утопе. И с ней приятно и поучительно общаться, с женой Боба Гришкова Ритой, которая знала и о беспробудном временами пьянстве мужа, и о его «кысках», и его верности в конечном счете домашнему очагу. Они протрепались до половины первого ночи, мало того, Боб Гришков, увлеченный разговором, решил улечься в комнате, отведенной Никите Ваганову. Себе он взял раскладушку, гостя уложил на дедову кровать, расщедрившись, выдал Никите Ваганову две пуховые подушки, произведенные в конце девятнадцатого века. Они лежали параллельно друг другу, головы разделял метр расстояния, можно было

слышать, как тяжело, с присвистом дышит этот кромешный толстяк Боб Гришков. Понемногу успокаиваясь, чувствуя сонность, они разговаривали уже с большими паузами, думали, прежде чем начать говорить, были оба серьезны. Когда вся редакционная жизнь была перемолота в мельнице приятия и неприятия, когда близкое, непосредственно сегодняшнее, постепенно ушло на задний план, Боб Гришков, казалось, ни с того ни с сего задумчиво проговорил:

— Слушай сюда, Никита. Я буду философствовать, понял? Тебе никогда не приходит в голову, что ты зело смешон? Ну, чего тебе надо, дружище, от жизни, если она и так прекрасна и удивительна? Нешто ты не понимаешь, что ты сейчас предельно, как ты выражаешься, счастлив? Столько удач, столько внутреннего движения, столько любви Нельки и Ники! Нешто ты всего этого не понимаешь, Никита? — Боб медленно повернулся и лег лицом к Никите Ваганову.— Чего же ты еще хочешь, старче?

Действительно, чего же он хочет, Никита Ваганов? Какого еще набора радостей, добра и достижений ищет он, какого полного и щедрого существования ждет Никита Ваганов? Молодость и здоровье, талант и ум, способность вызывать любовь и способность любить, благожелательность окружающих и сладостная работоспособность — отчего не жить сегодняшним днем, отчего не быть счастливым сегодня, бросив упорное стремление вперед и вверх, бросив интриги и расчеты? Жить, жить и жить! Открыть бутылку водки, выпить умеренно для еще большей полноты жизни, отбросить стремление быть большим, чем он сейчас есть, жить и наслаждаться жизнью. Вспоминая впоследствии об этой ночи, Никита Ваганов подумает, что Боб Гришков не только был прав, но был прав так, что, послушай его Никита Ваганов, жизнь была бы совсем другой — просто и незамысловато счастливой. Однако он не мог принять философию Боба Гришкова — ни целиком, ни частично, рожденный для того, чтобы пройти все семь кругов ада. Эх, как еще несовершенен и плохо выполнен человек! ...Будет московская встреча с Бобом Гришковым, встреча, которая все перевернет в спокойствии и величии редактора газеты «Заря», казалось бы, добившегося почти всех степеней человеческого счастья и тем не менее несчастного, глубоко несчастного человека. ...Сейчас Никита Ваганов задумчиво проговорил:

— Ты ошибаешься, Боб, если считаешь, что я об этом не думаю. Я думаю! — И надолго замолчал.— Я думаю, но я — это я! Генетическая ли, воспитанная, но во мне живет, черт побери, не управляемая мною неугомонность. Наверное, я не могу жить по-другому.

Боб Гришков сказал:

— Это тебе только кажется, что ты не можешь жить по-другому. Человек — мобильная тварь. Например, и мне кажется, что я не могу жить без водки, без кысок, без огульного лентяйства. Идиотство! Клюнь меня в задницу жареный петух — все стало бы на свои места. Так и с тобой, Никита, можешь мне поверить, можешь мне поверить! Полгода иной жизни — и ты человек!

Никита Ваганов улыбнулся:

— А сейчас ты меня за человека не держишь?

— Не обижайся: не держу! Для меня суетный — значит глупый, опасный, злобно чужой.

— Какого же черта ты со мной якшаешься?

— Я тебя просто люблю, Никита! Ты все-таки забавный.

— И на том спасибо!

Никита Ваганов лишь смутно догадывался, что на раскладушке, толстый и нелепый, лежит самый счастливый человек из тех счастливых, кого он встретит в жизни; степень счастливости этого человека достигает философской величины, его счастливость окажется такого свойства, которое человечество могло бы использовать как панацею, когда счастливость человека становится уже не его личным делом, а достоянием общества.

Никита Ваганов сказал:

— А если мне не хочется переделываться? Боб Гришков — это Боб Гришков, Никита Ваганов — это Никита Ваганов, хотя ты меня не держишь за человека, как и я... Прости! Тебя за человека я тоже не держу.

— Обменялись! — сказал Боб и захохотал. — Два недочеловека на пятнадцати метрах квадратной площади... Ба-а-льшой юмор, Никита, ба-а-альшой!

Смутно и неопределенно Никита Ваганов чувствовал за словами Боба Гришкова настоящую и страшноватенькую для него правду, но в этой смутности разбираться не хотел, да и не мог, будучи только и только Никитой Вагановым, существом другого порядка, нежели Боб Гришков. Что для одного было черным, другому казалось белым, и они не могли понять друг друга, совсем не могли; фатально и грустно это все, в сущности, а если бы Никита Ваганов и разобрался в смутности, принял бы точку зрения Боба Гришкова, он ничего с собой не смог бы поделать: такова была сила его центростремления, заведенности, похожести на до предела раскрученную пращу, когда вот-вот ринется на врага убийственный камень. Он не смог бы остановиться, если бы даже очень этого захотел.

— В одном ты прав, Боб, я не просто суечусь, а чрезмерно суечусь. И сегодня на партийном собрании я это понял.

Боб Гришков опять засмеялся:

— Тоскуешь по серости, Никита?

Ну, разве он не был мощно умным человеком, этот лентяй и пьянчужка Боб Гришков? Как, каким образом мог он проникнуть в мысли Никиты Ваганова, каким путем пришел к думам на тему «серость и карьера», «посредственность и карьера», «безликость и карьера»? Наблюдениями за Никитой Вагановым, думами о нем, сопоставлениями и сравнениями, анализом повседневного поведения Никиты Ваганова? Надо было очень много знать о Никите Ваганове, чтобы так легко и «попадательно» заговорить о его тоске по серости.

— Даешь, Боб! — сказал Никита Ваганов.— Смотришь и зришь в корень, если быть откровенным. Сегодня мне дали дорогой урок. На всю жизнь запомню.

— Уже запомнил. И ожесточился, вот идиотство! Сегодня у тебя лицо инквизитора, которому утром руководить аутодафе. Это уж совсем ни к чему, Никита.

— Почему?

— Навредишь карьере. Теперь не любят ожесточившихся. Теперь в моде мягкость и обворожительность.

Никита Ваганов не заснул до восхода солнца — все обдумывал разговор с Бобом, прикидывал сотни вариантов, так и этак поворачивал самого себя и свою жизнь под ярким лучом логики. Он развивал только и только самокритику, способный и умеющий бичевать себя треххвостой плетью... Став редактором газеты «Заря», Никита Ваганов продемонстрирует блестящие образцы созидающей самокритики, когда в течение месяца по собственному желанию и почину перекроит на новый лад все и вся в газете, вплоть до верстки, то есть «Заря» станет совершенно новой газетой... Сейчас он не спал, ворочался с боку на бок и думал о том, что Боб стократно прав: ожесточиться опасно, ожесточиться так же опасно, как и быть ярким, предельно заметным, как та звезда на утреннем небосклоне, что сейчас заглядывала в комнату его одиночества.

...Тема одиночества в жизни Никиты Ваганова — особая тема. Он всегда был, есть и будет одиноким, он не обзаведется настоящими друзьями, он окружит себя в основном партнерами для игры в преферанс, этим суррогатом мужской дружбы и понимания. Все истинные друзья Никиты Ваганова — пьянчужка Боб Гришков и Валентин Грачев — понемногу превратятся если не в открытых врагов, то все-таки в противников. Одиночество Никиты Ваганова не сможет заполнить жена, из Ники превратившаяся в Веру, так как шестнадцать часов в сутки она будет проводить в школе, а субботу и воскресенье он будет проводить за преферансом, еще более одинокий, чем обычно. Преферанс! — это только за самого себя. Нет более индивидуалистской игры, чем преферанс, для тех, кто в него играет, как говорится, классно.

Спал Никита Ваганов часа два, тревожно, видел во сне Байкальские туннели, в глубине их пошевеливали щупальцами безопасные медузы, ласково оплетали, полонили: эти самые медузы напоминали вкусом заливное из осетрины, но были бесконечными — сколько ни откусывай, все не уменьшаются, а, наоборот, растут, славные такие. Тоннель упирался в темень и безысходность, в тупик и, как говорится, в безнадегу. Плохой был сон, если хорошенько разобраться, вещий, что ли, если учитывать, что вслед за партийным собранием шло бюро райкома партии, где авторитет Мазгарева был велик. Райком мог запросто завернуть дело о приеме Никиты Ваганова в партию, оставить его беспартийным или по меньшей мере продлить кандидатский срок — дело тоже в теперешней обстановке гиблое.

Планета Венера зеленой звездой заглядывала в окно неоштукатуренной комнаты, колола лучиками глаза, пошевеливаясь, пробуждаясь в своем небесном — лазоревом сейчас — ложе. Хорошая это была звезда, планета Венера, но не находил себе места Никита Ваганов, вдруг взявший в голову мысль о том, что райком партии может «зарубить» его приемное дело, где запротоколированы слова Ивана Мазгарева о карьеризме, интриганстве и прочем, и прочем. Шла речь и о барски пренебрежительном отношении к работе с письмами трудящихся — упрек для райкома партии пресерьезнейший. Было и непомерное захваливание — захваливание на грани убийства. И четыре голоса, всего четыре голоса на весах Судьбы!

Ты прав, блаженно счастливый Боб Гришков! Какая уж там жизнь, если ты все время сидишь на пороховой бочке, постоянно боишься, боишься и боишься. «Но ведь это только сейчас, на первых шагах — страх, неуверенность, терзания? — думал Никита Ваганов, лежа на спине и глядя на Венеру.— Потом все будет по-другому, так плохо, как сейчас, никогда не будет!» О, как он заблуждался! Сегодняшние страхи и терзания — смешная мелочь перед теми страхами и терзаниями, которые ждут его в будущем. Будет ли спокойно спать редактор центральной газеты «Заря» Никита Борисович Ваганов? Да никогда! Страх перед зловещей случайной ошибкой на газетных полосах, страх за каждую статью, очерк, даже невзрачную информацию; борьба с Валентином Ивановичем Грачевым, Валькой Грачевым, терзания по поводу невозможности объять необъятное, выполнить полно и сладостно задуманное. Знай Никита Ваганов, какая жизнь ждет его на вожделенных высотах, послушался бы Боба Гришкова — умницу и мудреца... Ан нет! Ворочался от страха на допотопной кровати Никита Ваганов, распростертый в зеленом свете ранней звезды, смертельно боялся, что райком партии зарежет решение партийного собрания о приеме в партию Никиты Борисовича Ваганова. Он забыл, червь дрожащий, что за него выступил член бюро обкома партии, редактор газеты «Знамя» Владимир Александрович Кузичев — верная заручка для победы. Страх, липкий и унизительный страх, мешал вспомнить о Кузичеве, его могуществе, его спасительном выступлении в защиту Никиты Ваганова. Нет гаже и больнее чувства, чем чувство страха, этого удела слабых и обделенных свободой! Люди, окружающие его, Никиту Ваганова, будут считать его сильным, чрезвычайно сильным человеком, но жена Вера будет знать, как он слаб, человеческий детеныш, рожденный для страха и во имя страха. Генетические связи, наверное, заставят его бояться, отцовская наследственность, наследственность человека, так и не купившего без помощи сына автомобиль...

О, сколь тяжки были утренние страхи! Обливался холодным потом Никита Ваганов, подушка казалась раскаленной, тело — разжиженным, голова — пустой и звонкой. Хотелось, как подумал Никита Ваганов, любящий поэзию Владимира Маяковского, «спрятать звон свой в мягкое, женское», и впервые в жизни это была жена, которую он вчера покинул как бы навек, как бы навсегда. От нее хотелось подмоги, от нее ждалось глобальное утешение, хотя Ника ничего не понимает в партийных собраниях и райкомах, резолюциях и постановлениях. Она могла утешать только по принципу: «Перемелется — мука будет!» И все-таки его потянуло к жене Нике, а не к любовнице Нелли Озеровой, потянуло сегодня потому, что Ника говорила правду, а Нелли лгала, хотя делала это конструктивно, да и советы давала дельные, практически осуществимые, тактически и стратегически здравые и дальновидные. Но это годилось только и только в минуты подъема, взлета, а не страха, падения, слабости. Женщиной для сильных и несгибаемых была Нелли Озерова. ...И так будет в дальнейшем, когда Никита Ваганов станет прибегать к услугам Нелли Озеровой, с ней праздновать свои победы, а поражения волочить на слабых ногах к жене. Что же, каждому свое... Плакала длинными и тонкими слезами утренняя звезда, планета любви, пошумливали в небольшом саду дома Гришковых черемухи и рябины, в далечине города шуршали шинами троллейбусы и скрежетали сталью трамваи — вымирающее племя. Ни жив ни мертв лежал Никита Ваганов: «Провалит, провалит райком партии мою кандидатуру!»

— Эге-ге-ге! — завопил Боб Гришков.— Ей-ей, Не-кит Ваганов! Вставать!

Да уж! Именно: «Не-кит». Какой уж там кит — червь раздавленный, козявка божья, медуза из кошмарного сна! Не-кит! А Боб Гришков, этот пропойца, казалось бы, пропитанный насквозь алкоголем, поднимался ото сна бодрым, веселым, свободным, так как вовсе не был алкоголиком, не запивал, а просто находил в вине отраду сердцу, молодость душе. И лицо только что проснувшегося Боба было свежо и молодо, а лицо непьющего Никиты Ваганова было измочалено и старо. Не лицо, а морда, черт побери эту ужасную, ужасную, ужасную жизнь! И пока он не сполоснул лицо холодной водой, пока на крыльце гришковского дома не сделал короткую, но мощную зарядку, не смог прийти в себя, был похож на пьяного — пошатывался и мычал нечленораздельное; слабое и мерзкое животное, так он думал о себе самом.

— Идиотство! Идиотика! — ругался Боб Гришков, не найдя галстука к застиранной, но чистой белой рубахе.— Дом запуганных идиотов! Идиотство!

Он мог вести себя как угодно, он — теперь Никита Ваганов это понимал — мог делать все, что ему было угодно, так как ничего не боялся потерять, ничего не боялся в завтрашнем, послезавтрашнем,

черт знает, в каком далеком-далеком дне... Боб Гришков продолжал ругаться, а Никита Ваганов меланхолически думал: «А почему я нахожусь в его доме?» Дело в том, что Никита Ваганов и Нелли Озерова снимали на окраине города тайную комнату.

VII

Пять ночей и пять дней не возвращался Никита Ваганов в дом тестя Габриэля Матвеевича Астангова, пять дней и ночей пролетали быстро и одновременно тяжко-медленно, как похоронные дроги. Быстро оттого, что они все-таки прошли, медленно потому, что каждый день по протяженности походил на месяц. И пришел час, когда стало известно, что Никита Борисович Ваганов принят в ряды Коммунистической партии Советского Союза.

Никита Ваганов «отловил» Нелли Озерову на выходе из редакции, то есть возле старого тополя: он стоял, привалившись к нему плечом. Это значило: «Следуй за мной!» И пошел на сто метров впереди, уводя Нелли Озерову в тайное жилье. Оказалось, что дом был восхитительно свободен, глух и тих, уединен и уютен для радостей плоти и победы. Что произошло на кровати, известно прекрасно, как это делали Никита Ваганов и Нелли Озерова — тоже не секрет. Потом они целовались долго, может быть, целых полчаса, затем Нелли Озерова отстранилась от Никиты Ваганова, счастливая, разнеженная, сияющая, глядя на него исподлобья, и сказала:

— Хочу, чтобы ты немедленно вернулся к жене! Слышишь? Срочно возвращайся к Нике, не мучай хорошую женщину, не зануднічай, черт бы тебя побрал! Я за тебя замуж ни за что и никогда не выйду. Надо же! Я не камикадзе.— Подумав, она добавила: — Сегодня — пан, а завтра пропал! Надо же!.. Чего ты схватился с Никой!

— Кричит.

— Эка невидаль! Сейчас все кричат, а на тебя сам бог велел кричать. Небось, вспоминала меня.

— Ага!

— Чего же ты хочешь? Но ведь мы осторожны, или...

— Осторожны. Она на старое кричит.

Его распирали, переполняли нежность и любовь, острые, как спазмы, и он опять схватил Нелли Озерову, душил и уничтожал.

— Ни-и-ии-ки-та-а-а-а-а! Целуйся аккуратно!

Он начал целоваться аккуратно, легко, нежно, и дело кончилось тем, чем оно и должно было кончиться,— постелью опять-таки, и когда все осталось позади, Нелли Озерова заплакала тихими, благодатными и благодарными слезами. Сквозь слезы она сказала:

— Не было такого никогда! Ты все-таки зверь, Никита, если сегодня в первый раз пришел ко мне от нежности. Какой ты все-таки зверь, Никита! Ой, какая я счастливая! Какая я счастливая! Слов нет, слов нет, Никита, родной мой, любимый, единственный!

Он тоже расчувствовался, так как до сих пор не испытывал такой радости от постели, какую получил пять минут назад. ...Пройдут годы, но сегодняшнее не повторится вплоть до того дня, когда Никита Ваганов снова испытает сокрушительный стресс и поднимется из постели Нелли Озеровой с ощущением такого же счастья...

— Ой, какая я счастливая, Никита! Но тебе надо обязательно помириться с Никой, обязательно и поскорее.

Никита Ваганов помирился с женой через неделю, и произошло это в самых благоприятных условиях — жена Ника пришла в дом Боба Гришкова ранним утром,— вот зачем был надобен Никите Ваганову дом Гришковых — с хозяином долго не разговаривала, с хозяйкой пошепталась минуту-другую, затем вошла в неоштукатуренную комнату, не поздоровавшись, села на расшатанный стул, хотя муж и предупредил ее, что стул расшатан и опасен. Она сидела на нем зыбко, как птица на электрическом проводе. На Нике был яркий брючный костюм из легкой материи, вычурные босоножки на превысоком каблуке, черные волосы подняты на затылке — бог знает, как много было у нее волос! Ника без вступлений сказала:

— Меня дома замучили! Меня обещают заточить в монастырь, если мы не сойдемся.— Помолчала немного.— С папой очень плохо. Мы убьем папу, если не сойдемся... Больше никогда я не буду кричать на тебя, Никита. Ты прав, сто раз прав: крики ничего не дают... Ты согласен вернуться?

Он сказал:

— Согласен. Пойдем домой.

Они пошли домой почему-то через парк и правобережьем Сиби, то есть по прохладной зеленой зоне. Им было, если признаться, хорошо: соскучились друг по другу. Они ведь были мужем и женой.

...К концу жизни, к моменту «синтетического ковра» Никита Ваганов разработает и будет употреблять в дело «теорию врагов», как категорию позитивную и негативную. Иными словами, он признает необходимость существования врагов как средства для вырабатывания наступательной бдительности, как самый активный стимул — можете себе представить — к самоусовершенствованию, без которого обойтись было бы просто невозможно... В городе Сибирске и поблизости Никита Ваганов еще не думает о позитивности наличия врагов, еще не чувствует от их существования хмельной радости бытия, азарта игрока; он еще злится на врагов, хочет, наивный, чтобы их не было, делает попытки превратить врагов в друзей...

VIII

Наконец-то Никита Ваганов расквитался с Арсентием Васильевичем Пермитиным, и это было воспринято как радость для каждого лесозаготовителя и сплавщика Сибирской области! Впрочем, об этом следует рассказывать по порядку, как можно подробнее и вкуснее — последнее слово относится к снятию Арсентия Васильевича Пермитина. Он был в к у с н о отстранен от всякой хозяйственной и партийной работы, но партбилет ему все-таки оставили, со строгим выговором, но оставили — уступив слезным просьбам, битию в повинную грудь, крикам о шахтерском прошлом, синим полосам угольного завала на громадном, красном, как бы всегда распаренном лице.

Итак, была самая поздняя осень, Никита Ваганов шел к Дому просвещения пешком: хотелось побыть одному, отчего-то хотелось мороженого, черные «Волги» бесшумно катили туда же, куда шел Никита Ваганов, солнце еще светило и грело, и думалось о том, что в такой день человеку трудно уходить из большого дома комбината, где так славно пахнет мастикой и деревом; человеку вообще не свойственно менять привычные состояния, он грустит, покидая место, где провел всего три дня, как же трудно будет Пермитину, как же ему будет трудно! Да, он поможет Никите Ваганову стать работником центральной газеты, тонкая и одновременно жесткая статья «Утоп? Или махинация!» сделала Никиту Ваганова известным. Да, печально, грустно уходить из активной жизни в пенсионное домино, когда над тобой висит такое небо, какое редко бывает на параллели Сибирска,— сиреневое и теплое на вид, оно готовилось пересечься пунктирной строчкой поздно улетающих журавлей. Никита Ваганов перестал грустить, когда недалеко от Дома политического просвещения его обогнала

«Волга» директора комбината «Сибирсклес» — он развалился на заднем сиденье, он возлежал на нем, он — трудно это представить! — открыто и всерьез как бы говорил: «Областная парторганизация меня любит!» Скоро он узнает, как относится к нему областная парторганизация, узнает правду, убивающе горькую. Он узнает и полную меру людской неблагодарности, когда против него выступит любимец Владимир Майоров — герой статьи Никиты Ваганова «Былая слава». О, как возлежал Пермитин, как барствовал, как наслаждался удивительным днем поздней осени! Выйдя из машины, Арсентий Пермитин вдохнул полной грудью свежий, настоянный на листопаде воздух, потянулся, точно после сладкого сна, он весь отдался радости тела, радости бытия, бытия терпкого от борьбы и побед, бытия, вдохновленного его круглосуточной и лихорадочной, бестолковой и неуправляемой деятельностью.

— Здравствуйте, Арсентий Васильевич! — Кто-то поздоровался с ним, и в ответ раздалось басовитое:

— Привет! Привет!

Голос у него был, как у обского грузчика,— вот что нравилось Никите Ваганову, который вообще не переносил тонкоголосых мужчин, не верил им, хотя прекрасно понимал, что это — чушь и блажь человека, заевшегося сибирскими басами. Однако у его московского соперника Валентина Ивановича Грачева, Вальки Грачева, был предельно тонкий голос, тенор. ...Ведь будут минуты, когда покажется, что редактором «Зари» будет Валька Грачев,— тревожные и страшные минуты...

За десять минут до начала пленума Сибирского обкома партии Никита Ваганов, поднявшись на гранитное крыльцо, еще раз оглянулся: был ясный день поздней осени, город расцвел под ласковым солнцем, сверкала на далечине горизонта быстрая река, залегшая в черте города подковой, шуршали листьями троллейбусы и «Волги», подъезжающие к Зданию просвещения, чтобы высадить на тротуар членов пленума. Приехал и редактор «Знамени» Владимир Александрович Кузичев, который был принаряжен, чисто выбрит, подтянут, а он ведь славился небрежностью в одежде, этот редактор Кузичев, человек, из высших соображений начавший борьбу с Пермитиным и побеждающий. Вот эта картина — нарядное небо, сладостный покой безветрия, шуршащие листьями автомобили, нарядный редактор Кузичев — останется в памяти Никиты Ваганова первой победой из череды многих и важных побед.

— Добрый день, Никита! — ласково поздоровался редактор Кузичев и взял Никиту Ваганова под локоток.— Отойдем немного...— И когда они это сделали, продолжил: — Первый хочет, чтобы я выступил. Ничего нет нового?

Никита Ваганов ответил:

— Нового ничего нет, Владимир Александрович! Думаю, хватит и наличного боезапаса.

— Да, пожалуй, но Первый ждет взрыва.

— Он и будет, взрыв, Владимир Александрович! — успокоил Никита Ваганов редактора Кузичева.— Одного признания Лиминского, ей-ей, довольно для бурных оваций и криков «Ура!». Зачем беспокоиться? — Он весело улыбнулся.— Не надо меня спрашивать, достоверны ли факты. Они достоверны! Никита Ваганов шутить не любит и другим не даст! Вот такая разблюдовочка, Владимир Александрович. Ей-богу, невооруженным глазом видно, что все факты ультрадостоверны.

— Да, пожалуй... Ну, я пошел, Никита!

...Да! Будет меловой лев на стене, будут львы — целых два! — на шарах, свирепые львы на больших гранитных шарах, львы с оскаленными пастями и загнутыми хвостами. Наверное, иноземный скульптор изваял львов на шарах? И будет добрый лев на лужайке у дачи главного редактора «Зари»...

— Слово имеет редактор газеты «Знамя» товарищ Кузичев.

Владимир Александрович вышел на трибуну, разложил на полке несколько крохотных листков бумаги, исписанных микроскопическим почерком, надел сильные очки; он сделал рукой мощный ораторский жест, но заговорил тихо и медленно.

— Маленькая преамбула, товарищи члены пленума, экскурс в историю вопроса. Посмотрим-ка, когда началось отставание лесной промышленности области, начались хронические недороды, выражаясь языком сельскохозяйственников. Не связано ли это с приходом к руководству товарища Пермитина?

Это было неплохим, приличным началом, но Никита Ваганов речь построил бы иначе: какой-нибудь сильный негативный пример поставил бы вперед как частный случай, а потом бы перешел к обобщающей картине, но это — дело вкуса, разумеется. Редактор «Знамени» тем временем снимал кожу с мандарина, снимал ловкими и умелыми пальцами.

— Если отставание лесной промышленности области совпадает с приходом к руководству товарища Пермитина, то логично возникает вопрос: как товарищу Пермитину удалось добиться серьезных успехов в разлаживании отрасли?

Капелька сарказма и насмешки — это не повредит!

— Думаю, что не ошибусь, если скажу: товарищ Пермитин — некомпетентный руководитель, это во-первых, а во-вторых, его руководство, будучи некомпетентным, сводилось только к окрику, угрозе, разносу, накачке и, наконец, к подтасовыванию производственных показателей. Иными словами, преступлению. Я не боюсь этого слова, товарищи!

И вот наступил звездный час!

— Статья «Утоп? Или махинация!» правдива от заглавной буквы до запятой, но автор использовал не все обвинительные документы. Возьмем случай с несуществующим обсыханием древесины на плотбищах Тимирязевской сплавной конторы...

— Ложь! — неожиданно крикнул в зал Пермитин. — Наглая ложь!

И произошло неожиданное.

— Нет, не ложь! — тоже крикнул из зала директор Тимирязевской сплавной конторы Владимир Яковлевич Майоров, тот самый, кого Никита Ваганов громил в статье «Былая слава».— Нет, не ложь! Правильно говорите, товарищ Кузичев! Я выступлю, расскажу все!

Никита Ваганов вытер пот со лба, усмехнулся: можно было уходить с пленума, сматывать удочки. Ему не хотелось слушать, как мешают с грязью Пермитина. Разом — пусто, разом — густо! Мы не умеем еще держаться золотой середины, у нас, если возносят на щит, то выше неба, если снимают со щита — то уж делают это с такой энергией, что пахнет гильотиной... Никита Ваганов тихонечко спустился с галерки, вышел на улицу, радуясь листопаду, пошел куда глаза глядят, и не сразу заметил, что навстречу шагает Егор Тимошин.

— Ну вот! — сказал Никита Ваганов, когда они сблизились.— Свершилось!

Егор Тимошин отозвался:

— Да уж вижу...

Больше они ни о чем не говорили, хотя, наверное, надо было, но Егор Тимошин спешил, хотя спешить не умел, этакий неторопыга и увалень.

Примерно в те же дни, когда закончился пленум Сибирского обкома партии, или несколько позже Никита Ваганов получал полную и заслуженную отдачу от пятиколонника, посвященного развитию лесной промышленности Черногорской области. Пятиколонник был опубликован, он принимал первые торопливые и неглубокие поздравления от уважаемых лиц, затем поток поздравлений иссяк, наступило затишье, затишье перед качественным скачком, перед проявлением подлинного признания значимости пятиколонника. События начались в понедельник — день тяжелый. На квартире раздался телефонный междугородный звонок, на другом конце телефонного провода заговорил знакомый, но не сразу узнанный голос:

— Здравствуйте, Никита Борисович! Как живется вам?

— Здравствуйте! Спасибо! Дела идут прилично.

— Рад за вас, Никита Борисович! Вы, кажется, не узнаете меня? Говорит Анатолий Вениаминович...

Никита Ваганов несказанно обрадовался:

— Бог ты мой, как я вас мог не узнать, Анатолий Вениаминович! Междугородная связь так искажает голос. Здравствуйте вам, Анатолий Вениаминович, здравствуйте!

Звонил Покровов, заведующий промышленным отделом Черногорского обкома партии, звонил по поручению и от имени первого секретаря Никиты Петровича Одинцова. Он сказал:

— Ваш материал обсуждался в узком, но компетентном кругу, высоко оценен обкомом, но это не все, Никита Борисович.— Он сделал веселую интригующую паузу.— Позавчера звонили из Центрального Комитета партии, поздравили и попросили собрать тотальный материал о нашей лесной промышленности... Алло? Алло? Бог знает, что творится с междугородной связью... Звонил заместитель заведующего отделом ЦК партии. Мы уже готовим обширный материал...

Никита Ваганов сказал:

— У меня не было места для расширенного показа сплава леса в хлыстах, надо сделать это громко и внушительно.

Покровов ответил:

— Ну, разумеется! — И опять сделал паузу.— Никита Петрович перед отлетом в Москву просил позвонить вам и выразить благодарность, что я и делаю с большим удовольствием. Примите, Никита Борисович!

— Сердечное спасибо, Анатолий Вениаминович!

— Это не все! Никита Петрович поехал в Москву именно из-за вашего материала. Наверное, состоится его отчет на отделе Центрального Комитета.

Вот каких высот достиг Никита Ваганов, послушавшись своего тестя Габризля Матвеевича Астангова — крупного знатока лесной промышленности. Не подскажи он мысль о необходимости ехать в Черногорскую область, достижения черногорцев, конечно же, стали бы достоянием широкой общественности, но это, возможно, произошло бы значительно позже или немного позже — как уж там распорядилась бы жизнь. Никита Ваганов форсировал события — вот в чем его заслуга, и это высоко расценил его будущий друг на долгие годы Никита Петрович Одинцов.

...В этих записках я волен оценивать людей субъективно. Так вот, Никита Петрович Одинцов — человек выдающийся, крупный государственный ум, хозяйственник, инженер, ученый; предельно добрый, порядочный и — это очень важно! — труженик, труженик и еще раз труженик. Я не лентяй, люблю работать и много работаю, но без его школы не стал бы тем, кем стал,— редактором газеты «Заря», моей любви и моего пристанища...

— Спасибо, Анатолий Вениаминович! До свидания.

Поздравил с пятиколонником и тесть Габризль Матвеевич:

— Дельно, дельно, Никита! Начальник Черногорского комбината разговаривал со мной по телефону, говорит: «У вас роскошный зять. Поздравьте от имени черногорцев!» Откуда они знают о нашем родстве?

...Знаете, кем будет впоследствии, после своего падения, Габризль Матвеевич Астангов? Начальником комбината «Черногорсклес»; его возьмет в свою область большой и верный друг Никиты Ваганова — Никита Петрович Одинцов.

Редактор областной газеты «Знамя» Владимир Александрович Кузичев, прочтя пятиколонник, немедленно позвонил, хорошо поздоровался и сказал:

— Это самая значительная ваша работа, Никита! Она окажет влияние на лесную промышленность всей страны. Поздравляю!

Позвонил и сдающий дела, но не разоружившийся Арсентий Васильевич Пермитин:

— Здорово, Ваганов! Как ты там прыгаешь? Хорошо, говоришь; ну, хорошо так хорошо... Ты что, сам был на месте? Сам, спрашиваю, видел вот то, что пишешь? А?! Мало ли чего бывает! Знаю я вашего брата корреспондента! Прикажи: из пальца высосет! Но ты парень толковый, далеко пойдешь, если милиция не остановит... Ладно, бывай, Ваганов!

Егор Тимошин похвалил пятиколонник:

— Хорошо, старик! Дельно и борзо написано.

Говорят, что беда не ходит одна, но и радость, бывает, группируется тесно, кучкуется. Буквально через полчаса после звонка заведующего промышленным отделом Черногорского обкома партии позвонил заместитель редактора «Зари» и после китайских церемоний, взаимных приветствий милостивым тоном произнес:

— Собирайтесь в столицу, Никита Борисович.— Говорящий, видимо, улыбнулся в трубку.— Готовьтесь к месячному пребыванию в Москве. С обкомом согласовано...

Львы на шарах

Впервые двух львов на двух шарах я увидел ранним, предельно ранним утром, когда по своей охоте, ни свет ни заря — этакая стал деревенщина! — приперся к новому зданию редакции газеты «Заря». Она начинала работать в десять часов, не раньше, а я пришел около семи утра; день выдался безоблачный, свежий, чистый даже для Москвы, для площади, где выросло новое помещение редакции. Что касается двух львов на двух шарах, то они остались от старого здания времен классицизма; львов на шарах решили не трогать или забыли убрать, и они, порозовев от восхода, возлежали на своих шарах,

нежно и одновременно хищно вцепившись в гранит, и морды у них были электрические: и ласковые, и свирепые. От рассеянного солнечного света казалось, что львы покрыты бархатом — тонкой и густой пылью,— мнилось даже, что под бархатной кожей мощно и нежно вздрагивают мускулы. Я лениво посматривал на львов, уже почти догадываясь, что в моей жизни они сыграют символическую, важную роль... Первым моим львом станет меловой лев на стене, следующими львами — вот эти два на шарах, и будет еще один лев, самый главный лев в моей жизни — лев на лужайке. Львы на шарах посматривали на меня благожелательно, однако с насмешкой: «Какой же ты дурак, если приперся за три часа до начала работы! Впрочем, может быть, ты вовсе и не дурак?» Одно было несомненно: львов на шарах изваял большой мастер, наверняка иноземного происхождения — почему так казалось, кто знает.

Меня вызвали в редакцию по поводу моего пятиколонника, посвященного лесной промышленности Черногорской области; меня, видимо, хотели награждать, заслушивать и перенимать мой опыт. Во всех этих ипостасях я готов был выступить, на все был готов, но главной моей целью было и оставалось, как вы давно понимаете, возвращение в Москву, на родину, в мой любимый город, и не простое возвращение, а возвращение на белом коне. Я собирался доказать себе и Вальке Грачеву, что мой путь вперед и наверх надежнее и вернее, чем его способ незаметного проникания в поры могучего организма газеты «Заря». Он, впрочем, преуспел, но так мало преуспел, что со страхом ждал моего возвращения.

За стеклянными дверями вестибюля шлялся по диагонали якобы равнодушный ко мне милиционер, никак не способный понять, что за гусь в такую рань разглядывает двух гранитных львов. Походив, подумав как следует, милиционер жестом пригласил меня посидеть в низких и удобных креслах — поговорить, наверное, за жизнь. Скучно же шагать сутками за стеклянными дверями, как в аквариуме, к тому же с электрической подсветкой. Я откликнулся на зов милиционера, я вполне походил на намыкавшегося просителя, так как уже прошло партийное собрание в редакции «Знамени», и я стал одеваться обдуманно так, как будет одеваться впоследствии знаменитый редактор знаменитой «Зари»,— подчеркнуто скромно. Простые брюки, поношенные туфли, серый пиджак или кожаная куртка, изрядно потрепанная.

Милиционер угрюмо спросил:

— Откуда?

— Из Сибирска.

— Надо же! И тащился из такой далечины?

— Вот видишь, притащился.

Он философски наморщил лоб и сказал:

— А притащишься, если припрет. Вот своего шурина я прямо направил к Главному. Помогло! А ты до Главного — и не мысли, понял?! Хорошо, если в редакцию пропустят. А то — бюро жалоб. Вон окошко. Видишь?

— Ну, вижу.

— Сунешь туда жалобу и — валяй обратно в свой Сибирск.

Я сделался серьезным, я спросил:

— А помогает окошко-то? Оказывает помощь?

— Это кому как! Тебе, может, поможет.

— Почему именно мне?

— Да так. Человек ты вроде основательный, серьезный и необиженный. Вот таким, какие за правду, а необиженные, окошко помогает.

...Он оказался умницей-разумницей, этот милиционер моего трехчасового ожидания славы и почестей в стеклянном вестибюле газеты «Заря»; он будет служить на своем посту, когда я сделаюсь редактором, он станет моим большим и верным другом, этот рыжий лентяй, богом рожденный и приспособленный для проверки пропусков, лентяйских разговорчиков, философствования и неторопливой жратвы с таким аппетитом, которого, казалось, не должно быть у бездельничающего человека...

— Значит, мне окошко поможет?

— Тебе поможет, не сомневайся! А ты чего? Не куришь?

— Не курю.

— Снова молодец. А сигарет при себе случайно не имеешь?

— Случайно имею.

— Во! Снова молодец! Угости.

— Кури, дружище! Отчего ты такой рыжий?

— Родился. Сам на себя удивляюсь.

Он на самом деле обладал редкой способностью удивляться самому себе: собственному басовитому голосу, рыжести, доброте, разговорчивости, чуткости, наконец, своему уму. Не соскучишься — вот какой это был человек!.. Он умрет раньше меня, как бы предвосхищая мою участь, верный мой друг, понимающий толк в редакторах и вообще настоящих людях...

— Я про твое дело не спрашиваю, понял? — сказал он многозначительно, но с таким выражением, что захотелось назвать его папашей.— Такая привычка у меня — не спрашивать.

Мой новый друг, дежурный милиционер, рыжий и ленивый, ни капельки не удивился, когда в конце часовой беседы я ему предъявил телеграмму, официально вызывающую меня в редакцию. Милиционер раздумчиво сказал:

— Молодец! Не каждый усидит в этом Сибирске. Сколько летных часов?

— Пять.

— Вот. Намаешься! Ты давай-ка в Москву возвращайся. Где родители-то живут?

— Седьмая Парковая, угол Первомайской.

— Иди ты! — восхитился он. — Так я же с Девятой Парковой, угол Измайловского бульвара. Какую площадь занимает? Две комнаты на четверых? Хреново! Улучшаться надо, не шестериться. Это твой долг — помочь отцу с матерью, понял?!

— Ты обратно пойдешь, меня уже не будет! — с печалью сказал рыжий страж.— А я тобой теперь интересуюсь. Как только ты очки надел, ты крупной птицей стал... Лицо у тебя сейчас вроде доброе, но ты в большое начальство выйдешь! — Он вдруг весело хлопнул ладонью по своему колену.— Ты, может быть, министром станешь...

Я незряче смотрел на милиционера. Очки! Большие очки, а нужны маленькие...

Мое знакомство с аппаратом центральной газеты «Заря» началось бессобытийно и буднично, словно на завершавшейся благополучной стройке. Я попал в хорошо налаженный, единый коллектив; мне устроили встречу с заместителем главного редактора Александром Николаевичем Несадовым, о котором я много слышал как о симпатичном и деловом человеке. Редактором газеты «Заря» он никогда и ни при каких обстоятельствах стать не мог, что объяснялось характером самого Несадова, достигшего, по его собственным словам, боль-

шего, чем хотел. Любящий хорошо поесть, умеренно выпить, лишний месяц при отпуске, использованном своевременно, проваляться на «профилактике» в хорошем санатории, не упускающий возможности проводить до дома смазливую барышню, Саша Несадов не хотел дневать и ночевать в редакции, отвечать за все, начиная от событий в Йемене и кончая бетоном на стройке союзного значения. Он обожал главного редактора газеты «Заря» Ивана Ивановича, чувствуя превосходство над собой Главного, охотно и пунктуально выполнял его распоряжения. Промышленность, инженер по образованию, Несадов знал отлично, и это позволяло ему спокойно спать и пользоваться всеми радостями жизни. Я его мысленно называл «цивилизованным» Бобом Гришковым...

...Александр Николаевич Несадов будет инициатором превращения собственного корреспондента «Зари» Никиты Ваганова в работника аппарата той же газеты: сначала литсотрудника, а потом и заместителя редактора промышленного отдела. Я святой инквизиции докажу, что Александр Несадов не был подхалимом и не мог им стать благодаря все тому же внутреннему равновесию. Если бы его, Несадова, из заместителей главного редактора переместили, предположим, в литработники, то в жизни переменилось бы немногое: не заказывал бы в ресторане «Советский» трехрублевые блюда, с коньяка перешел бы на водку, отдыхал бы в подмосковном санатории. Короче, наша дружба с Никитой Петровичем Одинцовым, которая сыграла выдающуюся роль в моей жизни, влияла на Александра Несадова только путем гипнотическим, что происходило и со многими другими людьми, включая могущественного редактора «Зари» Ивана Ивановича. Они не были подхалимами, им претила подобострастность, но фамилии Одинцова и Ваганова так сольются в их воображении, что невозможно будет, говоря об одном из них, не вспомнить другого. Это произойдет уже в те времена, когда Никита Петрович Одинцов станет работником такого масштаба, который в моем дневнике назван не будет. Читатель должен знать, что Никита Петрович Одинцов не просто хорошо относится ко мне, а благодарен Никите Ваганову и любит Никиту Ваганова. Как это ни невероятно, он мог бы так и остаться первым секретарем Черногорского обкома, если бы молодой журналист Никита Ваганов не вмешался в его высокие дела...

Заместитель главного редактора Александр Николаевич Несадов принял меня, проделав, естественно, все свойственные ему демократические действия — вставание, выход на середину кабинета, дружеское рукопожатие. Потом сел напротив в низкое кресло и закурил длинную сигарету. Он начал с трепа о футболе и сплетнях о газетчиках, приступая же к делу, так до конца и не сделался серьезным:

— Мы, признаться, преследуем две цели. Первая: познакомиться с таким интересным молодым журналистом, как вы...

Он улыбнулся и подмигнул мне, что означало: думал о пятиколоннике, который опубликовал я, о делах и планах первого секретаря Черногорского обкома партии Никиты Петровича Одинцова. О, какой хай по телефону устроил тогда редактор «Зари», когда полосу о развитии лесной промышленности Черногорской области превратили в пятиколонник, отдав шестую колонку под мелкие вести с каких-то никому не известных промышленных предприятий. Все это объяснялось просто: сверхопытный и сверхбдительный, всепонимающий Александр Николаевич не решился дать целую полосу — материал такой величины имел уже заведомо постановочное значение, а Иван Иванович в силу некомпетентности не мог с ходу оценить революционность материала.

— Я стопроцентно уверен,— между тем говорил Несадов,— что и вторая цель вызова будет принята вами радостно...

Я бы хотел, чтобы читатель моего «дневника» обратил внимание на то обстоятельство, что мои фразы в дальнейших разговорах будут совсем не похожи на мою манеру выражаться. Где трепотня, попытки острить, глобальная несерьезность, продуманное ерничество? Мало того, мой читатель должен знать, что в кабинете Несадова я сидел совсем не так, как, бывало, сиживал в кабинете моего сибирского редактора Кузичева, то есть не разваливался и не прищуривался, не валял дурака, а сидел почти на краешке кресла, но, естественно, и без тени подхалимажа. Этого за Никитой Вагановым никогда числиться не будет, однако существовали два Ваганова: первый — до партийного собрания в редакции областной газеты «Знамя», второй — после партийного собрания.

Он беседовал со мной так, словно я никогда не бывал в редакции «Зари», в которой печатался еще в студенческие времена. Я Несадову представлялся, наверное, очень молодым и очень длинноногим, но он еще не работал в газете, когда я стажировался в аппарате редакции «Зари», далекий от белого коня, на котором я все же въеду в Москву, вернусь в мой город.

— Статьей о комплексном развитии лесозаготовок в Черногорской области заинтересовались в промышленном отделе ЦК партии,— продолжал Несадов.— Никита Петрович Одинцов сейчас находится в Москве, его принимали на высоком уровне... Хорошую кашу вы заварили, Никита Борисович! А нельзя ли вас называть просто Никитой?

— Сделайте одолжение...

— Спасибо!

Признаться, мне не очень понравилось желание заместителя — человека лет сорока — называть меня только по имени, но я разрешил, понимая: это следствие восторженного отношения к Никите Ваганову, то есть к деятельности Никиты Ваганова, которая привела к таким ошеломляющим результатам: Никиту Петровича Одинцова вызвали в столицу.

— Вторая причина вызова, Никита, прекрасна. Дело в том, что Никите Петровичу Одинцову предлагают ускоренным порядком написать книгу, а если не выйдет, большую брошюру о развитии лесной промышленности Черногорской области. Ну, а коли это так, то... сами понимаете, Никита.— Он родственно улыбнулся.— А вам предлагается поработать вместе с Никитой Петровичем — это значительно ускорит появление книги, необходимой работникам лесной промышленности страны.

Охренеть можно, каким канцелярско-бюрократическим языком вдруг заговорил этот лощеный доктор наук. У меня уши вяли, у меня поднывало в животе, хотя Несадов говорил такие вещи, о которых и в самых честолюбивых мечтах не грезилось: работать над книгой с Никитой Петровичем Одинцовым... Работа эта сблизит нас настолько, что я смогу предложить ему своего тестя на должность директора Черногорского комбината...

— Вот такая, вот такая картина, Никита, в первом приближении. Естественно, что вам придется встретиться с Иваном Ивановичем и с членами редколлегии. Иван Иванович, например, вас примет сразу после трех, и — сегодня, сегодня!.. У вас есть ко мне вопросы?

Я помедлил, но все-таки ответил:

— Есть!

Дело в том, что в промышленном отделе редакции лежала моя публицистическая статья, или очерк-размышление, на тему о скромности. Речь шла не о скромности девиц, не о скромности человека вообще, а о скромности, которую надо проявлять, когда речь идет об общих успехах в той или иной отрасли промышленного или сельскохозяйственного производства. Короче, поменьше об успехах, побольше

ше о недостатках. Отделы промышленности «Знамени» и «Зари» похерили мой материал, и вот случилось так, что Несадову я сказал:

— Как-то в минуту вдохновения я написал статью «Скромность, товарищи, скромность!» Отдел ее не принял, Александр Николаевич, наверное, правильно не принял, но мне хотелось бы в какой-то более приемлемой форме вернуться к вопросу.

Несадов отчего-то хмуро спросил:

— У кого статья?

— У Гридасова.

Трубку — долой, щелчок тумблера, свет красной лампочки, из динамика голос редактора промышленного отдела Гридасова: «Слушаю, Александр Николаевич!»

Через три минуты Илья Гридасов принес мою статью, молча удалился, а Несадов за десять минут прочел ее и сказал:

— Ага!

Потом он зачем-то взъерошил волосы, затем пригладил их ладонью и опять взъерошил.

— Презабавнейшая статья! — с энтузиазмом произнес заместитель редактора Несадов и посмотрел на меня испытующе.— Статья — отборная! И совершенно понятно, что Гридасов... А что Гридасов? Что Гридасов!

Опять трубку — долой, щелчок тумблера, свет красной лампочки, голос главного редактора «Зари» Ивана Ивановича Иванова: «Привет!» Заместитель Несадов сказал:

— Есть интересная статья, Иван Иванович. Чья? Никиты Ваганова... Ага! Ага! Тут он лыко дерет и лапти плетет. Согласен! А статья вот о чем, Иван Иванович...

Ну, абсолютно другой человек разговаривал по телефону. Живой, энергичный, смелый, широкий; он точно и емко объяснил Главному смысл моей статьи, Главный зарычал из динамика, что с Гридасовым надо разобраться, потом сказал, что не надо разбираться с Гридасовым, а вот статью нужно немедленно сдать в набор, тогда он ее прочтет в гранках и, если надо, чуток подправит. Когда же голос Главного оборвался, заместитель Несадов воззрился на меня весело и тепло:

— Браво, Никита! Такими статьями, черт побери, делают газету, а... Впрочем, а что Гридасов? Что Гридасов? Нет газетного нюха у человека — так это уже навсегда.

...Место редактора промышленного отдела Гридасова через четыре года займет Никита Ваганов — выпускник Академии общественных наук, и в этом нет неожиданности: осуществлялась закономерность, жесткая закономерность, когда трусливые и некомпетентные уступают место смелым и компетентным...

Однако главное в том, что заместитель редактора Несадов был эмоционален, хорошо улыбался, смотрел на меня как на равного, как на своего по гроб жизни человека. Он говорил:

— Вы обязаны работать в этом непонятном еще жанре, Никита. Не открутитесь! И не думайте откручиваться. А ну, вываливайте до кучи, что у вас есть еще за пазухой! Извольте, извольте!

— Вы правы, Александр Николаевич,— сказал я и засмеялся.— Не только в планах, но уже и от машинки.

— О чем? О чем?

— Например, о кричащих начальниках. О крике как слабости и о крике как некомпетентности...

— На стол! На стол! Что еще в заначке?

Много чего было у меня в заначке в ту пору обилия идей и наблюдений, знакомств с новыми людьми и обстоятельствами, в ту пору молодого ума и свежести восприятия жизни. Я так и звенел от тем, заголовков, «шапок», очерков, статей, зарисовок, корреспонденций — ярких, словно вспышка. Поэтому у Несадова просидел больше часа, очаровал его, и очаровался сам, и вышел от заместителя редактора с такой вот мыслью: «Ах, папа, родной мой папа! Твоему сыну не надо жениться на москвичке, чтобы вернуться в стольный град!» Мне было хорошо, покойно, весело.

Главный редактор газеты «Заря» Иван Иванович Иванов принял меня ровно в пятнадцать часов, принял в своем кабинете. Он был невысокий, полный, слегка похожий на француза-рантье, который заботится только о своем здоровье. Биография Ивана Ивановича известна читателям, он прошел длинный и, как говорится, славный путь, побывав и всем, и никем. Здоровье у него было воловье, его хватит на восемьдесят лет жизни. Он принял меня буквально в дверях.

— Ну-ка, ну-ка, позвольте мне посмотреть на вас, молодой человек! Ну, повернись же, сынку! Кожаная куртка? Вы не в писатели ли метите, молодой человек? Не пустим, не отдадим! Ну-с, проходите, садитесь, рассказывайте. Что новенького творится за стенами этого домика? Процессы, частные наблюдения, мысли...

...Чрезвычайно много мудрого и полезного возьмет Никита Ваганов у главного редактора Иванова для себя, для будущего редакторства, для того, чтобы поначалу не плавать беспорядочно, не делать грубых и мелких ошибок, быть редактором не запрещающим, а созидающим, разбрасывающим щедро идеи и темы, темы и идеи. И легкую веселость, доброжелательность, мягкость переймет Никита Ваганов у главного редактора Ивана Ивановича Иванова, человека посвоему выдающегося...

— Ну, рассказывайте же, рассказывайте, Никита!

Без всякого разрешения, обезоруживающе просто главный редактор обратился ко мне по имени, и я, Никита Ваганов, этого не заметил. Улыбнувшись, сказал:

— Надо много и часто писать о рабочем классе. Иван Иванович, мы плохо пишем о рабочем.

— Отчего?

— Мы рабочих старательно описываем в производственном процессе, а если и выводим из проходной, то для дурацких сантиментов на берегу реки, а надо писать так, чтобы был виден рабочий новой формации. Учеба. Книги. Новая техника. Спорт. Свобода мнения. Увлеченность. Понимаете, Иван Иванович, наши очерки о рабочих — это очерки тридцатых годов.

— И ваши тоже, Никита?

— И мои, Иван Иванович!

— Интересно, интересно! Продолжайте, пожалуйста!

Я говорил о Черногорской области, о Никите Петровиче Одинцове, затем перешел на другие проблемы, и мой рассказ продолжался полтора часа, в течение которых Главный меня почти не перебивал — лишь переспрашивал,— так как записывал за мной, Никитой Вагановым, что-то в роскошный блокнот, переворачивая страницу за страницей. И когда я закончил, Иван Иванович с треском захлопнул твердую крышку блокнота, улыбнувшись, вышел из-за стола, чтобы пожать мне руки. Вот так-то!

— Замечательно, Никита! — горячо и сердечно сказал главный редактор «Зари».— Я услышал много поучительного...— Он умолк, словно забыл самое важное, впрочем, так и было.— Да, да! — воскликнул Главный и сел на место.— В семнадцать часов в гостинице «Москва» вы встречаетесь с Никитой Петровичем.

Куда я пошел после? Если не изменяет память, ноги меня повели к Вальке Грачеву, которого я застал за чтением моего очерка, уже набранного и поставленного на полосу. Валька дочитывал последнюю колонку, когда я ввалился в кабинет, где не было никого, кроме моего студенческого друга.

— Изучаешь? — снисходительно процедил я.— Тебе надо не просто читать, а конспектировать, понял? Ась?

Валька серьезно ответил:

— Молодец, Никита. В университете я тебя считал серее... Ты даешь зримый портрет и активно препарируешь человека.

Дурачище! Я и в университете умел писать, я и тогда мог давать зримые портреты людей и препарировать их, но у меня не было стимула. Что? Университетская многотиражка меня волновала не больше прошлогоднего дождя. Конечно, за годы работы в Сибирске я еще поднаторел и, как говорится, насобачился, но все остальное умел делать еще в университете — будьте спокойны! Я сказал:

— Ты тоже пишешь недурственно, Валька. Твоя статья о яблоках хороша, ей-богу! Я за тебя радовался.

— Спасибо! Садись. Не куришь? Хочешь прожить до ста лет!

...Я действительно не курил из медицинских соображений, я отказался от курения, одного из человеческих удовольствий, чтобы жить долго. А зачем? Какого черта я не курил, если в пятьдесят лет с малым хвостиком... Кто придумал, что надо сохранять здоровье, если человек не знает, сколько ему суждено жить? Какая это сволочь придумала воздержание? Для чего? Чтобы умереть здоровым? Так этого добра, здоровья, у меня хватит на десятерых. Ровно и мощно бьется сердце, перелопачивают кубометры воздуха отличные легкие, перекатываются под гладкой кожей буквально стальные мускулы. И только кроветворные органы, эти печенки-селезенки, подвели, убивают, как гуся под Рождество. Я отчего-то вбил себе в голову, что умру в ночь под Новый год, этак часов в девять-десять вечера...

Валька Грачев спросил:

— Будешь писать книгу с Одинцовым?

— А что в этом особенного?

— Чего ты так взъерепенился! Мощный мужик — Одинцов, только и всего.

Он был прав: я «взъерепенился». Впоследствии, и я это предчувствовал, дружба с Никитой Петровичем Одинцовым мне будет инкриминироваться, меня будут упрекать в том, что только и только благодаря покровительству Одинцова я сделал всепобеждающий рывок вперед и вверх, что именно он, партийный работник высшего масштаба, поведет за собой приспособленца Никиту Ваганова. Что ни слово — то ложь, хотя влияние Никиты Петровича на свою жизнь я не отрицаю и отрицать не могу.

— Одинцов большой человек! — задумчиво сказал Валька Грачев.— И твой материал, и его собственные статьи, которые, кажется, он пишет сам...

— Только сам!

— Крупный, крупный, крупный человек. Ты за него держись, Никита.

— У меня хорошие отношения с Одинцовым,— сказал я.— Достаточно хорошие, чтобы играть с ним в преферанс и обыгрывать. Кстати, он неплохо играет.

Валька Грачев с улыбкой сказал:

— Путь правильный!

— Ну вот! А ты...

Продолжался наш студенческий спор на тему: с чего надо начинать журналистскую карьеру? С обивания порогов столичных редакций или отъезда в многообещающую Тмутаракань? Оба пути оказались хороши, коли по ним шли такие люди, как Валентин Грачев и Никита Ваганов. Я сказал:

— Пойдет моя опасная статья, Валька. Держи руку за меня на редколлегии. Заметано?

...Более умного и тонкого человека, чем Валентин Грачев, на нашем курсе не было; мало того, скажу, что и в «Заре» его ум и тонкость засверкают, но только тогда, когда редактором «Зари» будет Никита Ваганов, который даст Валентину Грачеву развернуться по-настоящему — целиком и полностью. Я отношусь к тому типу редакторов, которые помогают людям развернуться, показать все свои человеческие возможности...

— В джунглях, то исть в редакции, устроили пир с танцами, когда получили твой лесной материал, Никитон,— продолжал Валька Грачев.— Зажгли костры, убили и схарчили двух чернолицых и одного белолицего, танцы продолжались до вечера следующего дня. Шеф плясал соло, изрядно голый...

Я насторожился: старый друг язвил и наслаждался собственным сарказмом, старый друг, ощерив зубы, посмеивался над коллективом газеты «Заря» — это не было свидетельством успехов Валентина Грачева, скорее, наоборот, говорило о его обиде на газету.

— Шеф плясали нагишом, прыгали через костер, спалили крылышки, но не обратили на это внимания, так что, Никитон, тебя ждет упитанный и уже поджаренный телец...

Завидовал, здорово завидовал мне самый близкий друг по университету Валька Грачев, сочился желчью по поводу черногорского выдающегося материала. Мало успел сделать он, работая в аппарате «Зари», хотя бы для того, чтобы занять отдельный кабинет и создать себе журналистское имя,— его постоянно держали на подножном корму. ...Несколько лет еще проработает Никита Ваганов собственным корреспондентом «Зари». А работая уже в самой «Заре», подготовится во «фронтовой» обстановке к экзаменам в Академию общественных наук, поступит в академию, окончит ее и вернется в «Зарю», где быстро, через полгода, займет пост редактора промышленного отдела. Понимая научно-техническую революцию, догадываясь о сложности ее пути, Никита Ваганов в качестве редактора промышленного отдела очень скоро сделается незаменимым — и в этом нет преувеличения.

— Их высокоблагородие шеф чуть не упали в костер, через который прыгали,— язвил и расплачивался за невезуху Валька Грачев.— Заместители не снимали фиговых листочков, обижались, что шеф, упоенный, не видит ихние выкрутасы. Та еще была ноченька, и суточки были те еще, Никитон!

— Ну, хватит, хватит, Валюн! Порезвился — и будет!

— Ладно. Как ты живешь сегодня дальше?

— В семнадцать встреча с Одинцовым.

— Ля-ля-ля! Так я и думал! Держи хвост пистолетом, Никита. Будет раздача слонов.

Встреча с Никитой Петровичем Одинцовым произошла. Я не помню, на каком этаже располагался его номер, я даже забыл, о чем мы разговаривали, так бурно и радостно встретил меня Никита Петрович. Встретил как родственника, как близкого друга. А через час, когда главное уже было сказано, я понял, что нашу встречу нельзя кончать будничными рукопожатиями.

Я сказал:

— Никита Петрович, сейчас время раннее, не смотаться ли нам в театр? Смотаемся у теантер, а, Никита Петрович?

— Смотаемся! — по-мальчишески обрадовался он.

После спектакля Никита Петрович, зверски уставший за день, оживился.

— Хорошо придумал, Никита! Умница! А теперь — ко мне!

Ни я, ни Одинцов не могли предположить, чем кончится вечер в комфортабельном номере гостиницы «Москва». Часов в десять в дверь уверенно постучали, Никита Петрович открыл и пропустил в комнаты подвижного, сухощавого человека.

— Вадим Пантелеевич! — представился он и предельно внимательно посмотрел мне в глаза. После этого гость басом сказал:

— Держу пари, что этот молодой человек играет в преферанс!

Через десять минут пулька на троих была в полном разгаре, а вы должны помнить, каким мог быть за преферансным столом Никита Ваганов, да еще в тот вечер, когда ему шли в руки блестящие карты. И Никита Петрович Одинцов, и Вадим Пантелеевич — фамилия неизвестна и кто таков тоже — были отличными партнерами и к концу игры с уважением относились к игре и молчанию Никиты Ваганова. Вадим Пантелеевич грозно сказал, бросая на стол деньги:

— Вот уж завтра вечером посмотрим, Никита, каким голосом вы запоете, везунчик! — И как бы с ужасом взялся руками за щеки.— Нет, такого везения я не видел!

Я сказал:

— Опять уйдете стрижеными.

— Я?

— Вы-с!

— Серьезно?

— Вполне!

...Читатель моих записок, предельно похожих на исповедь, еще не раз встретит упоминание о преферансе, и неудивительно: в моей жизни не было другого такого развлечения. Я не увлекался ни футболом, ни хоккеем, не ездил на бега, втайне от общества не заводил молодых любовниц, не гонялся за вещами — вообще ничего не коллекционировал. Я всю жизнь играл в преферанс и достиг в игре сияющих вершин. Я чувствовал и предчувствовал карты и прикупы; с короткого, буквально секундного взгляда на карты видел всю игру. Добавлю, что благодаря преферансу я обзавелся влиятельными знакомыми, мой преферансный талант открывал мне двери таких домов, куда люди моего положения входа не имели...

Когда мы поднялись, потирая поясницы, Вадим Пантелеевич усмехнулся и сказал:

— Ну, вы, бандит с большой дороги, не боитесь обыгрывать свое прямое начальство?

Я сердито отозвался:

— Этого мне еще не хватало! — И повернулся к Никите Петровичу.— Есть такое предложение: поужинать завтра в Доме журналистов.

Гость Одинцова поднял обе руки.

— Увы, Никита! — печально сказал он.— Мне Дом журналистов заказан навеки.— Он откланялся и ушел.

Никита Петрович сказал:

— А теперь узнайте, с кем вы попали в преферансную компанию. Это Липунов — зав. сектором печати...

В родной дом я пришел поздно вечером; в коридоре было тихо и темно, так как мой отец везде и постоянно тушил электричество, увлеченный мечтой купить машину, никому не нужную. Это выяснится сразу после того, как я помогу отцу купить автомобиль...

Дашка читала в ванной, лежа во вредной очень горячей воде, мать была в своей длинной и узкой комнате. Мать, оторвавшись от книги, сказала:

— Ты заметил, Никита, что листья на кленах пожелтели, совсем пожелтели?! И в душу просится осенняя грусть.

Меня трудно было удивить «пожелтевшими листьями» моей матери, но, не скрою, в эту минуту меня охватила тихая и бессильная злость. Отец, мой бедный отец, бьется за каждый окаянный рубль, а моя мамаша по-прежнему ведет счет листьям, лунам, закатам и восходам, и в ее душу, душу преподавательницы иностранного языка, «просится осенняя грусть». Я тихо-тихо ответил:

— Почему ты отказалась от вечерней школы, мама? Восемнадцать часов в неделю — это норма, но это...

Она негромко, но властно перебила меня:

— Ах, как жалко, что ты вырос прагматиком! Ах, как жалко! — Она мирно улыбнулась.— Я, Никита, познакомилась недавно и довольно подробно с прагматизмом... Да, Никита, великий Эмерсон прав, говоря, что вещи сели на человечество и погоняют его...— Мама сняла очки с невидимой оправой.— Прагматики несчастны: вы лишены возможности самосозерцания... Ах, как жалко, что ты прагматик, Никита.

...Мой отец всегда говорил пышно и витиевато, всегда ставил предельно много восклицательных знаков, то говорил громко, то впечатляюще шептал, то сокровенно смотрел в глаза, то глядел только и только в потолок, когда его, казалось, осеняли высокие мысли. Я любил своего отца, люблю его сейчас, буду любить до той поры, пока существую. Отец меня переживет — за день до «синтетического ковра» я посетил отца, он выглядел прилично, в свои годы казался крепким — такой американизированный старик, седой и розоволицый. Естественно, это объясняется и моей заботой: как только я сделаюсь крупным работником «Зари», отец начнет получать помощь, разнообразную помощь, вплоть до хорошей еды. Моя мама умрет за пять лет до моего «синтетического ковра»...

— О чем же ты хочешь говорить, папа? Я тебя слушаю.

— Мы должны поговорить о тебе, Никита, точнее, о твоем будущем. Знаешь, сын, я по-прежнему считаю, что ты напрасно уехал из Москвы. Это был опрометчивый шаг, вызванный...— Он начал смотреть в потолок.— Твой отъезд, Никита, вызван мною. Да, да, да! Только мною! Я не смог дать тебе дома такую жизнь, которой бы ты не стеснялся — это во-первых! Во-вторых, ты хотел жить не так,

как живем мы. По-видимому, ты прав, но зачем крайности, зачем крайности, сын мой! Ты стесняешься пригласить гостей в наш дом, ты устал от тесноты, плохой мебели, от меня, мамы и Дарьи. — Отец печально потупился.— Не дай бог, сын, и тебе прожить так скудно. Ты знаешь, я не сколотил и половины стоимости автомобиля.

Я улыбнулся. Отец начал говорить об автомобиле, сел на своего любимого конька, а это значило, что теперь и речи не будет о моем будущем.

— Автомобиль мне не просто нужен, сын, автомобиль мне необходим как воздух, как вода, как хлеб! — Он снова глядел в потолок.— Каждое лето я смог бы вывозить мать на природу, наконец, на теплый юг, где был только единственный раз. Я во сне вижу серую ленту шоссе, яблони на обочинах, пальмы и чинары.

...С моей помощью отец купит автомобиль, поставит его на открытый участок проезжей улицы, потеряет покой, но так и не получит водительские права, он окажется бездарным как водитель. Ему придется продавать автомобиль, потеряв на этом рубли и копейки, но зато он — опять с моей помощью — купит прекрасную трехкомнатную квартиру. С Дашкой у нас произойдет трагедия: девчонка долго не сможет выйти замуж, будучи и хорошенькой, и умненькой, и образованной. Дело в том, что она переймет от матери созерцательность, отрешенность от мира сего, стремление к уединению и мнимой свободе. Понятно, что современные женихи с их требованием уметь жить в сложном и скоростном веке будут покидать Дашку еще на первых ступенях ухаживания. Я помогу сестренке устроиться на хорошую работу, она будет много, по-настоящему много зарабатывать, но ее личную жизнь я устрою не сразу. Да, я найду жениха и мужа сестре! Но это произойдет очень нескоро...

— Автомобиль для меня не игрушка, не роскошь, не баловство, сын мой! Это — обновленное мировоззрение, это путевка в новую жизнь, которой ты так хотел.

Определенно я, Никита Ваганов, журналистский талант унаследовал и от отца, от его умения гладко говорить, способности временами рисовать словами зримую и обобщенную картину жизни. Сегодня он пропел гимн своему будущему автомобилю, показал, как радикально меняется жизнь семьи с его приобретением, но так и не поднялся над самим собой. Отец говорил:

— Я внутренне изменюсь, определенно потерплю революционное изменение с покупкой автомобиля. Исчезнет замкнутость, келейность, некоммуникабельность. Все изменится, сын, как только автомобиль станет собственностью нашей небольшой, в сущности, семьи.

...Я стану редактором «Зари», войду в когорту заметных людей, но мой отец так и не поймет, каким образом все это произошло... Знаете, какой вопрос мучит меня сегодня, когда я пишу этот дневник-исповедь, тщательно вспоминая пережитое? Зачем это было надо? Для чего? Во имя чего? А завтра все вопросы мысленно назову дурацкими...

— Ты рано и опрометчиво женился, сын! — воодушевленно продолжал отец.— Если бы ты не сделал этого, то можно было жениться на москвичке и таким образом вернуться домой. У ы! Ты и эту возможность потерял! О, как хороша Вера Егоровна Васькова! Чудо! Чудо! Чудо!

...Когда отец увидит — случайно! — Нелли Озерову, то поймет, как бледна и скромна его Васькова, замученная школой преподавательница литературы...

— Ума не приложу, Никита, как ты вернешься!

Я басом ответил:

— Въеду на белом коне.

В ответ он только грустно покачал головой:

— Я всегда знал, что ты романтик, Никита, но не до такой же степени, сын мой!

Слово «романтик» я терпеть не могу, никогда не употреблял его в очерках и статьях и никому не советую употреблять, но вот для моего папули я вдруг заделался романтиком, хотя никаких оснований не давал. Я так и спросил:

— Отчего, папа, ты меня произвел в романтики? А не в прагматики, как мама?

Он забавно вытаращился:

— А разве твой отъезд в Сибирскую область не романтизм?

Эка хватил! А ведь почти четыре года назад я ему довольно толково и популярно объяснял, отчего отбываю в Тмутаракань: «Понимаешь, отец, в московской журналистской толпе я затеряюсь, как колосочек в поле, а в Сибирской области я, будь спокоен, в три счета заберусь на белого коня».

...Жизнь показала, что я был прав. Верно, в столицу я переберусь без помощи Никиты Петровича Одинцова, меня переведут в Москву на должность литсотрудника промышленного отдела, затем я пойду учиться в Академию общественных наук, а потом — на этот раз только и только с помощью Никиты Петровича Одинцова — сделаю невероятной силы рывок наверх...

Вечером отец сказал:

— Вся школа сошла с ума. Читают твою статью и ругают директора за липовые проценты успеваемости. Никита, я горжусь тобой, сын! — и вдруг пригорюнился.— Я статью не читал. Дай мне газету...

В моем доме не выписывали ни одной газеты, ни одного журнала — копили деньги...

Эта поездка в Москву, еще в пору моей работы в Сибирске, сыграла важнейшую роль в получении мной должности литсотрудника отдела промышленности «Зари» взамен такого престижного собкорства в Сибирске. Примут меня как хорошо знакомого, своего, только временно отсутствовавшего в редакции газеты «Заря», у входа в здание которой — львы на шарах...

Глава шестая

I

В середине ноября произошло маленькое, незначительное на любой взгляд событие, свидетелем которого Никита Ваганов стал тоже совершенно случайно, так что никто из окружающих Никиту Ваганова людей этого крохотного происшествия не заметит, не обратит внимания на перемену, произошедшую в самом Никите Ваганове, да окружающие и не должны были ничего заметить — таким мизерным

был случай. Литературный сотрудник отдела партийной жизни Василий Семенович Леванов, проходя мимо почтамта, поскользнулся на ледяном тополевом листе, упасть не упал, но как-то так насильственно изогнулся, что пришел в редакцию бледный и потный. Встреченному в коридоре Никите Ваганову Леванов сказал, что у него резкие боли в левой части не то живота, не то желудка; он был весь скукоженный, тусклоглазый, пергаментный — лицо и руки. Никита Ваганов посоветовал немедленно пойти в поликлинику, на что Леванов ответил:

— Пожалуй, придется пойти.

Ровно за три дня до этого разговора Никита Ваганов, рассерженный очередной выходкой мистера Левэна, вдруг подумал: «Ни дна тебе, ни покрышки! Впрочем, такие не умирают!», то есть мысленно пожелал Василию Леванову смерти, физического ухода из жизни, чего, пожалуй, не желал еще ни одному из своих врагов. И вот перед ним стоял такой Василий Леванов, что хоть в гроб клади,— испарина покрывала его длинный и покатый лоб, глаза были рыбьими, и Никита Ваганов ни с того ни с сего опять подумал: «А вдруг это серьезно?» ...Впоследствии сам Никита Ваганов посереет и покроется испариной, когда очередное исследование покажет черт знает что. И тоже подумает: «А вдруг это серьезно?» Что касается мистера Левэна, то он, весь перекособочившись, держась рукой за живот, побрел в поликлинику, провожаемый пристальным взглядом Никиты Ваганова.

На улице было все, что полагается поздней осени: мороженые листья, влажный холод, беспроглядное небо, и черт, и дьявол, и последняя музыка в закрывающемся парке культуры. Листья хрустели и лопались под теплыми ботинками Никиты Ваганова, когда он шел по улице весь в осенней сквозной лености, расслабленности. Дескать, осень, пропажа, черны небо и река Сомь, стрекочут по-зимнему сороки, а он, Никита Ваганов, на обед съел две порции холодца. Он не сразу заметил, что его догнал Мазгарев. Пройдя метров сто в молчании, тот сказал:

— У Леванова до невозможности запущенный рак поджелудочной железы.

Никита Ваганов не охнул, не вздрогнул, так как ему показалось, что он давно знает о раке поджелудочной железы у Леванова: «Вот накаркал! И сам послал его в больницу!» — хотя вот уж в этом последнем ничего криминального не было. Затем Никита Ваганов заметил, как изменилась освещенность улицы, точно зашло за тучку солнце, но ведь никакого солнца не было. «Вот накаркал!» Заболел живот, острая боль почувствовалась именно в том месте, за которое держался Леванов покрытыми испариной руками, и все тускнел и тускнел дневной осенний свет. ...Подобное произойдет с Никитой Вагановым, когда он узнает о смертельно опасном результате исследований. Сходство судеб, братство, отъединенность от всего здорового человечества — это предчувствует сейчас Никита Ваганов, умеющий быть оракулом.

«Вот накаркал!»

Три месяца будет умирать Василий Леванов, три месяца будет вместе с ним умирать и Никита Ваганов, но этого никто не заметит. Три месяца умирания Леванова на судьбу Никиты Ваганова наложат яркую печать, хотя опять же никто, даже жена Ника, не заметит никаких перемен в муже, буквально никаких перемен...

Никита Ваганов сказал:

— Рак поджелудочной железы?! Это же чертовские боли. Ах, как не повезло Леванову!

...Много лет спустя он тоже употребит слова «не повезло» по отношению к самому себе, в душе-то понимая, что ни о каком «везении» или «невезении» речи быть не может. Смертельная болезнь, будет считать Никита Ваганов, предписывается человеку судом высших двенадцати присяжных, выдается человеку Высшим Разумом, все знающим о человеке и все о нем понимающим. «Нет,— будет думать Никита Ваганов,— дело не в везении, а в искуплении, в расплате, в расчете с этой мелкотравчатой гражданкой — жизнью, если хотите, дамой неизобретательной, неаппетитной, и расставаться с нею не такое уж горькое бедствие»...

...Нужно иметь в виду — и это в защиту Никиты Ваганова,— что все три месяца умирания Леванова сам Никита Ваганов будет жить как во сне, как бы в нереальном мире потусторонности, а его жена Ника будет считать, что у мужа обыкновенное для зимы состояние сплина, меланхолии, легкой депрессии; мысленно умирая вместе с Василием Левановым, специальный корреспондент «Знамени» Никита Ваганов неожиданно для самого себя займется философией, состоящей из смеси древневосточной и самой современной философии, основанной и на достижениях физики, то и дело натыкающейся на Высший Разум...

— Ах, как не повезло Леванову! — повторил Никита Ваганов.— Как ему не повезло!

Когда Василий Леванов умер, на его похороны Никита Ваганов вместе со всеми не пошел; он вообще никуда в этот день не ходил — лежал в доме тестя на маленькой кушетке, неотрывно глядел в потолок и думал, думал, думал. В далеком далеке своих лет Никита Ваганов предвидел смерть, смерть неожиданную: не от старости и не от усталости, а скоропостижную смерть среди преуспевания и полного благоденствия — так Высший Разум одаривает лучших. Никита Ваганов думал и о другом: для чего живем, для чего, собственно, суетимся? Кто знает, кто знает! Бросить все, жить и просто наслаждаться каждым днем, не заглядывая в будущее — близкое или далекое.

...В случае с Никитой Вагановым — под напором его воли — смерть отступит немного, позволит вчерне разобраться с земными делами, подвести итоги и... тогда уж умереть!.. Василия Леванова смерть не пощадила: пришла как тать ночной, подкралась карманником и тихонечко извлекла все, воровка! Он и опомниться не успел, как оказался в «деревянном костюме». «Жить не хочется,— думал Никита Ваганов.— Послать все к чертовой матери, ухнуть в себя из охотничьего ружья Габриэля Матвеевича — вот и все взаиморасчеты! И не надо будет ни с кем сражаться, тщиться совершить невозможное. И на что она мне нужна, эта самая Москва? Ой, нет! Без нее, действительно, застрелюсь к едрене фене!» Короче, надо было кончать с лежанием на узкой кушетке — жить, бороться, функционировать,— но не хотелось, ох как не хотелось! Надевать брюки и рубашку, натягивать тесные ботинки, новые и оттого тоже тесные носки; он всегда тщательно одевался, когда предстояло трудное, нежеланное, тягостное. Например, после самой незначительной и краткосрочной болезни Никита Ваганов в редакцию являлся изысканнейшим франтом. Вот и сегодня он выбрал самое лучшее, модное, не забывая, что сейчас хоронят Василия Семеновича Леванова. И он бы ничего не переменил в одежде, если бы ему сказали, что не годится выглядеть франтом в такой день,— пошатнуть Никиту Ваганова было невозможно. Он так и подумал: «Умру — успокоюсь, но не скоро, товарищи,

не скоро!» Когда Никита Ваганов пришел на кладбище, могила была еще черной и свежей, цветов положили немного, и это хорошо — надо доверять самой земле. Он сел на заснеженный пенек неподалеку от могилы, ссутулился, притих, нарядный и элегантный. В таком виде ему хотелось почтить память самого нелепого человека на земле. Иметь любовь, иметь перспективу стать спецкором «Знамени», быть здоровым до цветения, энергичным до кипучести, работящим до фанатизма и — умереть, исчезнуть, уйти в страну, где тишь и благодать?! Зачем? Почему? За какие такие грехи, Васька Леванов?

Подошел сторож, поклонился, Никита Ваганов выдал ему рубль:

— Выпей за раба божьего Ваську.

— Выпью!

Выдав сторожу рубль, Никита Ваганов мысленно попросил старика выпить и за свою грешную душу, авось, что-нибудь скостится, простится, например, его предательство... «Я бы и три рубля дал!»

С этой минуты и на много недель вперед Никита Ваганов, что бы с ним ни происходило — писал ли, читал, беседовал, время от времени станет переключаться на думы о Василии Леванове, пораженном раком, обреченном стопроцентно на мучительную смерть. «Суета сует и всяческая суета!» — однажды наконец мелькнет в его большой голове, и мысль о Леванове теперь будет мимолетной, поверхностной, скорее всего умозрительной.

А сам уже представлял, как в недалеком теперь будущем войдет хозяином в странный кабинет Егора Тимошина, закажет по особому тарифу «межгород» на Москву, уверенным баском осведомится, почему задерживается с публикацией очерк, принятый с ходу, но вот — безобразие! — лежащий в секретариате... Образ бледного, в горячей испарине, серого, как асфальт, Василия Леванова вновь стоял перед глазами Никиты Ваганова, и уже было известно, что впереди нескончаемая бессонная ночь, такая же, какая была перед тем, как Никита Ваганов решился на расследование дела с аферой по утопу древесины. Нелегко даются Ваганову все его решения, предприятия, сложные по сути и внешне простые дела и делишки. Это только кажется с посторонней, наблюдательной точки зрения, что Никита Ваганов катится по жизни легко, точно колобок из сказки...

И была бессонная ночь, длинная, как третья четверть в средней школе, когда все учишься и учишься, а конца этой четверти не предвидится.

Что рассказывать о бессоннице? Бессонница — это бессонница, у каждого своя и у всех одинаково страшная: бессонница, когда люди, события, предметы плоски и линейны, как их тени...

Так и не уснул в эту ночь Никита Ваганов...

II

Зима созрела, теплая и снежная зима, с метелями и трехсуточными снегопадами — колхозные агрономы радовались обильному снегу и тому, что он выпал на сырую землю: ждали хороший урожай; речники и сплавщики радовались грядущему многоводью; простые люди шалели от снега, лыж, коньков, снежинок, похожих только на снежинки, скрипа снега под троллейбусными колесами. Хорошая жила зима, что говорить, преотличная, только не для Никиты Ваганова, который зимами впадал в легкий сплин и меланхолию, но на этот раз он не смог допустить ни меланхолии, ни сплина: начали происходить события, и преважнейшие. Егор Тимошин опубликовал один из своих обычных «исторических» очерков — очерк «Династия» о потомственных речниках, проживающих лет сто в Моряковском затоне, где зимовали пароходы и катера. Все в очерке было хорошо и правильно,

деды и отцы, нарисованные с большой изобразительной силой, дети изображены похуже, но тоже неплохо, а вот внуки... Раздумывая впоследствии о судьбе Егора Тимошина, об истории его падения, Никита Ваганов будет благодарить бога за то, что Егор Тимошин написал очерк «Династия». Конечно, Никита Ваганов уже сделал много шагов, приближающих его к газете «Заря», но последней точки он не поставил. Последнюю точку поставил сам Егор Тимошин очерком «Династия». Был пятый час, когда Никиту Ваганова срочно призвал к себе редактор Кузичев и мрачно сказал:

— Читали очерк о Моряковке? — И, получив подтверждение, продолжал: — Случилась огромная неприятность!

Через пять минут выяснилось, что последний член династии речников Тверских, внук, Герман Тверских, устроил грандиозный дебош во Дворце культуры ровно за месяц до появления очерка, который долго пролежал в секретариате «Зари», был арестован и теперь подпадал под выездную сессию суда, тогда как в очерке «Династия» о Германе было написано целых два абзаца — панегирических.

Понятно, что речное начальство написало в «Зарю», приложив к письму и копию предварительного обвинения. Случай, конечно, из ряда вон выходящий, но кто мог предполагать... Впрочем, надо уметь предвидеть такие штучки-дрючки; ничего подобного в журналистской практике Никиты Ваганова произойти бы не могло: узнав, что очерк идет, надо было непременно позвонить в Моряковку, чего Егор Тимошин не сделал — сидел, наверное, над романом о покорении Сибири.

Егор Тимошин не знал, что произошло в Моряковском затоне, когда к нему в кабинет вошел Никита Ваганов. Егор Тимошин кособоко сидел за письменным столом, вставив в правый глаз сильную лупу, читал коричневый от старости документ. Он поднял глаза на Никиту Ваганова:

— Садись. Чего торчишь, ровно чужой!

Вот и по складу речи можно было понять, что живет Егор Тимошин в древнем прошлом, тогда как надо бы жить сегодня. Никита Ваганов сердито сказал:

— Читаешь? Почитываешь? А Германа Тверских будут судить.

— Вот как! А за что?

— Разгромил Дворец культуры, избил девушку.

На окна тимошинского кабинета налип снег, снег лежал — как виделось через окно — всюду и везде, и от снега было ярко в кабинете Егора Тимошина, и Никита Ваганов увидел, какое у него бледное, усталое лицо — лицо кабинетного затворника, ученого или писателя.

Медленно доходила до Егора Тимошина весть о Моряковской истории, пробивалась эта весть через древний документ, четырехвековое прошлое, через российскую историю, загадочную и смутную. Минута, наверное, понадобилась Егору Тимошину для того, чтобы ухватить за кончик мысль о некоем непорядке в Моряковском затоне, где отстаиваются пароходы. Он спросил:

— Так что Герман Тверских?

— Разгромил Дворец культуры, избил девушку. Привлекается!

— Вот как? Любопытно! — И последовал вопрос, от которого Никита Ваганов опешил: — А зачем он это сделал?

И на этот раз Никита Ваганов оправдал Егора Тимошина: подумал по-доброму, что не может человек быть житейски умным, если живет только и только в прошлом. Ведь основатель династии Тверских, его сын и сын сына, в помыслах Тимошина не могли устроить скандал, а внук, то есть правнук Герман, для корреспондента «Зари» был такой же условно-исторической фигурой, как и основатель династии Герман Первый. Однако и оправдать полностью Егора Тимошина Никита Ваганов не мог и не хотел.

— Проснись, Егор! — вскричал Никита Ваганов.— Проснись, чудовище! Начнется вселенский хай и всеобщий шмон. Тебя схарчат, как бутерброд.

— Ну, что ты такое говоришь, Никита! Какой хай?

— Вселенский, черт бы тебя побрал! Ты что, не знал, как этот Герман закладывает за воротник, что он уже имел приводы? Где же твоя пресловутая система фактов и фактиков?

— Не кричи, Никита, у меня второй день болит голова. Ну, и о чем ты кричишь?

— О тебе, изверг! Хочешь полететь вверх тормашками? Без выходного пособия?

— Не остри, пожалуйста, Никита. У тебя это редко получается хорошо. Знаешь, лучше промолчать, чем плоско сострить.

Никита Ваганов ушел от Егора Тимошина, лишь слегка его растревожив и сконцентрировав внимание на происшествии в Моряковском затоне, а что касается коллектива газеты «Знамя», то он бурлил, как всклокоченное море Айвазовского, но не было и лучика солнечной надежды на избавление, как это делал знаменитый художник на самом мрачном полотне,— откуда-то пробивался этот тонюсенький солнечный луч.

Никита Ваганов вернулся в свой кабинет — сидеть и думать, думать и сидеть. «Вот оно, приближается! — думал он о газете «Заря» и при этом никакой ошеломительной радости не испытывал.—Сбывается мечта идиота!» Где-то неподалеку от него, всего в пяти километрах, лежал под тяжелыми сибирскими глинами Василий Леванов, когда-то потребовавший: «Откажись от спецкорства в «Знамени» в мою пользу!» Мог бы теперь стать спецкором областной газеты Василий Леванов, занял бы этот пост, коли Ваганов уходит в «Зарю», а Егор Тимошин... «Суета сует и всяческая суета!» Нет ли здесь предопределенности, заданности? Поэтому, наверное, самой малой радости не испытывал Никита Ваганов при мысли, что сделается собкором «Зари», хотя именно для этого предал Егора Тимошина, тестя Габриэля Матвеевича, жену Нику, весь белый свет за тридцать серебреников! И если бы не ностальгия, если бы не тоска по белокаменной...

— Дела-а-а-а-а! — вслух протянул он.— Умер Вася-то! Эх!

III

В своем рабочем кабинете Никита Ваганов — в который уже раз! — сел за стол, замер, затаился, исчез. Трудно вспомнить, как долго сидел он, как длинно и мучительно размышлял, но кончилось дело обычным Вагановским излечением: начал работать. Еще раз вздохнув, он вынул из стола записную книжку, полистав, остановился на очерке для газеты «Заря» о шофере такси Шумакове, шофере, не берущем чаевые, вежливом, честном, отзывчивом, таком шофере, в существовании которого усомнится читающая страна, но он таким и был, Виктор Шумаков. Десяти минут хватило Никите Ваганову, чтобы забыть обо всем на белом свете, добром и гадком, легком и трудном. Эх, как славно и чудесно стекали слова с кончика ручки, как они выстраивались во фразы, как этажились абзацами! Работающий, пишущий Никита Ваганов — это зрелище, это надо видеть, это можно потом рассказывать возле камелька потомкам. И никто не может осудить Нелли Озерову, если, войдя в кабинет Никиты Ваганова, бесшумно проникнув в него, она так и застыла изваянием, зачарованная этой картиной. Нелли Озерова сама не умела писать, но зато знала толк в работающих мужчинах, и наблюдала за Никитой Вагановым с немым восторгом, недышащим восхищением, яркой и нескрываемой любовью, любовью на всю свою долгую жизнь. Может быть, минут десять Нелли Озерова любовалась работающим Никитой Вагановым, пока он наконец не почувствовал ее присутствия — поднял голову и рассеянно улыбнулся:

— Ах, это ты, Нелька! Здорово, хорошая моя! Соскучился!

Это был период, когда они встречались реже обычного, с крайними предосторожностями, в глубочайшей тайне, так как Никита Ваганов поклялся жене порвать раз и навсегда с Нелли Озеровой.

Она сказала:

— Соскучился? Не то слово! Я дурнею и дурею без тебя, Никита.

У нее, наслаждавшейся видом умеющего работать мужчины, было — откуда это взялось? — лицо верующей: влажные от волнения глаза, нежно вздрагивающие губы, лицо матовое, фарфоровое от бледности. Она продолжала:

— Если бы ты видел себя со стороны работающим, Никита! Ах, если бы ты это мог видеть!

Никита Ваганов жадно схватил Нелли. Он тоже сейчас никого и ничего не боялся — любил и любил эту маленькую женщину.

— Нелька ты моя, Нелька, чертовка! Пропадай моя телега — все четыре колеса, но сегодня вечером...— Он двумя руками приподнял ее лицо.— Ты не знаешь, Нелька, где мы сегодня будем спать с тобой?

Нелли Озерова сказала:

— Знаю! На одной из хавир Боба Гришкова. Он потворствует моей любви... Красноармейская, шестнадцать, квартира семь. Обстановка на грани роскоши: поролон и кафель в ванной. Дано на двое суток — субботу и воскресенье.

— Даешь субботу и воскресенье, Нелька! Ура!

На этот раз она не позволила ни обнять, ни поцеловать себя, а, наоборот, откинувшись как можно дальше, отстранившись, вдруг мрачно спросила:

— Скажи, Никита, есть на земле люди, которых ты не обманываешь? Хоть один человек? Не смейся, я тебя серьезно спрашиваю!

Он, продолжая смеяться, ответил:

— Такой человек есть. Его зовут Никитой Борисовичем Вагановым.

Они попались, то есть были пойманы с поличным сразу, этим же вечером. В квартиру позвонили, они удивленно воззрились друг на друга, затем Никита Ваганов прошипел: «Не отзываться!» И они не отзывались, но квартира была расположена на первом этаже, какими бы густыми ни были портьеры, две тени с улицы были замечены и узнаны. Это проделала домработница Габриэля Матвеевича — славная, впрочем, женщина, только истерикой Ники сподвигнутая на мерзкое дело: она пошла по следу якобы отбывшего в трехдневную командировку Никиты Ваганова; домработница узнала его смутную тень на оконной портьере, как и тень маленькой женщины, которая могла принадлежать только и только Нелли Озеровой. Расплата произойдет в понедельник, впереди еще ночь с пятницы на субботу, да суббота с воскресеньем полностью. Никита Ваганов и Нелли Озерова разговаривали, лежа в некотором отдалении друг от друга, чтобы не было жарко.

Глядя в потолок, Нелли Озерова сказала:

— Хоть ты и обманщик, Никита, я восторгаюсь тобою. Ты можешь через год-другой стать сотрудником «Зари»! И — здравствуй, Москва, здравствуй, белокаменная!— Ей было жарко, она всегда раскидывалась, раскрывалась.— Ой, как я мечтаю о Москве, как я о ней мечтаю! Вижу, как иду по Петровке в Пассаж покупать для чего-то кружева. А толпа бурлит, бурлит, бурлит.

Он не упрекнул ее в пошлости, в этом «бурлит, бурлит, бурлит»,

он сам видел бурлящую Петровку, сам следовал в Пассаж бог знает зачем.

Она все знала о нем, не пропускала пустяшного беспокойства, ни маленькой песчинки не пропускала.

Никита Ваганов сказал:

— Этот тихий, этот Егор Тимошин, относится к стану камикадзе, крошка. Короче, он уйдет, не охнув... Вот что противно! Я с детьми не воюю. Вот что гадко! Будь он настоящим противником...— И вдруг закусил губу, сделал паузу.— Васька-то Леванов помер! Вот это был противник — загляденье! Будь он на месте Егора, эх, о чем бы тогда могла идти речь, крошка!

А Нелли Озерова все не унималась:

— Егор Тимошин пишет исторический роман. Напишет и станет писателем. Вот и пускай, вот и пускай! Зачем же заедать чужие жизни, занимать место, по праву принадлежащее другому? Несправедливо это, мой родной, несправедливо.

Как эти речи отличались от других речей! Буквально три дня назад родная жена Ника в теплой и широкой постели говорила мужу Никите Ваганову: «Как тебе не стыдно посягать на место многодетного человека? Как у тебя может только возникнуть мысль о месте Егора Тимошина? Неужели, неужели ты настолько циничный карьерист? Боже, боже мой!» И потом чуть не до утра тихо и медленно плакала в огромную подушку, вызывая у мужа ярое желание надавать ей пощечин, но нужно сказать, что это были ПРЕДПОСЛЕДНИЕ слезы Ники по карьеристу-мужу, что теперь, уже скоро, она превратится в домашнюю клуху, поощряющую в муже все, что в нем наличествует. И главную роль в этом сыграет подглядывание домработницы.

Нелли Озерова жарко говорила:

— Милый мой, все хорошо, все будет хорошо... Разве можно допускать такие проколы, как Егор Тимошин в очерке «Династия»?..

— Молчи!

— Зря ты его защищаешь, зря! Напишет роман, станет писателем, богатым, известным человеком. Вот и пусть, мой родной, вот и пусть! Каждому — свое, как ты часто говоришь!..

Две ночные кукушки куковали в постели Никиты Ваганова, куковали противоположное. Он слушал Нелли Озерову, а думал о Василии Семеновиче Леванове, как он умирал, и знал, что умрет. Сейчас он видел пергаментное лицо Василия Леванова, рясной пот на этом лице, глаза затравленной собаки, и затосковал бы окончательно, если бы Нелли Озерова, умная Нелька, не спохватилась:

— Ты просто нужен самой Москве, ты ей самой нужен. Разве не говорят уже в «Заре», что ты прекрасный работник?

— Говорят, но куда торопиться?

— В Москву! Вот еще, черт побери, вопросики!

Он вдумчиво и наставительно сказал:

— Не надо торопить жизнь, она сама нынче тороплива.

— А лежач камень?

— Ну, я похож на лежач камень, как баран на муху. Болтаешь!

— Вовсе нет: разговариваю с любимым...

Он сказал в потолок:

— А я не знаю, что произошло с очерком Егора «Династия». Я его вообще пропустил...

В воскресенье вечером состоялся памятный для Никиты Ваганова разговор, завершившийся бессонной преферансной ночью. Он сдержанно сказал Бобу Гришкову:

— Моя порядочность — моя порядочность! Прошу не вмешиваться в мою систему порядочности.— Потом, занизив голос, пожаловался: — Боб, я гибну без Москвы. Ночами только и делаю, что брожу по московским улицам, а просыпаюсь весь в поту: «Я до сих пор в этом Сибирске?» Попробуй поживи вот таково, Бобище, потом будешь трепаться о порядочности... Понимаешь, мой город!

Боб все понимал, но, по-прежнему недовольно фыркая, разглядывал собственную шариковую ручку. Он был добрым человеком, способным на жалость и к товарищу, и к уличной кошке, и чувствовал, что Никита Ваганов бездомен, живет на биваке, несчастлив, одинок в городе, готов запродать душу черту, лишь бы вернуться на улицу Горького. Сам Боб Гришков был счастливым человеком и хотел, чтобы все были счастливыми. Он мрачно сказал:

— А, черт с тобой! Живи, как хочешь! Пусть мама тебя рожает заново, а я — пас на пяти взятках.

— Боб, ты играешь в преферанс?

— Но как, идиотище! Меня научил играть папахен, когда мне не было и десяти. Я карты насквозь вижу.

— Сыграем, Боб?

— Ты мне не партнер! Слушай, вали отседова, пока цел, пока я добрый...

Он знал два иностранных языка, был образованным человеком, при желании мог бы достичь сияющих вершин, но так и будет доживать информатором газеты «Знамя», ну и черт с ним, в самом-то деле. Никита Ваганов не нянька — не тот человек. Никита Ваганов сказал:

— Я сматываюсь, Боб, но ты смотри...

— Чего еще смотри?

— Смотри, не попадайся мне за преферансным столом!

— Ах, вот как, ваше идиотическое степенство. Сегодня же играем...

И произошло невозможное: Никита Ваганов не был еще назначен собкором «Зари», что-то проверяли в его блестящих анкетах, не было вообще известно, что победит его кандидатура, ничего еще не было, в сущности, известно, но они играли в преферанс, играли всю ночь и еще наступившие полдня. Это была последняя игра в Сибирске, сыгранная Никитой Вагановым...

В понедельник — день тяжелый — домработница Астанговых не пустила Никиту Ваганова в дом его тестя, не пустила дальше порога, возле которого стояли протертые от пыли его чемоданы и отдельные вещи. Домработница сказала:

— Просили больше не приходить.

Никита Ваганов улыбнулся, пожал плечами.

— А Габриэль Матвеевич знает?

— Они не знают... А эта просили больше не приходить.

Глупее положения нельзя было придумать, нелепее фигуры, чем теперешний Никита Ваганов, белый свет, вероятно, не видывал. «Ах, как это замечательно!» Он забавно покачал головой, подмигнул домработнице и поступил чисто по-вагановски: оттеснив домработницу, подошел к телефонному аппарату, что висел в прихожей, набрал номер Габриэля Матвеевича:

— Здравствуйте! Это Никита... Не можете срочно, немедленно подослать машину к нашему дому?

Здание комбината «Сибирсклес» располагалось на окраине города, в сосновом бору; именно Габриэль Матвеевич Астангов настоял, чтобы здание комбината находилось в лесу для проведения некоторых экспериментов, например, лесоразведения или унифицирования лесозаготовительной техники.

В кабинет тестя Никита Ваганов вошел незамедлительно, сел на самое почетное место, громко, решительно сказал:

— Ника меня выставила из дома, Габриэль Матвеевич. Выставила безо всякой на то причины, выбросила, как кутенка. Вышвырнула со всеми вещами и приказала не пускать меня дальше порога. А я ни в чем не виноват!

Темно-синий костюм был на несчастном Габриэле Матвеевиче Астангове, смотрящем сейчас на зятя затравленными глазами. Одна беда за другой валились на его седую голову, одна беда за другой, и теперь перед ним сидел зять, которого родная дочь, на потеху всему городу, выставила из дома. Развод! Пугающий Габриэля Матвеевича развод в лице Ваганова сидел в удобном кресле, якобы сдерживаясь, говорил:

— Так дело дальше продолжаться не может, Габриэль Матвеевич. Я женился на Нике, женился навсегда и всерьез, собираюсь прожить с Никой всю жизнь и проживу, если она перестанет шпионить за мной, подозревать, ревновать, уличать... Вы прожили с Софьей Ибрагимовной сорок лет, так неужели она всякое лыко ставила вам в строку? — Никита Ваганов даже жестикулировал.— Я ни в чем не подозреваю Нику, хотя вот она-то продолжает перезваниваться и на улицах встречаться со своим Курчатовым.

Габриэль Матвеевич застонал:

— Каким еще Курчатовым? О боже, какой Курчатов?

— Капитан Курчатов... Они познакомились, когда он был курсантом артиллерийского училища, и вот до сих пор крутят легкий романчик.— Никита Ваганов охотно улыбнулся. — Я же не шпионю за ними. Я свирепо обрываю рассказы сплетников о том, как они прогуливаются по парку... А! О чем мы говорим? Жизнь есть жизнь, Габриэль Матвеевич, и если бы я даже был виновным, надо смотреть вперед... Будучи беременной, Ника...

— Что?! Ника беременна?

— А как же, как же, дорогой тестюшка! Позвольте вам стать дедом! Сына назовем Костей, дочь — Валентиной... А чего вы так удивляетесь, Габриэль Матвеевич? Мы с Никой здоровые люди. И спим, как вы, наверное, догадываетесь, вместе...

Габриэль Матвеевич Астангов глупо и счастливо улыбнулся. Имея двух дочерей, он грезил внуками, жил внуками, наверное, для будущих внуков, для их благоденствия совершил аферу с утопом древесины, вляпался чуть не в уголовное дело для того, чтобы по большой квартире топали ноги внучат — лучших представителей горячей астанговской крови. Габриэль Матвеевич опять застонал:

— Почему Костя и Валя? Разве нет других имен?

Он бы назвал внука в честь своего отца Матвеем или Ибрагимом в честь отца любимой жены, он бы назвал внучку только и только Софьей, но вот на его пути встал Никита Ваганов со своими Костями и Валями...

— Почему Костя и Валя? Это даже странно — Костя и Валя! Миллионы и миллионы этих — Костя и Валя. Ай, как плохо, дорогой мой Никита, вай, как плохо! — вскричал он, забыв о чистоте русского языка.— Почему Костя? Почему Валя?

— Потому что потому! — защищался, смеясь, Никита Ваганов.— Кто делает детей, тот их и называет. А есть люди с плохой памятью — их я не уважаю!

— У кого плохая память, у кого?

— У вас, Габриэль Матвеевич! Как вы могли забыть о своем родном брате Косте, который распрекрасно живет в городе Баку?

— Ва-вай! Неужели вы, Никита, вспомнили о моем хорошем брате? А Валя? А Валя?

— Валя как Валя! Моя первая школьная любовь... Надо же что-то оставить и на долю Никиты Ваганова. Руки у вас очень загребущие, Габриэль Матвеевич.— Никита Ваганов решительно поднялся.— Что прикажете делать? Возвращаться на холостяцкую квартиру?

Ровно через пять минут на «Волге» главного инженера комбината «Сибирсклес» они катили в двадцать шестую среднюю школу, где преподавала замужняя дочь Габриэля Матвеевича Астангова Вероника, прозванная дома по-детски игриво Никой. Ника преподавала историю, нагружена она была здорово, по двадцать шесть часов в неделю, но отца и мужа встретила во время большой перемены — так они ловко подкатили к прекрасному зданию школы, стоящей одиноко на пустыре с чахлыми саженцами берез и тополей. Она до смертыньки испугалась:

— Папа, папа, что с мамой? Что с мамой?

Габриэль Матвеевич ответил:

— Мама в порядке, а вот что с тобой, дочь моя? Никита абсолютно ни в чем не виноват, абсолютно ни в чем не виноват. И почему ты от меня и от матери утаила?

Ника пошла вдоль пустыря, они — за Никой. Примерно в двухстах метрах от школьного здания она остановилась. Ника медленно проговорила:

— Рожать не буду! С Никитой больше жить не буду!

— Будешь, голубушка! — сказал восточный человек Габриэль Матвеевич Астангов.— Будешь жить с Никитой до самой смерти, как он того желает, и внука мне родишь, как он того желает...

— И не рожу, и не буду жить!

Диво как хороша была под лучами зимнего солнца жена Никиты Ваганова! Из иллюстраций к «Тысяче и одной ночи», с гравюр восточных мастеров миниатюры, бог знает, еще откуда, но красива была, чертовка, поразительно.

— Ты мне родишь красавца-внука!

— Не рожу! Сделаю аборт.

— Прокляну и отлучу! — глядя в землю и очень тихо сказал Габриэль Матвеевич.— Имя твое мы с матерью произносить не будем, лицо твое постараемся забыть...

Забавная картиночка! Стояла возле школы всем известная «Волга» главного инженера комбината «Сибирсклес», сам начальник комбината рядом с высокой женщиной и высоким мужчиной в очках рыл носком лакированной туфли снег и упорно повторял:

— Забудем, выкинем из сердца, отлучим, проклянем!

Никита Ваганов сдержанно помалкивал, точно все происходящее его совершенно не касалось, точно не его два чемодана и другие вещи валялись в прихожей. Он дал обет молчать, он понимал, что любое его слово вызовет вулканическое извержение, вселенский потоп и так далее.

— Папа, ты не знаешь, какое это чудовище — мой муж! Ах, если бы ты знал хоть пятую часть, ах, если бы это знал! — стараясь не кричать на виду у родной школы, отбивалась от отца Ника Ваганова.— Ты не все знаешь о партийном собрании, об этой Нелли Озеровой, о Егоре Тимошине. Ты ничего не знаешь, папа, ты ничего не знаешь, не знаешь, не знаешь!

Чего, чего, а вопить — даже негромко! — она умела, эта восточная женщина, даже более восточная, чем отец и мать, уродившись, как говорила теща Софья Ибрагимовна, в тетку Зульфию.

— Я не хочу жить с Никитой и не буду. И не хочу рожать, и не буду рожать тебе внука, папа, от этого подлеца и развратника! Папа, твои усилия тщетны, тщетны, тщетны!

Габриэль Матвеевич сказал:

— Вещи Никиты возвращаются на место, все становится на свои места. Если этого не произойдет, твой отец умрет лютой смертью. Лучше умереть, чем такой позор!

Ника Ваганова сникла, сломалась. В доме Габриэля Матвеевича Астангова верили честному слову, клятва чьей-нибудь жизнью была равна абсолютной истине, обещание умереть здесь могло быть выполненным — восточный все-таки дом. И воспротивься дочь — отец мог бы умереть: пустить пулю в лоб, сунуть голову в петлю, наконец, угаснуть от самовнушения — такой дом. Обещание умереть «лютой смертью» на Нику Ваганову подействовало так, как на костер — цистерна воды. Бессильно повисли руки, глаза потухли, уголки губ горестно опустились — нужно запомнить эту фигуру, именно такой, вскоре и навсегда, станет Ника Ваганова — замечательная жена и большой друг Никиты Ваганова, примирившаяся с Нелли Озеровой, с его карьерой и его преферансом, с его родителями, этими детьми, требующими материнского ухода. Бессильно повисшие руки, потухшие глаза, горестно опущенные уголки губ — вот в будущем Ника Ваганова, Вера Ваганова, Вероника Габриэльевна Ваганова. Она сказала:

— Хорошо, папа. Пусть будет по-твоему. Ты умнее и старше.

...Много лет спустя Никита Ваганов напишет публицистическую статью «Третий ребенок», в которой остро поставит вопрос о росте населения русской части страны, о редком третьем ребенке, и настрой этой громкой статьи он возьмет из воспоминаний о том, как отнеслись к аборту родители Ники,— это будут громовые раскаты, которые найдут отклик у миллионов читателей «Зари»...

— Хорошо, папа, я поступлю, как ты велишь!

V

В последних числах декабря Сибирский обком и редколлегия центральной газеты «Заря» решили удовлетворить просьбу Егора Егоровича Тимошина о переводе на работу спецкором областной газеты «Знамя» и принять согласие Никиты Борисовича Ваганова занять освободившуюся должность собкора «Зари» — таким образом, они просто менялись местами. Все произошло тихо и мирно только потому, что редактор «Знамени» Кузичев дал согласие: он понимал, что такой человек, как Никита Ваганов, в области долго не задержится.

Прежде чем зайти с благодарностью к редактору Кузичеву, Никита Ваганов как бы случайно забрел в промышленный отдел «Знамени», где все были на местах. Заведующий отделом Яков Борисович Неверов, так рьяно выступивший за Никиту Ваганова на партийном собрании, литсотрудники Борис Ганин и Нелли Озерова, за которую Никита Ваганов все еще писал очерки, а иногда и статьи. Его встретили радостно, и даже «уничтожитель начальства всех рангов» Борис Ганин приветственно полуулыбнулся: он считал Никиту Ваганова «почти начальством». Никита Ваганов сказал:

— Мы — литрабы, нам литру бы... Шато и кем полезны всем! Боря, не томи бровей! Нелли, вы прекрасны, как маков цвет. Яков Борисович, я вас изо всех силов уважаю! Робяты, нет ли закурить для некурящего?

Его угостила сигаретой «Пегас» Нелли Озерова, от сигареты пахло ее духами, значит, их последней постелью, и Никита Ваганов оживленно сообщил:

— Говорят, в Соми поймали китенка, весом пуд с четвертью. Сам не видел, но слышал от верного человека.

Фраза была кодовой: разговор о китенке переводился так: «Сегодня, в четыре часа». И без того красивая, Нелли Озерова зарделась, глаза — синие! — расширились, распахнулись, как форточки обворованного дома — лживые были глаза, подлые совершенно! Никита Ваганов ожесточенно подумал: «Вернусь домой, в Москву, выпишу Нельку, буду спать с нею, когда заблагорассудится!» Вслух он сказал:

— Это дельце провернул сам Егор. Видимо, роман о покорении Сибири близится к завершению... Я имею в виду наш с ним обмен.

Продолжала хорошеть на глазах Нелли Озерова. Тоже, наверное, видела себя на улицах столицы, тоже, наверное, проделывала путь на Новый Арбат, жадная и любящая Никиту Ваганова женщина. Яков Борисович Неверов осудительно и ласково покачал головой: «Разве это взрослые люди? Нет, это дети, и относиться к ним нужно как к детям! Это же понятно!» А вслух он сказал:

— Я нахожусь в детском саде, поверьте мне...

...Один из этого «детского сада», Никита Ваганов, предложил Егору Тимошину написать очерк о знаменитой династии речников, отлично зная, что младший из династии в подпитии способен не только устроить пьяную драку, но и вынуть из кармана самодельный стилет.

Читатель, наверное, помнит разговор Никиты Ваганова с Нелли Озеровой на конспиративной квартире об отказе от должности собкора «Зари»... Так оно и произойдет, скоро, очень скоро он откажется от собкорства в пользу незаметной должности литсотрудника, но литсотрудника в аппарате «Зари», и вытекающего из этого переезда в Москву...

1978—1979 гг.

Публикация Т. Липатовой

Юрий Перов

РИМСКИЙ ВОДОПРОВОД

РАССКАЗ

Исключительно для тех, кто не знает, что такое русская баня «по-черному», я опишу реально существующую баню, которая находится на границе Белоруссии и Брянской области.

Строил эту баню отец моего дальнего родственника, Владимира Павловича. Я его зову просто — Палыч, как и все, кроме совсем уж маленьких ребятишек, которые называют его дядя Палыч.

Отец Палыча строил эту баню не в том смысле, как, скажем, сейчас «строят» себе дачу или кооперативную квартиру, то есть оплачивают строительство, а именно строил, без всяких кавычек, рубил собственными руками и срубил на загляденье, потому что был известнейшим на всю округу мастером. Сам Палыч тоже неплохой плотник, хоть и не такой, как отец, потому что плотничает и столярничает он редко. А плотник без практического применения своего мастерства — это все равно что пианист без рояля.

Работает Палыч егерем в Чериковском заказнике. Его участок находится недалеко от родной деревни Добрянки, но каждый день он вынужден ездить за тридцать километров в Чериков, в контору заказника. Так что свободного времени у Палыча мало, и это его очень сбавляет как плотника.

Поставлена эта баня в конце огорода и вписана в угол ограды, как сторожевая башня. Она и напоминает башню крепостью своих стен.

Это невысокое строение с двухскатной драночной крышей. Вместо окон два крохотных отверстия, которые окнами назвать нельзя — несправедливо. Они больше похожи на летки в пчелином улье. Один такой леток расположен сбоку и довольно низко. Другой пробит в торце и под самым потолком. Первое, боковое отверстие застеклено и служит источником света. Второе, высокое, чаще всего бывает заткнуто тряпицей и служит для вентиляции.

Дверь в баню добротная и низкая. Входить приходится нагнувшись. Прежде чем привыкнешь к ее высоте, набьешь себе не одну шишку на лоб. Но занижена дверь не произвольно, а из технологических соображений.

Сразу же за дверью, открывающейся наружу, расположен тесный и темный предбанник с двумя короткими лавками по правую и левую сторону, как в купе. Над лавками набито несколько гвоздей, и на эти гвозди, прежде чем повесить одежду, Палыч накалывает газеты, чтобы одежда не испачкалась. Стены покрыты жирной сажей. Таково уж свойство, вернее недостаток, «курной» бани. Газеты стелятся и на лавки.

Предбанник, повторяю, крайне тесный. Существовать там можно только вдвоем. По одному на лавку.

Это обстоятельство меня очень удивляло и даже вызывало некоторые крамольные мыслишки относительно опыта народной архитектуры. Предположить, что такой маленький предбанник сделан из экономии, я не мог, так как не мог представить, что именно тут экономили. Место под баню? Нелепо. Вокруг бани предостаточно совершенно неиспользованной земли. Лес? Я уже говорил, что баня напоминает основательностью своих стен крепостную башню. Потом, совсем не скоро, я понял, что величина предбанника, как и высота двери, также технологически целесообразна.

Вы спросите, почему так много о бане, при чем здесь баня, когда в заголовке стоит «Римский водопровод», «сработанный еще рабами Рима», как сказал поэт.

Дело в том, что основные события этой забавной и поучительной истории произошли как раз в бане у Палыча. Больше того, баня и явилась завязкой этого сюжета, его, так сказать, возбудителем.

Итак, за первой дверью, ведущей в предбанник, находится другая дверь — в парную, которая уже открывается вовнутрь.

Справа, по той стене, где оконце застекленное, идет низкая широкая лавка, на ней мыльница с высохшим обмылком, металлическая кружка (подробнее о ней — позже), старый, истерзанный веник и керосиновая лампа без стекла. На стене, на толстых кованых крюках, висят две железные шайки.

Слева в переднем углу — каменка. На первый, приблизительный взгляд, это как бы грот из камней.

Пол набран из толстых досок. В том месте, где каменка, пола нет, она сложена прямо на земле. Конструкция каменки такова: из дикого камня, большей частью гранита, выложено три стены (четвертая, передняя отсутствует), на эти стены положено большое цельнометаллическое колесо от довоенной сеялки, а на это колесо сверху навалены булыжники поменьше, и уж на них установлена детская оцинкованная ванночка для воды.

За каменкой, по той же левой стене, идет поло́к, или, как Палыч его называет, «по́лка». Это довольно просторный помост, возвышающийся на метр от пола. На нем можно только лежать или сидеть. Стоять на нем нельзя, так как от полка до потолка — тот же метр.

Вот и все о бане.

Теперь о римском водопроводе.

В каждый мой приезд к Палычу происходит одно и то же, как по расписанию. Мы здороваемся, целуемся, как положено, потом я выкладываю городские гостинцы: лезвия, батарейки для приемника, кое-какие детали к мотоциклу, лампы к телевизору, «настоящую» селедку, конфеты и прочая, и прочая. Потом Палыч командует своей супруге Евдокии Тарасовне насчет застолья. Командует он в противоположном смысле, так как насчет гостеприимства погонять Евдокию Тарасовну не приходится. Команда Палыча носит предупреждающий, или, точнее, сдерживающий характер. Он напоминает ей, чтоб ничего тяжелого она не подавала. Обычно в этот момент я ему подмигиваю и спрашиваю:

— Затопил? — и поводу плечами, так как от одного этого слова у меня по спине пробегают крупные мурашки.

— Обязательно,— отвечает Палыч.— Пошли за водой, пока Дуня накрывает. Батраков для тебя здесь нет.

Мы берем четыре ведра, коромысло и идем к колодцу, который находится в соседнем проулке, метрах в семидесяти от дома.

Ворот я кручу с наслаждением. Очень приятная работа. Колодец неглубокий, около пяти метров, уставать не успеваешь. Красота!

Палыч умеет носить ведра на коромысле. Я пробовал, но у меня ничего не получается. Ведра в резонанс с шагами раскачиваются и через несколько метров обдают меня водой поочередно, то спереди, то сзади. К тому же я пережимаю коромыслом какую-то мышцу на плече, и она нестерпимо болит.

Таких ходок нам приходится делать четыре. Когда же мой гостевой статус несколько тускнеет от времени, то все заботы о бане автоматически перекладываются на меня, как на лицо более заинтересованное. Палыч и сам, конечно, любит попариться, но моя-то любовь горячее! Один — я хожу за водой восемь раз.

Как вы, наверное, догадываетесь, мы все ближе и ближе подбираемся к римскому водопроводу.

От избы до колодца, как я и говорил, метров семьдесят, и до бани еще столько же, а ведра плещутся, хоть ты плачь, и надоедают... Точнее этого слова я не знаю. Тяжесть ведер не так уж непомерна, чтобы выры-

вать руки из плеч, но уже около бани очень хочется эти ведра бросить. Одним словом, «надоедают». Тут не раз вспомнишь о водопроводе.

Все пространство бани разделено на две части по горизонтали. Верх — плотный, густой, молочно-белый, — это дым, и туда нельзя, туда невозможно, а снизу темно, багряно от огня, жарко, душисто от всего (дым, дерево, веник, вода, мочало, керосин, какая-то трава, мыло) и легко.

Входишь на корточках, держа ведро перед собой на вытянутых руках и откинувшись назад. Есть такое коленце в украинском гопаке. Ванночка верхней половиной погружена в дым, и чтобы перелить в нее воду из ведра, приходится распрямляться. Сунешься головой в дым, разболтаешь его, нарушишь ровную линию раздела, перельешь почти наугад воду и уже не по-гусиному, а лишь бы притолоку лбом не проломить, — одну руку вперед, летишь на улицу, и какое счастье — первый глоток воздуха!

Вообще-то положено наполнять ванночку до того, как растопишь каменку, но мне все кажется, что я сэкономлю время, если каменка уже будет топиться, пока хожу за водой.

И значит, о римском водопроводе. Все началось с лампочки... Я уже прожил у Палыча две недели и готовил баню сам. Дело было поздней осенью, под вечер. Моросил мелкий, холодный дождь. Было темно. На улице я ориентировался на окна домов, а зайдя за сараи Палыча в огород, терял все ориентиры. Керосиновая лампа, да и не лампа вовсе, а коптилка (стекло лопнуло еще несколько лет назад), ничего не освещала, дрова в каменке уже отсветили ярким пламенем и теперь багрово догорали. Крохотное окошко бани было неразличимо. Я не раз налетал на невидимые мокрые яблони. Чуть не упал, поскользнувшись на гнилых яблоках.

Палыч еще не вернулся из Черикова, и мне было решительно нечего делать после того, как я наносил воду. И тут меня осенила дерзкая идея.

Еще давно, в сарае, где Палыч держал свой мотоцикл, я приметил целую бухту синего двужильного провода. В том же сарае я без труда нашел новенький патрон, прикрутил к нему провод, воткнул два зачищенных конца в розетку, ввернул лампочку и протянул эту времянку по ветвям яблонь прямо к бане. Там я вынул маленькое, ничем не закрепленное окошечко, просунул лампочку, закрепил ее на гвозде в самом недосягаемом для брызг месте и вставил окошечко обратно. Я даже не забыл подмотать лишнего провода, чтоб его хватало до предбанника. Потом опрометью кинулся в сарайчик, где была розетка, и отключил лампочку.

Можете себе представить, с каким нетерпением я ждал Палыча.

Наконец Палыч приехал. Евдокия Тарасовна видела мою рационализаторскую деятельность и даже принимала некоторое участие и поэтому тоже поглядывала на мужа с затаенной хитростью и нетерпением. А он, как на грех, не торопился содрать с себя многочисленные одежды, ибо был упакован по случаю мерзейшей погоды, как капустная кочерыжка.

Наконец он разоблачился, и мне удалось послать его в баню определить — топить еще или уже хватит. Палыч поинтересовался насчет коптилки, достал из кармана мокрого плаща фонарик и ушел.

Мы с Евдокией Тарасовной, как диверсанты к адской машине, бросились в сарайчик к розетке. Евдокия Тарасовна осталась на улице и должна была подать сигнал.

— Включай! — на весь огород прошептала она, и я включил.

Из бани послышался какой-то грохот, вскрик и потом длинная, замысловатая брань. Как потом выяснилось, Палыч слишком резво отпрянул от вспыхнувшей лампочки и угодил затылком в дно висящей на стене шайки. Хорошо, что он был в шапке, а то было бы еще громче.

Впрочем, ожидаемого мною восторга лампочка не вызвала.

— А-а... — сказал Палыч, — какая разница... Свое хозяйство и впотьмах нашаришь...

Обычно я иду в баню намного раньше Палыча, но только с его особого на то разрешения. Он должен самолично проинспектировать состояние каменки. Все ли там прогорело. Не будет ли угару от оставшихся

угольков. Стоит ли их заливать или просто подцепить лопатой и вынести на улицу в ведро с водой. Какая-нибудь головешка, забившаяся в уголок, способна напрочь выесть глаза дымом и испортить все удовольствие. Это и есть основное неудобство курной бани. Но оно несопоставимо с ее достоинствами. В курной бане ни одна калория не пропадает втуне. Сам дым, прежде чем выползти на улицу в низкую дверь, стоит плотной завесой вверху и согревает помещение. Мне могут возразить, что, мол, в грамотно сложенной печке с многоколенным дымоходом дым работает с такой же теплоотдачей. Может быть, может быть. Но, согласитесь, построить такую печку несколько сложнее... К тому же как бы там ни было, а курная баня все-таки экономичнее бани «по-белому». Уж как и за счет чего это получается, я не знаю. А аромат? А тот факт, что курная баня служит еще и коптильней? Прекрасной коптильней, уверяю вас. Копченого окорока и колбасы вкуснее, чем у Палыча, я не едал.

Направляюсь я в баню первым оттого, что мои банные привычки противоречат привычкам Палыча. Я, например, парюсь до пяти раз. Между заходами в парную люблю посидеть в предбаннички и покайфовать.

Палыч не выдерживает моей «поддачи» и вынужден слегка проветрить баню, прежде чем париться.

Удивительно, насколько различный смысл мы с ним вкладываем в это слово. Для меня «париться» — это хорошенько прогреться, что называется до самых косточек, пропотеть и под конец взбодрить себя веничком.

Для Палыча попариться означает лечь на свою «пóлку», задрать ноги к потолку и до изнеможения исхлестать себя веником. Для него слово «париться» является синонимом слова «хлестаться». Для такой энергичной работы температура, естественно, требуется пониже...

Хлещется (парится) Палыч долго, но только один раз. Потом слезает с полки и тут же моется, сидя прямо на полу и поставив шайку промеж вытянутых жилистых ног. Потом сразу же одевается. Предбанник служит ему простой раздевалкой. Поэтому он и подгадывает к моему последнему заходу в парную, чтобы вместе попариться и помыться.

Так было и в тот день, когда я провел лампочку и когда в маленькой закопченной бане возник величественный образ римского водопровода.

Я забыл упомянуть, что тот день был отмечен еще одним моим (революционным по своей смелости) поступком.

Дело в том, что все манипуляции с водой — наливание в шайки кипятку, разбавление его холодной водой, поливание намыленной головы и т. д. — производились тяжелой, сделанной из артиллерийской гильзы латунной кружкой, которая, несмотря на свою солидную, как бы литую тяжесть, вмещала в себя не больше стакана жидкости. Зато обладала чудовищной теплопроводностью. Стоило этой кружкой прикоснуться к кипятку, она вся раскалялась, как мне казалось, докрасна. Я ронял ее, дул на пальцы и терпел насмешки Палыча.

Так вот, в тот день я эту кружку волевым решением заменил на вместительный эмалированный ковшик с длинной ручкой.

Палыч, не выказавший восторга по поводу лампочки, по поводу ковшика небрежно заметил:

— А мне и кружкой было удобно... У меня же пальчики не дамские...

— Ну хорошо, хорошо, — сказал я, окатывая его из ковшика, — но ведь ковшик удобнее?

— Мне все равно, что то, что это, — сказал Палыч.

Домывались мы молча. Потом я перевесил лампочку в предбанник и увидел, что Палыч принес алюминиевый бидончик, который и плавал теперь в ведре с холодной водой.

Палыч неспешно вытерся, натянул на распаренное красное тело голубую с начесом нижнюю рубаху и такие же кальсоны, повязал голову полотенцем, совершенно как бабы платком, и после этого откинулся, зашуршав пришпиленной к стене газетой и закрыв глаза.

— Бидончик-то достань, — сказал он.

Я вынул ледяной бидончик и приоткрыл крышку. В нос ударил медовый, неописуемый и несказанный запах.

— Ух ты, черт! — сказал я и припал губами к холодному краю.

— За кружкой сходи, — сказал Палыч, не открывая глаз. — Расчертыхался... В бане не ругаются.

Я сходил за кружкой, остудил ее в том же ведре, налил медовухи и почтительно протянул Палычу. Тот разлепил тяжелые веки, принял сосуд, отставив мизинчик, сложил губы трубочкой и вытянул медовуху одним долгим духом, сладострастно постанывая при этом.

— Глотку не застуди. — Палыч снова откинулся и закрыл глаза.

— И кружка пригодится, — сказал я, выпив свою порцию. — Пусть она так и остается в предбаннике для питья.

Палыч на эти слова тихонько вздохнул, не открывая глаз.

— Нет, — уперся я, — ты все-таки скажи, ведь удобнее ковшиком? Кружкой твоей черпаешь, черпаешь...

— Аж уронишь раза два... — ухмыльнулся Палыч.

— Ну хорошо! — вскричал я. — У тебя дубленая кожа и ты не чувствуешь температуры, вернее можешь ее терпеть. Но зачем терпеть? Зачем мириться с неудобством, когда для удобства достаточно лишь сменить посудину... или провести лампочку?

— Ну чего пристал? — улыбнулся Палыч. — Плесни-ка лучше медовушки. Специально для тебя ставил. А то ты и медовухи-то настоящей, наверное, не пробовал.

— Пробовал. В Суздале. Там не такая, конечно, но тоже ничего...

— Ничего, — передразнил меня Палыч. — Я все срезки с сот оставил. Как увижу, где они пергу отложили, я ту рамку в сторону. От перги весь запах... А чего ее в Суздале-то стали делать?

— Для туристов. Как русский национальный напиток.

— Это правильно. Медовуха и баня — это русские изобретения. Тут ничего не скажешь.

— Как и русский чай, — усмехнулся я, — завезенный в Россию из Китая при Иване Грозном как лечебная трава.

— Да ну? — сказал Палыч.

— Вот тебе и да ну... Еще в первом веке до нашей эры (вот сейчас будет про римский водопровод), в Помпеях, — продолжал я, нашаривая рукой кружку, висящую где-то над головой, — были бани, и назывались они термы. Между прочим, отапливались они горячим воздухом, который поступал от печей по керамическим трубам, проложенным под полом и за стенами. Были бассейны с холодной водой, бассейны с теплой, ванны, душ. Предбанники, облицованные мрамором и мозаикой, расписанные фресками, украшенные статуями и светильниками... — Я наконец нашарил кружку над головой и, наполнив ее медовухой, протянул Палычу. — И было это больше двух тысяч лет тому назад, дорогой ты мой, в Римской провинции... Ну все равно что в нашем райцентре. Скажем, в Черикове. А в самом Риме водопровод появился на двести лет раньше. А уж о банях я не говорю.

Палыч, кося из-за донышка кружки на меня глазом, тянул медовуху. Затем сам нагнулся к бидончику, налил и протянул мне. И в тот момент, когда я взялся за кружку, он, задержав посудину и глядя мне в глаза, спросил:

— А ты не врешь?

— Да ты что, Палыч? — возмутился я, вешая, вернее — утверждая, «прописывая» кружку на ее законном гвозде. — Все было! Все уже было. В Риме в некоторых районах еще действует тот древний водопровод. Он сделан из свинцовых труб, а свинцу, сам знаешь, ничего не делается.

Мы молчали. Правда, молчали по-разному. Палыч смотрел мимо меня задумчивым, остановившимся взглядом, а во мне вдруг вскипели реформаторские страсти. Различные революционные идеи вдруг затопили меня. Они прибывали, как прибывает молоко в груди кормящей матери, как прибывает вода в бурное половодье — неудержимо!

— Стыдно, Палыч! Ей-богу стыдно! Ты только подумай, в древнем Риме был водопровод, а мы для того, чтобы истопить баню, таскаем воду на себе за полкилометра.

— А водопровода-то и в Черикове нет, — ухмыльнулся Палыч и поправил на голове полотенце, повязанное платком. Он в этот момент был похож на хитрую, довольную старуху.

— Не в Черикове дело. Сколько ты воды в день потребляешь?

— Когда как, — сказал Палыч и поманил рукой кружку. — Летом одна норма, зимой — другая, а весной — третья. Баня не в счет.

— Поконкретнее, пожалуйста, — настойчиво попросил я.

— Можно и поконкретнее, — сказал Палыч, наливая себе. Я ждал, пока он выпьет, и смотрел, как голубое белье его темнеет под мышками и на груди и липнет к телу. Лампочка высветила то, что и днем было невозможно разглядеть: толстые кованые крючья над притолокой с обрывками прокопченных мохнатых веревок, на которых коптились когда-то окорока и колбасы.

— Конкретно... Летом скотина получает что? — спросил Палыч, утерев рукавом взопревший лоб. — Сочные корма. Потом она сама попьет в речке. Значит, летом на скотину воды идет меньше. А зимой другой прейскурант. А весной — огород. Рассаду высадил — поливай. Лучок, редиска — обязательно. Капуста поначалу воды много берет. Наносишься... Это тебе не в Риме, — неожиданно подмигнул мне Палыч.

Я даже опешил, настолько не к месту была его шутка.

— И все-таки, сколько ты потребляешь воды зимой? — не унимался я.

— Значит, утром четыре ведра скотине, потом ведра два-три на хозяйство, потом еще... Ведер до десяти.

— Это пять раз сходить, — подхватил я. — Считаем: один раз — пять минут, ну хорошо, три минуты. Стало быть, пятнадцать минут в день на круг. В год это, — грубо прикинул я, — девяносто часов. Если разделить на семь (длина рабочего дня), то получается тринадцать рабочих дней. Итак, тринадцать дней ты занимаешься монотонной и противной работой! Каково?! — вскричал я и торжествующе посмотрел на Палыча. Он сидел и моргал глазами.

— Сюда еще не входит баня, — спохватился я. — А для бани ты воду таскаешь примерно тридцать минут, стало быть, в год получается... — я на мгновение задумался, — получается двадцать пять часов.

— Ты еще посчитай, сколько я моюсь, — хитро прищурился Палыч, — сколько ем, сколько малую нужду справляю... Счетовод... — и прибавил крепкое словцо, словно гвоздь вбил, словно покончил со мной одним ударом.

Но не тут-то было...

— Я с тобой совершенно согласен, — иезуитски покорно согласился я. — Баня — это удовольствие, ее мы в расчет не берем. Не считаем еду, спанье и прочее, без чего человек обойтись не может. Посчитаем лишь ту дурную работу, которой ты мог избежать, если б дал себе труд пошевелить мозгами. Итак, за десять лет ты потратил на это дело 130 полных рабочих дней. Сколько тебе сейчас? Пятьдесят девять. Ходишь ты за водой лет с девяти. Так? Так! Сколько ты служил? Да-да, вместе с войной. Хорошо, кинем десять лет для ровного счета. Девять и десять — девятнадцать. Остается сорок. 130 помножим на 4... Так вот, из своей жизни ты 520 дней, почти полтора года, таскал на себе воду. Это для современного человека унизительно.

— Слушай, неужели полтора года? — испуганно переспросил Палыч. — Ты не обсчитался?

— Да господи! Что тут считать! Подумаешь какая алгебра. Дело-то не в этом. Вот скажи мне, сколько потребуется рабочих дней, чтобы выкопать колодец?

— Неужели полтора года? — бессмысленно повторил Палыч, и в глазах его мелькнуло просветление. — Нет, постой, постой! — прокричал он радостно. — Я же не всегда сам хожу за водой. А когда я в Черикове на работе? Что же, и тогда полтора года? Нет, брат, тут не то! Ерунда!

— Тогда еще хуже! — строго одернул его я. — Тогда получается, что из этих полутора лет полгода на себя взяла женщина, Евдокия Тарасовна. Не понимаю, чему ты радуешься. Ты мне так и не ответил, сколько нужно дней, чтобы выкопать колодец?

— Да чего тут копать? Тут песок. И до воды метров пять.

— И все-таки, — настаивал я. — Сколько дней нужно двоим мужикам, чтобы выкопать, сделать сруб, ворот и крышу?

— Смотря как работать... — сказал рассудительный Палыч.

— Добросовестно работать! Не разгибаясь, без перекуров, как ты воду таскаешь!

— Ну, если весь материал будет под рукой... А на сруб нужна только осина, она не гниет. Все колодцы из осины срублены. Дранки нащипать на крышу из той же осины... На ворот и на столбы лучше дуб.

— Не морочь мне голову, — прервал я его. — Сколько дней?

— Я думаю, дней десять, — сказал наконец Палыч и задумался. Он, очевидно, понял, куда я клоню.

— Ну так вот, — жестко сказал я. — Теперь сам посчитай, сколько дней своей жизни ты по собственной косности потратил впустую... Ладно, разговор не об этом. У меня осталось семь дней. Успеем мы хотя бы выкопать колодец?

— Какой колодец? — опешил Палыч. — Ты хочешь... Подожди! Я не понял...

— А чего тут понимать. Завтра с утра я начну копать колодец. А ты заготавливай пока осину, дуб, в общем — весь материал, а что не успеем вместе, ты один доделаешь. Главное, как я понимаю, яму выкопать и сруб поставить...

— А где же ты его копать будешь?

— Во дворе, разумеется. Место завтра же и спланируем.

— И не подумаю... — резко оборвал меня Палыч.

— Почему? — воскликнул я, удивленный такой категоричностью обычно мягкого и даже вяловатого Палыча.

— Чтоб на меня пальцем показывали? Что я, куркуль какой-то?! Ни у кого колодца нет, а Палыч у себя на задворках, как крот какой-то, по ночам колодец роет.

— Зачем же по ночам?

— Так если днем копать — мужики затюкают, умником обзовут.

— Господи, да что же плохого в слове «умник»?! — взмолился я. — И почему ты должен обращать внимание на всяких дураков? Может, наоборот, у тебя учиться начнут, пример с тебя брать.

— А почему же до сих пор никто у себя колодца не вырыл?

— Не знаю! Наверное, ни одного умника не нашлось...

— Пришлось из Москвы звать, — ухмыльнулся Палыч и, весьма довольный собою, прикрыл глаза.

Для него всегда ввернуть какое-нибудь хлесткое словечко, сразить противника в споре едким замечанием означало как бы и разрешить проблему, по поводу которой разгорелся спор. Но я был не из тех, кто может спутать причину со следствием. И, не обращая внимания на его ухмылки, продолжал:

— Часиков в девять и начнем. Мне кажется, что лучше всего его копать у гаража, слева. Хотя нет. Там близко туалет...

— Ну вот что, — поднимаясь, сказал Палыч. — одевайся и пойдем. Дусе тоже мыться надо. Печка как раз для нее остыла.

Все это он произнес очень сердито, я бы сказал, обвинительным тоном, мол, хватит всякой ерундой заниматься, пора и о человеке подумать. Он накинул на плечи специально для этого захваченную телогрейку, со всхлипом выдернул из ведра бидончик и зашагал впереди меня, подсвечивая себе фонариком. В темноте белели его кальсоны.

Евдокия Тарасовна взбила нам подушки, подхватила узелок с бельем и ушла.

— Вода там есть, — крикнул ей в спину Палыч.

После бани Палыч обычно лежит. До тех пор, пока Евдокия Тарасовна не вернется и не накроет стол к ужину.

Палыч лежал на спине, укрывшись одеялом до самого носа, а я нервно ходил по избе и произносил бессвязный монолог.

— Что за упрямая голова? Это косность... Вековая косность! «Почему ни у кого нету, а у меня будет?» Почему мой приятель у себя на даче мог выкопать колодец, а ты не можешь? А он там только летом живет. И вода у него поглубже. Ничего — выкопал. Зато он теперь до десятка ведер под каждую яблоню льет да с подкормкой. У него и урожай! А он городской. А у тебя что?

Палыч лежал, не двигаясь, и только водил за мной глазами.

— Можно подумать, что я для себя стараюсь, — возмущался я.

— А для кого же, — неожиданно отозвался Палыч, — не понравилось воду в баню таскать, вот и придумал колодец. Лень-то раньше тебя родилась, — срезал он меня.

— Да ладно тебе... — горько вздохнул я и махнул рукой.

— Вот Трофимыч-то очумеет, когда узнает, что у меня колодец, — задумчиво сказал Палыч и сел на кровати.

— Да он первый за тобой начнет копать. И главное, было бы о чем разговаривать. Дерева, осины этой — хоть с кашей ешь, топор в руках держать умеешь, копать два дня... Да мы за неделю с тобой колодец отгрохаем.

— Понимаешь, — Палыч свесил с кровати ноги. — Я бы и из старого колодца носил не рассыпался, но у Дуни ревматизм и сердце пошаливает... В общем, нужно помозговать. Может, действительно отчубучим...

— Отчубучим... Нормальное, разумное дело у него называется «отчубучим». Ладно. Давай-ка по этому поводу... — предложил я и болтнул бидончиком.

— Давай... пока там Дуня моется... Огурчики есть, сальцо копченое, твое любимое. Закусим, а Дуся придет — соберет поужинать.

Разлив остатки медовухи в кружки, Палыч подмигнул мне:

— Ну, за римский водопровод! В общем, с легким паром...

Закусив длинным и тонким кусочком сала, Палыч пошел одеваться.

— Ты пока медовухи нацеди в графинчик, — крикнул он мне из-за занавески, отгораживающей кровать.

Когда пришла раскрасневшаяся Евдокия Тарасовна и накрыла на стол, Палыч сказал, придвигая к себе миску с дымящейся картошкой:

— Все, Дуня, мы с Юркой решили выкопать тебе во дворе колодец, чтоб вода была под рукой...

— Вижу, что решили... — иронически заметила Евдокия Тарасовна, заглядывая в пустой бидончик. — Посмотрим, что вы позже решите.

— Нет, ты постой, — раскраснелся Палыч, — Юрка, объясни ты ей.

— Евдокия Тарасовна, — торжественно начал я, поднимая стопку медовухи. — В ближайшем будущем ваша жизнь будет окружена немыслимым комфортом. И дело здесь не только в колодце. С легким паром, дорогие товарищи!

Мы стали не спеша закусывать. Палыч дул на горячую рассыпчатую картошку и выжидающе посматривал на меня. Чтобы долго не мучить его и вместе с тем чтоб и не спугнуть, я выдержал определенную паузу и сказал:

— Скажите мне, уважаемая тетя Дуся, согласились бы вы платить в месяц три рубля за то, чтоб у вас в кухне стояла раковина, а из крана лилась холодная и горячая вода?

Я налил в стопки пенной, еще играющей медовухи и, не обращая внимания на онемевшего Палыча, испуганно лупающего на меня глазами, чокнулся с Евдокией Тарасовной, которая на мои слова добродушно кивала, не придавая им значения и слушая их как приятную музыку.

— За вашу новую жизнь! — вскричал я. — За комфорт, за прогресс, за цивилизацию! За римский водопровод!

Капусту тетя Дуся квасит не целыми кочанами, а четвертинками и перекладывает тоненькими ломтиками моркови и свеклы, посыпает тмином, укропным семенем и приправляет маленькими острыми перчиками. Вкус описать нельзя!

Отдав должное капусте, я спросил у тети Дуси:

— Ну и как? Вы согласны?

— Насчет чего? — удивилась она.

— Насчет трех рублей.

— Да ну тебя... — фыркнула она.

— Евдокия Тарасовна! Я совершенно серьезно вас спрашиваю: вы согласны платить три рубля в месяц за горячее водоснабжение?

— Да не слушай ты его, Дуся! — вмешался Палыч.
— Я не к тебе обращаюсь, — взревел я.
— Согласна, согласна, ладно, — поспешно согласилась тетя Дуся и с укором взглянула на Палыча.
— Значит, так, — начал я, обращаясь только к тете Дусе. — Мы с Палычем за неделю роем колодец. Потом я уезжаю в Москву, и до лета меня уже не будет. В Москве, в магазине «Сантехника», я покупаю необходимое оборудование, а в это время Палыч приготавливает со своей стороны: первое — две железные оцинкованные бочки из-под горючего и тщательно очищает их от солярки; второе — устанавливает эти бочки на высоте двух метров; третье — покупает в Черикове (там есть, я видел) столик со встроенной мойкой, а также поддон для душа. Ничего, ничего, не беспокойся, я все тебе запишу на бумажке, не забудешь. Вот такой, значит, у нас перспективный план на ближайшее будущее.

Палыч угрюмо молчал. Тетя Дуся принесла яичницу на сале.

— Теперь я расшифрую некоторые пункты нашего плана, — сказал я, не беря во внимание молчащего Палыча и обращаясь к прилежно кивающей тете Дусе. — После того, как мы выкапываем колодец, я покупаю маленький насос. Он стоит 30 рублей. Двухсотлитровую бочку он может накачать за полчаса, но мы никуда не спешим. Две бочки за час — это неплохо. Четыреста литров (сорок ведер) — это больше, чем достаточно, если даже учитывать возросшие потребности. А потребности в воде возрастут, в этом я не сомневаюсь. Затем можно купить хорошую оцинкованную трубу, утеплить стекловатой и зарыть в землю. Как ты думаешь, — обратился я к Палычу и, надо сказать, застал его врасплох, он не успел нацепить равнодушную маску, — на сколько сантиметров в землю нужно положить трубу, чтобы вода не замерзала при минимальной изоляции?

— Я думаю... — важно сдвинул брови Палыч, — если на метр... — он осекся и подозрительно посмотрел на меня, очевидно, отыскивая на моем лице следы издевки, — на метр будет как раз. Ладно, я это понимаю. Поставим бочки на высоту, воду в них накачаем насосом, а из бочек она побежит самотеком. Но как мы узнаем, что бочки наполнились?

— Господи! Это же элементарно, — сказал я. — Обыкновенный перелив, как в любой ванне или в смывном бачке.

— Не понимаю! — упрямо сказал Палыч, и я вспомнил, что он вовсе не обязан знать устройство смывного бачка, которым не так уж часто пользовался.

Тетя Дуся легла спать. Признаться, меня это слегка покоробило. Как-никак речь шла прежде всего о ней. Перестраивался весь уклад ее жизни, вся ее дальнейшая судьба, а она легла спать. Но я быстро забыл о своих обидах, и меня понесло дальше. Надо сказать, в тот вечер я действительно был в ударе. Я завелся, впал в эйфорию реформаторства...

— Господи! — причитал я. — Электронагревателю цена — копейки! Да сколько бы он ни стоил! Единственное, за что в наше время стоит платить, так это за удобства...

— Ладно, ладно, верю, — крутил головой Палыч и тянулся к графинчику.

— И обязательно душ! — азартно кричал я. — Маленький душ за занавесочкой. Баню топить каждый день не станешь, а тут пришел с поля, и через десять минут вода горячая. Нажал на кнопку, и все... Понимаешь? Только нажал на кнопку!

— А я работы не боюсь, — обижался Палыч.

— Господи! — стонал я. — Ра-бо-ты, но не бессмысленности! Работай! Производи! Кто же тебе не дает? Вот скажи, зачем тебе корова?

— Как зачем? — обомлел Палыч.

— А вот так, зачем? Вас двое. Творог, масло ты не продаешь, так? Вам с тетей Дусей молока нужно не больше двух-трех литров в день... Ага! — гремел я. — Ты думаешь, я не видел, как тетя Дуся старым творогом кур кормит. Поросенку молоко сливает... Козы хватило бы! И ни капли молока не пропадало бы.

— А я излишки в колхоз сдаю, — вставил Палыч.

— Сколько ты сдаешь?
— Другой год до тонны, — с удовлетворением ответил Палыч.
— А что получаешь?
— Часть деньгами, часть комбикормом. Подкашивать разрешают по опушкам и по оврагам... А не будешь сдавать — не разрешат. Я-то, правда, и в лесу по клочку наберу и на мотоцикле вывезу, а другие обязательно должны сдавать...
— А ты подсчитывал, во сколько тебе литр молока обходится?
— А ни во сколько, — усмехнулся Палыч, — я же его не покупаю.
— Да я не об этом... Сколько ты труда в него вкладываешь...
— А я свой труд не считаю! — гордо объявил Палыч.
— И зря! — обрезал я. — Полезно посчитать. Если оборудовать твой скотный сарай для выращивания бройлерных цыплят, провести туда воду, электричество, утеплить, — знаешь, сколько килограммов мяса ты мог бы сдавать в год? — Я быстренько прикинул на бумажке: — Три тонны!

Наступила тишина.

— Не ври, — прошептал Палыч.
— Три тонны! — стальным голосом повторил я. — И примерно при тех же трудовых затратах, что у тебя уходят на содержание коровы и домашней птицы. Специализация! Уже все подсчитано. Теперь прикинь чистую прибыль. А молоко — те же два литра в день — можно покупать в колхозе или у соседа Трофимыча.

Надо сказать, что до сих пор Палыч участвовал в этом разговоре, увлекшись решением чисто технических задач. И когда ему наконец удалось преодолеть собственное упрямство, проявил зрелый и острый ум и цепкую хватку. Но, повторяю, разговор, уходящий своими корнями к пресловутому римскому водопроводу, касался сантехнических проблем, отчасти абстрактных для Палыча. Теперь же характер разговора круто изменился. Изменилась и степень заинтересованности Палыча. Еще бы! Ведь если я окажусь прав, то выходит, он всю свою жизнь, возясь с многочисленными буренками (их последовательно перебывало у него полдюжины), попросту валял дурака.

Прежде всего он сходил на цыпочках в большую комнату за медовухой. Там за занавеской спала тетя Дуся. Чтобы лишний раз не беспокоить супругу, Палыч, наполнив графинчик, оставил бутыль под лавкой. Потом мы молча выпили. Палыч отломил красный капустный листик, тщательно прожевал, вытер рот и, оперевшись руками о колени, сказал:

— Не верю! Докажи!

Я доказал. На бумаге это было довольно просто.

Наконец он поверил. А дальше пошел сумбур. Мы еще раз проверяли правильность моих расчетов, и они оказались верными, потом мы чертили расположение клеток, план инкубатора, систему водоснабжения, отопления и так далее и так далее... Потом как-то внезапно всплыло слово «яйца». После жаркого спора, короткого, как абордажный бой, мы вынуждены были от яиц отказаться. Нерентабельно.

Палыч с таким увлечением оперировал цифрами, с такой цепкой сметкой, что у меня душа за него радовалась.

Потом мы уткнулись в транспортную проблему и в вопросы обработки. С одной стороны, цена потрошеной или полупотрошенной тушки значительно выше, но...

В это мгновение безмолвно появилась в длинной белой рубахе с распущенными прямыми волосами Евдокия Тарасовна, захватила бутыль с медовухой и удалилась, так и не издав ни звука.

...но как подсчитать трудоемкость и энергозатраты плюс капиталовложения на дополнительное оборудование?

Но! При этом остается пух-перо и внутренности. Пух-перо — это понятно! А внутренности — великолепнейшая вещь! Если организовать непрерывное производство, то этими внутренностями (пупок, сердце, печень не в счет — это ценные субпродукты и применение у них другое), этими внутренностями, а также головами и лапками совершенно спокойно можно кормить не одну пару норок! Каково?! Больше того! Если не корова (а может быть, и не коза тоже), то освобождается гигантское количество кор-

неплодов. (Нет, честное слово, я в ту ночь был в ударе.) И стоит подумать — сажать эти корнеплоды или нет. Конечно, можно освободить землю под более ценные культуры, но корнеплоды (картошка, брюква, свекла) — это нутрии. А если иметь в виду внутренности как белковую добавку к рациону, то никакие норки в сравнение не идут. Кстати, о нутриях сейчас много литературы и спрос не падает. Кстати...

Тут Палыч, не прекращая кивать и напряженно морщить лоб, бесшумно удалился в большую комнату и, кивая, вернулся с медовухой.

...для содержания нутрий требуется много воды. Плавать они не плавают, а вот норки — те плавают. Вот видишь! Без водопровода — никуда.

...Но встает вопрос о дополнительных капиталовложениях и о юридической стороне дела. Потребуются новые помещения.

...А что если не замахиваться на поточное производство, а прямо сразу ограничиться определенным числом. Предположим, три пары норок и нутрии... нутрий можно больше, они менее прихотливы.

...Юридически здесь все законно! Только знай сдавай пушнину государству.

...Да, вот нутрии, их можно шесть пар.

...Так, подсчитаем... Ого! Ничего себе... Подожди, это дело нужно спрыснуть.

Подсчитаем из расчета шесть и двенадцать... Цикличность... Дополнительные затраты! А как же! А производители?

— Стой! — неожиданно вскричал Палыч.

— Что такое? — недовольно проворчал я, не отрывая карандаша от бумаги.

— А колодцы-то копают летом, в июле, в самый сухой месяц.

— Почему это?

— Чтобы копать по нижнему уровню воды,— пояснил Палыч.— Всегда копали летом! Как лето, так соберутся — и копать...

— Интересно,— сказал я и положил карандаш,— но что же это меняет? Ты приготавливаешь все, что мы записали, летом я приезжаю и мы копаем колодец. Откладывается на полгода и всего-то...

— Да что я, сам не вырою? — обиделся Палыч.— Поставлю ворот и вырою. А Дуся будет землю поднимать по полведра. А вообще-то, я думаю, если колодец поставить слева, да посредине забора — полколодца Трофимычу, а полколодца мне? Что, нам воды не хватит, а? Красота!

— Конечно! — заорал я и полез к Палычу целоваться.

Мы условились так: Палыч зимой заготавливает все материалы, летом копает колодец и дает мне телеграмму. Я со своей стороны этой же зимой заготавливаю все необходимое сантехническое оборудование, по первому зову приезжаю к нему и устанавливаю оборудование на месте.

Все последующие шесть дней моего пребывания у Палыча ушли на конкретную и детальную разработку наших планов.

Евдокия Тарасовна ничего определенного по поводу наших разработок не сказала.

С тех пор прошло семь лет. Колодца Палыч так и не выкопал. Я с тех пор бывал у него раз пять, но все глубокой осенью, чтобы попасть на мою любимейшую охоту по первому снегу (первопутку).

Зазывая меня письмами на охоту, Палыч обязательно не преминет приписать: «Приезжай, водопровод будем строить... Римский». И я вижу, как на этих словах он мне подмигивает.

Мне казалось, что я хорошо знаю Палыча, понимаю его душу, его чаяния и стремления, но если вы меня спросите, когда же он выкопает колодец, я пожму плечами.

Правда... я тоже еще не купил сантехническое оборудование для Палыча, но случись что — за мной дело не станет...

А пока... Хорошо хоть лампочку повесили. Осветили баню. И на том спасибо.

Отто Лацис

ТЕРМИДОР СЧИТАТЬ БРЮМЕРОМ...

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОПРАВКИ

Что именно в дискуссиях прошлых десятилетий породило всеобщую тоску по культуре спора? Политические ярлыки вместо аргументов, крепкие слова вместо фактов, публичное доносительство в булгаринском духе, спор на уничтожение людей вместо развенчивания ложных идей, требование служебных, а то и судебных расправ — все это было в чести, и не дай бог, чтобы повторилось такое время. У иных авторов и ныне прорывается «старая добрая» манера — что поделаешь, нелегко избавиться от привычки всей жизни. Но, в общем, сегодня разносный стиль не в моде: редакторы знают, что он скорее отвращает читателей, чем привлекает. Место грубой брани занимают более современные приемы.

Один автор недавно попытался создать впечатление, будто «Новый мир» Твардовского и «Новый мир», печатавший «мемуары» Брежнева,— это чуть ли не одно и то же. Скажете, слишком примитивно, не поверят? Но больше половины нынешних подписчиков «Нового мира» не выписывали этот журнал еще два года назад, а подписчики «Нового мира» Твардовского едва ли составляют десять процентов нынешних. Да и не к читателям «Нового мира» обращено это сочинение. Кто-нибудь поверит.

Несколько публицистов, словно сговорившись, принялись твердить день за днем, будто нынешние лидеры экономической науки были советниками властей застойного времени — они-де и повинны в наших бедах. Любой серьезный экономист знает, что советниками были совсем другие, да и не слушали в те времена ученых советников. Но большинство читателей, чей интерес к политике и экономике разбудила лишь перестройка, лет пять назад и не слыхивали таких имен. Они могут поверить, что нынешнее положение в академической иерархии досталось этим ученым еще в застойное время.

Вместо громких разносов пришло хладнокровное вранье. Вот я и задумался: если один автор вежливо распространяет недостоверную информацию, а другой грубо называет это враньем — кто из них заслуживает модного упрека в недостаточной культуре дискуссии? И позволительно ли, отвечая на вранье, хоть как-нибудь выказывать те эмоции, которых оно заслуживает?

Не забудем и обстановку, в какой встают перед нами эти вопросы. Еще не подсчитаны — для начала хотя бы с точностью до миллионов — жертвы беззаконий. Еще не всем реабилитированным или их семьям возвращены полностью их законные права. Еще не все беззаконно наказанные реабилитированы, и немалая работа предстоит комиссии Политбюро. Еще не все архивы открыты для свободного исследования, да и не забудем, что открыть архивы совсем не то, что открыть вещевой склад: на поиски ценностей в архиве нужны годы и годы. Еще не написан хотя бы один правдивый учебник по истории партии после череды неправдивых. Еще едва начато издание трудов запрещенных прежде мыслителей, едва начал приоткрываться народу целый пласт украденной у него духовной жизни. Еще не установлен ни один памятник жертвам репрессий.

После десятилетий дезинформации нужны, во всяком случае, годы восстановления и восприятия правдивой информации. Но и это — только начало. Узнать

утаенные факты истории — это даже не полдела. Гораздо важнее и сложнее — осмыслить новые факты. Именно перед этой задачей отступила первая волна критики сталинщины после XX съезда. Именно к вопросам, впервые поставленным более тридцати лет назад, пришлось нам вернуться сегодня. И уже при первых шагах воссоздания подлинной истории слышны призывы остановиться якобы во имя спасения наших идеалов и принципов. Под флагом призывов к достоверности требуют установить «берега гласности». Сами при этом ни минуты не заботятся о достоверности. Тем не менее велика ответственность тех критиков сталинизма, которые действительно допускают небрежность в обращении с исторической правдой. Есть ли примеры тому?

Начнем с поправки, появившейся в первом номере журнала «Наука и жизнь» за 1989 год, по поводу публикации большой, на четыре номера, работы Александра Ципко. Вот полный текст поправки «В № 11 1988 г., в статье «Истоки сталинизма», вместо слова «термидор» везде следует читать «брюмер». «Опечатка» редкого масштаба: спутать брюмер с термидором во Франции — примерно то же, что спутать, скажем, октябрь семнадцатого с манифестом семнадцатого октября в России. Ведь переворот 18 брюмера сверг ту власть, которую утвердил термидор. Характер ошибки таков, что механическая замена одного слова другим просто невозможна: смысл должен был измениться в корне. Что же это за текст, в котором говорилось «термидор», а теперь «во всех случаях» следует читать «брюмер»? Вот для примера абзац из статьи А. Ципко:

«Складывается ощущение, что многие пишущие о Сталине и о тридцатых годах начисто утратили здравый смысл, чувство реальности. Иначе как можно было додуматься до модной ныне мысли о термидоре Сталина, о его контрреволюционном перевороте в конце двадцатых годов? О том, что история и идеология, рожденные в октябре 1917 года, умерли в 1929 году, что «великий перелом» этих лет был возвратом к дореволюционной России».

С этим можно согласиться. Сталин действительно не совершал классического контрреволюционного переворота. Хотя сталинщина убила больше революционеров, чем любой термидор, все же сталинизм не термидорианство, это новое и более сложное явление, его не определить посредством старых ярлыков. Это настолько очевидно, что при такой констатации А. Ципко был вправе пренебречь доказательствами — что он и сделал. Но поправка в корне меняет суть дела. Теперь опровергается не термидорианство, а бонапартизм Сталина. Не открытая расправа контрреволюционеров с революционерами, а присвоение побед революции одним человеком в целях установления личной власти. Выходит, А. Ципко полагает, что Сталин ничего подобного не делал? Но справедливость такой точки зрения по меньшей мере не очевидна. Тут уж доказательства необходимы. Конечно, Сталин не прямое повторение Бонапарта, но элементы бонапартизма в его политике просматриваются довольно легко. Отделаться бездоказательным отрицанием здесь нельзя. Что ж, автору повезло, он обнаружил ошибку, когда в журнале прошли только две части статьи из четырех, вместе с поправкой можно было уточнить концепцию, дать недостающие доказательства... Не ищите: не дал. Даже не упомянул о поправке в завершающих частях статьи, будто ничего и не случилось.

Математик не может, увидев ошибку в решении задачи, сменить плюс на минус, не меняя ничего другого: должен измениться и ответ. Историк пока может. Вот такая «культура» дискуссии тревожит больше, чем непарламентские выражения. Конечно, поправка — частный эпизод. Он выдает лишь то, что выдает арбузная корка, на которой поскользнется не всякий, а только тот, кто спешит. Куда же спешил автор?

Я не ставлю перед собой задачу обсудить все идеи, в том числе весьма интересные, высказанные в статье А. Ципко: тут потребовался бы разговор долгий, скорее всего неподъемный для публикации в литературно-художественном журнале. Статья А. Ципко полезна уже тем, что стимулирует такой разговор. Но не могу пройти мимо тех утверждений, которые способны скомпрометировать и самую верную концепцию.

А. Ципко начинает с правильной, в общем, на мой взгляд, постановки вопроса «о доктринальных причинах наших неудач в социалистическом строительстве». Действительно, нельзя понять причины деформации революционной доктрины, не присмотревшись более пристально к самой доктрине, как нельзя познать болезнь, не исследовав, какие сбои в генетической программе здоровой клетки делают ее уязвимой для злокачественного перерождения.

Мысль понятная, хотя вряд ли она высказана впервые именно в статье А. Ципко. В сущности, так подходил к проблеме уже Ф. М. Достоевский («Бесы»), да и он, пожалуй, не был первым. В наше время весьма удачную, на мой взгляд, методологию подобного исследования революционной доктрины (как и почему могут возобладать либо здоровые начала, либо больные) предложил Г. Водолазов. Можно только пожалеть, что его книга «От Чернышевского к Плеханову», бог весть каким чудом изданная в Москве еще в шестидесятые годы (правда, ничтожным тиражом), выпала из научного оборота в наши дни — именно сейчас она очень ко двору.

Увы, создается впечатление, что А. Ципко больше озабочен не поисками дальних предшественников, а избавлением от ближних. На первых же страницах он сообщает читателю, что никто из касавшихся этой темы до него не проявил достаточной смелости мысли и интереса к «первоначальному плану» социалистического строительства: «Я прочитал под этим углом зрения немало статей, и прежде всего работы О. Лациса, Л. Попкова, И. Клямкина, Л. Гордона, А. Нуйкина, В. Кожинова... Но никто из авторов не обмолвился ни словом об исходных позициях и самих проектах нашего социалистического строительства, о доктринальных причинах деформации социализма».

Так-таки никто и ни словом?

Раскрываю статью И. Клямкина («Новый мир», 1987, № 11): «...победили тогда сильнейшие, и никто, кроме них, победить не мог, потому что другого «проекта застройки» нашей улицы, способного конкурировать с коллективизацией, в ту пору не было». А о чем, как не о плане, говорит сам заголовок статьи И. Клямкина «Какая улица ведет к храму?». Вся статья посвящена анализу первоначального плана социалистической постройки, и анализу очень интересному, как бы ни относиться к авторской концепции. О сложностях первоначального плана пишет и А. Нуйкин. В шестой книжке «Знамени» за 1988 год и я писал: «Состояние не очень устойчивого равновесия — притом не на момент, а на длительный период — создавал неизбежно и план перехода к социализму, названный новой экономической политикой».

Кто в силах уследить за нынешним-то потоком политической публицистики? Кто в силах запомнить подробности каждой из прочитанных статей? У кого достанет времени проверить точность интерпретации? И А. Ципко без больших усилий демонстрирует свою смелость на фоне чужой несмелости, пересказывая других авторов «с точностью до наоборот». Мне, например, настойчиво приписывается некая антикрестьянская линия: у меня-де крестьяне плохие, мелкобуржуазные, тогда как рабочие сплошь безупречные, я будто бы исследую такие пустяки, как процентное соотношение рабочих и крестьян в партии. И уж совсем откровенная передержка — будто я высказался не в пользу коллективного хозяйствования вообще, а именно в пользу таких колхозов, какие создал Сталин. Но достаточно перелистать статью «Перелом», чтобы увидеть, что в ней исследуются недостатки, и прежде всего мелкобуржуазность, не крестьян, а части рабочих, исследуется процентное соотношение в партии не крестьян и рабочих, а новых и старых ее членов, а к сталинским колхозам отношение определенно отрицательное. Да, недостатки рабочего класса связаны были, по моему мнению, с форсированным перекачиванием крестьян из деревни в город. Но это недостатки не крестьян во крестьянстве, а бывших крестьян, не ставших и рабочими, так что вывод мой прямо противоположен тому, что навязывает мне А. Ципко. Вот как это делается.

Из моей статьи «Перелом»:

«Мы не найдем ответа, пока будем мыслить в категориях, привычных по сталинским речам: черное — белое без оттенков, рабочий — мелкий собственник

без промежуточных переходов, причем рабочий — непременно человек без недостатков».

Из статьи А. Ципко «Истоки сталинизма»:

«Если, к примеру, О. Лацис из своего убеждения в абсолютной политической устойчивости и экономическом реализме промышленного рабочего класса черпает все свои политические обвинения в адрес выходцев из деревни, то почему Нина Андреева из этого же мировоззренческого источника не может черпать свою неприязнь к интеллигенции...»

Впрочем, для читателей не столь важно, кто первым выразил здравую мысль. Если бы все сводилось лишь к «неточностям» интерпретаций, можно бы и махнуть рукой: все равно на таких приемах далеко не уехать в науке. Другое не позволяет пройти мимо: провозгласив решимость анализировать исходную революционную доктрину, А. Ципко тут же уклонился от весьма трудоемкого анализа, к которому обязывает реализация его очень серьезного намерения. Вместо этого он заявляет, будто Сталин никакого отхода от марксистско-ленинской революционной доктрины не совершил, и только недостаточная смелость мысли мешает современным авторам признать: Сталин выполнил то самое, что и замышляла ленинская партия.

Вспомним, что именно выполнил Сталин. Срыв ленинской политики «смычки», замена добровольного кооперирования насильственной коллективизацией, высылка миллионов раскулаченных (не только кулаков), обрекшая многих из них на гибель. Срыв первого пятилетнего плана, замедление индустриализации в результате «подхлестывания» экономики, предвосхитившего маоистский «большой скачок». Удушение голодом нескольких миллионов крестьян уже в колхозах. Беззаконные репрессии против миллионов советских людей всех слоев общества, включая большинство лучших представителей интеллигенции, большую часть руководителей партии, государства, армии, органов госбезопасности. Убийство коминтерновцев, руководителей многих зарубежных компартий. Высылка целых народов. Срыв политики единого фронта против фашизма в западноевропейских странах, натравливание коммунистов против социал-демократов... Букет не полон, но для начала разговора достаточно и этого.

Может быть, А. Ципко открыл неизвестные доселе документы, показывающие, что марксистско-ленинская революционная доктрина все это предполагала? Нет, аргументы гораздо проще. А. Ципко просто заявляет, что Сталин был типичным марксистом. Вот примеры.

«...Сталин как личность сформировался в марксистской среде, как мог в силу своих способностей и подготовки осваивал теоретическое наследие классиков, в целом никогда не выходил за рамки азбучных истин марксизма в своих статьях и речах». «Представления Сталина о социализме, о его первоочередных задачах не могли существенно отличаться от того, что мыслили и думали об этом другие марксисты его эпохи, ибо в основе этих представлений лежали одни и те же социальные и философские идеи». «Наши публицисты почему-то забыли, что Сталин не просто создавал свое царство, укреплял свою единоличную власть. Он ведь преобразовывал социальную структуру общества, быт людей, строил социализм в соответствии с предначертаниями теории, пытался как мог ускорить движение России к коммунизму, начатое в октябре 1917 года».

Видимо, чувствуя уязвимость аргументации, А. Ципко все-таки делает оговорку (ссылаясь на газетное выступление Д. Затонского): «Представление о партии как об «ордене меченосцев», низведение простых людей до функции «винтиков», идея, что по мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение классовой борьбы,— вот, пожалуй, и все явственные теоретические отклонения Сталина от духа марксизма-ленинизма». Такой вот пустячок. Между тем одна эта оговорка опрокидывает всю пирамиду красноречия А. Ципко, подставляющего на место сталинизма марксизм. Ведь именно марксизм провозгласил свободное развитие каждого условием свободного развития всех,— легко понять, что одно лишь низведение людей до функции «винтиков» (то есть превращение человека из цели в средство) уже начисто вычеркивает Сталина из рядов марксистов. Стоит также вспомнить, что стояло за идеей «обострения классовой борьбы», чтобы понять, сколь далеко уводило от марксизма и это «теоретическое» новшество. Стоит, наконец, вспомнить, что именно расширением демократии в партии Ленин надеялся (хоть это и не было сделано) компенсировать ограничение демократии в государстве, чтобы по достоинству оценить и масштаб катастрофических последствий тезиса о партии — ордене меченосцев.

Пожалуй, если взять оригинальные теоретические произведения Сталина (оставив в стороне те, где он с большей или меньшей степенью искажения и огрубления пересказывал Ленина), то легче назвать те, которые выдерживают критику с марксистских позиций. Едва ли не единственный такой труд — его ранняя статья по национальному вопросу (в отношении которой, правда, невозможно сейчас установить, какова была степень участия в работе Бухарина, помогавшего Сталину, поскольку тот не знал немецкого языка, а браться за теоретическую статью на эту тему без знакомства с трудами австрийских марксистов было немыслимо). Однако в данном случае вопрос не в том, много ли отклонений от марксизма можно «насчитать» в сочинениях Сталина. Ведь предмет исследования А. Ципко не арсенал маскировочных средств, а сама сущность политики Сталина — истоки сталинизма. За этой темой добросовестный историк не может не видеть трагедию революции, трагедию народа, личные трагедии миллионов, и попытка свести разговор к наличию или отсутствию теоретических ошибок в сочинениях организатора преступлений лежит не только за пределами науки, но, думаю, и за пределами нравственности.

В государстве, рожденном великой революцией, вдохновлявшейся самыми передовыми идеями, сумел захватить власть человек с психологией пахана бандитской шайки. Фокусы, в том числе и «теоретические», которые он при этом применял, конечно, должны быть исследованы со всем вниманием. Но описанием пропагандистских масок политического иллюзиониста нельзя заменить изучение реального содержания его политики. Все это никак не приблизит нас к ответу на главный вопрос: как и почему сталинщина стала возможной?

Напротив, отдалит. И даже снимает самый вопрос — что и требуется сталинистам. «Сталин — это Ленин сегодня»,— учили нас в школе. Естественно, это говорилось в похвалу Сталину. Сталин — адекватный выразитель марксизма-ленинизма своего времени, говорит А. Ципко, как и некоторые другие. От ортодоксальных сталинистов их отличает лишь знак — минус вместо плюса. Они отождествляют сталинизм с марксизмом-ленинизмом не в похвалу Сталину, а в осуждение марксизму-ленинизму. К одному искажению исторической ретроспективы добавляется другое, а с точки зрения оценки сталинизма итог тот же: Сталин не виноват.

Конечно, так думают не все. В одиннадцатом номере «Нового мира» за 1988 год появилась, например, статья Г. Лисичкина — ее содержание прямо противоположно тому, что утверждает А. Ципко. Г. Лисичкин наглядно показал убожество Сталина-экономиста с позиций марксизма. Но идеи, подобные идеям А. Ципко, нынче входят в моду. Потому что оригинально, ниспровергательно, смело. Не вяжется с фактами, рассыпается при сопоставлении с первоисточниками? Да кто их ныне читает, эти первоисточники? В среду надо прочитать «Московские новости» и «Литературку», в пятницу «Неделю», в субботу «Огонек», каждый день кучу газет, а еще «Новый мир», «Знамя», «Дружбу народов», «Юность»... Господи, да с этой гласностью и выспаться-то некогда!

Но если мы хотим остаться на почве науки, то надо помнить, что хлеб науки — факты. И самая заковыристая гипотеза получает право именоваться теорией только тогда, когда она подкреплена фактами. Признает автор Сталина марксистом или не признает — он обязан документировать свою точку зрения. Поскольку А. Ципко этим откровенно пренебрег, можно было бы, рассуждая формально, ограничиться указанием на то, что его весьма оригинальное построение бездоказательно. Однако вопрос слишком серьезен. Утверждая, что Сталин не был ни последователем Маркса, ни последователем Ленина, попробуем привести некоторые доказательства. Но прежде заметим, что анализ сталинщины как общественного явления ставит перед наукой трудную задачу. Трудную объективно, ибо речь идет о сложном сочетании противоречивых процессов, породившем не-

что небывалое в мировой истории и трагически неожиданное для самих действующих лиц грандиозной драмы. Трудную и субъективно, ибо обломки сталинского мышления пестрят в сознании самих критиков сталинизма чаще всего неосознанно и независимо от их воли.

Настойчиво повторяются, например, попытки придумать взамен сталинского новое определение социально-экономической сущности общественного развития в тридцатые годы. Конечно, после всего, что мы узнали о массовых преступлениях против человечности в те годы, мало кто решится без оговорок повторять слова о построении основ социализма. Но многое ли прибавится к нашим знаниям о прошлом, если мы вместо сталинского определения «социализм» приклеим «государственный капитализм», «государственный социализм», «азиатская деспотия» или даже такое бесспорное, как «деформированный социализм»? Думается, в таких рассуждениях ошибочен не ответ, а самый вопрос.

Иным энтузиастам поиска новых ярлыков кажется, что, заменив слово с привычно позитивной эмоциональной окраской (например, «социализм») каким-нибудь ругательным, они тем самым закрепят разоблачение сталинщины. Но разве задача исследователя сегодня сводится к объяснению того, что сталинщина есть что-то нехорошее? Полно! Кто и сейчас не воспринял пагубности сталинщины хотя бы на эмоциональном уровне, того переубеждать бесполезно. Но кто это постиг, кто хочет двигаться дальше, понять общественно-политические процессы, сделавшие сталинщину возможной, тому смена ярлыка не дает ничего.

Есть и еще одна причина, по которой спор о ярлыках не приближает к истине. Дело в том, что обществоведы и публицисты отнюдь не пришли еще к единому пониманию основных терминов, начиная с самых основополагающих, таких, как «социализм», «обобществление», «планомерность». Это не значит, что такого понимания нет вообще — оно существует, хорошо известно науке. Но многие авторы со школьной скамьи впитали сталинское представление об этих понятиях, даже не подозревая, видимо, о том, что марксистско-ленинское представление иное.

Это случается отнюдь не только со сторонниками догматических воззрений сталинского толка, но и с авторами, глубоко убежденными в критическом характере своего подхода к сталинизму. Наглядный пример — статья А. Ципко.

Возьмем, например, его суждения о таком основополагающем понятии, как обобществление. Автор, правда, не поясняет, как он сам толкует это понятие, но вполне определенное представление возникает из самих словосочетаний, в которых А. Ципко употребляет этот термин: «...Существует мнение, что в принципе, в основе командная модель социализма, тотальное обобществление средств производства, наиболее адекватно передает сущность научного социализма». «Можно ли было избежать насилия над крестьянством при твердом убеждении, что обобществленный труд, коллективный труд на земле является экономической необходимостью?» «Негативное отношение к крестьянину как к мелкому производителю, частнику было порождено верой в возможность чистого нетоварного, безрыночного социализма, где крупное обобществленное производство вытеснит все другие формы организации труда».

Теоретическая смелость А. Ципко сводится здесь к выворачиванию сталинских представлений наизнанку. У Сталина, как раньше у «левых коммунистов», обобществление — это непременно хорошо; у А. Ципко — непременно плохо. Но что же такое обобществление? А. Ципко отождествляет его с «командной моделью социализма», с насилием над крестьянством и коллективным трудом на земле, с нетоварным, безрыночным социализмом. Расходясь со Сталиным и прочими «левыми» в эмоциональных и политических оценках обобществления, А. Ципко сходится с ними в самом понимании этого процесса. Отсюда и объединяющая их вера в неограниченную возможность субъективного воздействия на ход этого процесса, в способность правителя подхлестнуть обобществление (как делал Сталин) или отказаться от него (как полагал бы желательным А. Ципко).

Но при чем здесь марксистско-ленинская революционная доктрина?

Разве Маркс считал, что социалистическое революционное правительство будет порождать обобществление? Нет, он полагал, что обобществление порождается объективным ходом развития производительных сил, что оно происходит в недрах капитализма и лишь следствием этого процесса будет социалистическая революция. Вспомним слова Маркса о том, что обобществление и связанная с ним экспроприация многих немногими «...совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства, путем централизации капиталов». И общую характеристику процесса: «Рука об руку с этой централизацией, или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается кооперативная форма процесса труда в постоянно растущих размерах, развивается сознательное техническое применение науки, планомерная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное употребление, экономия всех средств производства путем применения их как средств производства комбинированного общественного труда, втягивание всех народов в сеть мирового рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима» [1].

Как видим, обобществление по Марксу не только не предполагает отрицание рынка, но сопровождается расширением сферы рыночных отношений. Нет ни слова и о командной модели в связи с обобществлением. Правда, упоминается кооперативная форма процесса труда и коллективное употребление средств труда, но это нечто совсем иное, чем «коллективный труд на земле» в сталинских колхозах. Кооперация по Марксу — неразлучная спутница специализации, предполагающая обмен плодами специализированного производства. Это коллективный труд в широком смысле, не связанный рамками отдельного предприятия — ни единоличного крестьянского хозяйства, ни колхоза.

Образец такого обобществления — современная американская семейная ферма, описанная в последние годы Ю. Черниченко, В. Лищенко и А. Стреляным. По сталинским критериям, которые вольно или невольно воспроизводит А. Ципко, эта ферма стоит на низшей ступени обобществления: ведь владеет ею и на ней работает одна-единственная фермерская семья — ни дать, ни взять российские единоличники. Но если не ограничиться туристским взглядом на отдельно стоящий фермерский домик, если не ограничиться также фиксацией факта юридической принадлежности хозяйства одному лицу, если изучить производственные и финансовые связи современной американской фермы, то станет ясно, что подлинная степень обобществления (по Марксу и Ленину) на американской ферме куда выше, чем в сталинских колхозах. Типичная американская ферма сегодня — лишь станок на огромной агропромышленной «фабрике», неспособный и дня прожить без связей с нею.

Попытки «подверстать» Маркса, Энгельса, Ленина под Сталина рассыпаются при объективном изучении подлинных документов. Конечно, в десятках томов сочинений классиков среди сказанного в разное время и по разным поводам можно выбрать цитаты, созвучные тем или иным суждениям Сталина. Но это либо высказывания Ленина времен «военного коммунизма», отвергнутые позднее самим Ильичем, либо общетеоретические, более или менее абстрактные суждения, обычно относящиеся к доктябрьскому периоду или к самым первым месяцам революции. Как писал Г. Водолазов в упоминавшейся книге «От Чернышевского к Плеханову», «особенность абстрактной теории состоит в том, что противоречия, в ней заключающиеся, не выявлены и не противопоставлены друг другу. И конкретизация как раз и состоит в том, что «абстрактные» (неясные и неощутимые, или едва ощущаемые, «размытые») противоречия проясняются. Внутренние, скрытые противоречия единого прежде учения получают самостоятельное развитие, самостоятельное существование. Одна из сторон прежнего учения становится самостоятельной теорией и направляется против другой его стороны».

Такой абстрактной, с неясными или едва ощутимыми внутренними противоречиями была марксистская доктрина социалистического строительства до февраля 1917 года. Уже в предоктябрьских работах («Грозящая катастрофа и как с ней бороться», «Удержат ли большевики государственную власть?»), раз-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 23, стр. 772.

вивая большевистскую программу действий в конкретной ситуации, Ленин начал видоизменять некоторые крупные детали в направлении, явно расходящемся с левацкими представлениями. С первых месяцев 1918 года, со схватки Ленина с «левыми коммунистами», стало очевидным закономерное раздвоение единого прежде учения. Правда, мирная передышка (от заключения Брестского мира в марте до чехословацкого мятежа в мае) оказалась слишком короткой для полной разработки путей приложения марксистской теории к российской практике. На три года задержалась выработка таких существенных деталей ленинской доктрины, как переход от концепции «единой фабрики» в масштабах страны — к концепции хозрасчетного обособления предприятий, от безденежного распределения и продуктообмена — к торговле и правильному денежному обращению, от непосредственно коммунистической опоры на энтузиазм — к «личному интересу». Но начиная с 1921 года определились и детали.

Так или иначе, начиная ли с 1918 года или с 1921-го, определенно существовали два направления, два типа, две «модели», как сейчас говорят, социализма и социалистического развития. К 1928 году левацкая модель была известна уже в нескольких вариантах: «левые коммунисты» 1918 года во главе с Бухариным, троцкистская платформа 1923 года, «новая оппозиция» 1925 года, оппозиционный блок 1926—1927 годов. Все левацкие модели уходили своими корнями в теоретическую марксистскую концепцию, которая до Октября оставалась нерасчлененной: даже крупные детали, оказавшиеся потом в центре полемики и борьбы, были неразличимы. Да, левацкие утопии — марксистские по происхождению. И та реалистичная модель, которую в 1918—1923 годах наиболее полно представил Ленин, а в 1925—1928 — Бухарин, тоже марксистская. Ленин и «леваки» начинали свой путь с одной и той же теоретической марксистской платформы, но пошли от нее в разные стороны. Две модели все более расходились по мере того, как дорога революции приводила к развилкам, которых нельзя было предвидеть заранее. В итоге подлинный дух марксизма выразила в своем развитии одна из двух моделей — ленинская. Добавим, что после Октября Ленин развивал свою концепцию социалистического строительства необычайно быстро, так что, к примеру, уже осенью 1921 года его представления о нэпе серьезно продвинулись вперед по сравнению с весной того же года. Нет сомнений, что к 1929 году, будь он жив, Ленин продвинулся бы в своих представлениях намного дальше того, что успел понять в 1923-м. Так что, строго говоря, прямое сопоставление слов и действий Сталина в 1929 году с любыми более ранними суждениями классиков марксизма вообще не может служить доказательством тождества взглядов. Можно сопоставлять лишь направления развития мысли.

Поэтому и утверждение, что Сталин был марксистом, фактически верно определяя его политическое происхождение, в то же время никак не объясняет происхождение сталинизма. Необходимо еще выяснить, к которому из двух течений послеоктябрьского (и, добавим, послеленинского) марксизма относится сталинизм. Весьма знаменательно, что именно сталинская и сталинистская политэкономия всячески избегала признания самого факта существования двух моделей социализма, объявляя одну из них (назовем ее хозрасчетной) несоциалистической: либо еще неразвитой, переходной и подлежащей устранению (ленинский нэп), либо «ревизионистской» (всякие предложения такой политики позднее). Критики, подобные А. Ципко, тоже изображают марксистско-ленинскую модель социализма как нечто единое и раз навсегда данное.

Сопоставляя позиции, замечаешь удивительную закономерность: все, что для Ленина было трудно, для Сталина — легко и просто. Там, где Ленин видел коренную проблему длительной переделки массовой психологии с помощью нового экономического строя, там для «коммунистических бюрократов» существовала лишь проблема манипулирования массами — от бухаринского призыва на VII съезде «давить на массы» до сталинского «великого перелома». Из этого главного различия вытекали все прочие, частные расхождения. Вот какими категориями мыслил Ленин, например, в статье «О кооперации»:

«Но чтобы достигнуть через нэп участия в кооперации поголовно всего населения — вот для этого требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия. Но все-таки это будет особая историческая эпоха, и без этой исторической эпохи, без поголовной грамотности, без достаточной степени толковости, без достаточной степени приучения населения к тому, чтобы пользоваться книжками, и без материальной основы этого, без известной обеспеченности, скажем, от неурожая, от голода и т. д.,— без этого нам своей цели не достигнуть» [1].

Так писал Ленин. А вот в 1931 году держит речь Сталин:

«Говорят, что трудно овладеть техникой. Неверно! Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Мы решили ряд труднейших задач. Мы свергли капитализм. Мы взяли власть. Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию. Мы повернули середняка на путь социализма. Самое важное с точки зрения строительства мы уже сделали. Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать».

Здесь вся ленинская иерархия задач перевернута — что Ленину трудно, то Сталину легко. «Мы взяли власть» — какие еще могут быть трудности! Сталинский подход был, без сомнения, милее любому бюрократу — Ленин требовал очень уж многого, тогда как Сталин ставил задачу просто и ясно. В 1919 году, в самый разгар войны и «военнокоммунистических» увлечений, Ленин не забывал главного:

«...чтобы победа была полная и окончательная, надо еще взять все то, что есть в капитализме ценного, взять себе всю науку и культуру». Это из речи «Успехи и трудности Советской власти». В той же речи Ленин вполне логично подходит и к вопросу о роли насилия: «...глупо воображать, что одним насилием можно решить вопрос организации новой науки и техники в деле строительства коммунистического общества. Вздор! Мы, как партия, как люди, научившиеся кое-чему за этот год советской работы, в эту глупость не впадем и от нее массы будем предостерегать. Использовать весь аппарат буржуазного, капиталистического общества — такая задача требует не только победоносного насилия, она требует, сверх того, организации, дисциплины... создания новой массовой обстановки, при которой буржуазный специалист видит, что ему нет выхода, что к старому обществу вернуться нельзя, а что он свое дело может делать только вместе с коммунистами...

Задача — громадной трудности, на которую, чтобы полностью решить ее, надо положить десятки лет!» И далее: «...они буржуа насквозь, с головы до пяток, по своему миросозерцанию и привычкам.

Что же, мы разве выкинем их? Сотни тысяч не выкинешь! А если бы мы и выкинули, то себя подрезали бы. Нам строить коммунизм не из чего, как только из того, что создал капитализм» [2].

А Сталин десятью годами позже, в мирное время, при неизмеримо упрочившейся Советской власти, не видел возможности «заставить служить нам» кулаков — своего рода буржуазных специалистов деревни. «Сотни тысяч не выкинешь»? А почему бы и нет? Сталин доказал, что можно выкинуть и миллионы.

Нет, не только с точки зрения уплаченной цены и затраченного времени, но и с точки зрения «качества продукции» социализм в сталинском понимании не может нас устраивать. Ведь не просто индустрия строилась, не просто развивалось сельское хозяйство — развивались социалистическое отношение к труду, социалистическая культура труда, социалистическое сознание. У Ленина эти задачи всегда были первыми, даже в гораздо более трудные годы. «Культура» — у него слово почти навязчивое. Заботу «об охране каждого пуда хлеба, угля, железа» [3] он рассматривал не как источник материального богатства, а как показатель воспитания нового человека, нового отношения к труду. Высшая фаза развития коммунизма у него («Государство и революция»)

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 372.
[2] Там же, том 38, стр. 56, 58—59.
[3] Там же, том 39, стр. 22.

предполагает не только «не теперешнюю производительность труда», но и «не теперешнего обывателя»[1].

Человек, принуждаемый к труду насилием, ощущать себя хозяином не может. Между тем в некоторых условиях насилие становится неизбежным для поддержания производства. В развитии трудовых отношений переходной формации есть свое закономерное равновесие, и если оно нарушается, то насилие возникает даже независимо от чьей-то воли. Как известно, в основе феодализма — внеэкономическое принуждение к труду, в основе капитализма — экономическое, в основе коммунизма — труд без принуждения. А при социализме элементы коммунистического отношения возникают лишь постепенно, поначалу — лишь у меньшинства трудящихся. Причем сама техника (масса труда тяжелого, вредного, однообразного) во многих случаях исключает коммунистическое отношение в чистом виде, то есть труд ради того удовлетворения, которое дает сам процесс труда. Поскольку этот процесс нередко еще таков, что удовлетворения дать не может, люди наиболее передовые преодолевают тяготы труда сознанием общественной полезности его результатов. Но так относятся к труду не все, а общественное производство требует выполнения своих обязанностей именно всеми. Да и для распределения при социализме такой труд не дает объективной основы. Остается естественное для переходного периода сочетание трудовых отношений прошлого и будущего: экономического принуждения и коммунистического отношения к труду. В соотношении этих двух элементов необходимо равновесие, нельзя опережать объективный ход развития. Ибо забегание вперед с отменой экономического принуждения создает пустоту, недостаток стимулов к труду. И если равновесие не восстанавливается немедленно, то повседневные нужды производства заставляют волей-неволей возмещать этот недостаток экономического принуждения еще более древним инструментом — принуждением внеэкономическим.

В годы первой пятилетки неравновесие в трудовых отношениях было для Сталина таким же очевидным, как неравновесие на рынке, в финансах, материальном балансе и прочих сферах экономики. В речи на июньском совещании хозяйственников 1931 года Сталин сказал: «...мало вы найдете предприятий, где бы не менялся состав рабочих в продолжение полугодия или даже квартала, по крайней мере, на 30—40%». Даже современный хозяйственник, приученный к солидной текучести, нашел бы эту цифру чудовищной. Решение нашлось легко. Чугун или кирпичи не подчиняются команде, но люди должны подчиниться. Если проблема в том, что они слишком часто увольняются по собственному желанию,— запретить это, только и всего. Запрет свободного выбора работы, годы тюрьмы за украденную горсть гвоздей — таковы были трудовые законы при Сталине отнюдь не только в военное время. Какого сорта социалистическая культура из этого выковывалась, Сталина, очевидно, не волновало.

Для качества нового строя оказалось небезразлично не только **когда**, но и **как**. Развитие промышленности и колхозов по принципу «числом поболее, ценою подешевле» не только снизило культуру труда, не только обесценило труд, но и обесценило человеческую личность. Хозяйственный ущерб от этого поправить было легче: объявили на вторую пятилетку главным «пафос освоения» вместо «пафоса нового строительства» и уменьшили диспропорции. А вот исправить сдвиг в массовой психологии было труднее, да Сталин и не собирался это делать. Его устраивала психологическая подготовка строителей нового общества к тому, что враг массовидей, а насилие над массой людей оправданно.

Ряд современных авторов упрекают революцию в первородном грехе насилия, который якобы и был причиной гибели революционеров от рук Сталина. Так, А. Ципко пишет: «О действиях Сталина можно судить объективно лишь с позиции безоговорочного отвращения к насилию, исходя из того, что никто не вправе покушаться на жизнь другого человека. Тут нет предмета для спора. Смущает лишь, что многие из тех, кто осуждает сталинщину, не хотят делать принципиальные, а не частные выводы из всего случившегося с нами». Принципиальным выводом, устраивающим А. Ципко, было бы, очевидно, осуждение

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 33, стр. 97.

революционного насилия как такового, отождествление всякого насилия со сталинским — подобно тому, как выше он открытым текстом отождествляет революционный террор со сталинским: «Террор сталинщины нельзя обосновать, так же, как нельзя обосновать предшествовавший ему террор времени гражданской войны».

Не видавши своими глазами гражданскую войну, не берусь судить, возможно ли среди ее ужасов точно определить, какая именно мера террора необходима и неизбежна. Не сомневаюсь, что теоретически мыслимая мера в жизни превышалась тысячи раз. Но А. Ципко говорит не о мере — он отвергает революционный террор и насилие вообще. Почему? А нипочему. Отвергает — и все. Но ведь идея ненасильственного действия насчитывает многовековую историю. О ней написаны сотни томов. Были случаи, когда она приносила успех революционерам, свергающим враждебную государственную власть. Но ее еще никому не удавалось осуществить в ходе защиты государства. И сами последователи великого Ганди столкнулись с трагическим фактом невозможности защитить Индию без насилия.

А у нас не Индия. Традиции ненасилия в России гораздо слабее, зато насилие правящих классов над трудящимися было законом повседневной жизни в течение веков. В Октябре еще живы были люди, помнившие крепостное право, телесные наказания, узаконенное рукоприкладство. Страна жила в состоянии гражданской войны фактически с 9 января 1905 года. Россия 1917 года искала в революции прежде всего выход из международной бойни. Надежды на буржуазно-демократический путь освобождения от насилия были последовательно убиты июльским расстрелом в Петрограде, приказом Керенского о восстановлении расстрелов на фронте и корниловским мятежом. Красный террор был объявлен после правоэсеровского мятежа — а это не только раны Ленина, но и горы трупов в Ярославле и повсюду, где мятежники смогли захватить власть.

Насилием была пропитана сама жизнь, приведшая к власти большевиков. Тем важнее отметить, что одним из первых шагов Ленина был удивительный пример ненасильственных действий государства: односторонняя ликвидация русской армии и согласие на Брестский мир. Но ведь и для успеха этого акта ненасилия во всемирном масштабе потребовалось самое решительное насилие в собственной столице: подавление мятежа левых эсеров всеми средствами, вплоть до артиллерийской пальбы. Очевидно, историк, задним числом предписывающий нашим дедам безоговорочное отрицание насилия, обязан по меньшей мере доказать, что у них был какой-то ненасильственный путь к ненасилию.

Неудобно напоминать общеизвестное, но почему же стало удобно общеизвестное забывать? Впрочем, наша задача в данном случае — уточнить принципиально важное обстоятельство: сталинское насилие не было прямым и непосредственным продолжением волны революционного насилия. Именно революция нашла выход из самого страшного насилия — гражданской войны. Уже начинавшаяся после войны красных с белыми и казавшаяся неизбежной война красных с «зелеными», а по сути рабочих с крестьянами, была остановлена и обращена в политику «смычки» в 1921 году, получившую новое развитие в 1925-м. Так что сталинское насилие в отличие от революции и гражданской войны отнюдь не было единственным выходом из предшествующего насилия или ответом на насилие политического противника. Сталин развернул террор во имя цели, достижение которой посредством террора не предлагали ни Маркс, ни Ленин: не во имя разрушения старого, а во имя (как он утверждал) созидания нового общественного строя.

Декларации А. Ципко о неприятии насилия адресуются поколению революционеров, которое до революции претерпело на себе бесконечное насилие старой власти, которое в результате революции приняло ответственность за страну, погруженную в насилие с головой, и все-таки в отличие от прежних властей — царя и Керенского — сумело привести страну к миру, остановить цепь насилия. И одновременно А. Ципко умудряется снять вину со Сталина, который в 1928 году стал единоличным властелином страны мирной и обеспеченной, уверенно шед-

шей к процветанию, и вверг ее в насилие, унесшее за пять лет больше жизней, чем первая мировая война. Это и есть объяснение истоков сталинизма?

Не более убедительны и повторяющиеся ссылки на ответственность большевиков за «преждевременную» революцию в отсталой стране. Сталин применил террор, когда на повестку дня встала задача формирования новой, развернутой социалистической культуры, нового, социалистического сознания. Эта задача присуща отнюдь не только России, не только вообще отсталым странам — присуща и передовым по той отмеченной Лениным причине, что пролетариат вообще не может создать при капитализме (хотя бы и развитом, передовом капитализме) развернутую собственную культуру. Культуру, которая отличается от революционного сознания пролетариата при капитализме не только как развернутая система от отдельных элементов. Есть отличие принципиально более важное — отличие сознания революционных **разрушителей** старого строя от сознания революционных **строителей** нового — на это отличие настойчиво указывал Ленин. Он же дал и первый — в мировой истории первый — толчок выработке новой культуры на практике.

Дьердь Лукач, венгерский революционер 1919 года и один из крупнейших философов-марксистов последующих десятилетий, незадолго до смерти сказал столь же много о сложности этой проблемы, сколь мало — о путях ее решения:

«Человек типа Гевары был героическим представителем якобинского идеала — его идеи проходили через всю его жизнь и полностью определяли ее. Он не был первым таким человеком в революционном движении. Левине в Германии, или Отто Корвин здесь, в Венгрии, были такими же. Такое благородство заслуживает глубокого человеческого поклона. Но их идеализм не для повседневной жизни при социализме, которая может опираться только на материальный базис, создаваемый при строительстве новой экономики. Однако я должен добавить немедленно, что экономическое строительство само по себе никогда не порождает социализм. Абсолютно ошибочным было представление Хрущева, будто социализм победит в мировом масштабе, как только стандарты жизни в СССР превзойдут американские. Проблема совсем в другом, ее можно сформулировать примерно так. Социализм — первая в истории экономическая формация, которая не порождает самопроизвольно соответствующего ей человека, как классическое капиталистическое общество естественно порождает своего **хомо экономикус**, разделенного гражданина-буржуа 1793 года и де Сада,— функция социалистической демократии заключается именно в **обучении** ее членов в социалистическом духе. Функция беспрецедентная, не имеющая аналогии ни с чем в буржуазной демократии. Что нужно сегодня, так это, бесспорно, ренессанс Советов — системы демократии рабочего класса, которая возникает каждый раз вместе с пролетарской революцией — в Парижской Коммуне, в русской революции 1905 года и в Октябрьской революции. Но это не происходит в одну ночь. Проблема в том, что рабочие безразличны к этому: они ни во что не верят авансом».

Думаю, проблема не вполне ясна и сегодня — решение будет нащупываться постепенно, рождаться самой практикой. Но ясно уже сейчас: путь, на котором не найти ответа, способ, которым нельзя решить задачу создания новой культуры,— это именно сталинский способ. Суть его можно выразить одним словом: насилие. Этот стержневой принцип Сталин тоже придумал не сам. Задолго до того, как Сталин применил его на практике, этот принцип был разработан и обоснован теоретически. Вот что писал «левый» Бухарин в «Экономике переходного периода» в 1920 году:

«...**необходимо уничтожение так называемой «свободы труда». Ибо последняя не мирится с правильно организованным, «плановым» хозяйством и таким же распределением рабочих сил. Следовательно, режим трудовой повинности и государственного распределения рабочих рук при диктатуре пролетариата выражает уже сравнительно высокую** степень организованности всего аппарата и прочности пролетарской власти вообще». «С более широкой точки зрения, т. е. с точки зрения большего по своей величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».

Не случайно в одном и том же сочинении шла речь и об «отмене политэкономии», и о «созидательном» насилии над трудящимися. Бухарин понимал, что насилие над объективными законами развития общества неизбежно связано с насилием над людьми. Понимал и не видел причин скрывать призыв к тому и другому. Ведь он тогда искренне считал насилие подходящим средством для строительства нового общества. Во время «военного коммунизма» он не один так думал. Но позднее такие намерения не могли быть результатом добросовестного заблуждения — только злого умысла.

После 1921 года, когда свершился суд над «военным коммунизмом» и его идеологией, включая бухаринскую «Экономику переходного периода»,— после всего этого уже нельзя было говорить, что при социализме исчезает политическая экономия, исчезают экономические законы и потому можно делать все, что хочешь. Вот почему Сталин если и делал то, что Бухарин-«левый» предлагал, то обосновывал это иначе, другими словами. В «Экономических проблемах социализма в СССР» Сталин писал, что объективные экономические законы существуют. Но как-то так получалось, что это не мешает делать все, что хочешь,— такое уж было у Сталина понимание законов.

В противоречии с марксовой и ленинской оценкой капитализма как полнейшей материальной подготовки социализма Сталин заявляет, что Советская власть должна была создать социалистические формы хозяйства «на пустом месте». Одно это заявление Сталина уже определяло весь подход к делу: раз в наследство досталось лишь «пустое место», нечего и разбираться в объективных свойствах имеющегося человеческого материала и экономических ресурсов. И Сталин учит: «Можно ограничить сферу действия тех или иных экономических законов...», «закон стоимости не имеет регулирующего значения в нашем социалистическом производстве...», «нужно выключить излишки колхозного производства из системы товарного обращения и включить их в систему продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами».

Сам строй мыслей Сталина был таков, что даже когда он опирался на суждения Ленина, то в его, сталинском, изложении необъяснимым образом получалось «совсем наоборот». Вот он приписывает Ленину решение «...сохранить на известное время товарное производство (обмен через куплю-продажу), как **единственно приемлемую** для крестьян форму экономических связей с городом...». Вроде бы все верно — но все неверно, как неверен «правильный» ответ на неправильно поставленный вопрос. Да, Ленин исходил из сохранения товарного производства в переходный период, но ему никогда не пришло бы в голову приписывать себе решение «сохранить товарное производство». Ведь с таким же успехом можно разрешать дождю литься. Для Ленина вопрос стоял так: сохраняется ли товарное производство как объективный элемент экономических отношений при общественной собственности на средства производства? Он надеялся (заранее теоретически предполагал — вслед за Марксом), что не сохраняется. Но, понаблюдав за хозяйственной практикой в первые полгода нэпа, сделал вывод: нет, сохраняется, продуктообмена не получилось, получилась торговля. И решение он принимал не о том, что от воли правительства не зависит (сохранять ли товарные отношения), а о том, как, коль скоро установлено, что товарно-денежные отношения не умерли, организовать управление производством.

Сталин же на нескольких страницах «Экономических проблем» доказывает, что еще не приспело время «устранить товарное производство». Не о том толкует, что это невозможно в принципе, а о том, что пока не надо, не пришло время. И вполне определенно говорит, что придет такое время, и рассуждает, каким способом тогда лучше будет это самое... «устранить». Способ оказывается простой: ликвидировать единственную помеху — колхозную собственность. И лик-

видация произойдет, по всей вероятности, очень просто: «путем организации единого общенародного хозяйственного органа (с представительством от госпромышленности и колхозов) с правом сначала учета всей потребительской продукции страны, а с течением времени — также распределения продукции...» Не знаешь, чему больше дивиться: теоретической, ну, скажем, смелости этого рассуждения (план перестройки общественных отношений путем создания нового ведомства) или административному лицемерию: уж кто-кто, а Сталин-то прекрасно знал, что колхозы не распоряжались своей продукцией, как не распоряжались ею и государственные предприятия.

«Подняв» колхозную собственность «до уровня общенародной», предлагалось немедленно оказаться в коммунизме. Непостижимая скромность помешала Сталину проделать это при жизни — ведь в его описании это было так просто, вполне осуществимо имевшимися у него средствами.

С позиции Ленина, рассматривавшего разноукладность экономики как проблему коренную, долговременную, решаемую на длительном пути сложного общественного развития,— с этой позиции Сталин перешел на позицию заурядного бюрократа, рассматривавшего наличие разных укладов как техническую помеху в текущих делах (например, хлебозаготовках), соответственно устранимую простыми административными средствами. Насколько же дальше смотрел Маркс, располагавший для анализа куда меньшим историческим опытом! Он не мог еще, не зная социалистической практики, определить такую «деталь» (в масштабах всемирной истории), как сохранение товарно-денежных отношений на стадии переходной — социалистической. Он не мог знать, завершится ли превращение науки в непосредственную производительную силу до захвата политической власти пролетариатом, одновременно с ним или много позже. Он не знал и о длительности переходной стадии (как не знал о ней до Октября никто другой). Но принципиальную связь решающих общественных процессов он видел куда лучше, связывая (в подготовительных рукописях к «Капиталу») устранение товарного производства лишь с умозрительно представляемым качественным скачком в развитии производительных сил. Как мы знаем теперь, подобный скачок невероятно удален во времени. Понять и принять такую сущность общественно-экономических процессов, ведущих к коммунизму, значило бы для Сталина отказаться от всех своих методов, отказаться от самого себя. Он предпочел отбросить эти «пустяки».

По Сталину, необходимо «обеспечить» преимущественный рост производства средств производства. Он обсуждает, можно ли «отказаться от примата производства средств производства», и рьяно доказывает, что «отказаться» нельзя. Между тем Маркс показывал действие этого закона на материале современного ему капиталистического хозяйства, где этот закон действовал даже никем не осознанный, действовал потому, что такова была объективная необходимость. Другое дело, что при социализме появляется возможность реализовать закономерные пропорции сознательно, то есть с меньшими потерями. Но предполагать, будто их можно по желанию и не реализовывать, значит, мягко говоря, преувеличивать свои возможности.

Признать наличие объективных требований к плану и к тем, кто планирует, значило для Сталина лишить себя возможности под видом планирования издавать директивы помпадурского свойства. Между тем этот прием, послуживший в конце 20-х годов средством захвата им власти, в дальнейшем стал целью, стал одним из главных проявлений этой власти. Трудно сказать, на какой стадии сталинское планирование причинило больший ущерб — в первой пятилетке, когда он занялся ускорительством, или после войны, когда на склоне лет он выдавал планы, прямо тормозящие развитие экономики. В знаменитой предвыборной речи 1946 года он заявил, что для того, чтобы иметь «гарантию от всяких случайностей», надо производить 50 миллионов тонн чугуна в год, 60 миллионов тонн стали, 500 миллионов тонн угля и 60 миллионов тонн нефти, на что уйдет, по его мнению, три-четыре пятилетки. Через три пятилетки, в 1960 году, было произведено 46,7 миллиона тонн чугуна, 65,3 миллиона тонн стали, 509,6 миллиона тонн угля, 147,9 миллиона тонн нефти — и никто не

считал это гарантией от всех случайностей. Не столь велик был количественный просчет Сталина, сколь качественный, принципиальный просчет. Как и двадцать лет назад, он требовал побольше угля и чугуна, а нужно было гораздо больше нефти, гораздо важнее названных им отраслей становились неназванные — энергетика и химия, а еще важнее — преследуемые и гонимые: кибернетика и, в другой области, генетика. Перст вождя стал указывать не вперед, а назад, и в этом тоже была своя закономерность — закономерность развития произвола, поименованного впоследствии субъективизмом.

Интересно, что даже такой внешне решительный критик Сталина, как Джилас, в молодости один из лидеров Союза коммунистов Югославии, а в зрелые годы враг его, в своем нашумевшем некогда «Новом классе» смотрит на события сквозь сталинские очки, только перевернув их. Сталин объявлял себя продолжателем дела Маркса и Ленина, утверждая, что плоды его трудов прекрасны. Джилас безоговорочно изображает Сталина продолжателем дела Маркса и Ленина, утверждая, что плоды их общих трудов ужасны. На самом же деле плоды сталинской деятельности ужасны постольку, поскольку Сталин предал дело Маркса и Ленина.

По Джиласу, сталинская бюрократия выросла из дореволюционной ленинской партии, и большевики-подпольщики были основой этой бюрократии. Джилас даже не считает нужным сделать какие-либо оговорки по поводу того, что основная масса большевиков-подпольщиков стала жертвой сталинского террора. И главной целью уничтожения людей было уничтожение идеи, носителями которой они были (или могли стать), уничтожение прежней политической тенденции и закрепление новой.

Попробуем подвести итог этому уничтожению идей. Ленин, осмысливая опыт революции, прошел путь от утверждения, что «социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»[1] (1917 год), до великой мысли, что социализм есть «строй цивилизованных кооператоров»[2] (1923 год). Разница между государственной (пусть не капиталистической) монополией и строем кооператоров понятна без объяснений. Сталин же довел государственную монополию до степени бюрократической диктатуры, опирающейся на безграничный террор. Ленин добился разработки идеи рабочей демократии в партии и величайшей революционной силой считал демократическую власть трудящихся, осуществляемую через Советы. Сталин уничтожил и власть Советов в ленинском понимании, и партийную демократию. Ленин видел столбовую дорогу мировой революции в единении всех антиимпериалистических сил. Сталин «левым» сектантством ослабил рабочее движение в час решающей схватки с фашизмом. (В 1929 году даже в Болгарии, где фашистскую диктатуру знали не понаслышке, на волне повсеместной борьбы с «правым уклоном» Димитрова и Коларова третировали как «правых» за их политику единого фронта.) Можно продолжить этот перечень, упомянув экономические отношения, национальную политику и многое другое. Но достаточно и этого, чтобы убедиться: Сталин не просто устранял соперников в борьбе за личную власть, но добивался этого с помощью радикального политического переворота.

Конечно, в дальнейшем, сделав главное — захватив власть,— он применял на практике многие элементы не своей, а ленинской политики. Отчасти этого требовали соображения маскировки, ибо факт переворота, совершенного в 1928—1930 годах, был семейной тайной, которая скрывалась даже более тщательно, чем подлинный характер борьбы с «врагами народа» в 1937 году. Отчасти сказывались соображения чисто прагматические. Так, отказ от чрезмерных плановых темпов во второй пятилетке был вызван слишком очевидным разрушительным действием ускорительства на народное хозяйство.

Иногда у Сталина оказывались руки коротки сломать то, что он хотел бы сломать. Так было с колхозами. Палками загоняя туда крестьян, он думал, что

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 34, стр. 192.
[2] Там же, том 45, стр. 373.

создает маршевые роты, которыми легко будет командовать. Он не предвидел, какие внутренние силы таит в себе демократическая организация, которая сама распределяет прибавочный продукт и сама избирает своих руководителей. Только увидев колхозы в деле, Сталин понял, что форсировал рождение силы, не подвластной ему. И возненавидел колхозы лютой ненавистью, которую пронес до последнего своего сочинения, где объявил их «низшей формой» за меньшую способность подчиняться команде. Всю жизнь Сталин душил колхозы как только мог и больше всего — голодом.

Сталинизм не смог стать единственной, всеохватывающей нормой советской жизни, но Сталин в этом не повинен. Он-то старался. Сталин паразитировал на социалистической революции — вот откуда иллюзия единства этих противоположных начал. Сталинизм и революция всегда шли рядом, «обнявшись крепче двух друзей» — кто кого задушит. Прочность иллюзии единства наглядно демонстрирует тот же Джилас в другой своей книге. «Новый класс» написан вскоре после смерти Сталина — сразу можно было и не разобраться. «Встречи со Сталиным» вышли несколькими годами позже, было время и подумать, и документы изучить. Джилас лишь углубил заблуждение. У него Сталин «построил социализм», защищал идеи коммунизма, сделал отсталую Россию индустриальной. Строил и развивал, а не ломал и тормозил развитие — вот как, оказывается. Прямо некрасовский разговор в вагоне: «Кто строил эту дорогу? — Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька». А по бокам-то всё косточки русские...

По Джиласу, Сталин — «монстр», крупнейший преступник всех прошлых и даже будущих времен. И в то же время он призывает «быть справедливым» к Сталину: оказывается, только по-сталински можно было решать стоявшие перед страной задачи, только так можно было ею руководить, только Сталин мог с этим справиться, и он был при этом непревзойденным государственным деятелем своего времени, самым значительным после Ленина. Здесь ярый противник Сталина заговорил вдруг языком самых заядлых его защитников.

Знакомые речи, не правда ли?

После XX съезда и прагматические решения, и принципиальные установки во многом ушли от Сталина — жизнь этого потребовала и во внутренней политике, и во внешней. Но для полного своего успеха работа восстановления разрушенного Сталиным должна быть вполне сознательной, что становится возможным только в пору гласности. Теперь мы получили возможность точно разобраться, на что мы еще смотрим, сами того не замечая, сталинскими глазами, и отделить зерна от плевел. Если мы ставим Сталину в счет только жертвы необоснованных репрессий — остается лишь вздохнуть, что мертвых не поднять. Если же мы считаем, что первой жертвой сталинизма был ленинизм,— работы еще много.

Рождение культа личности Сталина означало убиение личности рядового человека не только как гражданина, но и как труженика. Вылепив психологию манкурта, стремящегося приписывать свершения народа одному Вождю, Сталин одновременно создал и социальный тип нехозяина. Этот многоликий тип — и иждивенец, и слепой исполнитель, и захребетник, и завистливый уравнитель, и несун — гораздо более живуч, чем примитивный сталинист. В роли Хозяина ему не обязательно нужен Сталин — годится любое государство. Лишившись страха и слепой веры, обязательных при Сталине, манкурт не стал человеком — он стал архаровцем из распутинского «Пожара». Как человеческий тип архаровец ниже манкурта, ибо манкурт забыл свою душу волею обстоятельств — архаровец же никогда и не имел души. Переводя это с языка литературы на язык политики, можно было бы сказать, что типичный выразитель брежневщины как человек ничтожнее сталиниста. Но не стоит их противопоставлять. Это близнецы, рожденные в один час истории — час сталинского перелома. Только поняв несчастье их рождения, можно надеяться вылечить общество.

Отчуждение человека — так называл это Маркс. Отчуждение от собственности и от власти. Выбор, сделанный Сталиным, привел к отчуждению от собственности, а затем был закреплен отчуждением от власти.

Исторический выбор — вот что определяет историческую ответственность. Каким бы коллективным ни было руководство партии при Ленине — мы знаем,

что именно Ленин определил выбор в апреле семнадцатого — против буржуазной, за социалистическую революцию, в октябре семнадцатого — за вооруженное восстание, весной восемнадцатого — за Брестский мир, весной двадцать первого — за продналог. После ухода Ленина выбор принадлежал коллективной воле руководства партии один раз, на XIII съезде, когда была отвергнута предложенная в Ленинском завещании идея замены и Сталин остался на своей должности. За всякий последующий выбор отвечает перед историей Сталин — сначала вместе с большинством поименованной Лениным шестерки против Троцкого, затем вместе с Бухариным против остальных, а с двадцать восьмого за все последующее — он один, ибо вокруг остались лишь те, кого он сам назначал и смещал, награждал и убивал. Выбор, сделанный в час рокового перелома, Сталин не только предложил, не только отстоял и навязал стране — именно этот выбор он использовал для того, чтобы, убрав последнего соперника, утвердить свою единоличную власть. За нее полагается и личный ответ перед историей.

Когда сегодняшние арендаторы-фермеры приходят в опустевшие деревни и начинают расчищать заросшие кустарником поля, они не могут не задумываться: с чего же это запустение? Откуда оно и там, где вражье нашествие пережили, и там, где не было этого нашествия? Оно пошло от сталинского великого перелома. От тех времен, когда переломили хребет человеку труда.

О том переломе не может не вспомнить и современный обществовед и политик, когда он, обращаясь к последним работам Ленина, пытается полностью раскрыть смысл одного из самых знаменательных тезисов, отразивших итог жизни великого революционера: «вместе с этим мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм» [1]. Ленин, имевший на диктовку последних работ по нескольку минут в день, раскрыл этот тезис крайне сжато: раньше мы центр тяжести должны были класть на политическую борьбу — революцию, завоевание власти и т. д.— теперь центр тяжести переносится на мирную организационную «культурную» работу.

Да, Ленин начинал с повторения общепризнанного до того в течение десятилетий представления о социалистическом хозяйстве как единой фабрике, но пришел затем к идее социализма как строя цивилизованных кооператоров, поняв за пять лет то, на что иным не хватило и семи десятилетий.

Да, Ленин начинал с представления о кайзеровской Германии как образце планомерной организации производства (хотя и о социалистической предприимчивости упоминал тогда же, в 1918-м), но в итоге пришел к призыву учиться торговать, пришел к уравнению настолько ясному в своей краткости, что исказить его не смог даже Сталин — оставалось только забыть. Вот это уравнение, легко просматриваемое в статье «О кооперации»: социализм равен строю цивилизованных кооператоров, цивилизованный кооператор равен культурному торгашу.

Да, Ленин начинал с политической борьбы, революции, завоевания власти, с революционного насилия. Но пришел к категоричным заключительным словам статьи «О кооперации»: «Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная материальная база)» [2]. При всем желании здесь не найти ни малейшего намека ни на неизбежность обострения классовой борьбы на пути к социализму, ни на призыв к «раскрестьяниванию».

Пожалуй, современный исследователь вправе утверждать, что Сталин как политик прошел сходный путь идейного развития. Но с непременным пояснением: он прошел его в обратном направлении.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 376.
[2] Там же, том 45, стр. 377.

«...ТРЕБУЕТСЯ СМЕЛОСТЬ, РАЗМАХ И ДЕРЗАНИЕ»

ПЯТЬ ПИСЕМ АКАДЕМИКА П. Л. КАПИЦЫ Н. С. ХРУЩЕВУ

Предлагаемые вниманию читателей «Знамени» письма П. Л. Капицы Н. С. Хрущеву относятся к тому периоду нашей истории, который давно уже получил наименование «оттепели». Для Петра Леонидовича Капицы время это было оттепелью вдвойне: 28 августа 1953 года постановлением президиума Академии наук СССР созданная на даче П. Л. Капицы на Николиной Горе «хата-лаборатория» получила официальный статус Физической лаборатории АН СССР, а Петр Леонидович был назначен ее заведующим. Тем самым с него была снята опала, в которой он находился с августа 1946 года из-за конфликта с Берией. П. Л. Капица, который всегда близко к сердцу принимал судьбу нашей науки, судьбу страны, становится снова полноправным советским ученым и активно включается в общественную жизнь Академии наук.

П. Л. Капица оставил большое эпистолярное наследие. В 1989 году в издательстве «Московский рабочий» выйдет в свет книга П. Л. Капицы «Письма о науке».

19 сентября 1953 г., Николина Гора

Глубокоуважаемый Никита Сергеевич,

Не могу не выразить чувства большой радости, связанного с прочтением Вашего доклада на пленуме ЦК [1]. Не только доклад очень интересен даже для человека, стоящего далеко от сельского хозяйства, но главное — это смелость и искренность критики, которую после Ленина у нас стали забывать. Ведь отсутствие боязни открытой критики есть основное свойство сильного общественного строя и признак здорового роста страны.

Хотелось бы, чтобы и по вопросам науки и ее организации мы стали бы так же смело и искренно изучать свои недостатки и ошибки. Несомненно, что иначе нам у себя не создать передовой науки.

Уважающий Вас

Академик П. Л. КАПИЦА

12 апреля 1954 г., Николина Гора

Первому секретарю ЦК КПСС
Товарищу Н. С. Хрущеву

Глубокоуважаемый Никита Сергеевич,

Отрадно, что за последнее время ряд важнейших сторон организации нашей жизни подверглись по-настоящему открытому и критическому рассмотрению. Это сразу привело к тому, что люди получили больше уверенности в правильности пути, по которому идет развитие нашей страны.

[1] 15 сентября 1953 года в «Правде» был опубликован доклад Н. С. Хрущева «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР», с которым он выступил на Пленуме ЦК КПСС 3 сентября 1953 года (Здесь и далее примечания публикатора.)

Но вопросы организации нашей науки почему-то по-прежнему остаются в тени. Надо прямо сказать, что тут у нас неблагополучно.

Поэтому я с большим интересом прочел только что опубликованную передовую в «Коммунисте» под заголовком «Наука и жизнь» [1]. Это хорошая статья, так как она первая, в которой так прямо и правильно ставится диагноз ряда заболеваний нашей науки, хотя средства их лечения не разбираются. Но есть, мне думается, еще более существенная критика, которую можно выдвинуть, и не только против этой статьи, но против очень распространенного у нас упрощенного понимания связи науки и практики.

Принято считать, что главная задача науки — это разрешать насущные трудности, стоящие перед нашим хозяйством. Конечно, наука непременно должна это делать, но это не главное. По-настоящему передовая наука — это та наука, которая, изучая закономерности окружающей нас природы, ищет и создает принципиально новые направления в развитии материальной и духовной культуры общества. Передовая наука не идет на поводу у практики, а сама создает новые направления в развитии культуры и этим меняет уклад нашей жизни. Я говорю о тех созданных наукой, фундаментально новых направлениях, как в свое время, например, было радио, а сейчас — атомная энергия и антибиотики. Эти направления были созданы на базе новых научных открытий и теорий, сделанных в лабораториях и помимо запросов повседневной практики. Конечно, решение этих проблем тесно связано с запросами жизни, но эта связь не тривиальна, что видно хотя бы из того, что обычно эту связь понимают и правильно оценивают только постепенно сперва «ученые» и значительно позже «практики».

Вспомним, как многие годы пренебрежительно относились у нас практики к научным работам по атомному ядру, так как не видели в них реального и быстрого выхода в жизнь. Если науку развивать по рецепту узкого практицизма передовой «Коммуниста», то никогда бы человечество не могло найти путей к использованию атомной энергии. Только смелое выдвижение и решение учеными таких новых проблем делают науку в стране по-настоящему передовой и ведущей.

Идти в науке по новым путям труднее и хлопотливее, их не сразу находят, и в поисках не раз приходится заходить в тупик. Поэтому тут нельзя бояться неудач, тут требуется смелость, размах и дерзание. Вот эти-то условия нам пока и не удается создать, и нужно откровенно признать, что тут мы явно уступаем капиталистическим странам.

В рядовых научных исканиях, основанных на решении насущных запросов практики, где обычно работа может быть организована по хорошо установившемуся плану, где чиновничий бюрократический метод ее организации не особенно мешает работе и где сразу выявляется рентабельность полученных результатов, у нас дело идет неплохо и даже настолько хорошо, что успехами в этих работах у нас в научных учреждениях часто прикрывают отсутствие крупного и передового творчества.

Я глубоко горюю о таком положении вещей. Несомненно, творческих сил у нас достаточно, и все упирается в вопросы организации. Для развития передовой науки нужно, во-первых, поднять на щит фундаментальные теоретические научные проблемы; во-вторых, для этого нужны более культурные и продуманные условия научной работы, чем те, которые существуют у нас сейчас. Нужно помнить, что очередных передовых проблем в науке не много и не много людей, которые любят и умеют их решать. Поэтому, главное — тут нужен тщательный отбор кадров и умная забота о них.

Сейчас Академия наук по заданию Совета Министров отбирает ведущие проблемы во всех областях науки. Сперва казалось, что будут отбирать как раз эти передовые проблемы, которых в каждой области науки на очереди не больше двух-трех. Но на деле оказалось иначе. Уже принято 80 проблем, и самых разнообразных по характеру. Большинство из них не относятся к тому роду ве-

[1] «Коммунист», 1954. № 5.

дущих проблем, о которых я говорю. Ряд ведущих проблем среди них даже отсутствует. Например, среди [принятых] проблем есть такая важная, но не принципиальная проблема: «Борьба с браком на электровакуумных заводах»,— однако отсутствует проблема прямого превращения энергии сгорания угля в электроэнергию. Эта фундаментальная проблема современной электрохимии сейчас, в связи с возможностью эффективной кислородной газификации угля, приобретает более актуальное значение. Я лично думаю, что не пройдет и нескольких десятков лет, как она будет решена, и тогда это революционизирует энергетику, так как изменит облик современных электростанций, их кпд возрастет, они будут проще, не будет паровых машин, котлов и пр.

Наблюдаемое теперь у нас боязливое и холодное отношение наших ученых к новым фундаментальным проблемам не случайно. Оно связано с тем, что <...> ученого у нас запугивали, уж больно часто и много и зря его «били», и больше стало цениться, если ученый «послушник, а не умник». Происходит это потому, что оценивается работа ученого бюрократическими методами, а не научной общественностью. Благодаря нездоровому засекречиванию результатов научной работы теперь мнение общественности совсем исключается. Понятно, что в таких условиях у нас не могут расти передовые ученые.

Основной стимул каждого творчества — это недовольство существующим. Изобретатель недоволен существующими процессами и придумывает новые, ученый недоволен существующими теориями и ищет более совершенные и т. д. А активно недовольные — это беспокойные люди, и по складу своего характера [они] не бывают послушными барашками, т. е. такими, каким любят ученого наши бюрократы, ибо с ними наименее хлопотливо работать.

Конечно, спокойнее ехать на покладистом мерине, но на бегах выигрывает норовистый рысак. <...>

Искренно уважающий Вас

Академик П. Л. КАПИЦА

19 апреля 1955 г.

Глубокоуважаемый Никита Сергеевич,

Я с большим интересом присутствовал на совещании в Кремле по внедрению передовой техники[1]. Мне очень понравилась сильная и дружная критика недостатков, это лучше всего [свидетельствует] о здоровом росте нашей передовой техники.

Из докладов было видно, что отставание от капиталистической техники отдельных отраслей промышленности всегда связано с отставанием в ряде других отраслей, и это указывает на то, что наша отсталость будет изживаться только постепенно, по мере общего роста уровня нашей технической культуры.

По-видимому, ускорить процесс роста новой техники мы можем главным образом путем более правильного планирования. Вопреки заветам Ленина сейчас это наше самое слабое место. Совещание ясно показывало, что часто планирование у нас и бюрократично, и не научно, и не дальновидно, и даже не хозяйственно.

Несомненно, что такие совещания уже сами по себе, если их проводить из года в год, улучшат согласованную деятельность хозяйственников, инженеров, конструкторов и ученых, работающих в различных министерствах, т. е. [могут] сделать то, что сейчас недостает и что необходимо для организованного развития новой техники.

Побывав на совещании в Кремле, я уже не сомневаюсь, что уровень нашей техники лет через 10—15 догонит капиталистические страны, но вот пер-

[1] 15—16 апреля 1955 года в Кремле состоялось созванное ЦК КПСС и Советом Министров СССР совещание конструкторов, технологов, главных инженеров и директоров заводов, работников и руководителей научно-исследовательских институтов и заводских лабораторий. На совещании обсуждались вопросы технического прогресса и внедрения в производство достижений науки и новой техники.

спектива того, как и когда нам удастся перегнать капиталистические страны, меня совершенно не удовлетворяет. Поскольку этот вопрос, к сожалению, не был поднят на этом совещании, я решил Вам написать об этом, может быть, это будет Вам интересно.

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что на совещании не было упомянуто о постановке ни одной более или менее значительной задачи, имеющей целью найти новый и оригинальный путь в технике и этим опередить технику капиталистических стран. Правда, приводилось большое количество случаев, когда у нас делалось изобретение или открытие, значительно опережающее зарубежную технику, но все они у нас мариновались, и за них серьезно брались только тогда, когда их разрабатывали и осваивали за границей. Все эти случаи, когда о них говорили, естественно, вызывали возмущение, но и только, так как никто не указывал даже на мероприятия самого общего характера, которые нужны для того, чтобы предотвратить повторение таких случаев.

Причина этого довольно очевидна. Когда ты догоняешь, то как направление, так и путь тебе указывает тот, кто впереди. Если ты сам находишься впереди, то тебе самому надлежит выбирать как направление, так и искать путь. Очевидно, что во втором случае задача несравненно и качественно труднее, тут нужны не только большая смекалка, но и большая настойчивость и большая смелость.

Сейчас, когда наш инженер или конструктор догоняет капиталистическую технику, то он работает, опираясь в основном на достижения зарубежной науки, и поэтому может безнаказанно пренебрежительно говорить о своей Академии наук. Когда нашим инженерам и конструкторам придется перегонять, то, кроме своих ученых, некому будет освещать им путь, и к ним появится уважение.

Таким образом, и организационные мероприятия, нужные для успешного развития передовой техники, в стадии, когда она догоняет, в корне отличаются от мероприятий, нужных для того, чтобы обеспечить успешный технический рост в стадии, когда она перегоняет. Мероприятия, которые нам нужны сейчас для того, чтобы скорее догнать, четко и дружно предлагались на совещании, в то время как мероприятия [необходимые для того], чтобы перегнать, по существу, почти не затрагивались.

Если развитию нашей передовой техники дать течь так, как это сейчас происходит, то вопрос о решении действительно новых технических проблем, т. е. новых не только для нас, но [и] в мировом масштабе, неизбежно возникнет и у нас, но только лет через 10—15, уже после того, как мы пойдем вровень с капиталистической техникой. Поэтому законно поставить вопрос: правильно ли нам спокойно ждать этого момента? Не следует ли нам, использовав преимущества нашего социалистического строя, дающие возможность государственного управления нашей промышленностью, этот процесс «перегона» начать организовывать несколько раньше и тем самым значительно ускорить наш культурный рост? Конечно, если решать этот вопрос положительно, то вначале это возможно будет сделать только для ограниченного числа крупных задач, относящихся к основным направлениям в нашей технике.

Если пойти в этом направлении, то, очевидно, нужна специальная организация. Назовем эту организацию условно комитетом, и тогда он должен выполнять следующие функции:

1 — Отобрать подлежащие решению проблемы, основываясь на их значимости и на реальности предложенных путей для их осуществления. Для этого в комитет должны входить авторитетные, имеющие широкий кругозор ученые и инженеры, которые могли бы, опираясь на научную общественность, организовывать объективную экспертизу проблем.

2 — Найти и разработать организационные мероприятия по осуществлению работ по отобранным проблемам. Для этого в комитет должны входить опытные и энергичные общественные деятели.

3 — Комитет должен помогать и контролировать развитие работ по этим проблемам. Наблюдать и оберегать эти работы в тех учреждениях, где они бу-

дут вестись. Для этой работы у комитета должны быть соответствующие полномочия и подобран квалифицированный рабочий аппарат для проверки исполнения мероприятий.

4 — Комитет должен иметь возможность организовывать научно-техническую пропаганду, чтобы привлекать внимание научно-технической общественности к решению поставленных задач и таким путем создавать дружелюбную и благоприятную обстановку вокруг таких работ.

Конечно, никаких научных, технических или промышленных учреждений при комитете не должно быть.

Я думаю, что такой комитет должен состоять из небольшого числа человек, всего 6—7, чтобы быть смелым, быстрым, и чтобы комитет не был бюрократичным, его, пожалуй, лучше создавать при ЦК.

Если такие идеи встретят сочувствие, то может быть полезно попытаться и более детально разработать эту схему.

Искренне уважающий Вас

П. Л. КАПИЦА

P. S. Я не могу согласиться с Вашим высказыванием на совещании против научных степеней. В науке степени так же традиционны и нужны, как звания в армии. Несомненно, нужно бороться с их неправильным присуждением и добиваться, чтобы оно было объективным. Правда, здесь у нас много нездорового, и в провинции этого больше, чем в столице. Еще когда я был в ВАКе председателем экспертной комиссии по физике, я не раз указывал, что защита диссертации научного работника у себя в институте часто превращается в семейное дело. Но ликвидировать это просто — надо запретить защищать научным работникам диссертации в том учреждении, где они служат. Я также считаю, что надо ограничить число пунктов, где разрешается защита, и дать это право только самым крупным научным центрам. И наконец, как это бывало прежде в России, по крайней мере для докторского звания, требовать, чтобы работа, представленная к защите, была заблаговременно и полностью напечатана. Это привлекает к контролю над присуждением звания широкую научную общественность.

Оклады научных работников должны определяться занимаемыми должностями, но при обязательном условии, что ряд должностей, в особенности руководящих научной работой и профессуру, нельзя занимать, не имея определенного научного звания. Казалось, провести все эти мероприятия не составляет труда, но, к сожалению, еще тогда они не встретили к себе доброжелательного отношения.

15 декабря 1955 г., Николина Гора

Глубокоуважаемый Никита Сергеевич,

Ровно год тому назад я был у Вас, и, если Вы не забыли, основной темой беседы была судьба нашей советской науки. Эта судьба по-прежнему невеселая. Сейчас, когда я вернулся к активной академической жизни и ближе соприкоснулся с тем, что делается в Академии наук и в ее институтах, я увидел, что по качеству научной работы за последний год мы не только не ушли вперед, но скорее пошли назад. Поэтому я решил снова привлечь Ваше внимание к судьбе науки.

За истекший год ЦК нашей партии серьезно занимался вопросами передовой техники, сельского хозяйства и даже литературы, но вопросы науки не были серьезно затронуты, они как бы оставались в стороне. Такое положение у нас, конечно, удивительно, ибо оно находится в противоречии с основным принципом развития социалистического общества, которое, как это хорошо известно, строится на научной базе.

Из учения Ленина прямо вытекает, что есть два основных показателя, которые выявляют преимущества одного социального строя перед другим. Первый показатель — это производительность труда; второй — это уровень ведущей науки. При этом производительность труда — это дело домашнее, но уровень науки — это еще и дело нашего международного влияния.

История человечества неизменно показывает, что страны с большим международным культурным влиянием в первую очередь имеют ведущую науку.

Сейчас, если наши футболисты успешно забивают мячи в ворота иностранцам, наши боксеры хорошо дерутся, а наши балерины лучше всех крутятся и прыгают, то все это нам очень приятно и лестно, но все же это не убедительные доказательства нашей передовой культуры.

Только когда мы достигнем признания нашей науки как ведущей, это даст нам в мире положение страны, построившей у себя наиболее передовой социальный строй общества.

Обычно руководящие товарищи считают, что забота о науке доказывается той сравнительно крупной суммой, которая ассигнуется на нее в нашем государственном бюджете. Несомненно, крупная сумма ассигнования нужна для успешного развития науки, но еще нужно, чтобы эта сумма была целесообразно использована. К сожалению, у нас этого нет. Сейчас происходит примерно то, что бывает в сельском хозяйстве, если начинать богато унавоживать землю, не заботясь о той культуре, которая будет расти. Известно, что на тучном удобрении сорняки еще лучше глушат полезные растения. Примерно это же начинает происходить у нас в науке. Благодаря высоким ставкам и привилегиям для работников науки в нее устремились сорняки, которые глушат настоящих ученых. Те привилегии для ученых, которые сейчас установлены у нас, могут дать положительный результат только [тогда], когда очень хорошо налажена прополка сорняка, а этого у нас нет. За последние годы у нас получилось следующее положение: сорняки, используя слабость нашей бюрократической системы, забрали такую большую силу, что начали сильно тормозить развитие здоровой науки, так что положение стало угрожающим.

Есть только один правильный, хорошо испытанный способ борьбы с этими сорняками — это здоровое общественное мнение, которого как раз сейчас у нас недостает.

Каких же условий у нас не хватает для развития здорового общественного мнения по ведущим вопросам науки?

Первое и главное условие — это естественное стремление у ученых к свободной дискуссии. Чтобы это стремление у нас появилось, нужно, чтобы человек никогда не боялся высказывать свое мнение, даже если оно будет опровергнуто. Нашему руководству не нужно бояться, что на пути искания научной истины может быть выдвинут ряд ошибочных, неправильных научных положений. Нужно помнить, что правильное научное положение всегда пробьет себе дорогу в жизнь, так как научная истина едина. Как раз тем, что она пробивает себе путь в жизнь, и доказывается ее правота. Это диалектический закон развития познания природы. Не только бесполезно, но крайне вредно декретировать научные истины, как это другой раз делал Отдел науки ЦК и особенно часто, когда им руководил Ю. Жданов. Научная идея должна родиться и окрепнуть в борьбе с другими идеями, и только таким путем она может стать истиной. [Когда] прекращают эту борьбу, достижения науки превращаются в догмы и развитие науки прекращается. Как бы велика и значительна ни была догма, но она статична. Наиболее разительно это произошло у нас с развитием материалистической философии. Сейчас мы в значительной мере превратили полные жизни достижения классиков марксизма в ряд догм, и поэтому философия перестала у нас развиваться. Нам не следует бояться сознавать, что вместо живых, стремящихся с энтузиазмом к познанию природы, передовых, достойных нашего времени ученых-философов у нас сейчас господствуют начетчики типа Нудника из «Крыльев» Корнейчука.

У нас в философии произошло примерно то, что случилось бы с шахматистами, если каждого игрока, проигравшего матч, лишать права игры в шахматы. Очевидно, что в конце концов останется один игрок, правда, сильнейший, но ему не с кем будет играть в шахматы, и игра перестанет существо-

вать. У нас остались одни философы-материалисты, и они разучились спорить, бороться, мыслить. Это неизбежно случилось бы с каждым ученым, даже очень крупным, если ему не с кем было бы бороться за свои взгляды. Мог бы разве Ленин написать свой гениальный труд «Материализм и эмпириокритицизм», если бы не было Богданова, Маха и др., и они ие имели бы в то время возможности безбоязненно высказываться? Надо уметь уважать и заботиться о проигравших игроках, не то пропадет возможность игры. Ленин давал прекрасные примеры уважения к своим оппонентам, хотя безжалостно громил их взгляды.

Все это кажется простыми истинами. Почему же у наших ученых пропали желание и стремление к обсуждению новых идей в науке? Почему научные дискуссии на общих собраниях Академии наук выродились в популярные назидательные лекции? Сейчас заседания Академии наук мало чем отличаются от собрания колхозников в пьесе Корнейчука. Академики Нудники читают оторванные от жизни доклады, обычно по вопросам исторического характера, славя память великих ученых или великие события. Ни дискуссии, ни обсуждения. Поэтому доклады с бо́льшими удобствами и пользой можно прочесть, сидя дома. Сейчас собрание академиков — это не ведущее научное общество, занятое решением передовых вопросов науки, тесно связанное с запросами и ростом нашей культуры, но скорее напоминает церковные богослужения, которые ведутся по заранее начертанному ритуалу. Это не только позорно для передового социалистического государства и для его науки, но это угрожающий симптом замирания здорового общественного мнения и, следовательио, здоровой передовой науки.

Второе условие для развития науки — необходимо, чтобы руководство считалось с общественным мнением и оно лежало бы в основе организации нашей научной жизни. Конечно, общественное мнение не может быть спонтанно, оно должно быть организовано и направляться по здоровому руслу, но никогда не декретироваться. Нельзя забывать заветы Ленина о том, что связь партии с общественностью не может основываться на приказах.

Сейчас трудно не обратить внимания на то, что происходит у нас в биологии. Нигде, может быть, так явно не выступают последствия наших ошибок в организации науки.

Несомненно, игнорирование здорового общественного мнения, стремление декретировать научные истины тут привели к тому, что начал расцветать мощнейший сорняк (Бошьян, Лепешинская и др.). Здоровая наука почти прекратилась, и даже нам, ученым, работающим в других областях, очевидно, что никогда еще наша биология не была качественно на таком низком уровне, как сейчас. Это особенно обидно, так как прежде в ряде основных областей биологии мы были ведущими в мировом масштабе. Об этом свидетельствуют имена Сеченова, Павлова, Тимирязева, Цвета, Мечникова, Виноградского и многих других.

Сейчас ряд наших передовых ученых обратились с письмом в ЦК [1], в котором рисуется печальная картина состояния нашей биологии. Факт такого обращения надо приветствовать, так как это признак возрождения общественного мнения. В этом письме много правильного, может быть, даже все, но нездоровое одно — что ждут от ЦК опять же декретирования в биологии, но только в другом направлении. Правильнее было бы, чтобы письмо было напечатано и организовалась бы честная дискуссия. Несомненно, все здоровые направления в биологии только бы выиграли от этого.

Мне думается, что сейчас самое важное как для развития нашей биологии, так и для развития других областей науки — это организованное выявление здорового общественного мнения путем поднятия ряда спорных и интересных вопросов в областях генетики, кибернетики, космогонии, связи науки с жизнью, ядерной энергетики, теории пространства и времени и др. Обсуждение этих вопросов на собраниях Академии наук и в печати должно быть острым, откровенным, с привлечением зарубежных ученых и философов с самыми разнообразными взглядами. Наших философов надо отучить драться с противником, у которого руки завязаны за спиной. Оии должны выигрывать в свободной борьбе. Кто же боится за исход этой борьбы, тот не верит в силу ленинизма. Такие победы будут для нас иметь несоизмеримо большее значение, чем победы в любой международной спортивной олимпиаде.

[1] Речь идет о так называемом «Письме Трехсот», которое подписал и П. Л. Капица. Об этом письме см. «Вопросы истории естествознания и техники», 1987, № 4, стр. 123—124, «Правда» от 27 января 1989 года.

Есть еще один очень действенный способ оказывать здоровое влияние на развитие передовой науки путем общественного мнения, которым, непонятно почему, мы сейчас перестали пользоваться. Это Сталинские премии. Я уверен, что происходившие прежде ежегодно обсуждения и оценки научных работ в Сталинском комитете, который, как известно, был подобран из ведущих ученых, приносили нам большую пользу. В той или иной форме Сталинский комитет не только необходимо возродить [1], но при этом еще больше подчеркнуть его общественный характер, например, кооптировать его членов выборным путем и на определенный срок.

Есть у нас, конечно, и ряд серьезных организационных недостатков, которые приводят к тому, что у иашего ученого низкая производительность труда, много ниже, чем за границей. Известно, что успешно разрешать организационные вопросы можно только постепенно, шаг за шагом, ио, чтобы ускорить этот процесс, иадо приучить наши научные учреждения уметь более самостоятельно организовывать свою иаучную работу. Опять же путем организованного общественного миения нужно внушить иашим академикам и другим руководителям иауки, что низкая производительность труда ученых, засорение кадров, раздроблениость тематики и пр. хорошо всем известные недостатки организации нашей науки могут быть искоренены только самими учеными. Совет Министров и большое руководство ЦК мало могут тут помочь. Но вот стимулировать и выявить и направить в здоровое русло общественное мнеие и, далее, заставить наш бюрократический аппарат положить его в основу организации мероприятий для развития нашей иауки — это, конечно, задача партии, так как это понимал Леиин.

Таким образом, это письмо сводится к упреку в том, что в последние годы иаша научная общественность остается беспризорной и не используется для развития нашей науки, хотя без иее нам никогда не создать передовой науки.

Ваш

П. КАПИЦА

21 октября 1958 г.

Глубокоуважаемый Никита Сергеевич,

Недавно группа академиков обратилась в ЦК с просьбой разрешить Академии наук издавать газету под названием «Наука». Я прилагаю копию этого обращения.

Я хотел бы обратить Ваше внимание, что для успеха развития научной работы в стране создание такого периодического органа стало весьма необходимым.

Все знают, что сейчас всюду растут масштабы научной работы, и у нас в стране этот рост особенно интеисивен. Несомненно, [что] для рациональной организации научной работы основиыми преимуществами располагает социалистическое государство, поскольку в нем можно наиболее эффективно осуществить плановое развитие науки. Но у нас часто забывают о том, что для того, чтобы план развития науки был эффективен и действительно достигалась тесная связь науки с запросами жизни и народного хозяйства, необходимо, чтобы плаи поддерживался общественным мнением всех ученых. Хорошо известно, что многие постановления Президиума Академии наук как по плановым, так и по

[1] После 1952 года Сталинские премии не присуждались. В 1958 году впервые после большого перерыва (1937—1957 годы) были присуждены Ленинские премии, учрежденные в 1925 году как премии имени В. И. Ленина. В 1966 году были учреждены Государственные премии СССР.

организационным вопросам остаются на бумаге не потому, что они плохи, но потому, что они делаются без учета общественного миения и без его поддержки. Не только плановое развитие науки, но передовая и смелая наука только тогда может существовать в стране, если она основывается на общественном мнении. Вскрывать и искоренять бездельников, болтунов, лжеученых можно, только опираясь на общественное мнение, бюрократические методы тут давно уже показали свое бессилие.

Ни в одной области при организации и направлении работы общественное мнение не играет такой важной и ведущей роли, как в области науки. Этим и объясняется, что как только в стране начинает развиваться научная работа, то сразу же возникают научные общества, академии и другие аналогичные объединения ученых, на которые опирается здоровый рост науки. Теперь, при достигнутых масштабах научной работы, в ряде ведущих капиталистических стран даже издаются научно-общественные, обычно еженедельные, журналы, посвященные организационным, хроникальным и информационным вопросам. Сейчас мы явно отстаем от США, где мне известны три журнала, и от Англии, где мне известны два. У нас их меньше, а еженедельных журналов вообще нет.

В наших условиях наиболее эффективным было бы создание газеты как органа, широко охватывающего всех научных работников по всей стране и позволяющего [публиковать] наиболее быструю информацию. Газета также открывает наибольшую возможность для организации наиболее живых и широких обсуждений и дискуссий.

Необходимость и желательность такого органа остро чувствуется среди ученых, это было видно из того, как охотно откликнулись все, кому было предложено подписаться под обращением в ЦК, и если окажется желательным увеличить число подписей, то это легко можно сделать.

Я знаю, какое большое значение Вы придаете участию общественного мнения при проведении государственных мероприятий, поэтому я решил обратиться к Вам с просьбой поддержать наше обращение в ЦК [1].

Ваш

П. Л. КАПИЦА

P. S. Мне хотелось бы еще раз обратить Ваше внимание на то, что у нас по-прежнему недооценивают тех масштабов, которые начинает принимать научная работа в передовых странах, и не уделяют ей должного внимания. Например, до сих пор, несмотря на наши просьбы, не собрали в ЦК ученых и не побеседовали с ними о путях наиболее здорового развития научной работы в Союзе. Что касается масштабов, которых достигнет научная работа, то я согласен с теми высказываниями, которые делаются у нас и за границей, что в недалеком будущем, скажем, лет через 50, число людей, занятых в науке, так возрастет, что сравняется с числом тех, кто занят в промышленности. В самом деле, сейчас благодаря успехам в науке так интенсивно растут энергетические ресурсы и так широко развивается автоматизация и механизация, что недалеко то время, когда роль физического труда практически сойдет на нет, и тогда, конечно, деятельность большинства людей будет направлена на то, чтобы находить новые производственные процессы и изобретать новые машины. Тогда социально-экономические факторы, характеризующие народное хозяйство, изменятся. Например, можно предвидеть, что основными показателями, определяющими мощь и темпы развития народного хозяйства, станут количество и качество научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, опытных заводов и на них будут уходить основные средства государства.

П. К.

Публикация П. Е. Рубинина

[1] Письмо группы академиков в ЦК КПСС подготовил П. Л. Капица (в его архиве сохранились черновики и машинописные варианты с правкой его рукой). Он же, по-видимому, был и инициатором этого обращения. Среди академиков, подписавших письмо,— президент Академии наук СССР, три вице-президента, главный ученый секретарь Президиума АН СССР, четыре академика-секретаря отделений Академии, ректор МГУ.

Виктор Казаков

ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА

В августе 1925 года на даче в Чебанке, близ Одессы, выстрелом в упор был убит Котовский.

Кто стрелял в него? Чем было вызвано убийство?

О Котовском написаны десятки книг; главы, посвященные ему, есть в большинстве произведений, исследующих историю гражданской войны. Имя легендарного полководца вошло в энциклопедии и справочники. Поищем ответы на наши вопросы в книгах. И обнаружим: ответов... нет. Нет ответов! Выстрел, остановивший сердце сорокачетырехлетнего командира кавалерийского корпуса, не стал чрезвычайным происшествием для страны, не сделано никаких попыток разобраться в том, чем было вызвано злодейство. «Предательски убит в совхозе Чебанка» — так о гибели Котовского сообщила в 1937 году Большая Советская Энциклопедия. Конечно, то был год, когда не только об одном Котовском не писали всей правды. Но заглянем в более поздние энциклопедические издания. Формулировка тридцать седьмого года — без изменений! — перенесена в БСЭ 1953 и 1965 годов. В Большой Советской Энциклопедии, изданной в 1973 году, в Советской военной энциклопедии, вышедшей в 1977 году, вообще ничего не сказано о том, где и как погиб Котовский. Статьи о полководце, помещенные здесь, заканчиваются неопределенно: «Похоронен в Бирзуле» [1]. В 1982 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Геннадия Ананьева «Котовский». Но вот что пишет автор о смерти Котовского: «Жизнь оборвала пуля, выпущенная безжалостной рукой из маузера». Чьей рукой? И почему безымянный убийца поднял руку на Котовского? Об этом ни слова...

Однажды в редакцию газеты «Вечерний Кишинев», где я тогда работал, пришел пожилой человек и, поговорив о своем деле, вдруг сказал:

— Котовский погиб на моих глазах, и я могу рассказать, как это было. Нет, не для того, чтобы вы об этом написали,— правда об этой смерти уже давно никому не нужна, расскажу просто так, только для вас.

И вот что он рассказал:

— Я был с Котовским в Чебанке. В тот вечер сидели за столом, выпивали. Котовский пришел с незнакомой нам молодой женщиной... Ну, пили водку, разговаривали, время перевалило за полночь, и тут Котовскому показалось, что военный, сидевший напротив него, как-то «не так» смотрит на его новую пассию. Он расстегнул кобуру, достал револьвер и сказал военному: «Я тебя сейчас застрелю». Адъютант Григория Ивановича, зная, что командир слов на ветер не бросает, стал отнимать у него оружие, и во время этой возни раздался выстрел — Котовский сам нечаянно нажал курок, и пуля попала ему прямо в сердце...

До сих пор не знаю, зачем тот человек все это рассказывал. В его словах не было и малой толики правды, и, думаю, он хорошо знал об этом.

Но бог с ним, с этим «очевидцем». Свыше пятидесяти лет самые невероятные слухи ходят о смерти Котовского, и остается только удивляться, что наши историки до сих пор не рассказали нам всю правду о трагедии в Чебанке. Известно ведь имя убийцы, известно то, что за убийство он был осужден, и, значит,

[1] Ныне город Котовск Одесской области.

где-то можно прочитать протоколы суда. Известна, наконец, дальнейшая судьба убийцы. Так в чем же дело?

Дело и на этот раз в традиционных для нашей исторической науки трудностях: к материалам суда, о которых идет речь, до сих пор нет доступа. Все, что могли рассказать свидетели преступления, не разрешалось публиковать в течение шестидесяти лет. Лишь в рамках энциклопедических статей можно было освещать гибель прославленного полководца (с этим столкнулся и я сам, готовя к публикации небольшую книгу «Красный комбриг», которая несколько лет назад вышла в Политиздате).

А почему, собственно говоря, документы об убийстве Котовского попали в разряд сверхсекретных? Кому было выгодно прятать их от историков? Кто и почему запрещал писать правду о трагедии в Чебанке?

Что ж, попытаемся ответить на эти вопросы.

Летом 1925 года семья Котовских отдыхала в совхозе Чебанка, занимая маленький домик недалеко от моря. Григорий Иванович проводил здесь свой первый в жизни отпуск. За неделю до конца отпуска семья стала собираться в Умань, где стоял штаб кавалерийского корпуса. Торопили два обстоятельства: во-первых, Котовский получил сообщение, что новый Наркомвоенмор М. В. Фрунзе решил назначить его своим заместителем, значит, надо было не мешкая сдавать корпус и ехать в Москву. Во-вторых, подходило время рожать жене, Ольге Петровне (дочь Елена родилась в день похорон Котовского, 11 августа 1925 года).

Вечером накануне отъезда Григорий Иванович зашел в правление местного совхоза. Здесь он бывал часто, подружился со специалистами, а поскольку и сам в юности окончил сельскохозяйственное училище, им было о чем поговорить. Возвращался домой поздним вечером. Темнело. До веранды дома оставалось несколько шагов, когда из кустов вдруг мелькнула тень и тотчас же раздались три выстрела.

Сын Г. И. Котовского[1] рассказывал мне, что, услышав выстрелы, мать его выбежала из дома и в нескольких метрах от крыльца увидела отца. Котовский лежал вниз лицом, широко раскинув руки и ноги. Пульса не было. Пуля убийцы попала в аорту, и смерть наступила мгновенно... Врачи потом скажут: попади пуля не в аорту, могучий организм Котовского выдержал бы...

На выстрелы прибежали соседи, помогли внести тело на веранду. Все терялись в догадках: кто посмел стрелять в Котовского?! Кинулись искать убийцу, но тот, естественно, поспешил спрятаться.

И вдруг той же ночью преступник... объявился сам.

— Вскоре после того, как отца внесли на веранду,— рассказывал Г. Г. Котовский,— а мама осталась у тела одна, сюда вбежал Зайдер и, упав перед ней на колени, стал биться в истерике: «Это я убил командира!» Маме показалось, что он порывался войти в комнату, где спал я, и она, преградив Зайдеру путь, крикнула: «Вон, мерзавец!» Зайдер быстро скрылся...

Убийца был схвачен на рассвете. Впрочем, он и не делал попыток скрыться, а на суде и на следствии полностью признал свою вину. Кто же такой этот Зайдер Мейер, или, как все звали его, Майорчик Зайдер?

Он не был ни адъютантом полководца, ни вообще военным. Его профессиональные интересы были, как говорится, совсем по другому ведомству. До революции Зайдер содержал в Одессе публичный дом. Заведение это устояло в дни Временного правительства, не до него было и одесским большевикам сразу после Октября. К 1918 году хозяин «дома» был уже состоятельным человеком: своей жене, бывшей одесской проститутке, купил дорогое бриллиантовое колье, накопил достаточно денег, чтобы приобрести особняк с видом на море. Но с покупкой особняка он не торопился — в Одессе в тот год еще частенько стреляли.

В оккупированном городе было много военных: деникинцы, петлюровцы, польские легионеры, греческие, французские, английские, румынские солдаты и офицеры. И каждое войско имело свою контрразведку. Особый интерес у контр-

[1] В настоящее время Григорий Григорьевич Котовский — ведущий научный сотрудник Института востоковедения АН СССР, заместитель Генерального секретаря Всемирной Федерации научных работников.

разведчиков вызывал неуловимый Котовский. Они знали, что знаменитый бессарабец работает по заданию подпольного большевистского ревкома, что участвовал он в освобождении арестованных подпольщиков, устраивал диверсии на железной дороге, переправлял партизанам на Днестр отнятое у оккупантов оружие. Много шуму наделал в городе дерзкий налет Котовского на деникинскую контрразведку...

Однажды в полдень дверь в «дом» Зайдера открыл могучего телосложения артиллерийский капитан. Не дав хозяину прийти в себя, вошедший сказал:

— Я Котовский. Мне нужен ключ от вашего чердака.— И, получив ключ, добавил: — Вы не видели сегодня ни одного капитана. Не так ли?

Зайдер, торопливо подтвердив это, проводил гостя до лестницы, которая вела наверх. Спрятав «капитана», он наверняка долго мучился вопросом, идти ему в контрразведку или не идти... Ночью Котовский, переодевшись в гражданскую одежду, «одолженную» у Зайдера, и, надев парик, который он, отправляясь на операцию, прихватил с собой, спустился с чердака и, прощаясь, сказал:

— Я ваш должник...

Так в неспокойный год свела судьба Котовского и Зайдера; о своем одесском приключении Григорий Иванович рассказал при случае жене.

В 1920 году Советская власть закрыла публичный дом Зайдера. Два года он перебивался кое-как, а потом, узнав, где стоит кавалерийский корпус его «должника» Котовского, отправился в Умань просить того о помощи, и Котовский помог ему — в 1922 году Зайдер стал начальником охраны Перегоновского сахарного завода, находившегося близ Умани. Завод был особым подразделением кавалерийского корпуса: новая власть поручила военным возродить производство, бывшие хозяева которого бежали за границу. Человек практичный, не лишенный организаторских способностей и коммерческого ума, Майорчик Зайдер помогал Котовскому налаживать быт кавалерийского корпуса; котовцы, например, заготовляли кожи, везли их в Иваново, где обменивали на ткани, из которых потом в собственных мастерских шили обмундирование.

В тот злополучный август Зайдер приехал в Чебанку на машине, вызванной из Умани Котовским. Свой приезд Зайдер мотивировал тем, что хочет помочь семье командира собраться в обратную дорогу. Не исключено, что Котовский заранее знал о его приезде и не препятствовал этому, ибо ничто не предвещало беды...

Как видим, отношения между Котовским и Зайдером до случившегося в Чебанке были нормальные. Более того, Зайдер был благодарен Котовскому за то, что получил работу, а это для бывшего содержателя публичного дома, прямо скажем, было огромным везением, ведь в те годы на биржах труда стояли в очередях тысячи безработных; к 1925 году их стало полтора миллиона.

За добро обычно платят добром; что же толкнуло Зайдера на преступление?

Процесс над убийцей начался в августе 1926 года. Версия «преступник стрелял из ревности» на суде не возникала. Сам Зайдер заявил, что убил Котовского потому, что тот не повысил его по службе, хотя об этом он не раз просил командира.

Ну, а суд? Суд, выслушав наивный лепет Зайдера, удовлетворился его объяснением! Откуда вдруг такая детская доверчивость у профессиональных юристов?

В нашей истории появляются трудные вопросы...

Странно проходил этот процесс. Со слов вдовы Котовского — о процессе она потом рассказывала детям,— первое заседание вообще показалось ей пустым: прокурор в обвинительном заключении то и дело называл убийцу «агентом румынской сигуранцы», говорил про «злодейский выстрел»; судья задавал подсудимому вопросы, не относившиеся к убийству... По словам прокурора, Зайдер имел связь с румынской контрразведкой, но вдова Котовского, хорошо зная убийцу и его отношение к политике, с недоверием и сомнением отнеслась к этому сообщению... С каждым днем у нее возникало все больше и больше вопросов. Почему власти не пресекают грязные слухи, которые уже ползли по Одессе? Почему газеты не расскажут о том, как проходит процесс? Почему, наконец, процесс этот закрытый? Какие государственные тайны могут здесь быть раскрыты? Что Зайдер — румынский шпион?

Дальше — больше. Наступил час, когда был зачитан приговор: Зайдера приговорили к десяти годам тюремного заключения. Соответствовала ли эта мера наказания тяжести преступления? В том же здании одновременно с Зайдером судили уголовника, ограбившего зубного техника, и суд приговорил его к расстрелу. Человека же, убившего самого Котовского,— к десяти годам?..

Но и на этом наши недоуменные вопросы не кончаются.

Зайдер отбывал срок в харьковском допре, и вскоре он — по существу, безграмотный человек — уже заведовал тюремным клубом, получил право уходить из тюрьмы в город. В 1928 году, всего через два года после приговора, его вообще выпускают на свободу, и Зайдер устраивается работать сцепщиком на железную дорогу.

Осенью 1930 года 3-я Бессарабская кавалерийская дивизия, расквартированная в Бердичеве, праздновала юбилей — десятилетие боевого пути. На праздник и маневры по случаю юбилея были приглашены котовцы — ветераны дивизии. В их числе и Ольга Петровна Котовская, которая, будучи врачом, в кавалерийской бригаде мужа прошла по дорогам гражданской войны не одну сотню огненных верст. Однажды вечером к ней в комнату пришли трое котовцев, с которыми она была хорошо знакома, и сказали о том, что Зайдер приговорен ими к смертной казни. Ольга Петровна категорически возразила: ни в коем случае нельзя убивать Майорчика, ведь он единственный свидетель убийства Котовского, тайна которого не разгадана... Не будучи уверенной в том, что доводы ее убедили гостей, Ольга Петровна на следующее утро рассказала об этом визите командиру дивизии Мишуку. С требованием помешать убийству Зайдера обратилась она и в политотдел дивизии...

Опасения Ольги Петровны оказались не напрасными. Вскоре вдове Котовского сообщили: свой приговор кавалеристы привели в исполнение. Труп Зайдера был обнаружен недалеко от харьковского городского вокзала, на полотне железной дороги. Исполнители приговора, убив сцепщика, кинули его на рельсы, чтобы имитировать несчастный случай, но поезд опоздал, и труп не был обезображен.

Из рассказа сына Котовского я узнал, что убийство совершили трое кавалеристов. Фамилии двух — Стригунова и Вальдмана — он помнит, третью забыл. Никто из участников казни Зайдера не пострадал — их просто не разыскивали.

Да, но почему не разыскивали? В Бессарабской дивизии ведь знали о готовившемся покушении. Информация отсюда, по всей видимости, была передана куда следует. Кто же тогда перекрыл ей путь к районному отделению милиции, расследовавшему ЧП на Харьковской железной дороге?

Мы не найдем ответов на все наши вопросы, если, подобно одесскому суду, будем искать мотивы убийства Котовского только в самом убийце. Зато все легко объяснится при возникающем предположении, что Зайдер был не только не единственным, а и не самым главным преступником: стреляя в Котовского, он выполнял чью-то чужую злую волю. Но вот чью?

Кто мог свободно манипулировать следователями и судьями, занимавшимися «делом» Зайдера? Кто мог так засекретить материалы судебного процесса над убийцей Котовского, что до сих пор они не увидели света? Кем было наложено вето на публикацию сведений, которые хоть как-то приоткрыли бы тайну трагедии в Чебанке? Ответ напрашивается сам собой: сделать это могли только люди, обладавшие огромной и, по существу, неограниченной политической властью...

За несколько дней до преступления у жены начальника охраны сахарного завода появилось дорогое колье. Нет, не то, что было подарено ей мужем в дни, когда тот владел в Одессе публичным домом; старое украшение в Умани хорошо знали, жена Зайдера не раз надевала его. Колье было другое. На какие деньги в 1925 году смог купить Зайдер эти бриллианты? Не исключено, что они и были авансом за убийство Котовского.

В свете сделанного предположения легко прокомментировать и такой относящийся к нашей трагической истории факт. Весть об убийстве в Чебанке потрясла Фрунзе, который высоко ценил полководческий талант Котовского, считал себя другом Григория Ивановича (военачальники были на «ты»). После ареста Зайдера он внимательно следил за ходом следствия в Одессе и, по-видимому, заподозрив

что-то неладное — беспрецедентный случай! — затребовал в Москву все документы по «делу» Зайдера. Кто знает, как повернулось бы следствие, какие бы нити потянуло оно и какие имена были бы названы, если бы сам Фрунзе в октябре того же года не умер, как сейчас пишут, «при загадочных обстоятельствах» на операционном столе? Что же после его смерти стало с документами процесса над Зайдером? Их вернули в Одессу, и тамошним следователям уже никто не мог помешать выстраивать нужную — вот только кому? — легенду о гибели Котовского.

При таком допущении становятся понятными и странности судебного процесса, и относительно мягкий приговор убийце. Все на процессе было разыграно по хорошо продуманному сценарию! Конечно, выстрелы в Чебанке в то суровое время могли стоить жизни и самому Зайдеру; обещание сохранить жизнь, по-видимому, данное ему, организаторы убийства могли цинично нарушить. Но ведь тогда, чтобы обосновать суровость приговора, суд должен был бы глубже исследовать мотивы преступления. Неизвестные «дирижеры» отвергли этот путь, и суд вдруг «забыл» об «агенте румынской сигуранцы». Чего проще — дать Зайдеру десять лет и объявить, что трагедия в Чебанке произошла на бытовой почве, и пусть люди сами догадываются о том, что же произошло на самом деле. Сплетни поползут? И прекрасно.

Да, но если, выйдя через десять лет из тюрьмы, Зайдер все-таки выболтает правду? На мой взгляд, убийство Зайдера, совершенное руками котовцев, не обошлось без участия все тех же неизвестных «дирижеров». Не только вдова Котовского понимала, что Майорчик — единственный, кто может рассказать об истинных причинах случившегося в Чебанке. Чтобы узнать правду, Ольге Петровне нужен был живой Зайдер. Но людям, которые заинтересованы были в том, чтобы эту правду скрыть, нужен был мертвый Зайдер. Сделав свое дело, он должен был уйти из жизни. Для этого его и выпустили из тюрьмы так быстро. Несчастный случай — банальный финал не только этого злодейского замысла. Котовцев, по тому же замыслу, просто спровоцировали на этот шаг...

Зачем людям, стоявшим на вершине власти, был нужен выстрел в Котовского?

Вспомним политическую ситуацию тех дней и поразмышляем над этим вопросом. В обстановке острой внутрипартийной борьбы Сталин настойчиво прокладывал себе дорогу к единоличному правлению партией и государством. По понятным причинам он пристально изучал и руководство армией. На январском пленуме 1925 года Генсек одержал крупную победу над главным своим врагом Троцким, который был снят с поста Народного комиссара по военным и морским делам, и его место занял М. В. Фрунзе. В октябре того же 1925 года, через десять месяцев после нового назначения, Фрунзе неожиданно умирает, и у современников, как мы знаем, были все основания заподозрить, что смерть эта была не случайной.

Не в этом ли разгадка трагедии в Чебанке? Кому был неугоден Фрунзе, тому опасен был и Котовский, которого новый нарком назначил своим заместителем...

Оставалось найти Зайдера.

Послесловие Г. Г. Котовского, сына полководца

Очерк Виктора Григорьевича Казакова «После выстрела» в значительной степени основан на информации, полученной от меня. Да, все было так, как рассказывала мне моя мама, Ольга Петровна Котовская, скончавшаяся в 1961 году. Она была человеком сложной и, я бы сказал, трагической судьбы. До конца своих дней, несмотря на глубокое разочарование в реальностях окружающего ее мира, оставалась верной великим идеалам революции. С идеями большевизма мама познакомилась задолго до революции, когда работала корректором рядом с сестрой Ленина А. И. Ульяновой в социал-демократической газете, которую издавал ее муж Елизаров. Ольга Петровна вступила в партию в 1918 году, когда училась на медицинском факультете Московского университета, где была одной из любимых

учениц великого русского хирурга Н. Н. Бурденко. Он предлагал ей остаться в ординатуре, но осенью 1919 года, после окончания университета, она добровольно поехала на фронт. В вагоне поезда и произошло знакомство с Григорием Ивановичем Котовским, который привез ее в свою кавбригаду. Здесь они поженились и прошли вместе весь дальнейший путь — вплоть до смерти отца.

В 1926 году мама переехала в Киев, и большая часть ее врачебной карьеры была связана с Киевским окружным военным госпиталем, где в 30-е годы, а затем и после войны она работала начальником гинекологического отделения, а в период эвакуации госпиталя в Томск — начальником хирургического отделения комсостава. Она была популярным в Киеве хирургом-гинекологом, а свою последнюю операцию сделала в 66-летнем возрасте. В конце 20-х и в 30-е годы маму неоднократно избирали депутатом Киевского городского Совета. Беспредельная преданность мамы памяти Г. И. Котовского, кристальная честность и простота снискали ей уважение многих людей. Я потому так подробно пишу о матери, что хочу подчеркнуть одно: ее рассказы о муже ответственны и правдивы.

Тайна убийства Г. И. Котовского всегда жила рядом с матерью. Нераскрытая тайна. Слухи, порочащие его память (убийство на почве ревности), стали превращаться в официозную версию. В 1934 году, когда мама отдыхала в военном санатории в Кисловодске, она услышала, как об этом со смешком говорили молодые командиры. Узнав, кто перед ними, они смутились, но в свое оправдание сообщили Ольге Петровне, что такую информацию о гибели Котовского распространяет... Политическое управление РККА.

В 1936 году мама была участницей съезда жен командного состава Красной Армии, который проводился в Кремле. Во время приема в честь участников съезда к Ольге Петровне подошел маршал Тухачевский и, пристально глядя ей в глаза, сказал, что в Варшаве вышла книга, автор которой — польский офицер — утверждал, что Котовский был убит самой Советской властью. (В 1949 году я нашел эту книгу в библиотеке Варшавского университета. Книга была посвящена не только моему отцу, но и некоторым другим видным советским военачальникам, и в ней действительно было сказано, что Котовского убила «Советская власть», поскольку он был человеком прямым, независимым и, обладая громадной популярностью в народе, мог повести за собой не только воинские соединения, но и массы населения Правобережной Украины.)

Очевидно, Тухачевский дал матери понять: убийство Котовского имело политический характер.

В 1940 году от В. Ставского, который был тогда секретарем Правления Союза писателей, членом ЦК ВКП(б), мама получила предложение направить в ЦК письмо о пересмотре в судебном порядке дела об убийстве Г. И. Котовского. Такое письмо, в котором мама изложила многие обстоятельства гибели мужа, было направлено Ставскому, однако никакой реакции на него не последовало.

В 1946 году я случайно встретился со знакомым военным следователем. Он вел дело захваченного в 1945 году в Маньчжурии атамана Семенова. В конце 20-х годов этот следователь, проходивший в Киеве военную службу, бывал в нашей семье. От него я узнал, что в сверхсекретном архиве органов госбезопасности он познакомился с делом Котовского. Оказывается, еще при жизни отца, в 20-е годы, в Москву о нем поступали агентурные сведения! Следователь, правда, был весьма уклончив в своих ответах на мои вопросы и ничего больше не сообщил.

Видимо, только сейчас наступает время, когда будет возможно попытаться восстановить истину.

У меня, как и у покойной Ольги Петровны, нет сомнения в том, что убийство отца — одно из первых политических убийств в стране после Октября. Кто мог организовать его? В. Г. Казаков, на мой взгляд, правильно отмечает: те, на пути которых стоял М. В. Фрунзе, который в середине 20-х годов становится одной из ключевых фигур в руководстве партии и государства. После окончания гражданской войны мой отец часто встречался с Фрунзе, подружился с ним, был его верным соратником. Мне, например, рассказывали участники событий тех лет, как Фрунзе и Котовский посетили Сталина, который противился образованию Молдавской АССР, и сообща сумели его переубедить. В те же годы в советском

военном руководстве четко обозначились две точки зрения на судьбы кавалерии, главной ударной силы Красной Армии в период гражданской войны. Ворошилов и Буденный считали, что необходимо сохранить крупные кавалерийские соединения, а Фрунзе и Котовский доказывали, что кавалерийские части надо ускоренным образом преобразовывать в мотомеханизированные. И хотя отец всегда повторял, что в тактике у обоих видов войск много общего, дело доходило до прямой конфронтации и острых столкновений. И, как известно, возобладала точка зрения Ворошилова и Буденного. Интересно, что в 1949 году, когда в Кишиневе праздновали 25-летие Молдавской ССР, С. М. Буденный в разговоре с мамой сказал: «А знаешь, Гриша был прав в нашем с ним споре. Ведь пришлось же нам переквалифицировать кавалеристов в танкистов».

Назначению отца заместителем Наркомвоенмора предшествовал долгий спор между Фрунзе и Дзержинским. Дело в том, что Котовский был известен в Москве не только как способнейший военный командир, но и как блестящий хозяйственник. Известно, например, что Куйбышев, рекомендуя отца Кирову, дал ему превосходную характеристику именно как хозяйственнику. Дзержинский, руководивший Высшим Советом Народного Хозяйства, считал, что отца необходимо демобилизовать из армии, назначив начальником Трудфронта — общесоюзной организации по восстановлению фабрик, заводов, дорог. Фрунзе настаивал на своем: Котовского надо оставить в армии, продвигать его в высший эшелон военного руководства. Как раз в то время отец блестяще проявил себя, выиграв военные игры на крупных маневрах. К 1925 году моего отца, который был командиром одного из важнейших соединений РККА, избрали членом Реввоенсовета СССР, членом ЦИК СССР и Всеукраинского ЦИКа, его авторитет и как политического деятеля был высок.

В середине двадцатых годов, как известно, обострилась внутрипартийная борьба. Судьбы людей, оказавшихся на вершине политической пирамиды, в ходе этой борьбы сложно переплетались, менялись. Мне представляется (и надеюсь, что будущие исторические изыскания это подтвердят), что наряду с двумя противоборствующими сторонами, которые представляли Сталин и Троцкий, в руководстве партии и государства намечалась и третья линия, связанная с именами Фрунзе и Дзержинского.

Имя отца и после его смерти оставалось необыкновенно любимым и популярным в народе. Однако «сверху» его память не очень-то культивировалась. В середине тридцатых годов Алексей Толстой задумал написать об отце сценарий кинофильма и книгу. Он вел переписку с матерью, которая переслала ему некоторые личные письма Котовского. К нам в Киев приезжала секретарь А. Толстого, которая подбирала материалы для задуманной работы. Однако Гарькавый, командовавший тогда Ленинградским военным округом и, кстати, хорошо знавший отца по гражданской войне, при встрече с Толстым охарактеризовал Котовского лишь как «рубаку» и советовал ему вместо книги об отце писать книгу о... Ворошилове.

После смерти отца по инициативе Фрунзе нашей семье из трех человек была назначена пенсия в размере 180 рублей — партмаксимума, который получал отец. Однако с конца 20-х годов в ходе экономической реформы эти деньги настолько обесценились, что несколько лет мы жили в большой нужде, а мама вынуждена была работать одновременно в трех местах. После репрессий 37-го года, когда образовался своего рода военно-исторический вакуум, в «Кратком курсе» были перечислены имена некоторых героев гражданской войны, уже к тому времени покойных, и только после этого пенсия нам была повышена...

Какова могла быть роль самого Сталина в деле Котовского? Не берусь судить. В 1926 году он дал блестящую характеристику отцу, назвав его «храбрейшим среди скромных наших командиров и скромнейшим среди храбрых». Что ж, ныне мы знаем истинную цену многих его высказываний.

Я надеюсь, что профессиональные историки новой генерации, изучающие советский период, смогут ответить на вопросы, поставленные в очерке В. Г. Казакова. А это мое послесловие пусть будет рассмотрено как первый шаг в пересмотре дела об убийстве Г. И. Котовского.

Ирина Васюченко

ОТВЕРГНУВШИЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

(ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ АРКАДИЯ И БОРИСА СТРУГАЦКИХ)

Научную фантастику у нас любят. На магазинных полках она не залеживается, точнее же, почти не появляется. Дефицит! Но это с одной стороны. С другой — традиционное пренебрежение ко всем этим литературным путешествиям в иные миры и времена, якобы отвлекающим молодежь от полезных книг, повествующих о времени нынешнем и мире реальном. Так рассуждают не одни ретрограды, но и кое-кто из юных читателей, которые порой проникаются недоверием к научно-фантастической литературе прежде, чем успеют понять, что это такое.

— Фантастику терпеть не могу,— сказала мне недавно одна десятиклассница.

— И Шекли не любишь?

— Шекли я не знаю.

— А Брэдбери читала? Лема? Саймака?

— Да не хочу я их читать! Мне только Стругацкие нравятся, но это другое. Стругацкие, по-моему, вообще никакие не фантасты...

Такова власть предубеждения. Расстаться с ним подчас труднее, чем вопреки рассудку отлучить Стругацких от фантастики. Моя юная собеседница, любительница серьезной прозы и высокой поэзии, не заметила, насколько несерьезна ее позиция, как мало возвышенного в готовности бранить то, чего, по сути, не знаешь. Впрочем, сторонников у фантастики явно больше, чем хулителей. Ведь не секрет, что среди молодежи распространено убеждение, будто из всей мировой словесности только фантастика достойна внимания читателя эпохи НТР.

Странно, что научно-фантастическая проза, обращенная к разуму, побуждающая его к активности, вызывает у многих слепое отрицание или безоговорочный восторг — самые инертные состояния ума. Однако признаем и то, что подлинное место фантастики в современном литературном процессе определить не просто. Неискушенным читателям-подросткам трудно справиться с подобной задачей. Мы же им почти не помогаем, критика долгие годы обходила стороной даже книги Стругацких, невзирая на их популярность и остроту проблематики. Вместо анализа яркого спорного литературного явления специалисты отделывались осторожными похвалами и вялыми порицаниями.

В то же самое время критики не уставали упрекать нашу литературу за отсутствие героя, которому молодежь захотела бы подражать. А ведь старшеклассники, студенты, недавние выпускники вузов, зачитываясь Стругацкими, и впрямь нередко пытались походить на их решительных, остроумных героев. И дело здесь было не только в том, что Румата из повести «Трудно быть богом» здорово владел мечом, Жилин из «Хищных вещей века» ловко вел опасную разведку и т. п. Без этого не обошлось, но суть привлекательности повестей, думаю, все же в ином.

Фантастические империи негодяев и страны дураков, где отчаивались и боролись герои Стругацких, были в глазах юношества воплощением реального зла. Укрупненное до гротеска, оно оставалось узнаваемым. Недомыслие и корысть, бездушие и жестокость, косность и лицемерие угрожали не только персонажам научно-фантастических книжек, но и вступающему в жизнь читателю. Он, еще два-три года назад не знавший сатирических повестей Булгакова, слыхом не слыхавший о Замятине, Оруэлле, Хаксли, находил у Стругацких ответ на многие горькие вопросы — своего рода социальный диагноз. Авторов и читателей связывало жаркое взаимопонимание единомышленников, сплотившихся против общей беды, вместе думающих, негодующих, смеющихся. Важно было и другое. Наперекор невзгодам герои Стругацких держались молодцами. Ввергаемые в ад бесчеловечности, они не теряли мужества, и обретали друзей, и побеждали врагов. Даже юмор — верный спутник ясности мышления — покидал их лишь изредка, когда уж совсем было невмоготу.

Критики не хотели да и не могли признать, что условия эпохи исключали такого рода победительную активность героя где-либо, кроме как в царстве вымысла. Фантасты нашли единственно возможный способ утолить эту жажду юности. И юность откликнулась с присущим

ей пылом. Принадлежа к первому поколению читателей Стругацких, мне случалось встречать среди сверстников не только ценителей их творчества, но и людей, утверждавших, что знакомство с этими книгами сформировало их мировоззрение. Попадались даже горячие головы, судившие об умственном и нравственном уровне собеседника по его отношению к прозе Стругацких. Равнодушие к ней изобличало тупицу. Неприятие — врага. Зато общий энтузиазм окрылял, служа залогом родства душ.

Известность Стругацкие получили в начале шестидесятых. Незадолго перед тем внимание к научной фантастике привлек роман И. Ефремова «Туманность Андромеды». Для тогдашней литературы он был явлением исключительным: необычная книга, по свидетельству А. Шалимова («Литературная газета», 1987, №47), «словно бы пробила брешь в некоей плотине, раскрепостила фантазию новых авторов.., показав безграничность возможностей моделирования будущего не только в области техники и науки, но и в категориях этики, эстетики, воспитания, долга, морали, социологии и психологии».

Итак, брешь пробили не Стругацкие. И авторов, увлеченных примером И. Ефремова, оказалось немало. Однако соперничать со Стругацкими не смог никто, включая самого создателя «Туманности Андромеды»: в книгах молодых фантастов жило неподражаемое ощущение эпохи. Не той, грядущей, где так лихо действовали их персонажи, а этой, нынешней, идеями и иллюзиями которой дышали читатели.

Юности верилось тогда в близкое преображение мира, в прогресс, путь которого труден, но прям и прост. Газеты, плакаты, ораторы повторяли призыв, прозвучавший с самой высокой трибуны: «Наши цели ясны, задачи определены — за работу, товарищи!» Многим показалось, что настала пора, когда от человека требуется одно — целеустремленность. Только обязательно честная. Бескорыстная. И если понадобится — жертвенная.

Пафосом беззаветной работы умов и рук проникнута «Страна багровых туч», первое крупное произведение Стругацких. Перипетии полета на Венеру, испытания, перенесенные экипажем звездолета «Хиус», муки, смерть — все здесь оправдано важностью цели. Земной цивилизации нужны урановые месторождения Венеры; для тех, кто взошел на борт «Хиуса», этим сказано все. Они достигнут задуманного. Любой ценой.

Это выглядело бы похвально, но скучно, если бы не обаяние героев книги. Замкнутый, втайне чувствительный инженер-механик Быков, планетолог Юрковский — «бесстрашный красавец», «пижон» и поэт, добродушный толстяк штурман Крутиков симпатичны, им сочувствуешь. Здесь уже проявилось присущее авторам умение создавать несложные, но колоритные и привлекательные образы.

Математики и историки, геологи и астрономы, врачи и пилоты космических кораблей, персонажи Стругацких прежде всего отличные парни, бесстрашные, находчивые удальцы. Для писателей важно, что любая из этих профессий может потребовать от героя не меньшей доблести, чем требовала от мушкетеров королевская служба или от пиратов — погоня за сокровищами. Историк Антон, представитель грядущей земной цивилизации, проводя Эксперимент на планете, погруженной во мрак средневековья, должен выступать в роли искателя приключений, дуэлянта и обольстителя дона Руматы («Трудно быть богом»). Коллектив НИИ Чародейства и Волшебства от лаборантов до маститых ученых занят утилизацией вурдалаков и джиннов, Змея Горыныча и гекатонхейров, Колеса Фортуны, волшебной палочки и других сказочных и мифических существ, явлений, предметов («Понедельник начинается в субботу»). Астроному Малянову и его друзьям, чтобы продолжить свои мирные кабинетные штудии, нужно проявить неслыханное мужество (повесть «За миллиард лет до конца света»). Железными бицепсами и нервами наделен и Максим Каммерер, который в «Обитаемом острове» пробует совершить на чужой планете государственный переворот, а в повести «Жук в муравейнике» выполняет головоломное спецзадание. Бесстрашны Иван Жилин, по поручению международного разведцентра изучающий нравы одной крайне неблагополучной страны («Хищные вещи века»), и Питер Глебски из повести «Отель «У погибшего альпиниста»», поскольку этот Глебски — полицейский инспектор.

Стругацких интересуют не просто приключения, а приключения профессионалов. Напряженность фабулы, острота конфликтов, обилие загадок — все в их книгах связано с профессией, дающей герою самое для него насущное: ясную цель.

В творческой манере фантастов вольно и причудливо сочетаются элементы самых различных традиций: от восточной литературы до кинобоевика, от русского фольклора до Дюма, от кафкианских фантасмагорий до романов Ильфа и Петрова. Все это создает дразнящее мелькание отражений и отзвуков, по которому безошибочно узнаешь стиль авторов. Между тем вопреки внешнему разнообразию в их прозе угадывается один, самый главный герой — активный, я бы даже сказала, воинствующий разум. И цель у него одна: рациональное переустройство мира. Это особенно заметно, когда читаешь книги Стругацких подряд. За похождениями героев проступают комбинации идей, и кажется, будто наблюдаешь за серией художественных экспериментов. Пожалуй, это напоминает завораживающие игры, каким предается Малыш— юный инопланетянин из

одноименной повести,— раскладывая на песке узоры из камней и палок. Ему они помогают думать, а в души наблюдателей-землян вселяют безотчетную тревогу.

Однако тревога, которую будят в сознании книги Стругацких, не безотчетна. В их вопросах и ответах не забавы ума, а обостренная чуткость к злобе дня. Поэтому немудрено, что бесхитростная картина мира, намеченная в «Стране багровых туч», вскоре усложняется. Даже по таким, на сегодняшний взгляд, наивным повестям, как «Стажеры», «Полдень, XXII век» и т. п., заметно, что недавние иллюзии дают трещину. В повестях «Обитаемый остров», «Трудно быть богом», «Хищные вещи века» трещина эта становится все глубже, болезненней. Героям противостоят уже не трясины и скалы дальних миров, а коварство и тупая свирепость людей. И возникают проблемы иного рода: например, как быть, когда инопланетный «волосатый молодчик» направляет в живот просвещенному сыну Земли «толстую металлическую трубу самого зловещего вида», причем ясно, «что ни о высшей ценности человеческой жизни, ни о Декларации прав человека, ни о прочих великолепных изобретениях высшего гуманизма, как и о самом гуманизме, он слыхом не слыхал, а расскажи ему об этих вещах — не поверил бы».

Сталкиваясь с миром варварства, герои повестей переживают тяготы уже не столько физические, сколько духовные. «Робинзон», «Легионер», «Террорист», «Каторжник» — по одному оглавлению «Обитаемого острова» можно вообразить, какие превратности выпали на долю землянина Максима, попавшего на мрачную планету Саракш, а главное, сквозь какие искусы прошла его человечность. Испытание гуманизма героя, попавшего в экстремальные условия, становится у Стругацких одной из главных тем. Испытание на прочность — так это принято называть. Но если вспомнить ситуации, создаваемые воображением фантастов, хочется прибавить — и на растяжение, сжатие, скручивание... В повести «Трудно быть богом», оказавшись в казематах тирана Рэбы, чтобы не выдать себя, Румата принужден спокойно смотреть на пытки — и не вмешиваться. В «Обитаемом острове» прогрессор-землянин, сумевший стать одним из местных правителей, «очень немолодой, очень добрый и очень уязвимый человек», скрывается под «омерзительной маской холодного убийцы», ибо на злосчастном Саракше нет иного способа удержать власть, а его задача — остановить войну...

Итак, жестокость во имя гуманизма предстает как нравственная норма. Жизнь в книгах Стругацких — всегда борьба, в них действуют законы военного времени. «Между мной и Вечеровским навсегда пролегла дымно-огненная непереходимая черта,— так представляется Малянову из повести «За миллиард лет до конца света» его расхождение с другом.— Я остановился на всю жизнь, а Вечеровский пошел дальше сквозь разрывы, пыль и грязь неведомых мне боев». Заметим: действие повести происходит в наши дни, и речь в ней не о воинской службе, а о служении науке. Сближение одного с другим не случайно. Ведь идет битва за прогресс, то есть, по Стругацким, за устранение всех препятствий, мешающих людям жить интересами познающего духа.

В этой борьбе самым острым оружием фантастов стал смех. Отсюда триумф повести «Понедельник начинается в субботу», беспримерный даже для Стругацких. Книжка сразу стала бестселлером. Ее живописные персонажи, уморительные эпизоды, хлесткие афоризмы вошли в повседневный обиход, ее литературные недочеты были благодарно прощены. Рыхловатость композиции и дидактичность в глазах современников искупались задорным юмором ребят из НИИЧАВО, их пылкой верой во всесилие науки. А главное, насмешливой зоркостью авторов, разглядевших в жизни волшебного НИИ реальный конфликт, о котором теперь, в эпоху гласности, говорят многие, но в пору выхода повести не говорил, помнится, никто.

«Под защитой Системы лжепрофессора ставили лжеопыты. Писались лжеучебники, защищались лжедиссертации. Журналы, кафедры, издательства, лаборатории, посты в министерствах захватывали Бесы, разглагольствуя о науке, они решали свои задачи, удовлетворяя свое честолюбие и корысть»,— эти слова, как и другие положения известной статьи Г. Попова «Система и зубры (Размышления экономиста по поводу повести Д. Гранина «Зубр»)», вполне применимы к тому, что происходит в книжке Стругацких. Представители прессы осаждают не кого-нибудь, а профессора Выбегаллу, наглого невежду, чьи опыты едва не приводят к катастрофе. Меж тем ученых, занятых делом, терроризирует величавый бюрократ Камноедов. Когда он подкрепляет очередной идиотский запрет излюбленной присказкой: «В таком вот аспекте»,— у магов опускаются руки. Похоже, камноедовское заклинание сводит на нет всю их мощь.

Да, Стругацкие еще в шестидесятые годы заметили проанализированный Г. Поповым компромисс между Административной Системой и творческими работниками, ценой послушания покупающими право на относительную независимость в профессиональной области. Догадка, на сей раз доведенная до логического завершения, легла и в основу «Сказки о Тройке». Задуманная как продолжение «Понедельника...», «Сказка о Тройке» написана в иной интонации, ритм повествования замедляется, авторский смех глуше. Тому есть причина. В первой повести побеждают ученые: вопреки помехам им удается работать. Во

второй верх берет Система: магам, творившим чудеса в «Понедельнике...», теперь противостоит несокрушимая ТПРУНЯ — Тройка по Распределению и Учету Необъяснимых явлений под руководством Лавра Вунюкова, который не чета Камноедову. Тот ссылался на инструкции, этот душит всякую инициативу от имени народа: «Народу не нужны...», «Народ не позволит...». Достигшая совершенства Система больше не намерена терпеть самостоятельность творческой мысли. Что до развития науки, ТПРУНЯ предоставляет эту задачу «профессору Выбегалло, связанному с народом пуповиной общего происхождения».

Застой охарактеризован Стругацкими точно, можно сказать, научно. Не просто как всеобщая замедленность и сонная одурь, а как процесс разложения. В «Сказке о Тройке» без устали заседает ТПРУНЯ, действующие лица спорят, плетут интриги, дерзают и страшатся, а толку чуть. В «Улитке на склоне» сотрудники Управления Леса аж с ног сбиваются от деловитости, но в их суете нет уже и проблеска смысла.

Проводятся какие-то мероприятия вроде «одержания», после которого целые местности приходят в запустение. Статистические данные подсчитываются на машине, которая врет. Все знают об этом, но данные используют. Ведется работа с думающими механизмами, ио так как механизмы думающие, они частенько сбегают. Массы людей устремляются на поиски, однако ищут с завязанными глазами, поскольку беглецы засекречены: увидевшему их грозят неприятности. Неприятности, впрочем, грозят всем, если судить по зловещим намекам сотрудника Домароцинера. Единственное, что в этом призрачном мире незыблемо,— необходимость регулярно издавать директивы. Без них, как объясняют герою, разладится установленный порядок, настанет хаос!

Сидение Переца в приемной директора, посещение столовой, поездка за зарплатой, служебные разговоры, интрижка с Алевтиной из фотолаборатории — из подобных эпизодов в «Улитке на склоне» складывается сюжет, по части загадочного риска не уступающий похождениям Руматы, Максима и прочих отважных исследователей, просветителей и покорителей неведомых миров. Но положение героя сатирической повести принципиально иное. Здесь отсутствует почва для действия, нет ни друга, на которого можно опереться, ни врага, повинного в торжестве зла. Есть лишь привычный маразм и люди, которые, слившись с ним, поглощены убогими сиюминутными надобностями.

В других книгах фантастов герой, кроме жажды знаний, отличается пылкостью нрава, стремлением защищать угнетенных, просвещать неразумных, мстить злодеям. Герою «Улитки», этому пленнику безумного мира, остается одно: искать в происходящем логику, пытаться нащупать причинно-следственные связи явлений. В лучшей, на мой взгляд, вещи Стругацких «Улитка на склоне» герой предстает только как носитель активного разума, без бурных страстей, стальных мышц, милых чудачеств. Катастрофическая ситуация повести делает все это столь же излишним, как средневековый наряд Руматы, боевое снаряжение легионера или скафандр звездолетчика. Теряет значение профессия героя, и даже его судьба, по-видимому, мало занимает авторов. В «Улитке» происходит самое страшное: разум пасует перед бюрократическим разложением. Его уделом становятся унылые блуждания и напрасные хлопоты, схожие с муками обреченного Иозефа К. из «Процесса» Кафки.

Помнится, Брэдбери говорил, что фантасты не предсказывают будущее, а предотвращают его. Цель сатиры Стругацких — отразить опасность, грозящую разуму и прогрессу. Их ненависть ко всему, что таит в себе подобную угрозу, горяча, умна, изобретательна. В этой борьбе искусство фантастов проявилось с блеском, который не тускнеет даже при сравнении с острыми социально-критическими публикациями наших дней.

Однако Стругацкие не только сатирики. На протяжении десятилетий они создавали цикл повестей, представляющих картину грядущей цивилизации. Усердный читатель, открывая новую книжку, вступает в мир, уже ставший привычным. Ему многое говорят названия открытых землянами планет — Амальтея, Пандора, Саракш и пр., ведомы истории космических экспедиций, загадки века, бытовые реалии. Если в повести мелькнет, допустим, фамилия Юрковского, читатель вспомнит красавца планетолога, что покорял Венеру в «Стране багровых туч», героически погибал в «Стажерах», а в «Хищных вещах века» памятником высился на городской площади. Так же известны ему рассеянный психолог Комов, обходительный десантник Горбовский, врач, звездолетчик и шутник Вандерхузе — добрые знакомцы, с которыми есть шанс встретиться вновь. И конечно, не обойдется без чудес техники: фотонных ракет, нуль-транспортировки, юрких исполнительных киберов и прочих благ, с которыми мысленно сжился каждый знаток прозы Стругацких.

Но главный-то интерес литературных предсказаний не в этом. Ценитель дерзких ученых гипотез в журнале «Наука и жизнь» найдет для себя, очевидно, больше любопытного, чем в измышлениях фантастов. От них ждешь иного. Хочется заглянуть в души людей, которые, если останутся жить в XXII веке, будут во многом другими. К тому же небесполезно дать себе отчет, каким мы, собственно, представляем это грядущее, ради которого, если нас послушать, всегда готовы жертвовать настоящим. Это ведь большой вопрос, ие наносят ли

иные наши жертвы страшного вреда будущему, не лучше ли было бы, если бы мы, наконец, научились культурнее и уважительнее относиться к настоящему.

В книгах Стругацких мир будущего деятелен. Динамичен. Бодр. В общем, славный мир, особенно когда смотришь на него глазами героя повести «Парень из преисподней», не видевшего на своей планете ничего, кроме войны, разрухи да персоны ничтожного, но обожествляемого герцога Алайского. Очарованный мудростью и мощью землян, Гаг хоть бунтует, а чувствует, что из преисподней прямиком перенесся в рай.

У читателя, соприкоснувшегося с миром Стругацких, впечатление сложнее. Если, наслаждаясь стремительным действием, он не упустит из виду социальное значение конфликтов, то вскоре заметит, что при всей чистоте, лепоте и технической оснащенности этому миру кое-чего недостает. И добро бы райской благости, но нет — богатства, тонкости и глубины человеческих отношений. Правда, и показать их для художника всего труднее. Недаром, кроме Ефремова и Стругацких, никто не отважился на сколько-нибудь серьезную попытку изобразить коммунистическое общество будущего. Смелость этого художественного и идеологического эксперимента заслуживает уважения, а его результаты — обдумывания. Это тот случай, когда и неудача интересна. У И. Ефремова, талантливого прозаика и ученого, даже в лучшем его романе «Час быка» характеры людей этого будущего схематичны, хотя полет мысли великолепен. Стругацкие достигают большей достоверности, но мысль, заключенная в их оптимистических пророчествах, бедна: жизнь при коммунизме напоминает будни идеального НИИ, освобожденного от камноедовых и вунюковых. Как истые борцы, авторы долгое время видели главную цель в устранении противника. Им, судя по всему, казалось, что при этом условии здоровый нравственный климат установится сам собой.

«Мы населили этот воображаемый мир людьми, которые существуют реально, сейчас,— признавались фантасты.— Таких людей еще не так много, как хотелось бы, но они есть, и с каждым годом их становится все больше». Увы, наши современники, по воле авторов попадая в грядущее, кроме трудолюбия да юмора, проявляют и менее привлекательные черты. Уже достаточно могущественные, чтобы вступать в контакт с обитателями других миров, они еще так неразвиты духовно, что этот контакт им, пожалуй, противопоказан. Ведь если, скажем, Голованы походят на собак, люди будущего с простодушием дикарей воспринимают этих весьма одухотворенных существ лишь как говорящих псов. Это наводит на размышления, особенно если припомнить, как в «Малыше» Стась проговаривается: мол, не стоит «впадать в сентиментальность», когда на одной чаше весов «великая идея вертикального прогресса», а на другой — страдания инопланетянина. «Он ведь все-таки не человек. Он абориген»...

Стало быть, имея дело с братьями по разуму, можно приберечь человечность — для человеков. «Только для белых», выражаясь по-нынешнему. После открытия, что в этом хваленом обществе возможна такая постановка вопроса, гуманное разрешение конфликта «Малыша» уже не утешает. Рождается сомнение: вправду ли добро правит этим миром? Оно в нем, разумеется, присутствует, да ведь, если уж на то пошло, оно есть и на Саракше.

Такое беспокойство возникает и у самих Стругацких. О том свидетельствует «Жук в муравейнике» — повесть, где все бесчеловечно с начала до конца. Зоопсихологу Абалкину невдомек, что с его происхождением связана тайна. Есть основания полагать, что в его генах заложена неизвестная программа, и сделали это Странники, раса мощная и загадочная. Те, кто вершит судьбы Земли, находят ситуацию опасной. Во множестве засылая своих «прогрессоров» на другие планеты, они, оказывается, намерены любой ценой не допустить вмешательства в земные дела. Мировоззренческое значение этого противоречия таково, что чем в него больше вдумываешься, тем становится тревожнее. И потом, что будет с Абалкиным?

Его удаляют с Земли, навязывают работу, чуждую ему; когда же герой, выйдя из повиновения, пытается выяснить, почему ломают его судьбу, несчастного выслеживают и пристреливают. Сию операцию проводят (скрепя сердце, бедняги) славный Каммерер, в свое время отличившийся в «Обитаемом острове», и его тогдашний шеф (помните? — «очень добрый, очень уязвимый»), а среди причастных к делу персон фигурируют герои других повестей — симпатяга Горбовский, весельчак Вандерхузе... Воистину прав герой нового романа Стругацких «Отягощенные злом, или сорок лет спустя» («Юность», 1988, №№ 6, 7), заметивший, что «Мир Мечты — это дьявольски опасная и непростая штука».

Наверное, вряд ли стоит упрекать за это авторов. Напротив, честь им и хвала. Отвага исследователей — одна из основных черт их творчества, без нее Стругацкие не были бы Стругацкими. Создавая модель общества будущего, фантасты на наших глазах жестко испытывают ее — и мы видим неподтасованные данные эксперимента. Это не значит, что он провалился,— литература, подобно науке, порой дорожит отрицательным результатом не меньше, чем положительным.

Другое дело, что писателей, вынесших из шестидесятых годов мечту о преображении бытия, не устраивают отрицательные результаты. Фантасты снова и снова ищут ответа на вопрос, как бы ускорить «вертикальный прогресс». При этом они помнят об опасности, что таит в себе иллюзия всеобщего счастья. В «Обитаемом острове» ее создают гипноизлучатели, накачивая в сознание оболваненного населения экстаз веры в мудрость вождей и ярое желание крушить врага. Герои Стругацких против самообманов, они одержимы желанием указать человечеству кратчайший путь к счастью реальному.

Сделать это пробуют благодетели-пришельцы в повести «Второе нашествие марсиан». Они находят не лишенный остроумия способ покончить с нищетой и болезнями, но о последствиях такого опыта можно судить по «Хищным вещам века»: гарантированная сытость, полагают Стругацкие, обрекает малокультурное общество на деградацию. С этим можно поспорить, но если верить авторам, филантропия пришельцев сулит персонажам «Второго нашествия» самую жалкую участь. Столь же напрасен подвиг героя повести «Пикник на обочине», проходящего через чудовищные испытания, чтобы, встав лицом к лицу с некоей всемогущей силой, просить невозможного: блага для всех — пусть никто не уйдет обиженным.

И все же есть у Стругацких повесть, где обновление мира наконец совершается — «Время дождя». В ее финале уродливый город, обитель страха, пороков, невежества, тает в воздухе, словно призрак, и по освобожденной земле герои шагают навстречу... нет, чему навстречу, еще непонятно, однако писателям хочется верить, что произошло благодатное очищение. А по-моему, совершилось что-то вроде «одержания» — того самого, что практиковалось в «Улитке на склоне». Ведь здесь обиженным уходит весь род людской. Счастливый мир создают мутанты, новая раса сверхлюдей. Будто сор, выметаемый за порог прекрасного дома, они гонят прочь погрязшее в грехах человечество. Кроме детей — они остаются, чтобы благополучно мутировать. Когда взрослые покидают город, ни один подросток не хочет разделить участь родителей-изгнанников. Неужто все, без изъятий, были так глупы и низменны, что заслужили от детей подобный приговор? Конечно, нет. Просто они больше не нужны прогрессу. Герой повести Виктор Банев, по возрасту негодный для перерастания в сверхчеловеки, догадывается: видимо, у победителей «есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве».

Боль и гнев писателей, мечту оградить детские души от уродующих влияний, трагические сомнения в роде людском — все можно понять. Но насчет эквивалента... увольте. По мне она отвратительна, эта прыть удачливых молокососов, сбрасывающих с плеч бремя привязанностей, жалости, совести, чтобы налегке воспарить к высотам чистого познания. Изо всех жестокостей, что в книгах Стругацких совершались во имя добра, эта — непревзойденная. Допущение, что великая цель все-таки может оправдать средства, приводит к безотрадной утопии, сулящей вместо любви и сострадания — эквивалент. А слово-то какое! Банева, умницу и краснобая, поражает канцелярит, стоит ему заговорить о высоких материях. Впрочем, это общая участь персонажей Стругацких. Насколько естественна их бытовая речь, настолько тусклы и выспренни отвлеченные рассуждения, словно взятые из газетной статьи на темы морали.

Омертвение слова, обычно послушного Стругацким,— верный знак, что их героям, людям действия, эта область мысли чужда, непривычна. Нравственность для них не великий закон бытия, а набор прописных истин, заслуживающих почтения, но лишь до поры, пока интересы большого дела не прикажут пренебречь ими. Конечно, с болью сердечной. И разумеется, только на время. Но потом, если потребуется, еще и еще раз.

Таков реальный тип современника, действующий в фантастических обстоятельствах повестей. Литература последних лет относится к нему настороженно, но Стругацкие, сознавая (хотя, по-моему, не вполне) его опасные свойства, все же любят этого героя. Любуются им, видя в нем борца, способного противостоять злу и в одиночку, и плечом к плечу с товарищами — передовым отрядом человечества, рвущегося к прогрессу. От остальных людей их отделяет та «дымно-огненная непереходимая черта», о которой с болью думает герой повести «За миллиард лет до конца света». Малянов отстал от железной когорты, ему больше не за что себя уважать...

Пренебрежение к человеку, если он не боец передовых рубежей,— вот что смущает меня в книгах Стругацких. Не скрою, мне бы хотелось, чтобы это смущало и юных читателей, тех, кто учится у их героев упорству и отваге. Иначе можно научиться и высокомерию, даже вообразить, будто в мире есть сверхлюди, которым все позволено, и просто люди, чей удел подчиняться. Противоречие в творчестве фантастов заключается в том, что они, ненавидя эту агрессивную античеловеческую идею, посылают своих героев на бой с ней, а те в азарте поединка пускают в ход ее же — испытанное боевое средство. По-моему, бесполезно рассуждать о Стругацких, игнорируя это обстоятельство. Но и признать его до недавнего времени было боязно: существовала опасность сыграть на руку тем, кто предпочел бы оградить юношество от противоречивых книжек. Заговор молчания, окружавший Стругацких, был не только враждебным, но порой и оберегающим. В тогдашних условиях было куда как сложно подступиться, скажем, к повести «За миллиард лет до конца света». А между тем эта повесть, своей неоднозначностью обескуражившая многих поклонников фантастики, заслуживает и даже требует анализа.

Ленинград. Конец семидесятых. Четверо ученых — астроном, математик, биолог и инженер-электронщик — хотят от жизни одного: чтобы она не мешала им работать. Каждый из них стоит на пороге значительного открытия, один даже предвкушает «нобелевку». Но вдруг начинает твориться непонятное. В налаженный быт героев вторгаются абсурдные явления. Странные звонки и телеграммы, нашествие незваных гостей, недоразумения, отдающие булгаковской чертовщиной... Обсудив ситуацию, друзья решают, что на них ополчилась какая-то темная сила, желающая притормозить их изыскания.

Так на фоне разморенного зноем города, в респектабельном кругу интеллектуалов завязывается фантастико-приключенческое действие. В солидных фигурах персонажей проступают черты бессмертных храбрецов: рыцарь от науки, элегантный и сдержанный Филипп — Атос; шумный, тщеславный толстяк Валентин — Портос; гибкий, обходительный с дамами Захар — Арамис и, наконец, главный герой, порывистый, но не чуждый рефлексии Дмитрий — д'Артаньян. Так и кажется: сейчас четверка выхватит шпаги и, привычная к победам, сокрушит противника, дерзнувшего покуситься на самое заветное в жизни друзей — научную деятельность. Остается лишь выяснить, кто он. Похоже, здесь замешан «внеземной» разум, замысливший остановить победное шествие разума земного.

Пока герои предполагают это и рвутся в бой. Но постепенно им открывается обескураживающая истина. Никакого врага нет. Но и покоя больше не будет. Они, каждый в своей области, достигли заповедной черты, переступив которую человечество превратится в сверхцивилизацию. Не кто-нибудь, а само мироздание, тяготеющее к стабильности, «защищается» от них, «ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель: изменение природы Природы».

Один на один с неблагосклонным мирозданием герои, хоть не робкого десятка, а пасуют. Желая уберечь от неведомой угрозы свою семью, капитулирует астроном. Соблазнившись административной карьерой, устраняется от исследований биолог. Идет на попятный жаждущий покоя электронщик. Только «первый в Европе» математик, «уникальный специалист» Филипп Вечеровский, как и подобает несгибаемому Атосу, не идет на компромисс. Он-то и становится хранителем научных работ, от которых отреклись его соратники. Вечеровский полон *спокойствия* и *уверенности* (авторы это подчеркивают). Что бы ни было, для него непреложно: «Законы природы надо изучать, а изучив, использовать». Вот это самообладание! Герой еще ничего не успел понять, а уж готовится использовать даже бунт мироздания, восстающего против человеческого вмешательства.

Честь земной науки спасена, нашелся титан, которому по плечу небывалый подвиг. Казалось бы, читатель вправе гордиться величием человека, гром победы должен раздаваться в его душе. А ему, напротив, не по себе. Смутная тревога побуждает вдумываться в события, происходящие в книге, где сталкиваются — пусть в фантастическом обличье — такие силы, как мироздание и наука, разыгрываются — пусть не совсем всерьез, но и не одной потехи ради — драмы идей. Может, вся печаль в том, что из четверых ученых трое отступили? Нет, дело куда серьезнее. Если принять предлагаемые условия игры, тогда, значит, опасность грозит не только героям и их родне, но самой жизни планеты. Что делать ученым, понявшим это? Вопрос не из тех, какие решают в зависимости от личной доблести. Но вот курьез: этим-то вопросом герои повести не задаются. Для Вечеровского и его коллег существует выбор лишь между своим благополучием и опять-таки своим открытием, все прочее непостижимым образом выпадает из поля их зрения. Их раздирают противоречивые страсти, жажда борьбы, гордость, страх. Нет только беспокойства о судьбе природы. Похоже, они ее... ненавидят.

Кстати, еще в «Стране багровых туч» появлялся персонаж, охваченный этим варварским чувством: Ермаков спешил на Венеру, где погибли его близкие, чтобы свести «старые свирепые счеты», «мстить и покорять — беспощадно и навсегда». Того же в семидесятые (!) годы жаждут Малянов со товарищи, буквально взбешенные строптивостью мироздания. «Матушка-природа, стихия безмозглая!» — поносит свою противницу один из этих мушкетеров от науки. «Наверное, что-то немаленькое я утрачиваю,— терзается на пороге отречения другой,— если оно оказывается зародышем потрясений, против которых восстает сама Вселенная...»

Не знаешь, чему больше дивиться — безответственности героев или природе, которая в повести ведет себя донельзя пошло. Подсылает аппетитных красоток, вульгарных шантажистов, а то и просто посыльного из продмага с ящиком напитков. Все это более пристало бы бандитской шайке, чем потревоженной Вселенной. Но читатель ведь не обязан принимать на веру гипотезу персонажей. Никогда Стругацкие этого не требуют, они охотно доверяют повествование кому-либо из героев, обычно самому простодушному, который по молодости или неведению слабо ориентируется в происходящем. Этот классический прием рассказа о загадочных приключениях для авторов — еще и условие корректности художественного эксперимента. Они и на сей раз не навязывают своих соображений, а предлагают вниманию читателя «рукопись, обнаруженную при

странных обстоятельствах». Стало быть, позволительно предположить, что Вселенная ни в чем не повинна. Просто герои, измученные небывалой жарой и раздраженные стечением досадных обстоятельств, выдумали нелепую историю.

Допустить это тем естественнее, что персонажи легко теряют присутствие духа. Малянову в какой-то момент даже собственная мирно спящая супруга представляется затаившимся монстром. И это еще не предел, ведь вся честная компания считает агентом чуждого разума зловредного дошкольника, сына Захара и его прежней возлюбленной. Кстати, злоключения Захара крайне любопытны как сами по себе, так и в качестве повода для размышлений глубокомысленной четверки. Почему женщина, с которой Захару некогда удалось изящно, без шума, расстаться, вдруг заявилась к нему да еще попросила несколько дней подержать сына у себя? Подозрительно... И почему другие дамы, ранее не доставлявшие женолюбивому гению особых хлопот, внезапно обрушили на беднягу лавину звонков, визитов, истерик, каких-то требований, им самим не вполне понятных? Всегда все обходилось так легко, и нате вам... Весьма, весьма подозрительно!

Друзьям так и не приходит в голову, что эта кутерьма может быть закономерным следствием галантных похождений Захара. Видимо, кому-то они обошлись недешево. Душевные раны, о которых выдающийся инженер не догадывался, дети, о чьем рождении он не ведал, ревнивые мужья, беседы с которыми оказались особенно неприятными,— все это представляется пострадавшему и его коллегам не иначе как происками демонических сил. А внезапно объявившийся сынишка? Он же, подумать страшно, посягает на права законных детищ Захара — его электронных схем! Вот на какие каверзы способно пошатнувшееся мироздание...

Да, вряд ли стоит доверять выводам героев, мыслящих подобным образом. Опьяненные самомнением, глухие ко всему, кроме собственных дел, они явно утратили чувство реальности. Так что же, драмы нет — есть лишь цепь недоразумений? Но к чему тогда напряженность повествования, его мрачноватый колорит, многозначительность? А если это сатира, почему авторы заметно сочувствуют героям?

Чтобы понять, что здесь к чему, стоит поискать ответа в книжках Стругацких, пленявших молодежь шестидесятых. Малянов и иже с ним — это же повзрослевшие персонажи тогдашних повестей. Правда, те казались гораздо привлекательнее. Взять хотя бы Румату. Благодетельный для друзей, грозный для врагов, обладающий пылким сердцем и таинственными знаниями... Верилось, и влюбленная Кира, и мудрый доктор Будах, и коварный Рэба могли его принимать за высшее существо.

Однако вспомним: и мушкетеры двадцать лет спустя уже не те. Дружба поизносилась, одни страсти остыли, другие, не столь романтические, заняли их место, поменялись нравы и времена, так что даже и читатель-подросток дивится перемене, постигшей его любимцев. Задумавшись же серьезно, он, очевидно, не без грусти убедится, что это закономерно: те юные удальцы должны были стать такими, какими стали.

Тем паче взрослый читатель, смолоду безоглядно принимавший бравых героев Стругацких, ныне, перечитывая повести, поражается, сколь многое он тогда проглядел. К примеру, в «Далекой радуге», где ученые так мужественно встречают смерть на гибнущей планете. Да ведь они сами ее загубили!.. А неподражаемый Румата? Фанфарон, вечно переоценивающий свои силы, ставящий под удар не только себя, на месте Филиппа он бы тоже непременно рискнул мирозданием. Вспомним: когда жертвой его недомыслия становится Кира, Румата не терзается муками совести, что не уберег любимую. Как заправский средневековый дон, герой жаждет мести и, забыв моральные и профессиональные запреты, начинает крошить всех на своем пути. А мечом он орудует впрямь как бог, земная спецподготовка не пустяки.

Итак, посланец победоносного разума не сумел остаться человеком в той мере, какой требовала его миссия. Между тем в повести есть герой, с честью выдерживающий все испытания. Будах выходит из застенков Рэбы, сохранив достоинство горькой, но не ожесточенной мысли. А ведь у него нет обеспеченного тыла инопланетной цивилизации. Трудно быть богом? А легко ли Будаху быть гуманистом в мире, где бесчинства диктатуры даже самонадеянного командировочного бога превратили в озверевшего убийцу? Увы, это тоже вопрос взрослого. Юноша, утверждающий, что многому учится у Стругацких, вряд ли заметит невзрачного Будаха. Румата интереснее: он активно действует, за ним — сила, а мир Стругацких устроен так, что только сила делает героя значительным.

Отсюда и привлекательность героев «Понедельника...» Шутка ли: сверхъестественными силами распоряжаются! Но стоит приглядеться, и становится тошно от бездушия и черствости блистательных кудесников. Мне возразят: книжка юмористическая, зачем ее героям сложный внутренний мир? Нет, я помню о законах жанра, но тут дело в другом. Только начисто освободившись от чувствительности, молодцы из НИИЧАВО могут быть теми задорными работягами, что так нравились нам когда-то. Ведь изучаемую природу символизируют томящиеся в виварии живые существа, наделенные речью, но беззащитные перед любознательностью магов, с шутками и прибаутками творящих свои небезболезненные опыты. Не так уж это потешно, что, например, джинна «стегали высоко-

вольтными разрядами», а он «выл, ругался на нескольких мертвых языках» и т. п. После этого легко поверить, что сотрудники НИИЧАВО опасны и для коллег: если в момент творческого горения им помешать, они превращают ближних «в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных».

Жестокость здесь волшебная, невзаправдашняя и потому вроде бы забавная. Она пронизывает атмосферу книжки, придавая ей своеобразную остроту и являясь важным свойством героев, их жизненной позиции. Джиннов-то, положим, не существует, зато безжалостность — вещь реальная и необходимая в мире повести, персонажи которой до того целеустремленны, что для иных человеческих особенностей просто не остается места. Ими жертвуют без колебаний, такой ничтожной кажется эта плата за восхождение к высотам знания.

Быстрее, еще быстрее!.. За истиной гонятся, как за бегущим зверем,— лихорадочный ритм этой погони и создает динамичность повествования. О смысле бытия герои не задумываются, некогда им. Да и незачем. Свой образ жизни они считают единственно достойным и полны презрения ко всему, что находится за пределами их штудий. Даже в новогоднюю ночь, «прорвавшись сквозь пургу», энтузиасты спешат в НИИ, ибо им «интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами... и заниматься флиртом разных степеней легкости... Сюда пришли люди, которые терпеть не могли разного рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы...»

Принято считать, что «Понедельник...» — книжка по преимуществу смешная. Нет, думаю, патетики в ней не меньше, чем юмора. Как запальчиво сказано — у Людей с большой буквы, оказывается, нет культурных интересов, нет друзей и любимых. Да что там: нет даже элементарного представления об осмысленном досуге. Жалость берет, как они наивно убеждены, что за стенами НИИ только и можно кутить да приударять за девицами. На то, как им кажется, только и существует этот бесполезный день — воскресенье.

Саня Привалов, плененный этим бездарным аскетизмом, еще мальчик. Но заметим: Малянов и его коллеги, мужчины в летах, того же мнения. Они так и не освоили тонкую науку человеческого общения, далеки от искусства и литературы, равнодушны к прекрасному. Один Вечеровский кое-что почитывает и подчас даже декламирует стихи, удовлетворенно похохатывая. Лишь по этому утробному звуку приятели догадываются, что процитированный Филиппом текст был стихами.

Главная беда этих адептов сверхцивилизации — недостаток культуры, узость духовного кругозора. Невежды во всем, кроме своих схем, «интегральчиков» и пр., они мечтают быть благодетелями человечества, о котором не имеют понятия. Малянов в трудный час обнаруживает, что не знает даже своей жены: что она за человек, точно ли любит его, захочет ли поддержать? А ведь за плечами годы супружества. Видно, не было времени интересоваться этим. Воскресенья не было.

...Рассказывают, будто некий лаборант вздумал похвастаться Резерфорду, что он работает всегда — и утром, и днем, и вечером. «Черт возьми,— возмутился великий физик,— когда же вы думаете?» Именно этот вопрос хочется задать героям Стругацких. Гордясь своей наукой, герои эти уподобляются мальчику из книжки о Винни-Пухе, который «обалдевал знаниями». Им примерещились происки чуждого разума — не оттого ли, что, отчужденный от человечности, их собственный разум обернулся злой силой, впрямь способной разрушить их жизнь, а в конечном счете и вызвать мировую катастрофу? Мощь современной науки в неумных руках — трудно вообразить что-либо более кошмарное.

«За миллиард лет до конца света» — завершение темы, давно занимавшей Стругацких. Фантастам близки их герои, истово работающие, чуждые корысти, питающие благие намерения. И, однако, от повести к повести все очевиднее, что, обедняя свой внутренний мир в надежде стать б о г а м и, м а г а м и, они чем дальше, тем больше смахивают на д у б л е й — упрощенные модели человека, которые кудесники из НИИЧАВО создавали для выполнения конкретных работ. Один умник даже к Верочке на Новый год вместо себя дубля послал. Еще хвалился: «Хороший дубль, развесистый... Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол...»

И вот жалкая распря с природой (собственной, взбунтовавшейся), истерика некультурного и извращенного сознания — финал личности, презревшей в себе человеческое. Стругацкие замечательно показали это, хотя, как можно предполагать, стремились написать о другом. Снова о том, что ради высокой цели подобает жертвовать всем, это как на войне... Но ведь война не норма бытия, а худшее из бедствий. Ее мораль ущербна, и путь «сквозь разрывы, пыль и грязь боев» не ведет к счастью.

Впрочем, новый роман «Отягощенные злом...» никакого счастья нам и нашим потомкам не обещает. Ни в смутах 2033 года, описанных в дневнике лицеиста Игоря, ни в таинственных событиях, на полстолетия ранее переживаемых ученым Манохиным в стенах некоей коммунальной квартиры, ни в перегруженной памяти его соседа, бессмертного Агасфера, нет ничего отрадного. Людское безумие и злоба вечны, как Агасфер, а люди мыслящие и совестливые редки. Георгию Анатольевичу Носову, «заслуженному учителю, и лауреату, и депутату, и члену горсовета» не суждено отвратить ярость толпы от Флоры — мирного, но уж очень своеобразного молодежного объединения. Одинокий голос Носова заглушен воплями тех, кто спешит «призвать граждан к поганым метлам, каленому железу и ежовым рукавицам».

Перед нами, конечно, не предсказание, а попытка «предотвратить будущее». Ведь если человечество не образумится, ему вряд ли суждено дожить до 2033 года и уж тем более — до 2073-го, когда постаревший Игорь сопоставляет свои заметки с еще более древней рукописью Манохина. Художественно неровный, с чертами торопливой злободневности роман обращен к читателям-современникам с горячей мольбой «только об одном: замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя».

В устах Стругацких, всегда так ценивших отвагу и энергию действия, этот призыв впечатляет И пропадает охота толковать о недостатках стиля и замысла романа. Слишком ясно, что перед нами произведение переломное. Как судить о нем более глубоко, думаю, покажет будущее.

Пока очевидно одно. Соглашаясь или споря со Стругацкими, надобно признать, что их творчество накрепко связано с реальностью, эпохой. Читателям старшего возраста, на чьих дорогах если не гремели разрывы, то пыль и грязь скапливались в угрожающих количествах, понять Стругацких просто. Но хочется все же надеяться, что поколениям, подрастающим сегодня, мир героев прозы братьев Стругацких покажется не столь близким. Однако также важно, чтобы они разглядели в книжках нашей юности не одни приключения, но и упорную работу мысли, ищущей выхода. В ней есть сходство с усилиями узника, роющего подземный ход. Такой труд требует бодрости и мужества, он не знает воскресений, в нем мало доброты, но удивляться этому не стоит.

Чтобы молодые читатели осознали это и тем более чтобы помочь им по достоинству оценить творчество таких непростых зарубежных авторов, как Шекли или Лем, «нужен обстоятельный и дельный разговор о проблемах, связанных с фантастикой». На этом настаивает автор письма в редакцию «Знамени» А. Аблясов, житель поселка Магнитка Челябинской области. Убежденный защитник научно-фантастической литературы как «превосходнейшего средства для развития особых, неординарных качеств интеллекта и души», он мечтает о времени, когда издатели, критики, составители школьных программ поймут, что фантастика — «значительный элемент художественной культуры».

И верно, пора.

P. S. Эта статья уже стояла в номере, когда в «Литературной газете» (№ 13, 29 марта, 1989) появились заметки С. Плеханова «Когда все можно», посвященные творчеству А. и Б. Стругацких. Соглашаясь с некоторыми (впрочем, немногими) положениями этой работы, не могу не возразить ее автору в главном. Он позволяет себе свысока третировать фантастов за то, что, творя в эпоху застоя, они пользовались эзоповым языком, уподоблялись, по выражению критика, «скоморохам, потешавшим рабов». Не знаю, чего здесь больше — непрофессионализма или неблагодарности, оскорбительных не для одних Стругацких. Статья походя наносит обиду всем, кто в годы бесправия с помощью благословенного «эзопова языка» напоминал согражданам о неуничтожимости мысли, совести, смеха. Культура только поэтому и существует, что умеет выживать под гнетом. Ее создатели — мыслители, художники и, если угодно, «скоморохи» — наперекор любой тирании учат людей не быть рабами. Отплатить им за это пренебрежением нельзя даже тогда, когда, если верить С. Плеханову, «все можно».

В мире журналов и книг

Что же случилось с Зыбиным?

Закрыл последнюю страницу романа Юрия Домбровского и захотелось перечесть прежний — «Хранитель древностей», начинавшийся словами: «Впервые я увидел этот необычайный город...»

Вот и читатели четверть века тому назад впервые познакомились с этой своеобразнейшей прозой, воссоздававшей напряженную атмосферу конца тридцатых годов, где все большее место занимали подозрительность, смутные, тревожные предчувствия, неуверенность, шаткость, зыбкость, когда «из воздуха», «из ничего» возникали диковинные, зловещие миражи, неузнаваемо преображая самые обычные лица и события.

Даже слух о змее, пусть и в самом деле большой, не только превращает полутораметрового среднеазиатского полоза в чудовищного гиганта («Длиной добрые четыре метра. А толста, как ствол средней яблони»), но и сам по-удавьи обвивается вокруг человеческих судеб, множа и множа змеиные кольца намеков, домыслов, самых произвольных истолкований будничных поступков тех, кто оказался под подозрением.

Реальный полоз убит и выглядит «жалким и ненастоящим». Отныне его удел — быть чучелом в местном краеведческом музее.

Но что касается его фантастически разросшейся тени, то она зажила своей собственной жизнью, умножив собой змеиный клубок других, уже «заведенных» дел, беззвучно скользивших за облюбованными жертвами или даже вовсю чинивших над ними суд и расправу.

Как многие слова в ту пору, канцелярский термин «делопроизводство» приобрел новый зловещий смысл...

«Хранитель древностей» завершался картиной мнимо умиротворяющей ночи, когда, как повествует рассказчик, «тихо и мирно спали наши женщины, веря в нас, в нашу мужскую силу, доброту, ум, мужество и в то, что мы сумеем не допустить в мир ничего плохого», хотя в эти же самые часы из бессонных пишущих машинок, шурша, выползали и выползали бумаги, смертельно жалившие ни в чем не повинных людей.

«Очень строгое время наступает»,— встревоженно предупреждал директор музея своего сотрудника Зыбина, выступавшего в прежнем романе как рассказчик.

«Я еще не знал, какое это время наступает,— размышляет тот,— и зачем ему надо наступать именно на меня...»

За привычным словесным оборотом (время наступает) снова начинает у Домбровского обнаруживаться неожиданный смысл: на кого? — и только ли в том патетически-воинственном смысле, который был в изобилии присущ оркестровой лексике той эпохи, или еще и в другом, куда менее тогда употребительном: придавить, обидеть кого-нибудь, повредить кому-нибудь.

«Вот вы, я вижу, батенька, и до сих пор не поняли, что же с вами случилось,— говорит уже в романе «Факультет ненужных вещей» Зыбину, когда время совсем «наступило» на него, многоопытный сосед по камере.— А пора бы! Ох, пора бы!»

Слова эти едва ли не с бóльшим основанием могут быть адресованы всем нам.

Да, Зыбин не был свободен от многих иллюзий тех лет и в своих мучительных мысленных разговорах с «самым большим человеком эпохи» поначалу испытывал «один трепет, одно обожание, одно чувство гордости за то, что он так легко и свободно может говорить» с ним. «Вразумляя» наивную и чистую девушку Дашу, казнящуюся характерным для многих тогда ужасом и недоумением: как это вчерашний герой революции и гражданской войны может вдруг стать предателем и врагом, Зыбин как будто вторит своему ночному «гостю»: «Во время величайших исторических сдвигов — войн, революций, переворотов — к сожалению, да, может!» Впоследствии он даже сам едко уподобляет себя «старому хрипучему граммофону», куда «заложили семь или десять пластинок», «и вот я хриплю их, как только ткнут пальцем»: «Если враг не сдается — его уничтожают», «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», «Кто не с нами, тот против нас» и т. д.

Ю р и й Д о м б р о в с к и й. Факультет ненужных вещей. Роман. Новый мир, №№ 8—11, 1988.

Но на самом-то деле мысль этого героя, даже в разговоре с Дашей, только по видимости влечется «по течению» и отнюдь не утрачивает способности к саморазвитию, к явственному сопротивлению тому темному, что наступает не только на него, а, в сущности, на жизнь вообще.

Любовь к жизни, вроде бы совсем простой в своих будничных проявлениях и вместе с тем бесконечно богатой в своей мнимой незатейливости,— такова постоянно ощутимая почва зыбинской, да, вероятно, и нормальной человеческой мысли вообще.

Это его ночного «оппонента», благодушествующего в своем саду, прямо-таки забавляет замечание садовника (не метафорического, которому столько раз елейно уподобляли «самого большого человека эпохи», а простого, всамделишного) о том, что «боровики, подберезовики, подосиновики и даже маслята — это грибы вольные, чистые, лесные, они где вздумается, там и растут».

Зыбина же в самые разные, часто совершенно неожиданные моменты потрясает ощущение многообразия, непредсказуемости жизненной стихии, где столько всего — зачастую драматически — соседствует: «сад, ветер, запах трав и яблок, блеск и трепет листьев, на траве чуткие черные тени их, а тут больница и смерть»,— проносится в его душе, когда он наклоняется над пахнущими иодоформом носилками для заболевшего рабочего.

И в самой фамилии героя словно бы маячит какое-то неназойливое напоминание о ничем не унимаемом движении всего вокруг, з ы б и, играющей на житейском просторе, то вспыхивающей под солнечным лучом, то хмурящейся от непогоды.

Даже в кабинете следователя ему выпадает счастье «неположенного» ему свидания с «сестрой» — жизнью, заглянувшей в окно: «...Зыбин растерялся, сбился с толку перед этим несчитанным богатством. Веток, сучьев, побегов... Он смотрел и не мог глаз отвести. Гулял небольшой ветерок, и листья поднимались, опадали, ползли — дерево дышало...»

Но за что же все-таки на него наступать-то? Добряк, бессребреник, книгочей, мечтатель, для которого любая музейная, археологическая «пылинка» способна, по выражению поэта, окутать мир цветным туманом, населить его образами давно ушедших людей, заставить пережить их судьбы,— кому мешает он, ни во что вроде не встревающий? «Стараюсь пройти тихо-тихо, незаметно-незаметно,— размышлял он еще в «Хранителе древностей»,— никого не толкнуть, не задеть, не рассердить...»

Ан, не тут-то было...

Оказывается, даже в глазах весьма симпатизирующего ему директора музея, на которого жизнь тоже, видать, «наступила», оттеснив бывшего комбрига в совершенно незнакомую ему сферу, Зыбин выглядит совсем по-другому, вызывая некое тревожное беспокойство: «...откуда такие берутся, вот такие, как он, тихие, настырные и дурные?»

А любимая женщина, тревожащаяся за участь Зыбина, высказывается уже совсем напрямик, ставя все точки над i: «...Ты только ходишь и треплешься, рискуешь головой за словечко, за анекдот. Высказываешь свое недовольство в формах, опасных для жизни. Ты, как говорят юристы, источник повышенной опасности».

И тут же в ночном разговоре-кошмаре «высокий гость» Зыбина подводит итог их философскому диспуту: «...вы нам мешаете, вот и приходится вас...»

Чем же?!

А вот тем, что «треплется», когда большинство уже уразумело необходимость больше помалкивать,— а в переводе на нормальный язык всего лишь говорит то, что думает, осмеливается возразить тому, что не то что оспаривать, но всерьез обсуждать — и то не положено.

Тем, что «рискует головой за словечко», если оно, на его взгляд,— смешно сказать! — этого стоит, когда отказаться от него, пренебречь им — это уже во многом значит и от себя самого отказаться, от человеческой своей сущности и ото всех «ненужных вещей», как презрительно именует следовательница, которой «приходится» приняться за зыбинское дело, самые элементарные правовые и нравственные нормы.

Воображаемая беседа героя со Сталиным соотносится со знаменитым диспутом с чертом и всеми мучительными размышлениями Ивана Карамазова не только по своей фантвстичности и «общему колориту», но и потому, что ужас, испытываемый Зыбиным при одном только предположении, что его собеседник может окончательно восторжествовать, сродни желанию героя Достоевского «почтительнейше» возвратить билет на право существования в мире, где к топчущим правду и людей сапогам насильника должно «припадать как к иконе».

И тут, пожалуй, фамилия героя Домбровского обнаруживает еще один свой смысловой оттенок, помогая нам понять, за что его «все гонят, все клянут» и почему ему уготована «мучителей толпа», куда похлестче, чем в знаменитой грибоедовской пьесе.

Горе от ума и горе уму, если он з ы б л е т — колеблет, потрясает — устои слепой веры в правоту всего совершающегося вокруг, веры в то, что сказанное или сделанное «корифеем» «не об-суж-да-ют!.. У-ча-т!», как сердобольно, хотя и вряд ли искренно, вдалбливает сотрудникам директор музея, дабы они усвоили «строгость» времени.

А Зыбин даже в разговоре с Дашей, вместо того чтобы убаюкать заворочавшееся в ее душе сомнение, в сущности,

только подбрасывает ему новую пищу: «...что происходит с идеей, когда она становится действительностью? Очень много с ней неожиданного и неладного происходит тогда. Появляется она совсем не похожей на себя... у идеи в действительности не одно или два лица, а добрый десяток их. Только проявляются они не сразу.»

Не-е-ет, он и в самом деле только «мешает»! Он хранитель «древностей», уже совсем не только специфически музейных, а всех тех культурных и нравственных «несчитанных богатств», о необходимости унаследовать которые было сказано на самой заре новой жизни. По трагическому стечению многих причин и обстоятельств они вскоре стали объявляться «факультетом ненужных вещей», который не грех закрыть за ненадобностью и бесполезностью, а «слушателей» его презрительно высмеять как жалких недотеп и выживших из ума, обреченных донкихотов («...Вы нам мешаете, вот и приходится вас...»).

Вроде бы жребий Зыбина предрешен. «Покойников с кладбища назад не таскают»,— философически замечает по адресу своего арестованного сослуживца и собутыльника столяр Середа. Ту же мысль по-своему, отечески-наставительно преподносит подчиненным полковник Гуляев: «Кто посидел на нашем стульчике — тому уж никогда не сидеть на другом».

И правда: освобождение Зыбина, происходящее на страницах романа, столь же сказочно, как и «высочайшая милость», неожиданно проявленная выполовшим миллионы человеческих судеб «садовником» к «зеку» Каландарашвили, обратившемуся к нему с неслыханно дерзкой просьбой — вернуть деньги, какие этот былой адвокат некогда потратил на ссыльного Иосифа Джугашвили.

Чудеса — они на то и чудеса, чтобы быть наперечет (как, например, покаянное прозрение одного из зыбинских следователей) и лишь в обыденном сознании — нередко разрастаться до таких же баснословных, неправдоподобных размеров, как печальной памяти змея в «Хранителе древностей».

Зато история «уловления» ближайшего зыбинского сотрудника Корнилова в число пресловутых осведомителей, этот, если можно так выразиться, апофеоз всей атмосферы предательства, вольного или невольного, вынужденного обстоятельствами или, так сказать, профилактического (дабы самому не сделаться его жертвой),— при всей заостренности и парадоксальности отдельных фабульных деталей происходящего — дышит горчайшей правдой и во многом иллюстрирует еще одно философическое размышление деда Середы — о безумной грызне в фургоне, полном несчастных, отловленных для истребления собак.

А следователь — писатель Роман Львович Штерн со своими «Записками...», которые сам цинично именует «мемуарами бабы-яги»,— так это уж не только типичная фигура того времени, а скорее памфлетная зарисовка с натуры, вызывающая в памяти вполне определенный «прототип».

...И вот последняя страница последнего романа Юрия Домбровского.

Словно в глазок отъезжающей кинокамеры увидены и освобожденный (надолго ли?) Зыбин, отмечающий свою фантасмагорическую удачу в не менее диковинном обществе — уволенного следователя Неймана и спивающегося осведомителя Корнилова, и гордый и неприкаянный художник Калмыков, время от времени возникавший в повествовании и ранее, а сейчас запечатлевающий эту странную троицу в присущем ему самобытном и причудливом стиле, быть может, в чем-то родственном дерзкой и раскованной манере самого писателя, который, несмотря на все превратности собственной судьбы, сумел воздвигнуть в литературе свой «необычайный город».

А. Турков

Пленник времени

Среди поэтов, возвращающихся из насильственного забвения, Владимир Корнилов, кажется, чуть не единственный, кто до сих пор не столкнулся с желающими поскорее «закрыть» его снова; или я проглядел таковых? Так или иначе, это странно: характер из тех, что беспокоят и раздражают, и чтоб хоть отчасти нарушить благостность картины, нарочно начну со стихов, вызвавших, как я знаю, хотя бы устные попреки. Притом у людей далеко не худших.

Вызвавших несправедливо, но не случайно: тема — щекотливая.

Итак:

Тянулось не год, не года —
Поболее десятилетия,
И ярко светили тогда
Огни-миражи Шереметьева.

А мы не глядели и бед
С обидами не подытожили,
И вынесли вес этих лет,
И выжили, дожили, ожили.

Владимир Корнилов. Надежда. М., Советский писатель, 1988.
Владимир Корнилов. Музыка для себя. М., Правда, 1988.

Полагаю, незачем объяснять, что́ ставили доброхоты в упрек поэту: зачем Корнилов бередит раны, зачем свой выбор, будто бы вызов, тычет в глаза тем, кто (ведь и впрямь нередко не по желанию, не по выбору) свернул в сторону шереметьевской таможни?.. Но вызова тут и в помине нету, тем более что сам-то Корнилов выбора — для себя — попросту даже не видел:

И помнили только одно:
Что нет ни второго, ни третьего,
Что только такое дано,
И нет за Москвой Шереметьева,

А лишь незабудки в росе,
И рельсы в предутреннем инее,
И синие лес, и шоссе,
И местные авиалинии.

Помню, что некогда и Александра Галича знакомцы корили «Песней исхода», в которой он, не предвидя собственной эмиграции и противясь мысли о ней, никого не коря, а лишь горюя, напутствовал: «Уезжаете? Уезжайте...» и объяснял, отчего сам не хочет, не может этого: «Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой!»

Галич (тогда) и Корнилов (теперь) этим обнажили свою внутреннюю свободу, которая состоит отчасти и в том, чтобы не бояться высказать собственную выстраданную правду, даже если она, повторю, щекотливая и кому-то... да что там «кому-то» — друзьям неприятна. А что делать? Промолчать деликатно? Но это куда ни шло и, может быть, даже похвально в быту, а не в поэзии.

К тому ж внутренняя свобода, обретенная Корниловым, не подарит ему чувство превосходства. Куда там! Он вообще способен от нее откреститься: «Не готов я к свободе...»; и если к этой декларации, как ко всякой любой, мы имеем право отнестись с недоверием, так существует и то, что уж точно не лжет: плоть стиха, поэтика, запечатлевшая непроизвольные движения души.

В стихотворении «Платформа 126-го км» он словно бы тщится исключить самую возможность символически-притчевого истолковать вполне обыденный эпизод, то бишь одинокое ожидание электрички, однако же — уж там вольно или невольно — воплотилась мечта о «покое и воле». Пусть минутных, но тем более редкостных и дорогих, впрочем, потаенный этот замысел проглянул, сказался воспоминаньем о легендарном герое Гёте: «Были силы вынести бед чередованье, так что в неподвижности есть очарованье... И в начале августа таю от соблазна крикнуть вроде Фауста: «Стой, ведь ты прекрасно!»... Шевельнуться боязно — поврежу вдруг лесу...»

И вдруг на тебе: «Ожидаю поезда, нужен до зарезу».

«До зарезу» — что это, рассчитанный каламбур? Намек на гибельность, таящуюся за границами недолгой нирваны? Не уверен, но главное-то: какой там «покой», что там за «воля», если даже минута их иллюзорна, фиктивна, полна судорожного ожидания?

В «Двух поэтах» Корнилов вздумал сопоставить Некрасова и Есенина, отдав сердечное предпочтение второму, и пояснил в интервью, данном для «Литгазеты» С. Тарощиной: «...Есенин гармоничнее... Некрасову не хватало внутренней свободы. А в Есенине она была». Но предпочтение предпочтением, однако, рискуя ошибиться, предположу, что в поэзии Корнилова, а не — опять-таки — в его заявлениях отношения с этой самой свободой как раз некрасовские. Он, без сомнения, обладающий внутренней раскрепощенностью (без нее и поэт не поэт), вроде бы стесняется ее, считая слишком комфортной для себя. У него и свобода — именно по-некрасовски — самомучительна.

В рассказе Булата Окуджавы «Девушка моей мечты», до очевидности биографическом, вспомянуто, как его мама, только что воротившаяся из лагеря, которую сын по доброте беспечной души решил порадовать трофейным фильмом с Марикой Рокк, не смогла, не выдержала изболевшимся сердцем этого райского зрелища. В корниловских стихах, так и озаглавленных — «Трофейный фильм», уже он сам неспособен глядеть нынче на ту же пленительную Марику, в юности бросавшую его, как и Окуджаву, в дрожь. Что, вкус изменился? Нет, переболела, переродилась душа, и выбор снова крут. Вернее, его вновь нету:

Ты одно мне по нраву, наше время!
Для тебя мне не жаль ни сил, ни рвенья.
Только дай мне еще раз уверенья,
Что обратных не найдешь дорог.
Ты пойми: возвращаться неохота
В дальний год, где ни проблеска восхода,
В темный зал, где одна дана свобода —
Зреть раздетую Марику Рокк.

«...Возвращаться неохота...» И еще круче: «Не заманивай в юность — эту пору не терплю безо всякого разбору...» И это столько же приобретение — чего угодно, мудрости или умения сострадать, сколько утрата — многого и важного. А прежде всего помянутой и такой желанной гармоничности.

Что Корнилов строго-настрого запретил себе? Ни много ни мало, ностальгию по детству, этот дивный дар, обогативший самую сердечную из книг Набокова «Другие берега» и чуть не всю великолепную прозу Искандера. И если у Маяковского прозвучало: «Живешь, и болью дорожась», то для нашего поэта, думаю, даже это «и», равнозначное «тоже», излишество. У него никаких «и», никаких «тоже»: он дорожит именно болью, приравненной к памятливости души, он неблагодарно отталкивает от себя сегод-

няшнего то, что дарило счастье вчера и позавчера, что, по справедливости рассуждая, так или иначе участвовало в формировании его души.

Любите его или не любите (я — люблю), но Корнилов таков. И другим стать не обещает.

В относительной молодости, в 1965-м, он мог пропеть непритворную хвалу и славу всему, что сберегало его от фальши, от «сплошной «уры», от участия в поголовном самообмане,— всему, начиная вещами малопочтенными, армейской «губой», легкомысленными подружками и даже пол-литрами, и кончая святым: «...и Отечеству, что большое и припрятало до поры». Сегодня, кажется, Корнилов таких стихов бы не написал... Впрочем, что значит: «кажется»? Он написал совсем другие, «Шахматы и кино», где эти более чем невинные формы отвлечения от действительности, даже они кажутся отнюдь не спасением, а, напротив, бедою. Виной, взывающей к покаянию: «Шахматы и кино были заместо шор». И еще резче: «...Гнал меня хлипкий страх к шахматам и кино».

Второе стихотворение, конечно, не убило первого. Оно показало, до чего ж переменился Корнилов, переменился решительно и сознательно, и ежели припомнить зацитированное пастернаковское: «Ты вечности заложник у времени в плену», то, вероятно, для себя бы он выбрал вторую часть формулы... Да и надо ли предполагать? Ведь сказано: «Ты одно мне по нраву, наше время...» Понимаете: «одно»! Никакое более — не потому, что отшибло память, а потому, что память слишком перегружена мукой и болью. И даже обратившись к вопросам, так сказать, поэтики и стиля, Корнилов скажет: «...Речи прямые нынче в чести. Все без намеку и не в подтекст...» То есть не побоится не только словца «нынче», но и, пожалуй, еще более опасного выражения «не в чести», так и напрашивающегося на радостное обвинение в желании «угождать» моменту, потребностям нынешней публики.

Мало того. Тот же литгазетский интервьюер заденет поэта за живое, напомнив: «Вы рассказывали мне, как Анна Андреевна (ясное дело, Ахматова.— **Ст. Р.**) говорила о ваших стихах: «Что это вы прямо в лоб!» Да и вы сами называете их одноходовыми... Это мучает вас?»

«Разумеется, мучает»,— ответил поэт, не кривя душой и не болея самодовольством. Но как же тогда увязать это самомученье с волевым посылом: «...нынче в чести... и не в подтекст»? А стоит ли увязывать? Все равно не увяжется, сам же Корнилов и не даст этой возможности, потому что самоощущение самоощущением, недовольство собой — недовольством, однако как бы он ни открещивался от «негармонического» Некрасова, неосознанные корни его все-таки там. И в отношении непроходящей, пускай безвинной вины, и в привязанности к долгу, и даже в поэтике... Хотя можно ль вообще отделить ее, самоуничижительно признанную «одноходовой», от этой настырной, совестливейшей привязанности к долгу и веку?

«...Это высшее в мире геройство Быть собой и остаться собой». Сказано — в 1966 году — до бесспорности верно, но... Как бы выразиться? Излишне, что ли. Именно по причине сугубой бесспорности. Да, да, так оно, конечно, и есть, без этого непременного условия поэту — никуда. Но разве он, поэт, так уж должен быть озабочен им? Если и да, так разве что в пору самолюбивой, самоутверждающейся молодости, а в зрелости то, что дано ему изначально, что подразумевается, кажется, уже должно перестать волновать его само по себе. В зрелости его — по российской, во всяком случае, традиции — занимает нечто иное. К примеру, напротив, боязнь элитарности и стыдливое сознание, что он, поэт, видите ли, «не как все». Не горделивое состязание с такими же, как он, избранниками судьбы, а единение с неизбранными. То, что, если угодно, можно назвать демократизмом духа.

Это вовсе не обязательно связано с путем к совершенствованию и совершенству, это может быть связано с опрощением, с эстетическими утратами, и все-таки именно этим совестливым духом живет русская литература...

Что до Корнилова, то его «лобовая» манера, с годами, независимо от личного недовольства собою, ставшая упрямо осознанным принципом, может рождать стихи прекрасные, где «одноходовость» кажется и является единственно возможным способом выражения; может разочаровывать — и причина, в общем, одна: значительность, выстраданность, экстремальность выражаемого. То есть их степень. Слегка схематизируя, скажу, что в новых корниловских книгах нет стихов, которые примирительно оценишь: «ничего... неплохо...», ибо нет уловок стихотворческой виртуозности, способной держать на плаву бесхитростные зарисовки и полуобязательные признания. Тут или вздрагиваешь, как под током, или огорчаешься: «нет, не вышло!»

Молодой Чуковский когда-то провидчески сказал о молодом же Георгии Иванове: дескать, ему бы пережить одну настоящую трагедию — каким бы поэтом стал! Так и вышло: пережил (революцию, эмиграцию) и стал.

Я не к тому, что Корнилову, дабы стать поэтом, нужно было пережить то, что он пережил — изгойство (да и что стоит такой цены?). Поэтом, притом настоящим, в чем-то, возможно, превосходящим себя нынешнего, он стал давно (я лично с некоторым ностальгическим трепетом жду обещанной встречи с его молодой поэмой «Удача Родиона Мордвинова», или «Заполночь», которую полюбил четверть века назад). Но таким нужным сегодня (давайте не испугаемся прагматического слова), таким **необходимым** Корнилов стал, пройдя через то, через что прошел. Необходимым как поэт гипертрофированной совести, кричащей боли, невероятной надежды, чья невероятность определена сознанием вероятности поражения,— оттого-то его привязанность к плену дня, к нашей сиюсекундности уж никак не может быть заподозрена в желании попасть в ногу — хотя бы и с самым благородным движением.

Он никого не тешит. Он мучает — себя и нас. Он предостерегает. И имеет полное право выстраданно сказать своему времени: «Ты одно мне по нраву...» Или: «Я надеюсь на гласность, на нее на одну». Потому что больше надеяться не на что.

Ст. Рассадин

Преодоление обособленности

Привыкнув к казенному слогу иных трактатов о национальном, приятно обманываешься, когда берешь в руки книгу Георгия Гачева «Национальные образы мира». Тема эта сегодня и актуальна и ожидаема, но исполнение ее во многом неожиданно. Помня афоризм Бюффона о том, что стиль — это человек, будем доброжелательны и терпимы к гачевскому «лица необщему выраженью». Его работа адресована прежде всего думающим, пытливым людям, способным обменять набившие оскомину готовые ответы на новые вопросы доверяющего их интеллекту собеседника.

«Национальные образы мира», синтезируя научность и художественность, исполнены в жанре, который (с известной долей условности, конечно) можно назвать культурологическим детективом. Со всеми присущими ему атрибутами: интригой, лихим сюжетом, мудрым Шерлоком Холмсом, принявшим облик «Ведущего», и даже вечно сомневающимся доктором Ватсоном — редактором издательства «Советский писатель», выпустившего эту работу в свет, Г. Великовской. Но поскольку главный герой, как предупреждает нас в предисловии сам автор,— это «испытующая мысль», то нет в книжке ни жертв, ни преступников.

Думаю, что препоны, не позволившие собранным в книге текстам быть опубликованными в свое время (большинство из них, кстати, написано 20 лет назад), были поставлены не столько из-за необычной манеры изложения, сколько из-за содержания. Ведь именно оно дает простор для неожиданных — даже для самого автора — поворотов мысли в деликатнейшей сфере национального.

Однако перед нами пусть и детектив, но — культурологический, в котором автор стремится постигнуть «Космо—Психо — Логос» (природа — душа — ум) различных национальных культур: русской, болгарской, киргизской, грузинской, армянской. А само его стремление как бы дополнительно показывает мучительную до остроумной находчивости попытку преодолеть собственный этноцентризм, т. е. склонность воспринимать и оценивать чужие нравы и обычаи по привычным канонам и стандартам. И это особенно удается в лучших, по моему мнению, главах — «Киргизский образ мира (по повестям Чингиза Айтматова)» и «Болгарский образ мира в сравнении с русским».

Действительно, все познается в сравнении. Но, узнавая других, прежде всего сам себя познаешь. Когда же берется национальный образ как таковой, например, в главе «О национальной образности русской поэзии», объединившей «45 натурфилософских романсов на стихи Тютчева», интереснейшие изыскания выглядят не более чем литературоведческими забавами. Произошло это, по-моему, по трем причинам. Во-первых, судить об образности в с е й русской поэзии по творчеству одного поэта — значит самоограничиться изначально, что, естественно, не даст всей картины. Во-вторых, не все ее образы поддаются выбранному автором методу натурфилософского анализа, да и сам метод во многом схематичен. И, в-третьих, в этой главе изящное литературоведение подавляет осмысление национальной русской образности.

Тем не менее ценна и эта часть книги. Повторю лишь слова автора издательского предисловия Евгения Сидорова: «Может быть, это проблема моего восприятия, а не гачевского текста». Хотя мне так бы хотелось привлечь в качестве доказательств многочисленные содержательные примечания редактора книги Г. Великовской, которая спорит с Гачевым прямо на страницах издания. Ее публичное несогласие с автором не только интересно, свежо и привлекательно, но просто редкость в нашей издательской практике, если не сказать: прецедент. Впрочем, и вся работа беспрецедентна.

Путешествуя вместе с исследователем по национальным мирам Болгарии и России, Грузии и Армении, Киргизии и Аме-

Г. Гачев. Национальные образы мира. М., Советский писатель, 1988.

рики, как бы на самом деле переносишься в далекие края и живешь в другой среде, с иными нравами и обычаями, отличными, но не чуждыми собственным. И все это благодаря «мыслеобразам» (термин автора) книги, которые так же занимательны, как и познавательны. Хотя столь любимое Гачевым словотворчество, примеров которого в его текстах несть числа, более оправдано, на мой взгляд, с точки зрения художественной образности, нежели научного метода исследования. Так, автор вслед за П. Флоренским утверждает, что «русское «истина» — от корня «есть», и выводит отсюда «пиитическое» понятие «естина» (то, что есть), которым широко оперирует в своих рассуждениях. С таким термином трудно согласиться не только потому, что в народной этимологии истина, как писал А. Преображенский, «относится к искать» (см.: Этимологический словарь русского языка. Том первый. М., 1959, с. 275), но и потому, что некоторые выводы, сделанные на основе этой дефиниции, просто не убеждают.

И все же в целом книга — яркий пример стирания границ между научностью и художественностью, пример преодоления национальной обособленности. Потому и прощаешь порой автору иные вольности, неуместные в строго научном тексте, что работа его художественно-философская, где у художественности — бесспорный приоритет.

А. Знатнов

Он был солдатом

В четырнадцать лет — член РКП(б), в пятнадцать — красноармеец, в шестнадцать — командир полка. Однажды, когда уже был писателем, спросили у него совета, как воспитать у юных ненависть к врагам? «А зачем вам воспитывать ненависть? Воспитывайте любовь к Родине,— ответил он.— Пусть она будет большой, настоящей, искренней. И тогда, если кто-нибудь посягнет на Родину, родится у человека великая и праведная ненависть. Такая вот, по-моему, диалектика...»

У книг, как и у людей, судьбы разные. Счастливы те, которые сопровождают, поддерживают человека всю его жизнь. Произведения Аркадия Гайдара, на рукописях которых неизменно была нарисована красная звездочка, живут вот уже более полувека. Живут. Не стареют.

«Голиков Аркадий из Арзамаса» — результат долгой, кропотливой работы сына писателя, Тимура Гайдара. За скупыми строками свидетельств — не только судьба близкого человека, но и времени, в которое он жил, ставшего историей. «Порой удивляешься,— пишет автор,— ...в огромном народном смятении... прослеживается по документам путь одного, притом не очень-то высоких должностей, краскома». В самом деле, что стало бы нам известно сегодня, не сохранись старые бумаги. К примеру, из найденных приказов, военных документов 20-х годов, строчек его произведений, тоже с годами ставших свидетельствами времени, рождается зримый облик минувшего, прослеживается богатый яркими событиями и встречами жизненный путь писателя Аркадия Гайдара. «В 16 лет — командир полка. Это сейчас звучит красиво и романтично,— пишет Тимур Гайдар.— Но стоит задуматься, какая тяжесть ложилась на плечи такого командира». Бои, ранения, дороги и снова бои. Напряжение душевных и физических сил, тяжелая болезнь, о чем свидетельствует выписка из приказа от 23 августа 1923 года: это год прощания бойца Голикова с Красной Армией.

И опять закружит его жизнь, теперь по мирным дорогам страны. Он станет журналистом со «звонким и раскатистым именем» Гайдар. Будут в его судьбе взлеты и падения, ошибки и победы, удачи и огорчения. Отгремит Гражданская, и поведет он свой бой добра со злом новым оружием — пером. И «поле брани» станет иным: «Нынче бюрократ действует прямо по противоположному методу. Еще не успев до конца набюрократить, он сам же предусмотрительно и заблаговременно поднимает негодующий вопль о том, что его, честного человека, обманули.

Он просил, а ему не дали. Он искал и не обрел. Он стучал, и ему не отворили. Он заказал, а ему не сделали.

И вместо того, чтобы найти выход из положения и с действительной большевистской настойчивостью добиваться исполнения порученного дела, бюрократ спешит умыть руки...» — строки из гайдаровского фельетона тех далеких дней. Через десятилетия они пришли к нам, а будто написаны о сегодняшнем. О наших заботах.

Тридцатые, сороковые... Время снова становится тревожным. Гайдар считает, что писатель не может не объяснять в своих книгах такие понятия, как «честь», «знамя», «смелость», «правда»... Командир, который будет принимать юных в армию, не может не быть писателю благодарным за это.

Тимур Гайдар. Голиков Аркадий из Арзамаса. Документы. Воспоминания. Размышления. М., Политиздат, 1988.

Шутя, он делил свои прожитые 36 на рождение, воспитание, воевание и писание... «Воевание» ему пришлось продолжить, несмотря на заключение медицинской комиссии: удержать его в тылу, когда начался бой «не ради славы, ради жизни на земле», было невозможно.

В книге мы вместе с автором удивимся многим совпадениям. Вот одно из них: повторив пути своей юности, Аркадий Голиков из Арзамаса прошагает в Отечественную дорогами Гражданской...

А вот другое... Пуля — прямо в сердце Мальчишу-Кибальчишу: «Похоронили Мальчиша на зеленом бугре возле синей реки...» Будто задолго предвидел собственную гибель в бою с фашистами А. Гайдар.

А вот третье...

«Когда-то я хотел стать моряком,— говорил Аркадий Гайдар,— а стал... солдатом». Совпадение?.. Мечта отца реализовалась в судьбе сына, моряком стал Тимур Гайдар.

Воспоминания детства органично соединены в книге сына с раздумьями зрелого человека, прошедшего собственные пути-дороги. Дистанция времени, приобретенный опыт дают возможность осмыслить и понять неразрывно связанные между собой «дела давно минувших дней» и дней нынешних.

Читая старые бумаги и анализируя, сопоставляя с другими свидетельствами, нельзя было не задуматься над причудливыми поворотами жизни. Так было найдено подтверждение родства с... Лермонтовыми. Обнаружен и послужной список Аркадия Салькова, деда А. Гайдара по материнской линии. Некоторые «фамильные» черты встречаем мы и у писателя. С особой теплотой собирает сын сведения о другом своем деде, Петре Голикове.

В процессе работы над книгой закономерно возникали вопросы: «кто мы» и «откуда родом», нарастал интерес к собственным истокам. Так, крупица к крупице, складывалась родословная, скрепляющая единство поколений. Оказалось, от прапрадеда, крепостного крестьянина князей Голицыных, до праправнука — все были солдатами. Тоже совпадение?.. Без прошлого нет настоящего и будущего: «если в семье нити памяти оборваны, то обеднен и не очень понятен сегодняшний день».— Так считает Гайдар-сын.

Повествуя об отце, Т. Гайдар стремится к объективности, не хочет ничего «приглаживать». Он сдержан в своих оценках, эмоциях. «Все мы дети своих отцов»,— говорит автор, военный моряк, контр-адмирал, журналист, писатель Тимур Гайдар,— и у каждого перед отцом свой сыновний долг».

Чтобы ближе узнать и понять жизнь отца, по многим дорогам пришлось пройти Тимуру Гайдару, многое передумать, о многом поразмышлять. И глубже становится понимание взаимозависимости человеческих судеб, из которых складывается история, время, рождается ответственность за свои дела.

Сергей Кравцов

Давным-давно была война?

Во втором томе книги В. И. Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма», которая вышла в 1973 году в издательстве «Наука», на странице 419-й приводится приказ германского командования, где, в частности, говорится: «4-я танковая армия переходит в наступление «Цитадель» для окружения и уничтожения противника на Курской дуге».

А в приказе Верховного Главнокомандующего Красной Армии от 5.8.1943 года сказано: «Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали свое летнее наступление из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить и уничтожить наши войска, находящиеся на Курском выступе».

Итак, Курский выступ — советское название участка фронта. Курская дуга — термин фашистского командования. А битва на Курской земле — это не битва за город Курск. Согласитесь, Курский выступ для курян не звучит (выступов за войну было много). Курская дуга — все же лучше (это ничего даже, что так она названа гитлеровцами). Вот так, постепенно, в угоду высоким уроженцам Курской области, вначале битву на Курском выступе назвали «Курской дугой», а затем в доклад для Л. И. Брежнева к 35-й годовщине Победы вставили новое, третье название «Орловско-Курская дуга». А уроженец Курской области, старший научный сотрудник Института военной истории МО СССР кандидат исторических наук полковник Г. А. Колтунов придумал даже четвертое название — «Курская битва».

В июне 1987 года участники исторической битвы на Курском выступе обратились с письмом в 33 адреса, в котором отрицали правомочность сооружений в г. Курске монумента никогда не существовавшей «Курской битвы». В своем письме ветераны войны писали: «Мы, советские солдаты, сделали из закодированной гитлеровцами «Курской дуги» для немецко-фашистских войск «Огненную дугу», как ее до 1954 года и называл весь советский народ. Необходимо с помощью всех средств массовой информации добиваться упразднения из обращения чуждого нам, участникам этой битвы, названия «Курская дуга» и надуманного «Курская битва». Из сводок Совинформбюро и приказов ВГК Красной Армии мы знали два названия: битва на Курском выступе и Огненная дуга. Их и следует восстановить».

Битва на Огненной дуге увековечена музеями-диорамами в городах Первого Салюта, Орле и Белгороде, то есть именно в тех городах, у стен которых горели и плавились немецкие танки. Так что монумент «Курская битва» за 16 миллионов рублей в Курске, находящемся от переднего края Огненной дуги более чем в 100 километрах, сооружать не следует — это никому не нужное, безнравственное расточительство народных денег.

В связи с вышесказанным я предлагаю упразднить Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 58 от 21 января 1967 года о строительстве монумента «Курская битва» в Курске как принятое ошибочно в застойный период, а средства, выделенные для строительства монумента, передать Центральному Комитету ВЛКСМ для розыска и захоронения десятков тысяч наших солдат и офицеров, лежащих в землях Смоленщины, Псковщины, Новгородчины, Карелии, Мурманской, Калининской и Калужской областей. Отчизна не абстрактное понятие, годное лишь для употребления в торжественных речах. Отчизна — это люди, это все мы, в том числе и бойцы Великой Отечественной, лежащие непогребенными на просторах России.

Коротко о себе. Инвалид войны II группы. Всю жизнь был «маленьким» человеком — на войне гвардии рядовым, в мирной жизни рядовым Компартии большевиков, в которую вступил более сорока лет назад не ради жизненных благ. На Отечественную войну ушел добровольцем, был разведчиком отдельного морского

комсомольско-молодежного батальона. После третьего ранения в октябре 1942-го при обороне Кавказа в неполных семнадцать стал инвалидом. Но снова добровольно вернулся в строй и участвовал в битве на Огненной дуге знаменосцем воздушно-десантного полка и комсоргом отдельной роты автоматчиков.

Ю. Н. Шмелев,
г. Белгород

Моя военная судьба была счастливой, но мне, молодому солдату, пришлось пережить гибель двух частей, от которых не осталось и следа. В июле 1941 года в городе Речице Гомельской области сформировался истребительный батальон. Я тоже вступил в его состав. Мне тогда только-только исполнилось 17 лет. До 24 августа мы стояли в обороне на реке Березине. Особых боев не было. Настоящий бой батальон принял при обороне города Речица. Целый день длился бой. После пятого отступления из города и дальнейшего отхода до Лоева, где войска фронта переправлялись через Днепр, батальон был разбит вдребезги. Каким чудом я уцелел, до сих пор не представляю. После войны я искал своих ребят, но никто из них в Речицу не возвратился — все погибли. Вот в городе чтут (и справедливо!) память освободителей города в 1943 году. Есть две братские могилы с фамилиями свыше 600 человек, но памяти погибших в 1941 году 500 речичан и в помине нет. Как будто их и не было на свете.

В 1942 г. я служил в 230-м гаубичном артиллерийском полку. В конце февраля 1943 года, прикрывая отход разбитой армии на ст. Лозовая Харьковской области, полк, не имея пехотного прикрытия, был к вечеру почти полностью уничтожен. Когда уже стемнело, фашисты стали окружать поселок, орудий целых не осталось. Нас, уцелевших, набралось на один «студебеккер». Прорываясь из города, мы были обстреляны, машина наша подбита. И мы ее бросили. Ушли в степь. К утру соединились с остатками частей. 12 дней отступали. Вышли к селу Михайловка (так, по-моему, называлось это село около города Балаклея) 17 человек. Больше не собралось за 2 недели. Ни штаба, ничего нет. Кто похоронил наших убитых, где раненые, не знаем. Кто и как сообщил родным целого полка об их судьбе? Думаю, никто. А ведь они воевали и погибли в бою, а их в лучшем случае отнесли к категории «пропавшие без вести»...

Б. И. Галезник,
бывший младший сержант,
наводчик 97-го гвардейского
минометного полка

В стране кипят страсти, идут затяжные словесные и конкурсные бои на предмет, каким быть Мемориалу Победы в Москве! Мне же кажется, что теперь мы не создадим памятник, отвечающий запросам, чаяниям и вкусам всех наших граждан. Что можно, к примеру, добавить к Памятнику-ансамблю воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом, в Берлине (1946—1949 гг.), который как бы стал логическим завершением нашей нелегкой Победы?! Памятник Победе, одержанной 45 лет назад,— это всего лишь мемориал, но не суть явления, отражающего событие, а раз так, то в стране уже есть тысячи и тысячи больших и малых мемориалов войны и «вечных огней», зачем еще просто механически увеличивать их число, тут только поспевай уже имеющиеся поддерживать в надлежащем состоянии, чести и величии. Я предлагаю просто восстановить Поклонную

гору в ее первозданном виде, а вокруг разбить дубовую Мемориальную рощу на радость москвичам и на вечную память последующим поколениям. И уже Рощу можно бы отметить теми или иными — только не помпезными! — знаками памяти войны и ее героев.

В. Сотников,
г. Подольск

Кто виноват в том, что в первые полгода войны в плен попали 3 миллиона 600 тысяч наших бойцов? Солдаты?

170 дивизий врага наготове стояли на нашей границе! Кто упорно не верил, что они нападут? Кто не подготовил страну к войне? Кто не подтянул заранее войска к границе? Кто перед войной уничтожил командный состав армии? Кто позволял Гитлеру буквально водить себя за нос? Кто посылал Гитлеру поздравительную телеграмму с днем рождения? Известно кто — Сталин! И он же потом заявил, что у него нет пленных, а есть одни только изменники и предатели Родины. Если это так, то выходит, что наши воины не попали в плен, не сдались в плен, а их **сдали в плен. Сдали.** Умышленно? Нет. **Неумышленно.** Так же, как бывает **неумышленное** убийство человека. Конечно, есть среди «пропавших без вести» и предатели и изменники. Но ведь нужно искать, выявлять, кто есть кто. Нужно копаться в архивах. Нужно искать. **А вот искать и не хотят,** потому что гораздо проще огульно всех объявить безвестными и **снять проблему.**

Покуда не раскроем архивы, покуда не найдем имена всех, кто пал на войне, наше общество будет в долгу перед теми, кого уже нет, и мы не будем иметь никакого морального права говорить, что у нас «никто не забыт...».

А. Мусаелян,
село Георгиевка, Джамбулской области Казахской ССР

Мне никак не удается доказать, что я действительный участник войны и принимал участие в обороне Киева. Так случилось, что я был контужен и оказался во вражеском плену. Пройдя все ужасы фашистского лагеря, я сперва был освобожден, а потом вновь оказался в лагере, теперь уже в советском! В настоящее время меня полностью реабилитировали, так как «дело», по которому я был осужден, оказалось фальшивкой. Когда началась всесоюзная регистрация тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, факт прохождения службы в Красной Армии до войны я подтвердил записью в военном билете, а доказать свое участие в войне я не мог, ведь после плена и тюрьмы у меня на руках не было никаких документов. Удостоверение участника войны мне выдали на общих основаниях, так же я получил и юбилейные медали.

Но вот прошло четыре года, и нечестные люди, решив свести со мной счеты за критику (это отдельный разговор), сочинили запрос, который направили в военкомат с требованием проверки моего участия в войне. Еще они требовали ответить: на каком основании я получил удостоверение участника войны? Сотрудники РВК, введенные в заблуждение тяжкими обвинениями в мой адрес, вызвали меня к себе и 23 декабря изъяли мое удостоверение. В мой военный билет внесли необоснованную запись: «В армии не служил», «Участия в ВОВ не принимал». Так, росчерком, равнодушной рукой чиновника меня обесчестили и оболгали! Когда я стал обращаться в различные инстанции с жалобой на беззаконие, учиненное со мной, мне приходили ответы с отказом в удовлетворении моего требования о возврате изъятого. Ссылаясь на ведомственную директиву заместителя министра обороны, отказ стал мотивироваться тем, что у меня нет никаких подтверждающих документов, как личных, так и из ЦАМО (г. Подольск). А где бы я мог сохранить личные документы, попав в плен, а потом в тюрьму?! Как известно, в плену и тюрьме документов не выдают, а документы моего полка были уничтожены в боевой обстановке, когда мы попали во вражеское окружение (тогда существовал такой приказ — об уничтожении всех документов во избежание их попадания к противнику).

До сего времени на «бывших пленных» смотрят косым взглядом, над ними витает дух подозрительности. А не пришло ли время сейчас, в период перестройки, коренным образом все это изменить?! Необходимо как можно скорее, на самом высшем уровне — Президиума Верховного Совета Союза ССР — издать указ о признании всех тех, кто «пропал без вести», погибшими за Родину, а всех тех, кого сейчас считают «бывшим пленным», считать защитниками Родины (за исключением тех, кто запятнал себя в период плена)!

Тогда была бы устранена величайшая несправедливость, оставшаяся нам в наследство с тех времен, когда «бывших пленных» считали «изменниками» Родины. Кроме всего вышесказанного, создано еще одно искусственное препятствие для «бывших пленных», не имеющих никаких документов, подтверждающих факт их пребывания в действующей армии в период ВОВ: на одном из пленумов Верховного Суда Союза ССР, который был в 1980 году, внесли поправку к статьям Гражданского процессуального кодекса РСФСР 247—251, которая запрещает принимать заявления граждан к рассмотрению в народных судах, если они требуют установить факты службы в Советской Армии, участия в боях в составе действующей армии или партизанском отряде, получения ранений и контузий при защите Родины. Разве подобное дополнение к закону не противоречит Конституции СССР, не ущемляет права граждан? Мне кажется, что сделано это для того, чтобы «бывшие пленные», как нас называют, не могли через суд доказать свою правду.

А. Ф. Юхиев,
Ленинград

Нужно ли уничтожать ракеты

Выполняя пункты Договора по ракетам средней и меньшей дальности, мы уже уничтожили свыше 500 своих ракет. Этот факт можно только приветствовать, но возникает вопрос: а нужно ли уничтожать ракеты, в создание которых вложены миллиарды народных денег, труд многих и многих людей и коллективов, так, как это делается у нас в стране, подрывая их на полигонах? Конечно, этот метод является наименее хлопотным, он предельно простой, но, добавлю, и предельно бесхозяйственный, потому что затрачиваются в данном случае все новые и новые — немалые, прямо скажем! — средства, хотя утилизация уничтожаемого оружия могла бы принести стране выгоду.

Предположим, стоимость оружия, подлежащего уничтожению, составит 100 миллиардов рублей. Используя только материалы ракет, мы вернем в народное хозяйство от 2 до 5 миллиардов рублей, и более 20 миллиардов, если, приведя технику в состояние непригодности ее к боевому использованию, сохраним тягачи, шасси, узлы ракет и транспортных средств. А если еще и изобретательность проявить?!

Сто восемьдесят тягачей ракет РМД-23, например, можно очень быстро и бесхлопотно переоборудовать в самоходные складывающиеся площадки высокой проходимости, использовать их для ремонта и обслуживания ЛЭП, мачт радиорелейных линий, технологических колонн на химических предприятиях и на дру-

гих высотных объектах. Не в металлолом, а в дело должны идти сложнейшие блоки гидросистем ракетных средств, автономные источники питания. Условия Договора по РСМД тут не нарушаются, и, по самым скромным подсчетам, такой подход даст народному хозяйству не менее 40 миллионов рублей.

Первые шаги в этом направлении уже делаются. Совместное советско-западногерманское предприятие «Кранлод», например, занято переоборудованием тягачей ракет РСД-10 под тяжелые самоходные краны. Но это только начало, и возможностей тут очень много. Перед уничтожением ракет РМД-23 снимают системы управления — так предусмотрено Договором по РСМД. Почему не использовать этот агрегат по-хозяйски? Почему, скажем, не создать ракету геофизическую с меньшей, чем у РМД-23, дальностью полета, используя в ней систему управления боевой ракеты? Существующая у нас метеоракета МР-12 поднимает всего 50 килограммов груза на высоту в 150 километров. Ракета же с системой управления от РМД-23, по моей оценке, могла бы поднимать уже до 100 килограммов груза на высоту в два раза большую. Это существенно расширит рамки отечественных геофизических исследований, мы получим возможность устанавливать на этих ракетах технические средства других стран, выполнять по их заказам целевые пуски на коммерческой основе.

Привлекая творческий потенциал ученых, конструкторов, рабочих оборонных и гражданских отраслей нашей экономики, мы смогли бы создать оптимальный метод утилизации оружия. На мой взгляд, отдача с каждого рубля, вложенного в экономику разоружения, будет во много раз выше, чем в любой другой отрасли промышленности, ведь исполнителями опытно-конструкторских работ по таким программам станут прежде всего предприятия оборонных отраслей, которые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Задача чрезвычайно актуальна еще и потому, что горы оружия, подлежащего уничтожению, будут расти постоянно, ведь разоружение — насущное требование нашего времени. Поскольку дело это новое, и подход должен быть новым, нетрадиционным. К примеру, Договором по РСМД оговорена возможность демонстрации 15 ракет-муляжей на выставках. Считаю, что выставки надо сделать платными, а число их, согласовав это с США, увеличить, размещая ракеты не только на космодроме в Капустином яру или на их заводе-изготовителе, куда нет доступа экскурсантам, но и в крупных туристических центрах. Если «Интурист» и Бюро международного молодежного туризма «Спутник» включат посещение таких выставок в свои маршруты, это даст стране еще и немалые валютные поступления.

Нетрадиционный подход нужен во всем, и только при этом условии мы добьемся реальных результатов. Можно было бы составить технические проспекты и каталоги узлов, агрегатов и элементов конструкций ракетных систем, по которым организовать выставки-продажи для отраслей гражданской экономики и даже для личных хозяйств. К этой работе привлечь кооператоров, внедренческие фирмы, бизнесменов из-за границы. Можно объявить открытый конкурс на разработку оптимальных технологий утилизации твердых ракетных топлив без их прожига, что позволило бы сделать эти операции экологически чистыми и безвредными.

Но все это, так сказать, техническая сторона, половина дела. Вопросы, связанные с утилизацией вооружения, надо решать на государственном уровне, привлекая заинтересованные министерства и ведомства. Государственный орган должен представлять Правительству конкретную программу опытно-конструкторских работ, различных мероприятий по утилизации ракет. Поскольку их ликвидация связана с созданием наиболее целесообразных экономически и чистых экологически технологий, эту работу необходимо вести на международном уровне, например, под эгидой ООН.

Всю эту работу надо вести гласно, привлекая средства массовой информации, что придаст ей поистине демократический характер.

О. И. Мамалыга,
лауреат Государственной премии СССР

Советуем прочитать

Национальный вопрос сегодня. Материалы совещания в редакции (июль, 1988). Дружба народов, № 12, 1988.

Наше общество только приступает к расчистке завалов догматизма, в том числе и на национальном поприще. Специфические подчас проблемы каждого народа — наша общая забота. Решая сегодня каждую из них, беспокоясь о благе и самочувствии каждой нации и народности, общество наше должно вести дело так, чтобы одновременно укреплялось социалистическое братство, росло взаимопонимание, уважение ко всем культурам без исключения. Этим и многим другим вопросам были посвящены выступления участников совещания — Чабуа Амирэджиби, Чингиза Гусейнова, Леонида Новиченко, Тимура Пулатова, Акселя Тамма, Акбара Турсунова, Ануара Алимжанова, Альгимантаса Бучиса, Рафаэля Мустафина, Сергея Баруздина, Леонида Теракопяна, Александра Руденко-Десняка и других. Совещание носило дискуссионный характер — межнациональные отношения в нашей стране столь сложны, что и решать их необходимо с учетом самых разных мнений.

Хейно Кийк. Мария в Сибири. Главы из романа. Перевод с эстонского Александра Томберга. Таллинн, №№ 5—6, 1988.

Двадцать с лишним лет назад на республиканском конкурсе первое место завоевал роман Х. Кийка «Чертово гнездо», где в сатирическом ключе повествовалось о трудном времени послевоенной эстонской деревни. Популярность к этому, до той поры неизвестному автору, агроному по профессии, пришла позже, когда была создана серия романов, объединенная «сквозным» персонажем Арве Йиомом. Теперь этот герой знаком и русскому читателю — четыре романа из серии переведены на русский язык.

«Мария в Сибири» — произведение о трагическом для народа Эстонии периоде массовой послевоенной депортации коренного населения республики. Тысячи семей вынуждены были покинуть землю отцов и прадедов, бросить хозяйство, дом, скотину в хлевах. На сборы давался всего какой-нибудь час...

Об одной из тысяч переменившихся мгновенно судеб этот роман. О Марии из Авенурме. С четырнадцатилетним младшим сыном Карленком (репрессирован и умер в заключении муж, без вести пропал старший сын, служивший в Красной Армии) попадает Мария в далекие Барабинские степи. «Бесплатно показали Сибирь, сами никогда бы не собрались». Этими горькими словами заканчивается повествование. Лишь в пятьдесят седьмом долгожданное возвращение к родным пепелищам... Мир не без добрых людей, и неважно, какой они национальности, те, которые состраданием и милосердием своим помогли выжить Марии и ее Карлу в далекой суровой Сибири.

Н. Сафонов. И в день девятый, и в день последний... Повести, рассказы. М., Советский писатель, 1988.

Сражение за человека, за справедливость — а это, по сути, одно и то же — ведет в судебном процессе молодой герой «Извечного спора», произведения с подзаголовком «записки адвоката». Борется Смирнов с «обвинительным уклоном» в нашем судопроизводстве, из-за чего многие подсудимые получали завышенные сроки наказания,— а иногда осуждались и просто невиновные. Подзащитный, принесенный в жертву кампании по борьбе с хулиганством, для адвоката не «отчетная единица», на которой прокурор и судья испытывают сокрушительную силу закона, а живой человек, страдающий, терпящий несправедливость, нуждающийся в защите.— Правовые понятия обретают более широкий и гуманный смысл.

Составившие книгу произведения так или иначе касаются сферы адвокатской практики, суда, где приходится сталкиваться и с людскими несчастиями, и с людскими пороками.

Завершает сборник повесть, давшая ему название, где автор отдает дань памяти старой женщине, вырастившей четверых детей, пережившей войну, нелегкие испытания, выпавшие на долю ее поколения.

Анатолий Смелянский. Уход. Театр, № 12, 1988.

Творческая история пьесы М. Булгакова, последний этап взаимоотношений писателя со Сталиным и с Художественным театром изложены в этой публикации. Трагична была судьба и театра, и драматурга. «Новый МХАТ призван был продемонстрировать перед цивилизованным миром преемственность сталинской культурной политики. Далеко не сразу в Художественном поняли, какой глубины и разрушительной силы угроза скрыта в верховной ласке... Обольщение МХАТа проводилось разнообразными методами, ливень денег и наград сочетался с обещанием невиданной творческой свободы. По отношению к всемирно прославленным режиссерам Сталин действовал крайне осмотрительно и осторожно, стараясь сохранить их для «славы царствования». И «обольщенный театр» в 1939 году все-таки склонил драматурга реализовать замысел пьесы о Сталине. Так появился «Батум». Но даже в этой сервильной пьесе, пусть иносказательно, но проскользнуло булгаковское отрицание «вождя народов».

Пьеса была запрещена. «Искусство и жизнь, как это не раз бывало у Булгакова, переплелись смертельным жгутом».

Надежда Мандельштам. Воспоминания. Предисловие М. Поливанова. Юность № 8, 1988.

Не каждый писатель удостаивается чести быть известным читателю бесфамильно, просто по имени-отчеству. Имя Надежды Яковлевны поселилось в читательских сердцах и умах задолго до появления ее книг. Во времена сталинского террора, обысков, переездов, ссылок в подушке, в кастрюльке, в бельевой корзине, в дружеских тайниках, а главное — в собственной памяти — она уберегла и сохранила для всех нас стихи Осипа Эмильевича Мандельштама, без которых уже не представить себе русскую поэзию.

Это бесстрашная и страстная книга о поэте и времени, в котором суждено ему было жить и погибнуть. И это не просто свидетельство современницы, это еще и проза, написанная уверенной рукой человека, понимавшего и жизнь, и литературу.

Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век. М., Правда, 1988.

Отечественной мемуаристике, посвященной XVIII веку, не повезло: и самих записок не так много, и среди авторов нечасты имена известных людей. Вот почему мемуары того времени мало знакомы широкому кругу читателей. Кто, скажем, читал записки Г. Р. Державина, хотя поэта и «проходят» в средней школе? У кого «на слуху» воспоминания А. Т. Болотова, И. И. Дмитриева, С. Н. Глинки? Кому знакомы мемуары Л. Н. Энгельгардта, С. В. Скалон, Е. Н. Львовой? Увы, речь можно вести лишь о специалистах и любителях русской словесности.

Если довериться свидетельству авторов работ, то причины, побудившие их взяться за перо, таковы: «доживать воспоминаниями» (И. И. Дмитриев), оставить память о времени и о себе (А. Т. Болотов), выразить любовь к родному краю, которая «всегда беспредельна была с любовью к человечеству» (С. Н. Глинка).

Но чем бы ни руководствовались, что бы ни избирали темой своих записок авторы, будь то светские анекдоты, семейная хроника, жизнеописание, войны и т. д., всегда в воспоминаниях присутствуют приметы времени, атмосфера эпохи, быт и нравы века.

А. И. Герцен писал о том, что «Былое и думы» — это «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Слова эти, видимо, применимы ко всем мемуарам, в том числе и к собранным в книге, о которой идет речь, вышедшей значительным тиражом в 200 000 экземпляров.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редвктор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретврь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-62, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 09.03.89. Подписано к печати 06.04.89. А 04178. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 980 000 экз. (1-й завод 1—730 018 экз.). Заказ № 319. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.